ISSN 0130–6545

9. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗИГОМА. (Конго. Школа Пото-пото).

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
ТАШКЕНТ
1958 - 1983

9 сентябрь 1983

Содержание

ДИМИТР МЕТОДИЕВ — Песня о генеральной линии *(Перевод с болгарского Роберта Рождественского)* 3

Рассказы арабских писателей

ХАНИ АР-РАХЕБ. МУЛУД АШУР. ГАМАЛЬ АЛЬ-ГИТАНИ *(Переводы с арабского Т. Кузьминой и А. Кирпиченко, с французского — Н. Световидовой)* 10

АСАДУЛЛА ХАБИБ — Стихи *(Перевод с языка дари и вступление Андрея Дементьева)* 26

АЗИЗ НЕСИН — Рассказы *(Переводы с турецкого В. Феоновой и В. Джалавяна)* 31

Писатель и проблемы экологии

ТИБОР ДЕРИ — Наслоения дней *(Фрагменты книги. Перевод с венгерского Ю. Гусева)* 49

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ — Большой праздник на стройке *(Рассказ. Перевод с польского В. Селивановой)* 60

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС — Священный брак *(Рассказ. Перевод с английского Дмитрия Жукова)* 76

Литературное наследие

РОБЕРТ МУЗИЛЬ — Человек без свойств *(Отрывок из романа. Перевод с немецкого и вступление С. Апта)* 96

Документальная проза

ВИНЬЯ НДАДИ — Разрывая контракт... *(Перевод с английского Ю. Горбунова. Предисловие Аполлона Давидсона)* 147

Критика

Некоторые тенденции в современном романе Египта и Индии

В. КИРПИЧЕНКО — Поиски своего лица 178
М. САЛГАНИК — Алогизм повседневности 182

Заметки писателя

НОРМАН КАЗИНС — Право выбора *(Фрагменты книги. Перевод с английского Ф. Лурье и Н. Киямовой. Вступление Николая Федоренко)* 186

Наш календарь

М. ЛАНДОР — Присутствие Тургенева 191

Культура и современность

Л. Переверзев — Экологический джаз: призыв к миру в трехсотлетней войне. ◆ Л. Васильева — Петер Сёке: «Существовала ли музыка до возникновения жизни на земле?» 200

Публицистика

Э. БАТАЛОВ — Многоэтажная Америка 208
ЛЕСТЕР КОУЛ — Голливудский красный *(По страницам книги. Перевод с английского И. Гуровой. Послесловие Майка Дэвидова)* 217

Антирубрика

ЖАРГАЛЫН БАРАМСАЙ — Рассказы *(Перевод с монгольского Лидии Скородумовой)* 233
ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС — Пространство потрогать рукой *(Стихи. Перевод с английского Елены Печерской)* 234

Среди книг

Издано в СССР

Л. Делюсин — «Во все времена и на всей земле...» ◆ Илья Фоняков — Свидетельствует поэзия... ◆ Вера Потапова — Звуки и краски 236

Издано за рубежом

В. Иорданский — В трудном поиске и ▲ л. Степанов — С верой в будущее

Из месяца в месяц

Авторы этого номера

На 1-й страни
Ланка) «Четыре

© «Иностранная ли

ДИМИТР МЕТОДИЕВ

Песня о генеральной линии

■

Перевод с болгарского РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Моя Болгария!
Белая —
белы твои новые села, города и заводы,
зеленая —
зелены сады твои, и леса, и луга, и нивы,
красная —
до последней капельки крови народа.
Как молода ты!
И как красива!
Песенная,
сказочная,
солнцем пронизанная,—
Мать-Болгария, труженица,
устремленная
к коммунизму!

Болгария,
ты ли на тощих коровах
пахала от звезды до звезды?
Ты ли рожала нас на корявых,
скудных бороздах, ждущих воды?
Босая — по стерне почерневшей, колкой,
по грязи холодной, по пыли горькой,—
ты ли,
родимая мать,
печально
в котомках носила нас за плечами,
ладонью шершавою
гладила наше детство,
вздыхая,
смывала кровавые пятна с сыновьих рубах,
и глядела поверх голов наших буйных,
словно не могла наглядеться,
и сидела молча
на сельских вымерших площадях!

Ты ли, страдалица,
глухими ночами считала:
первые петухи...
вторые петухи...
третьи...

© Димитър Методиев.

Лампадка чадила.
Дрожала в комнате тьма...
Ждала ты рассвета,
но прежде, чем рассветало,
полиция врывалась в дома!

И расстрелы гремели у тебя в груди.
И виселицы, качая тебя, скрипели.
И бессмертные — в конце земного пути —
коммунисты, дети твои любимые, пели
на рассвете:
«Вставай, прокля...»

Мать-Болгария, кровь моя и земля!
Жар души твоей
не потух.
Над горами Стара-Планины бессонной —
будто
огненно-красный петух —
кукарекает
солнце!

Взметнулось — сквозь границы и расстояния —
имя твое,
красное твое сияние!

■ ■ ■

Эй, нищие духом,
обделенные чувствами!
Вы думаете, мы не знали,
что это значит: строить индустрию,
с нуля начиная!

Где только не застревали
телеги,
заехав в грязь!
К какой только маме не посылали
время —
а тем более нас
и сулимое агиткой горластой
грядущее счастье!

Но мечта проверена делом была.
Сгорали в грозах
громоотводы.
И росли
на плечах на крестьянских
заводы.
И сила класса росла!
Мы бедность разгрызли с хрустом —
по-русски!
Шаги
пятилеток первых —
и наяву,
и в песнях!

Ощутив веселую силу,
Болгария отдыха не просила,
кремиковцев сделала знаменитыми,
построила ТЭЦ,

возвела гидростанции,
бурами землю проткнула яростно,
трубопроводами
перепоясалась!

Благодетели,
столпы мирового богатства!
Вы позволите с вами всерьез потягаться?
Или вновь замахнетесь на мужиков,
пожелаете высечь
«холопье быдло»,
захотите вернуть все, что раньше было,
раздавить нас, как червяков,
пересилить волю народа?

Господа!
Осторожнее на поворотах!

Над планетою молодой —
огромен
и красноблуз —
надежную простирает ладонь
коммунистический
Советский Союз!

Кто остановит нас? Кто может лаву
затолкать в проснувшийся кратер?
Миллионнорукая
и миллионноглавая —
властвует
диктатура пролетариата,
и она заявляет по праву:

— Дети кузнецов
и пахарей!
Стройте будущее
вместе с партией!
Наша клокочущая судьба —
классовая борьба!
В институтах и академиях,
на заводах и в лабораториях
трудом своим создавайте поэмы
и оратории!
Дело есть голове и рукам.
Да сбудутся
павших отцов мечты!
Поднимем Болгарию
до высоты
родимых гайдуцких Балкан!

■ ■ ■

Мне еще помнится, как, бывало,
с утра по пятницам смиренно вздыхая,
сельская Болгария на рынке торговала
маслом, помидорами и петухами.
А ей что нужно было? —
соль да керосин.
Да еще книжку —
сынок попросил...

Даже скупщик яиц пешком шагал до дома,
а уж на что — казалось бы —
торговец оптовый!..

Сегодня удивленные океанские ветры
наш флаг обнюхивают,
встречая суда:
— Откуда вы? Кто вы?
Скажите откровенно,
как же вы все-таки попали сюда?..

Мать-Болгария!
Хватит жить одною керамикой
в мире весомом!
Подготавливай гения,
добывай в сражении
новое место под солнцем!

Взлетают, как сказочные ракеты,
в гулкое небо всемирной прессы
мысли,
похожие на рассветы,
факты,
которым и в космосе тесно.

Да неужто снова скажут: — Вранье! —
Скажут: — Миф! Придуманная дребедень!..
Слово-лозунг
делает
дело свое
и становится
бессонным бытом людей.
Классом подхваченное
мощно и весело,
слово
становится
явью завода,
слово
обретает
облик и профессию...

Воля партии —
воля народа!

Стала
карта Болгарии
одой —
одой партии
и народу!

Шофер, будь внимателен!
Шоссе,
на котором вчера еще
фаэтоны горбатились,
теперь
«омосквичилось»
и «отрабантилось»! [1]
Проносятся грузовики несчетные,
ревя от тысячетонных мук.
Комбайны плывут — стеснительно-чопорные —
как гуси, которых гонят на луг.

[1] «Трабант» — марка автомашины.

На автострадах
асфальтово-новых,
дышащих соляркою и бензином,
человек
не может
найти
подкову —
для подарка сыну!..

Водитель,
попридержи поводья!
Страна пред тобой
парадом
проходит.
На каждом шагу —
село молодое,
на каждом шагу —
подросток-завод.

Земля,
как будто бы на ладони,
ничего не скрывая,
живет!

А вдоль дороги — из края в край —
сплошные сады по всей округе.
Иностранцы,
внезапно попавшие в рай,
к наливному золоту
тянут руки!..

Опомнись!
Но Европе явно
не превозмочь искушения.
И Европа откусывает от красного яблока
грехопадения...

■ ■ ■

Да простится гордость —
непривычная, новая —
Болгарии,
вчера еще управлявшей коровами,
а нынче
в ярмо повседневной хроники
запрягшей
интегральную схему электроники!

Идолопоклонники!
Вы,
которые, сидя в своем углу,
молитесь импортному барахлу
и, словно свадебные кларнетисты,
от напряженья почти что в мыле,
славите великое изобилие
капиталистов,—
куда же ваша душа стремится,
в каком направлении рот ваш разинут?
В сторону магазина?

И что ж это — путь,
по которому мир
пойдет ко всеобщему счастью
при вашем участье?..
А может, смиримся,
примем советы облаивающих —
и снова начнем с малюсеньких лавочек.
Потом
каждый купит себе по заводу —
чем не свобода,
чем не улыбка судьбы!..

Одно мне не ясно:
кто же
пойдет
в рабы?

Мне, что ли,
прикажете подчиняться вам
и кричать:
— Да здравствует собственность частная!..
Или заставите
моих гордых соколов-братьев
вам служить,
в смирении жить?
Или мама
снова будет на вас
батрачить?
Снова будет ночами не спать,
могилы
своих сыновей искать?..

Размечтались!
Нынче другое время —
диктатура пролетариата
не дремлет!

Неодолимы те, кто уверенно
в братстве находит силу!
Не за Америкой —
за Россией
наша вольная родина гордых людей
восходит
в завтрашний день!

■ ■ ■

Да святится твое имя
и ныне, и присно,
великая,
непобедимая
Партия Коммунистов!

Куда б ни шагнул я,
куда б ни глянул —
смотрят в глаза мне с утра дотемна,
как будто совесть,
как слово клятвы,—
павших твоих имена.

Глядят на меня
из далекой дали,
со стен заводов, школ и читален.
Над жизнью моей,
как память, нависли,
шаги мои проверяют
и мысли.
В начале пути,
в средине пути
указывают,
куда мне идти.
Голосом ветровым
требуют:
будь живым!..

Время прошлое холод музейный укрыл,
только — смертью смерть поправ —
на часах стоит у братских могил
твой бессмертный партийный состав.

Ты шагаешь, сметая любые преграды,
ни на миг не слабеет воля твоя...
Но падают,
будто на баррикадах,
твои испытанные сыновья.

Над ветеранами,
памятью ставшими,
прощальные марши проносятся...
И младшие поколения
старшими
в жизни становятся.

Гордясь любовью твоей
и доверием,
к нам идут комсомольцы,
растет пионерия!

Не прервутся партийные поколения!
Крылья нашей мечте дай,
машиностроение!
Становись,
вплетайся в торжественный гимн:
электричество,
металлургия,
нефтехим!

Славь навеки
Его Величество —
Человека!
Шуми, Марица — коммунистическая!..

Не зря великое племя
пело,
шагая в бой:
«С Интернационалом
воспрянет род людской!..»

1968—1969

■

ХАНИ АР-РАХЕБ (СИРИЯ)

Легенда о странствующем арабе

Перевод с арабского Т. КУЗЬМИНОЙ

Между ними была стена длиною в тринадцать лет...

В тот вечер к нему вошли двое и сообщили, что он выходит и с ним — Самих, Ильяс, Махмуд и Зайяд. Он не знал куда. Он должен был подчиняться — и все.

Сколько раз за тринадцать лет он слышал это: «Выходи!»

«Выходи!» могло значить: в другой мир, в камеру пыток или к следователю Дову, Хаиму или Леви...

«Выходи!» В камеру. Это место стало привычным. Оно вытянуто в глубину, и тело вытянуто в нем. Дни, недели, месяцы. Во мраке и сырости тело становится неподвижным и вялым. Ты чувствуешь, как оно отделяется от тебя, становится чужим, существует где-то рядом. Монотонная тягучесть изнуряет.

«Выходи!» В камеру пыток электричеством или другое место испытания человеческой плоти. Туда, где его единственным желанием становится освободиться от своего тела, оторваться от него, как это бывает в камере. Но он не может. Здесь в мгновение ока у тебя вырывают ноготь, выбивают зуб, пускают кровь. Твое тело начинает подергиваться в полузабытьи, отвратительно подергиваться, когда электричество пронизывает его. Черепная коробка раскалывается, тело распадается на куски, когда электричество пронизывает его. Оно подергивается, стонет и извивается.

Тринадцать лет...

В тот вечер при закрытых дверях Джимми Картер и Садат имели долгую беседу наедине. Радио сообщило, что два государственных деятеля уединились, чтобы установить мир между Египтом и Израилем. Радиокомментаторы уверяли нас, что политическое будущее президента самой великой державы мира висит на волоске: либо мир и избрание на второй срок, либо война и фиаско.

Кто знает, о чем говорили Картер и Садат? Мы не знаем — мы, кто не знает ничего. Мы можем лишь вообразить, как это было: несомненно, они сидели на мягком диване, перед ними были египетские прохладительные напитки, кое-какие сладости, может быть, виски, пачка сигарет и, конечно, наша судьба, судьба арабов. Время от времени Садат выбивал свою трубку и набивал ее вновь.

В тот вечер они прошли по коридору — он под конвоем двух охранников. Поднялись по лестнице. Значит, опять к следователю Шмуэлю.

«Через тринадцать лет что еще они хотят вытянуть из меня? — подумал он.— Неужели еще не устали?»

Дверь закрылась, и он остался один на один с офицером. Он казался себе маленьким среди голых стен, одиноким на торчавшем посреди комнаты стуле, застывшим под леденящим взглядом тюремщика.

— Этой ночью ты вылетаешь в Женеву, Ахмад Муса,— произнес тот.

Кто знает Ахмада Мусу? Что произошло с первым схваченным федаином за тринадцать лет? Мы не знаем — мы, кто не знает ничего. Мы неподвижны, как болото, как было неподвижно его тело в камере. Мы рвем глотки, как рвали на куски его тело. Мы отчуждаем наше сознание, как он отчуждал свое тело. И не знаем ничего.

На следующий день все шло своим чередом: работа, улица, оплата счета за электричество, булочная. Напрасно я торопился: хотел пройти без очереди, но мне не дали. Как обычно, вернулся поздно. Бросил хлеб. Обшарил дом — Мейсун не было. Значит, прозевал сводку новостей.

Бросился в кресло и расслабился.

Наконец она пришла.

— Я задержалась — слушала новости на улице.

«Так,— сказал я себе,— вот дурак! Как я не догадался послушать сводку на улице?!»

— Картер и Садат договорились,— продолжала она, приготавливая еду.

«Конечно, к чему волноваться?— подумал я.— Разве можно было ждать чего-нибудь другого? Например, что политическое будущее Картера погибнет, а будущее Палестины будет спасено?»

Когда каждый из нас взял свою ложку и тарелку, она спросила:

— Заплатил за электричество?

Я ответил, что заплатил.

— И купил хлеб! Чего же ты такой мрачный?

Тринадцать лет.

Через четыре месяца после женитьбы он все еще оставался женихом. Мы не знаем, была ли его невеста красивой, высокой, смуглой. Мы знаем, что они любили друг друга и поженились. Ему было двадцать три. Но мы знаем, почему он выбрал маскировочную одежду и пошел на смерть. Не распространено и не практикуется среди народов терять родину. А он принадлежит к единственному в двадцатом веке народу, потерявшему ее. Когда пришел приказ, страх спрятался под маскировочной одеждой, винтовка взнуздала его у плеча, а у пояса — четыре гранаты. Их было четверо. В тот миг они испытывали непонятное напряжение.

Потом произошел бой. Он был жарким, как всякий бой. Конец его был известен заранее. Но что они чувствовали, пробираясь один за другим к намеченной цели? То же что и мы, когда стоим в очереди за хлебом? Это был первый бой федаинов против оккупационных войск. Через несколько недель о нем забыли. Что они чувствовали, когда увидели, что окружены кольцом огня? Наверно, нечто другое, не то, что мы чувствуем, когда толчемся и шумим в очереди около булочной. Вкус битвы? Невольное движение руки к

гранате? Потрясение при виде падающего с предсмертным криком товарища? Потом другого, третьего?.. Смерть?

Вечером Садат заявил, что желает Джимми Картеру в Израиле такого же успеха, какой был у него в Египте. Радио сообщило, что семьдесят шесть федаинов будут освобождены в обмен на одного израильского пленного. Мы сидели, курили, пили кофе, чай, толковали о политике.

— Не в обычае Израиля освобождать федаинов,— сказали мы.

— Какое трагическое совпадение: обмен произойдет в тот же день, когда Садат даст согласие на исчезновение Палестины,— сказали мы.

Ахмад Муса оставил свою невесту и пошел сражаться за возвращение Палестины. Его трое товарищей были убиты. Он сам был изрешечен пулями. Ахмад лежал рядом со своей винтовкой. Утром, когда израильтяне пришли, чтобы сфотографировать трупы, он был одним из четырех тел, кровь которых «оросила» землю, как говорят поэты и пишут писатели. Но он не умер. Он говорил Тауфику, что, не осознавая, что жизнь еще теплилась в нем, протянул руку к винтовке. В его меркнувшем сознании мелькнуло: они здесь, вокруг него. Он не видел их. Они были мутными тенями. Он приказал своему телу встать. И поднялся. Тени стали падать, и он рухнул.

Радио сообщило, что те, кто наблюдал за обменом, до последнего мгновения опасались какого-нибудь подвоха со стороны израильтян.

Но постепенно страх стал рассеиваться. Одно за другим выкликались имена, и их владельцы подтверждали свое присутствие. Самолет с ними взмыл в воздух...

Прибытие Картера в Иерусалим было тактично отложено на несколько часов. Конечно, это исторический визит, но надо, чтобы он начался после того, как закончится суббота у Менахема Бегина.

Радио сообщило, что прием был торжественным — израильские государственные деятели, публика, журналисты, прямая трансляция. Эти превратили все в праздник. Войне конец. Теперь не нужны федаины. Менахем Бегин будет мирно строить поселения, Анвар Садат накормит миллионы голодных в Египте и создаст заслон коммунистическому продвижению в Африку и Азию, а Джимми Картер вернет доверие американского народа и положит конец палестинской трагедии.

А что будет делать Ахмад Муса? Тридцать лет кровавой борьбы; тринадцать лет из них он провел в тюрьме. Время торопится. Один правитель уходит, другой приходит, а Ахмад Муса в тюрьме. Сотни боев и две тяжелые войны — а он в тюрьме. В течение года он научился забывать о собственном теле. Пытки были ужаснее, чем о них пишут в газетах и показывают по телевидению. Поэтому не было иного способа как отказаться от своего тела, забыть о нем.

Ему сообщили, что он осужден пожизненно. И он решил отказаться от жены. Он отправил ей текст приговора и заявление о разводе: пусть она подпишет и будет свободна. Но она отказалась. Снова он отправил ей заявление. Она отказалась. В течение года он научился жить без воздуха, улицы, поля, света. Солнце стало сном, свежий воздух — воспоминанием. Каждый раз, просыпаясь, он погружался в кошмар и научился не замечать его. Родина потеряна, народ осиротел... Он послал ей третье заявление в лагерь Сабра в Ливане. Она отказалась подписать. Сообщила, что живет с его матерью в лачуге из листов жести и ждет. Он написал ей письмо. Убеждал подписать заявление о разводе, выйти замуж, родить де-

тей, которые вырастут и освободят родину. Она отказалась. Написала, что там много детей. Они вырастут и освободят родину, а для нее существует только Ахмад Муса. Родина потеряна, но не потерян Ахмад Муса, и она ждет.

Как тебя зовут, жена Ахмада Мусы? Как ты выглядишь? Какие у тебя глаза? Что ты делаешь? Как ты сумела окружить себя стеной длиной в тринадцать лет и ждать Ахмада Мусу? Как ты прожила всю эту жизнь? Тауфик говорит, что тебе надо поставить памятник. Он говорит, что видел тебя после того, как вышел из тюрьмы. Ему было не по себе, потому что он вышел, а Ахмад остался. Но ты вела себя с ним так, что он сразу же успокоился. Говорит, что ты спокойно улыбалась, спокойно подала ему кофе. Ты спросила об Ахмаде все, что можно было ожидать, кроме одного: выйдет ли он? Тауфик говорит, что ты из породы посвященных, из рода Астарты, которая оплакивала Адониса, пока он не ожил, или Изиды, которая, собрав тело Озириса, вернула ему жизнь.

Ты мне кажешься женщиной тех времен, которая умеет все: и сеять, и жать, и ждать. Ты живешь без родины, дочь своей земли, хочешь и ищешь хлеба, хочешь жить в доме, а не в лачуге из кусков жести, мечтаешь о детях, тепле, солнце и чистом воздухе.

Потом радио сообщило, что Джимми Картер вернулся к себе домой, увенчанный лавровым венком. Мирная миссия закончилась успешно. Диктор добавил, что в понедельник Египет и Израиль парафируют договор. «На следующий день,— продолжал он,— семьдесят шесть федаинов прибудут в Дамаск, чтобы затем отправиться к своим семьям».

Так это все и было. Анвар Садат поехал в Вашингтон. Ему устроили торжественную встречу — американские государственные деятели, публика, фотографы, пресса, радио всего мира. Эти превратили все в праздник. Ахмад Муса прибыл в Дамаск в числе тех семидесяти шести. Их встречали друзья и близкие... Мы быстренько уселись перед телевизором. Смотрели, курили. Мы не знали, кто из них Ахмад Муса. Каждого, кто появлялся, мы принимали за Ахмада Мусу. В конце концов, стало семьдесят шесть Ахмадов Муса! Некоторые из них выступали. Слова их были обычны: партизаны, тюрьма, пытки, физические и психические увечья, одиночество, освобождение Палестины. Передача закончилась. Мы зевнули, потянулись, встали. Еще раз поговорили о зверствах оккупантов, об Иерусалиме, о расистском государстве. Садат уже был в Вашингтоне, и его ожидали Картер и Бегин. Когда Ахмад Муса направился к своим товарищам в лагере Ярмук, три государственных деятеля направились в комнату для подписания договора. Когда Ахмад обнял первого из встречавших его, Садат обнял Менахема Бегина. На следующий день израильские пушки полили свинцовым дождем страну Адониса. К этому моменту Анвар Садат уже покончил с легендой о странствующем еврее. А Ахмад Муса нашел себе пристанище в лагере беженцев.

Между ними стена длиною в тринадцать лет.

Как встретились Ахмад Муса и его жена? Мы не знаем, мы, кто не знает ничего! Это трудно даже представить. Двое, отторгнутые друг от друга силой оружия и времени, вдруг встретились. Что они чувствуют, стоя друг против друга после тринадцати лет? Обычное стихийное чувство не для них, как и любовь, ставшая привычкой. Как он узнал ее, а она его? По блеску глаз? Родинке? Полным губам? Ямочке на щеке?

Скорее всего она пришла в замешательство. Всё в ней замерло. Она внимательно посмотрела на него и не увидела его. Она поняла, что между ними все еще та стена. Скорее всего она не знала, что де-

лать. И потому, что она ждала его тринадцать лет, она хотела подождать еще несколько минут — пусть он что-нибудь сделает.

Может быть, помимо ее воли слабая улыбка появилась у нее на губах. Может быть, слезы подкрались к ее глазам, увлажнили их, и его лицо задрожало у нее перед глазами. Может быть, она была Изидой или Астартой, наблюдавшей, как ее брат или любимый возвращается к жизни.

А он? Что он сделал? Как поступил? Он, которого забыло солнце, и он забыл его, как забыл воздух, деревья, простор, забыл, как тянется рука к лицу любимой. Он кинулся к ней или стоял, изучая лицо, вспоминая забытые черты, смывая с них отпечаток тринадцати лет? Когда Садат улыбался Менахему Бегину и фотографам, улыбнулся ли Ахмад Муса своей жене? Почувствовал ли, что это его жена, или что-то невидимое встало между ними как стена?

Может быть, он тоже понял, что между ними все еще та стена. Может быть, подавленные чувства и плоть вдруг бурно заговорили в нем, и он почувствовал, что, как Адонис и Озирис, он должен возвратиться к жизни, привыкнуть к ней, взрастить себя вновь, дать побеги и листья, научиться быть мужем и гражданином, человеком, который хочет жить, видеть детей, пыль, деревья. Начать в тридцать шесть лет жизнь, которую ему следовало начать в двадцать три.

Я сказал Тауфику, что должен увидеть Ахмада Мусу. Обязательно должен.

— Потерпи,— ответил он,— дай человеку время познакомиться с собственной женой.

— Нет, я должен увидеть его немедленно. Хочу посмотреть, как Озирис возвращается к жизни в век предательств.

Мы поехали в лагерь вместе. Шли по плану, который нам нарисовали. Подошли, как нам казалось, к его дому. Перед нами появились два мальчика лет десяти. Оба горячо спорили, размахивая игрушечными винтовками: ни тот, ни другой не хотел изображать врага в предполагаемом бою.

Увидев нас, они остановились. Молча оглядели нас, мы — их. Первый сказал:

— Вы приехали к Ахмаду Мусе? Он у врача.

— Не у врача, а в пекарне — покупает хлеб,— возразил второй.

— Нет, он у врача! Пошел туда два часа назад.

— Нет, он пошел в пекарню купить хлеба!

— Ты что, сумасшедший? Два часа в пекарне?

— Да, два часа! Там очередь! Не знаешь, что ли?

— Нет, нет и нет! Он у врача!

Мы с Тауфиком переглянулись.

4 февраля 1983 г.

МУЛУД АШУР (АЛЖИР)

Камень предков

Перевод с французского Н. СВЕТОВИДОВОЙ

Слишком поздно! Сколько раз я готов был кричать об этом! Хотя, пожалуй, в тот день мне ничего не стоило сесть в автобус, и ведь тогда еще было не поздно. Но я этого не сделал. И не потому, что был уже стар или мне было лень. Тогда еще я был молод. Просто не хотел. Не хотел, и все тут. Я попал в неволю к самому себе, став добровольным пленником того самого существо-

вания, которое ненавидел всей душой, оно внушало мне отвращение. Однако воспоминание о другой жизни, той, что предшествовала этому существованию, приводило меня в еще больший ужас, и мало-помалу дорогие мне лица стерлись в моей памяти, их вытеснили горести, выпавшие мне на долю там, за морем, да и вся эта проклятущая жизнь. Видно, надо мной и сейчас еще тяготеет проклятие.

— Да пребудет с тобой мое благословение, даже если моим усталым глазам не суждено больше увидеть тебя.

Так говорил мой отец, но в искренность его трудно было поверить: ведь я был первым из пятерых, кто покидал его. Слова, сказанные им на прощанье, когда я уже стоял на пороге дома, ставшего для меня чужим, запали мне в душу. Его благословение обернулось, видно, проклятьем, оно преследует меня всю жизнь.

Ну, а теперь? Теперь я все равно что одинокий старый сук на высохшем стволе, втягиваю в себя последние отравленные соки, которые медленно разрушают меня.

В маленьком легковом автомобиле, трясшемся по ухабам выжженной солнцем проселочной дороги, было три пассажира. Двое из них молодые — тот, кто с большой предосторожностью вел машину, и тот, кто сидел на заднем сиденье. Впрочем, последний был случайным попутчиком, он просто решил прогуляться.

И только третий пассажир, сидевший впереди, был лицом заинтересованным, ради него-то и совершалось путешествие. И по тому, как он с благоговейным восторгом взирал на все окружающее, чувствовалось, что для него это не просто прогулка на лоно природы — ничто не могло отвлечь его, вывести из глубокой задумчивости, скрывавшей какую-то тайну и словно отдалившей его от спутников с той самой минуты, как вместо асфальта под колесами машины оказалась проселочная дорога.

Очарование величественной панорамы, открывавшейся перед ними, трогало его до глубины души, помогая воскресить былое, мысленно вновь погрузиться в атмосферу прежней своей жизни.

Пока молодые люди беседовали о том о сем, мысли его, казалось, витали где-то далеко. Он не замечал ни изрытой горными потоками дороги, ни удушливой пыли, ни надоедливого рокота мотора, утомленного подъемом. Лишь телу его, обремененному собственной тяжестью, удавалось ускользнуть из таинственного мира воспоминаний. Оно как бы подтверждало, что жизнь в нем еще теплится, и вздрагивало от толчков, когда он в изнеможении откидывался на спинку сиденья.

На лице его лежала печать долгих лет жизни, по всей видимости нелегкой, и, верно, оттого оно казалось несколько суровым. Однако несмотря на явные признаки старости — взять хотя бы частую сеть морщинок в уголках глаз, особенно заметную, когда он моргал,— в нем чувствовалась не свойственная его возрасту сила.

Волосы, все еще густые на висках, поседели, а розоватая лысина увеличивала и без того огромный лоб, делавший его похожим на мыслителя.

Время от времени он машинально подносил к губам сигарету, которая часто гасла, и тогда он с отсутствующим видом все так же машинально зажигал ее снова. Только нервное пощелкивание старенькой бензиновой зажигалки и напоминало о нем его спутникам.

Роста он был высокого, и его согнутым ногам нелегко было умещаться в отведенном для них маленьком пространстве. Он был далеко не молод, но чистый европейский костюм хоть и не слишком элегантного покроя делал его моложавым.

— Кажется, это где-то здесь. Теперь уже недолго осталось.

Откуда ему было знать — ведь совсем недавно он признался, что не бывал в этих краях целую вечность! Но он, так ничего и не объяснив, вновь погрузился в небытие, из которого вынырнул на краткий миг, увидев перекресток двух дорог. Свои слова он подтвердил категоричным жестом. Хотя, по правде говоря, он и в самом деле не знал — ведь когда он уезжал отсюда, дороги вовсе не существовало. До шоссе он добирался горными тропами, по которым бродили мулы Но какой-то тайный инстинкт подсказал ему, что они на верном пути.

И пока водитель, присмиревший под воздействием тайны, окружавшей сидевшего рядом с ним человека, покорно вел машину по дороге, теперь уже не такой крутой, но не сделавшейся от этого лучше, тот смотрел сквозь стекло вниз, на долину, перечерченную белой линией высохшей реки.

Дорога шла вверх бесконечными зигзагами и, вероятно, вела к деревне, которая виднелась там, вдали, распластав над долиной двойной ряд прямоугольных крыш, крытых красной черепицей.

А кругом — густая листва, лишенная свежести, видавшая виды тусклая зелень дубовых лесов. Дома сгрудились, прижавшись друг к другу, словно для того, чтобы вернее отразить натиск леса, готового задушить деревню. Во всяком случае, так казалось.

Порой где-нибудь вдалеке полоска дороги вдруг исчезала из глаз, растворяясь в подвижном облаке мятущейся пыли, впереди которого вспыхивал время от времени неясный отблеск солнца, отражавшийся, видно, на кузове какого-нибудь автомобиля. Значит, там можно было проехать! Человек, сидевший рядом с водителем, прервал свои размышления, чтобы сказать ему об этом. Он хотел рассеять опасения, которые тому внушала ухабистая дорога.

Хосин, хозяин машины, и в самом деле струсил. А зная, как бережно он относился к предмету своих неусыпных забот, нетрудно было догадаться, что он уже сожалеет о том, что согласился поехать. Он все время вспоминал своего автомеханика, прикидывая, во что может обойтись ремонт машины при такой дороговизне, и дрожал при одной мысли о возможном проколе колеса или поломке рессоры. Автомобиль он вел крайне осторожно, внимательно следил за дорогой, то и дело поворачивая руль, чтобы объехать ее неровности.

— Здесь нужен джип! — твердил он, а странный пассажир, сидевший с ним рядом, старался по мере сил успокоить его:

— Теперь уже недолго. Посмотрите! Деревня совсем близко.

— Да, но обратный путь...

Однако тот его не слушал. Другой на месте молодого человека мог бы и обидеться, а он не обращал на это внимания или просто не подавал виду. Это был его сосед, и он достаточно много о нем знал, чтобы не принимать близко к сердцу его замкнутость.

Однажды Хосину довелось выслушать длинную историю жизни этого человека, тогда-то он и согласился предоставить в его распоряжение свой автомобиль и совершить с ним это далекое путешествие

Хотя надо сказать, история-то была самая обыкновенная. Представьте себе: человеку наскучило жить той жизнью, какой жили его предки, он устал. И решил уехать на чужбину. Так поступали многие его соотечественники. Однако и тут он повел себя не как все. Его не привлекала ни одна из тех профессий, которые выбирали себе обычно горцы, зарабатывая на жизнь в чужом краю. Более тридцати лет колесил он по Европе, потом все-таки вернулся на родину, но в родную деревню не поехал: оттуда давно уже не приходило никаких вестей ..

Но несмотря на то, что это было в порядке вещей — тогда ведь многие не могли примириться со своим существованием,— жизнь Ларби — ибо пора уже назвать его по имени — оказалась не такой, как у других. Ему довелось пережить истинную трагедию — трагедию одиночества, а ему-то мнилось, что он никогда не останется один.

У него была жена, были и дети. Много детей, которых он любил всей душой. И вот в один прекрасный день у него вдруг не осталось никого. Жена, бывшая ему верной спутницей целых тридцать лет, не сочла нужным последовать за своим мужем, который хотел вернуться к себе на родину. Дети, уже достаточно взрослые, чтобы самим решать свою судьбу, разрывались, не зная, зову какой крови следовать — крови отца или крови матери, и в конце концов покинули свое гнездо без оглядки, бросив престарелого родителя, словно корабль после кораблекрушения в безбрежных водах, и это в тот момент, когда ему почудилось, что он видит наконец остров, тихую гавань.

«Возвращение блудного сына...» Слова эти вызвали улыбку у Хосина, который внимательно слушал рассказ Ларби. Ему, верно, показалось смешным, что тот именует себя блудным сыном, а сам после сорока лет странствий благоразумно собирается вернуться в отчий дом. Однако в улыбке молодого человека таилось безмерное сострадание к этому человеку, который все потерял, решив, что сумеет легко прожить, отбившись от стада.

Присмотревшись к нему повнимательнее, Хосин понял, что его мучают угрызения совести, которые он всеми силами пытается скрыть. Однако ему это плохо удавалось. И Ларби вскоре оставил непринужденный тон, заговорив совсем по-другому: теперь в его словах слышалась горечь, беседа их стала более серьезной и в то же время более искренней.

Но за сорок лет столько всего произошло! Трудно было поверить в то, что отчаявшегося человека преклонных лет ждет где-то тихая гавань, к которой он так стремился. Тем не менее Хосин согласился отвезти его туда.

По мере того как они приближались к горному селению, чувствовалось, что Ларби все более нервничает, хотя лицо его по-прежнему ничего не выражало. Вот сейчас он приедет, и одному богу известно, что его ждет в этих местах, показавшихся ему вдруг враждебными. Когда-то он отрекся от этой земли, и будет только справедливо, если сейчас ему отплатят тем же. На что ему здесь надеяться? Ведь прошло столько времени, и все тут, верно, переменилось.

Но теперь он уже узнавал окрестности, где прошло его детство, припоминая то или иное название.

Мало-помалу лес вокруг дороги расступился. Справа пропыленные кусты протягивали гроздья черных тутовых ягод, виднелись ряды инжирных деревьев и черешни, а слева, отгороженные колючей проволокой, бегущей вдоль дороги, тянулись земельные участки, на которых, несмотря на полуденную жару, трудились крестьяне.

Да и навстречу стали попадаться люди. Время от времени какой-нибудь прохожий махал им рукой в знак приветствия, не проявляя, впрочем, особого интереса к незнакомым посетителям, просто из вежливости. И пока лицо его не исчезало из виду, растворившись в облаке пыли, неотступно следовавшем за машиной, Ларби пытался найти ему то или иное имя, но всякий раз безуспешно. Почему же он никого не узнавал, ну хотя бы людей своего возраста? Ведь они уже встретили двух или трех стариков, несомненно живших в этой деревне, однако лица их не вызвали в его памяти никаких имен. Это приводило его в отчаянье.

На одном из поворотов автомобиль чуть было не налетел на осла, который успел отскочить в сторону. Мальчишка, взобравшийся на седло, чтобы дотянуться до тутовых ягод, не уколовшись при этом о ветки кустарника, оказался, к счастью, проворным и благополучно спрыгнул на землю. Он не слишком-то любезно погрозил кулаком водителю, при его росте это выглядело комично. Хосин улыбнулся, а сидевший рядом с ним Ларби заметил:

— Прекрасный способ собирать тутовые ягоды, вы не находите?

— В его возрасте вы, конечно, поступали точно так же.

— Да. У меня до сих пор остался шрам на коленке. Но если бы вы отведали диких тутовых ягод, вы бы поняли меня. Они такие сочные.

Откуда ему было помнить кисловатый вкус этих маленьких черных ягод, которых он так давно не пробовал?

— Вы шутите! — возразил молчаливый пассажир, сидевший сзади.— Тут такая пылища, что они должны быть просто отвратительны на вкус, ваши тутовые ягоды.

— Чего я терпеть не могу у молодых, так это вашу неистребимую привязанность к городу. Она у вас, видно, в крови, и никто не в силах заставить вас полюбить тихую деревенскую жизнь, понять ее прелесть.

Они разговорились, Ларби стал вспоминать, как бродил здесь в детстве, и каждый поворот дороги пробуждал в нем все новые и новые воспоминания. В его рассказах сквозила грусть, чувствовалось, что Ларби провел здесь самые счастливые дни своей жизни. И Хосину пришло на ум, что психологи, должно быть, правы, утверждая, что в памяти пожилых людей с необычайной легкостью явственно оживают картины далекого прошлого, тогда как недавние события подернуты туманом.

У самой деревни дорога шла через кладбище. Множество могил и с той и с другой стороны. И новых, сверкающих мрамором и позолотой, и старых, со стертыми каменными плитами.

Прежде дорога проходила чуть отступя от кладбища. Но вот в один прекрасный день откуда-то появился бульдозер. Он проложил себе путь среди могил. Потом в развороченной земле находили останки, останки предков, которые решено было вновь захоронить в общей могиле. Никто не осмелился тогда поднять голос против этого кощунства, так как бульдозер оказался предвестником еще более жестоких событий.

Ничего этого Ларби не знал. Просто ему хотелось начать свои поиски с кладбища, ибо он чувствовал, что среди живых осталось не так уж много свидетелей его прошлой жизни.

В верхней части кладбища находилась довольно большая площадка с рядами одинаковых могил, судя по всему, недавних, а в центре ее возвышался пирамидальный памятник с мраморными досками на всех четырех сторонах. На них в два ряда золотыми буквами были высечены бесконечные списки имен. Ларби уже случалось видеть такое в других местах — то была память военных лет. И он решил начать свои поиски отсюда.

Ему не удалось отыскать могил своих братьев. Но на памятнике значились четыре одинаковых фамилии одна за другой, и рядом с каждой из них — разные даты и возраст. Хосин, тоже заметивший это, увидел растерянность на изможденном лице Ларби. Светлые глаза как-то странно блестели под стеклами очков. Впрочем, его фамилия повторялась в списке так часто, что казалось, будто вся деревня состоит из членов одной семьи.

Как бы отвечая на его вопрос, Ларби заговорил сам:

— Рассказывают, будто деревню эту основал мой прадед. И вполне понятно, что, защищая ее, погибли многие мои родичи. Когда-то прадед положил здесь камень, вокруг которого и были построены все эти дома. Да, все они защищали свою честь...

Затем Хосин услышал, как Ларби шепчет про себя: «Паршивая овца...» и еще какие-то несвязные слова, потом увидел, как он пошел прочь от этих славных могил, еще более сгорбленный, чем обычно, и молодой человек понял, что надо оставить его, дать побыть одному.

Ларби исходил из конца в конец все кладбище, но нигде не нашел могилы отца. Из-за дороги все сместилось, поэтому ему не удалось отыскать даже могилу матери, хотя он хорошо помнил, где она находилась, ведь копали-то ее при нем. Правда, это было так давно. И несмотря на все свои старания, он так и не сумел найти ее.

Ларби покинул свою деревню через несколько недель после смерти матери. Да как было поступить иначе? Смириться с тем, что чужая женщина будет хозяйничать там, где ему все еще мерещился образ матери? Этого он вынести не мог. Остальные его братья были еще слишком молоды, сестры замужем. Он предпочел бежать, если бы он знал, что из этого выйдет! Он осмелился судить отца — и сам стал изгоем, отщепенцем, под предлогом добровольного изгнания он попрал законы, по которым с незапамятных времен жили его предки.

Он вновь и вновь перебирал в памяти былое, и на пустынном кладбище в сознании его перемешалось все — воспоминания близкие и далекие, он сопоставлял чересчур поспешную женитьбу отца на другой женщине и свой собственный брак с чужестранкой...

Когда он вернулся к машине, спутники его сразу поняли, что первое соприкосновение с истоками глубоко потрясло его. Но они не догадывались, что в глубине души он принял бесповоротное решение. Нет! Ни за что не станет он искать здесь пристанища в старости. Ему довелось пережить одно изгнание, теперь предстоит другое.

Пожилая женщина спускалась по узкой улочке, ведущей из центра деревни к маленькой площадке, расположенной на самой окраине. Жара спала, и она, видимо, направлялась к роднику.

На спине она несла длинный пузатый кувшин из ярко раскрашенной глины, подвязав его снизу предназначенным для этой цели широким поясом. В правой руке она держала голубое пластмассовое ведро. Возвращаться ей будет нелегко: ноша тяжелая, а женщина казалась изможденной.

Теперь уже можно было различить детали ее когда-то яркой, а теперь выцветшей одежды: полосатую домотканую кофту, наброшенную на длинное, до пят платье с широким узорным корсажем, черный платок с бахромой, из-под которого выбивались пряди непрокрашенных у корней хной волос.

Шла она босиком, но растрескавшиеся ступни ее ног настолько задубели, что не хуже любой подошвы защищали ее от колючек.

Такую одежду носили почти все женщины в этих краях, разумеется, в зависимости от возраста. И Ларби подумал, что в конечном счете жизнь здесь не так уж сильно переменилась.

Пожилая женщина подходила все ближе. Кто это там стоит у камня? Стыдливость повелевала ей отказаться на сей раз от привычного жеста, усвоенного с самого раннего детства: обычно, проходя мимо, она протягивала к камню предков руку ладонью вверх, затем подносила ее к губам и с трепетом целовала.

Рассказывали, будто основатель деревни и в самом деле притащил сюда кусок сланца в знак продолжения своего рода и положил его здесь в назидание потомству. Вскоре вокруг появились первые дома, деревня быстро разрасталась. Потом уже камень водрузили на цоколь, и он стал символом, своего рода памятником.

Говорили, будто он обладает даром возвращать в деревню даже тех ее сыновей, что покинули ее давным-давно.

Кула безоглядно верила во все это, а когда ей удавалось скопить немного денег, покупала свечку и приходила сюда, чтобы поставить ее в углубление камня, надеясь на осуществление своего заветного желания, о котором никогда никому не рассказывала, это была тайна ее жизни, она сохранила ее до седых волос.

Да, Кула верила, твердо верила с тех самых пор, как развелась с мужем, что Ларби когда-нибудь вернется. Она прождала много лет,

и все напрасно. Ну что ж, если надо, она будет ждать до самой смерти. Красота ее давно увяла, зато молодость все еще жила в ее сердце. Она ревностно хранила ее для него.

Их было четверо возле камня. Двое из них, молодые, судя по одежде, горожане, стояли с равнодушным видом. Зато третий, одетый так же, как они, но выглядевший намного старше, о чем-то оживленно беседовал со старым деревенским хаджи [1]. Он стоял, облокотившись на цоколь, где лежал камень. Должно быть, они приехали в черном автомобиле, который поблескивал на солнце.

Она прошла в нескольких шагах от них, собираясь поздороваться, но тут хаджи ее окликнул:

— Кула! Ты-то, верно, знаешь, где могила Саади... Вот его сын, вернулся-таки к нам после стольких лет странствий! Он хочет увидеть могилу матери...

Куле почудилось, будто ее усталое сердце вот-вот разорвется, в груди у нее что-то екнуло, она задрожала всем телом.

— Стало быть, ты услышал зов камня. Я знала, знала, что ты вернешься. Добро пожаловать.

Ларби вспомнилась Кула, ее свежее юное личико, обещавшее ему столько счастья, маленькая кузина, его нареченная, сначала делившая с ним детские игры, а потом прятавшаяся от него всякий раз, как они встречались. Ведь она не сомневалась, что в один прекрасный день станет его женой.

Ему показалось, что Кула не так уж сильно изменилась. Может, оттого, что сам-то он тоже состарился?

Разговорившись, они направились в сторону кладбища. Они говорили об угасавшем роде, о людях, которые умерли от старости, и о молодых, которых не пощадила война. Они вспоминали тех, кого знали, тех, кого провожали в далекий путь, и тех, кто провожал их самих — его в сорокалетнее изгнание, а ее в другую деревню: с отчаянья она согласилась на замужество, которое длилось недолго. Да, это было волнующее зрелище: два старых человека брели рядом и в каждом из них оживала молодость ради другого...

Хаджи возвращался в свой излюбленный тенистый уголок возле мечети. Кула торопилась к роднику, то и дело оглядываясь назад, словно что-то оставила там, машина разворачивалась на деревенской площади, собираясь в долгий обратный путь. И Хосин нисколько не удивился, когда Ларби вдруг сказал, обращаясь к нему:

— Через неделю, Хосин, мы снова проделаем этот путь. Только обратно тебе придется ехать без меня.

ГАМАЛЬ АЛЬ-ГИТАНИ (ЕГИПЕТ)

Отель

Перевод с арабского А. КИРПИЧЕНКО

В последние месяцы всеобщее внимание привлекали многочисленные объявления и сообщения о предстоящем Египетском международном кинофестивале. Согласно объявлениям, фестиваль должен был проходить под патронажем отеля «Тэ-Тэ». «При чем здесь отель? — удивлялись многие.— Какое от-

[1] Хаджи — человек, совершивший паломничество в Мекку (*прим. перев.*).

ношение имеет он к фестивалю, именуемому Египетским? И зачем вообще нужен какой-то патронаж?» Когда им отвечали, что все это, мол, делается в целях рекламы, они удивлялись еще больше: неужели мало рекламы?! И так на каждой улице натыкаешься либо на вывеску с названием «Тэ-Тэ», либо на ресторан, принадлежащий «Тэ-Тэ», либо на молодых людей и девиц в майках с эмблемой «Тэ-Тэ», либо на киоск, в котором торгуют мороженым «Тэ-Тэ».

Один писатель поделился своей тревогой по поводу шумихи, поднятой вокруг фестиваля, но тут же подвергся дружной критике со стороны своих собратьев по перу, а некий высокопоставленный чиновник в разговоре по телефону со своим коллегой высказался в том духе, что люди, подобные этому писателю, дискредитируют Египет. Некий литературный критик написал в газете, что одна лишь реклама, которую делает фестивалю международная пресса, поднимет престиж Египта. Апогеем будет, конечно, публикация в «Ньюсуик», журнале, выходящем десятимиллионным тиражом,— в день открытия фестиваля он посвятит ему четверть полосы. Не говоря уже о том, что пресса, принадлежащая концерну «Тэ-Тэ», выпустит специальные номера о фестивале.

Один знаменитый киноактер, беседуя в клубе «Тэ-Тэ» со знаменитым продюсером, заявил, что пришло наконец время и Египту войти в число стран, организующих международные кинофестивали. Другая звезда экрана в узком кругу бросила реплику: египетской публике хватит и того, что она увидит вблизи бюст Клаудии Кардинале и глаза Алена Делона.

Заведующий отделом внешних сношений компании «Тэ-Тэ» сделал заявление для печати (разослав его во множестве копий в редакции газет, высокопоставленным чиновникам, администраторам крупных компаний, некоторым известным врачам, директорам клубов и иностранных школ и даже отдельным учащимся и студентам), в котором указал, что идея фестиваля нашла широкую поддержку в кругах общественности, и заверил, что фестиваль состоится в намеченные сроки.

Народ удивлялся, пожимал плечами в недоумении, многие сокрушенно качали головами. По правде сказать, началось-то все задолго до фестиваля, если уж быть точным — в первой половине шестидесятых годов, когда этаж за этажом стал вздыматься вверх железобетонный каркас отеля. Никому не удавалось сосчитать, сколько их было, этих этажей: доходили до тридцать второго или пятьдесят четвертого, а потом сбивались со счета, глаз терялся в переплетениях строительных лесов. Наконец леса убрали, и всем взорам открылось ослепительно-белое с примесью светло-голубого здание. Оно было видно с любого места в Каире. Стоя возле мечети аль-Азхар, ты мог видеть его величественный силуэт, возвышающийся рядом со спортивным клубом Гезира, а жители таких отдаленных предместий, как Айн Шамс и Гелиополис, наблюдали за строительством прямо со своих балконов. Даже гуляющие в парке аль-Канатир, в окрестностях Каира, видели на горизонте здание отеля. Говорили, что архитектор, который его проектировал, специально позаботился о том, чтобы никакие высотные здания, построенные в будущем, не могли заслонить отель.

Все время, пока продолжалось строительство, предприятия страны работали с полной нагрузкой. Если бы какому-нибудь специалисту пришло в голову поинтересоваться производимой продукцией, то он обнаружил бы, что львиная ее доля предназначена для «Тэ-Тэ». На отель работали предприятия, производящие кондиционеры. В ковроткацких мастерских вручную изготавливались нужных размеров ковры из специально импортируемой шерсти оранжевого цвета. Фабрика в Даманхуре полностью переключилась на ковровые дорожки для коридоров — их требовалось несколько десятков тысяч метров.

Стекольные заводы, заводы металлоизделий были заняты изготовлением посуды, пепельниц, столовых приборов, дверных ручек, ванн и унитазов.

Было известно, что компания заинтересована в приобретении большей части оборудования на местном рынке из-за дешевизны местного сырья и рабочих рук. Но кое-что: подушки, матрасы, люстры, музыкальные колокольчики, цветной мрамор, часть фарфоровой посуды, а также серебряные сервизы, предназначенные для приема особо именитых персон,— ввозилось из-за границы.

В начале семидесятых годов пресса сообщила о расширяющихся масштабах деятельности концерна «Тэ-Тэ». Публика узнала о строительстве отеля «Тэ-Тэ» на Бахрейне, увидела фотографии отелей «Тэ-Тэ» в Бирме, Нью-Йорке, Бонне, Сиднее. Каждый отель напоминал маленький город. В рекламном объявлении о дакарском отеле «Тэ-Тэ» говорилось, что отель располагает собственным поездом, перевозящим клиентов в разные районы Сенегала. Гонконгский «Тэ-Тэ» владел мощной телевизионной передающей установкой, а также имел собственный аэродром и свою полицию, явную и тайную. Директор сиднейского отеля взял за правило еженедельно устраивать пресс-конференцию, в ходе которой он излагал свой взгляд на различные международные и местные проблемы, а иногда угрожал прекратить оказание компанией «Тэ-Тэ» помощи некоторым малым и бедным странам. Тегеранский «Тэ-Тэ» вел огромных масштабов работы по раскопкам древних памятников Ирана и кроме того участвовал в снабжении страны продовольствием.

Затем в газетах начали появляться рекламные объявления на четверть полосы, состоящие всего из двух слов: «Тэ-Тэ». Это продолжалось десять дней. Потом к двум словам добавилось еще три: «Внимание, «Тэ-Тэ» в Каире». Через две недели произошла рекламная сенсация: все полосы всех газет были заняты рекламой «Тэ-Тэ». Это было беспрецедентно. «Аль-Ахрам» была вынуждена для публикации местной и международной информации издать приложение на двух полосах. Один профессор университета во время лекции, не удержавшись, спросил, что бы все это значило.

В тот вечер над зданием отеля зажглась громадная синяя неоновая вывеска, а над ней — ряд красных лампочек для предупреждения самолетов. Эта вывеска стала одной из главных примет Каира, ее запечатлели все фотографии, снимаемые из космоса искусственными спутниками двух великих держав. А пилоты всех самолетов, подлетающих к Каиру, стали по внутреннему микрофону уведомлять пассажиров: «Обратите внимание, справа вы можете видеть здание отеля «Тэ-Тэ». Говорили, что за эту фразу им хорошо платят.

В день торжественного открытия каирского «Тэ-Тэ» директор отеля в своей речи заявил, что компания видит свою миссию в укреплении уз, связующих мировое сообщество. Ее лозунг: «Тэ-Тэ» в каждой стране». Директор выразил свое восхищение памятниками египетской древности и пообещал уговорить международный административный совет на его ближайшем заседании поместить фотографию пирамид на обложке ежегодно издаваемого рекламного бюллетеня.

После открытия отеля две газеты, «Аль-Ахрам» и «Аль-Ахбар», ввели ежедневную колонку «Дневник «Тэ-Тэ», в которой публиковалась хроника о приезде, пребывании и отъезде останавливающихся в отеле персон, о проводимых в нем конференциях, банкетах, свадьбах, о фильмах, демонстрирующихся в его кинозалах, и спектаклях, представляемых на его сценах.

Эта хроника была, собственно говоря, единственным источником сведений о том, что делалось в отеле. Из нее можно было почерпнуть некоторые подробности, например, что в отеле — семь плавательных бассейнов, один из которых, находящийся на шестом этаже, окружен большим искусственным садом; что отель располагает четырьмя кон-

ференц-залами, оснащенными аппаратурой для синхронного перевода, а также семнадцатью банкетными залами, из которых ни один не похож на другой, несколькими ночными барами, казино и кинозалами; что на пятидесятом этаже находится небольшой каток с искусственным льдом, маленький оперный театр, а на крыше оборудована площадка для посадки вертолетов.

Вот и все, что было известно. Но, разумеется, даже человек, живущий в отеле, не мог бы осмотреть все его помещения и изучить все достопримечательности. По-видимому, разговоры о том, что большинству служащих «Тэ-Тэ» запрещается покидать свои рабочие места, относятся к области преувеличений. Но достоверно, что зарплата у них высокая. Ходили даже слухи, что какой-то заместитель министра подал в отставку со своего поста и устроился в отель на должность машинистки (причина, конечно, в том, что должность замминистра в последнее время девальвировалась — в каждом министерстве по сорок — пятьдесят замов).

Постепенно «Тэ-Тэ» стал излюбленным местом времяпрепровождения высших слоев общества, весьма довольных тем, что установленные там цены делали отель недоступным для прочих людей. Элита покинула кафетерий «Хилтона» после того, как там стали появляться все, кому не лень. Дошло до того, что в «Хилтоне» видели студентов с их подружками и мелких чиновников с усталыми лицами и несвежими воротничками. Такого рода типы проникли даже в гостиницу «Меридиан», тоже недавно построенную и тоже с безумными ценами. Они оказались вхожи туда благодаря практике разных фирм и компаний устраивать официальные обеды по случаю приезда иностранных специалистов. Бывает, одного приезжего специалиста являются чествовать пятьдесят чиновников, и все так и шарят глазами по блюдам со всякой снедью, которыми уставлен стол.

В «Тэ-Тэ» минимальная цена заказа — семь долларов, и установлен определенный порядок обслуживания — каждый час следует брать новый напиток. Со дня открытия еще не было случая, чтобы в отеле пустовал хоть один столик, заказывать места надо было предварительно. Каждую ночь все залы переполнены. Семьи, которые праздновали здесь свадьбы своих сыновей и дочерей, быстро приобрели известность. Они даже на визитных карточках специально помечали, что свадьба их состоялась в «Тэ-Тэ». Администрация гостиницы строго следила за тем, чтобы никто не подделывал карточек с целью упрочить свое положение в обществе или облегчить себе ведение дел. В богатых семьях часто случалось, что папаша или мамаша ставили претендентам на руку дочери условие: свадьба должна играться в «Тэ-Тэ». Мало-помалу в обществе образовался «круг «Тэ-Тэ». Анализируя новое явление, некоторые политические организации называли этот круг прослойкой, другие — классом. Если семья хотела попасть в эту прослойку или класс, все члены ее обязаны были регулярно посещать «Тэ-Тэ» и праздновать там свои свадьбы. Завсегдатаям предоставлялось право за половинную плату летать самолетами «Тэ-Тэ» и плавать на пароходах компании. Им также разрешалось носить значок оранжевого цвета, по которому они легко узнавали друг друга в любой части света.

Деловые люди, капиталы которых заметно округлились за последнее время, привыкли заключать свои сделки в «Тэ-Тэ». Приглашение отобедать в отеле, направленное партнеру, служило наилучшей гарантией прочности финансового положения приглашающего.

Дети завсегдатаев привыкли играть в садах «Тэ-Тэ», где аттракционы сменялись каждые полчаса. А родители с нетерпением ожидали дня, когда «Тэ-Тэ» получит разрешение открыть в стране филиалы своих начальных и средних школ. Своя публика образовалась и на театральных представлениях. У «Тэ-Тэ» несколько трупп, гастролирующих в разных городах мира. Если, скажем, труппа китайской

оперы выступает на этой неделе в Каире, то на следующей она отправится в «Тэ-Тэ» Туниса, а в Каир вместо нее приедет другая. Это не значит, что у каирского «Тэ-Тэ» нет постоянной труппы. Местный фольклорный ансамбль дает представления ежедневно. Администрация обещала, что он также будет гастролировать по всему свету, и внесла тем самым свою лепту в повышение международного престижа египетского фольклора. Подписаны также контракты с двумя известнейшими египетскими танцовщицами, которые должны жить прямо в отеле и выступать каждый вечер.

В середине этого года, до того, как заговорили о кинофестивале, в колонке «Дневник «Тэ-Тэ» появилось сообщение, что администрация отеля решила выделить для уборки городских улиц несколько новеньких машин, импортированных из штата Виргиния. Известие было встречено с удовлетворением. Говорили, что это еще не все, что от «Тэ-Тэ» ожидаются и другие дары. Вскоре жители прилегающих к отелю районов привыкли каждое утро видеть на улицах оранжевые машины, которые пластмассовыми хоботами втягивали пыль и мусор, а затем подметали асфальт огромными круглыми щетками. Где-то в то же время появилось сообщение — всего одна строка — о заседании подготовительного комитета по проведению Египетского кинофестиваля. Никто не придал этому значения, решили, что в отеле состоится лишь заседание комитета.

Через несколько дней было объявлено о введении специального автобусного рейса для доставки пассажиров с аэродрома в отель. Желая способствовать разрешению транспортного кризиса, компания согласилась, чтобы автобусом пользовались и рядовые граждане, платя за билет один доллар. Эти автобусы обращали на себя внимание роскошным видом. Один известный певец сказал, что мечтает видеть такими же все каирские автобусы. Директор «Тэ-Тэ» незамедлительно созвал пресс-конференцию и поспешил заверить всех собравшихся, что мечта художника близка к осуществлению — «Тэ-Тэ» как раз намерена представить в министерство путей сообщения, в каирский муниципалитет и в другие инстанции подробно разработанный проект сети автобусных линий, которые надежно свяжут между собой все концы города. «Тэ-Тэ» готов также обеспечить реализацию проекта своими специалистами-транспортниками. Ответственные сотрудники городских служб были приглашены в отель на ленч. Заодно им была продемонстрирована превосходная организация движения на улицах, прилегающих к отелю — к нему ежедневно подъезжает четыре или пять тысяч машин, и это не создает никаких осложнений.

Один писатель квалифицировал все происходящее как неприличное вмешательство во внутренние дела страны и угрозу общественному спокойствию. Шеф службы внешних сношений «Тэ-Тэ» отпарировал заявление писателя, сказав, что его оно не удивляет, так как цвет этого писателя, так же как и цвет его импортированных идей, хорошо известен. Что же касается компании «Тэ-Тэ», то ее помыслы направлены на то, чтобы помогать людям решать их проблемы.

Пожалуй, более всех остальных размахом деятельности «Тэ-Тэ» были поражены владельцы местных гостиниц, сосредоточенных в районе Баб аль-Хадид, улицы Клот-бей и вокруг мечети святого Хусейна. В их понимании гостиница — это место, где приезжие люди проводят ночь. Некоторые держали при гостинице и ресторан, но скорее в порядке исключения. Большинство владельцев гостиниц посылали за обедом для постояльцев в близлежащие рестораны и харчевни. Хозяин гостиницы «Дар-ас-Салам» в Хусейнии, делясь воспоминаниями, рассказал, что первой гостиницей, которая завлекала клиентов не только возможностью устроиться на ночь, был так называемый «Современный клуб» — в 1910 году в нем было оборудова-

но помещение для демонстрации немых кинофильмов. Но продолжалось это недолго.

Владельцы отелей первого разряда тоже не скрывали своего изумления предпринимательским масштабом «Тэ-Тэ», по этажам которого иностранные министры бродили как простые смертные — никто на них и не глядел, поскольку были жильцы поважней. Некоторые граждане задумывались над вопросами, какие же суммы тратятся ежедневно в отеле? Сколько судеб решается в его залах? Сколько сделок заключается? Одному режиссеру пришла идея сделать фильм, действие которого происходит в «Тэ-Тэ». Но выяснилось, что администрация имеет собственную киностудию, которой и принадлежит исключительное право съемки в интерьерах отеля.

Однако объявление о том, что кинофестиваль, носящий название Египетского, будет проходить под патронажем «Тэ-Тэ», было подобно капле, переполняющей чашу. Тем более что одновременно распространились слухи о предполагаемом издании газеты «Тэ-Тэ» и строительстве при отеле автовокзала — поскольку деловые люди жалуются на местный транспорт и администрация, движимая желанием помочь официальным властям, решила облегчить лежащее на них бремя.

Тех, кто высказывал недовольство по поводу фестиваля, директор отеля предупредил, что он знает их сущность и не замедлит раскрыть ее публично.

Это вызвало шум. Однако приготовления к фестивалю продолжались. Повсюду появились рекламные щиты, некоторые в форме кинокамер. На огромной арке, воздвигнутой рядом с отелем, был повешен киноэкран, на котором демонстрировались отрывки из фильмов. Посмотреть их собирались толпы народа. Это вынудило управление транспортной полиции обратиться к администрации «Тэ-Тэ» с официальным письмом, требующим либо убрать арку, либо прекратить показ фильмов. Директор ответил, что он получил специальное разрешение от управления городского хозяйства. Что же касается толпы, то ее можно разогнать с помощью сил безопасности. Он как раз намеревался посоветоваться по этому вопросу с ответственными лицами. Вечером накануне открытия фестиваля директор отеля разослал письма во все инстанции и провел серию личных встреч, договариваясь — как стало известно позже — об усилении полицейских нарядов вокруг «Тэ-Тэ» и о том, чтобы улицы, непосредственно примыкающие к отелю, охранялись силами его собственной полиции.

Необходимость всех этих мер была вызвана одним происшествием, случившимся утром того же дня. На узкой, тихой боковой улочке рядом с «Тэ-Тэ» был найден труп мальчика с тонкой шеей, с резко обозначенными скулами, с выпирающими ребрами, одетого в ветхую рубаху. По-видимому, он пришел в Каир из какой-нибудь деревни. Рядом с ним валялся сделанный из платка узелок с остатками кукурузной лепешки, куском старого сыра, луковицей и пакетиком соли, смешанной с тмином. В узелке был найден также автобусный билет стоимостью в один пиастр. В правой руке мальчик сжимал бумажку с адресом, разобрать который было невозможно, так как написанные карандашом буквы почти стерлись. Левая рука обвязана другим платком, а за него засунуты бумажка в пятнадцать пиастров и старый треугольный амулет. Мальчик был бос и не имел на теле никакой теплой одежды. Как решил осмотревший труп врач, скорее всего, он просто замерз.

В каком положении оказалась бы администрация, если бы кто-то из постояльцев увидел труп?

Как оправдалась бы «Тэ-Тэ» перед участниками фестиваля, случись кому-либо из них наткнуться на него?

■

АСАДУЛЛА ХАБИБ

Перевод с языка дари и вступление АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА

В мае прошлого года вместе с моими товарищами по перу — таджикским поэтом Лоиком Шерали и армянским романистом Михаилом Шатиряном я побывал в Афганистане. Вероятно, именно там я по-настоящему почувствовал поэзию Асадуллы Хабиба, которую и представляю сейчас на суд читателей. Познакомившись с ним еще в Москве, я увидел, что Асадулла — человек тонкий, внутренне собранный, твердый в своих принципах. Но первое впечатление от поэта — это еще не пропуск в мир его образов, тем, настроений, в тот мир искренней и тревожной поэзии, которая зачастую рождается в трагических ситуациях, в минуты потерь и гнева. И когда я прочел подстрочные переводы стихов Асадуллы, выполненные специалистами по языкам и литературе Афганистана Л. Н. Киселевой и Х. Бехрузом, в душе моей уже хранились впечатления и воспоминания о его родине, о моих новых афганских друзьях, о тех встречах, что ждут еще своего осмысления и своего рассказа.

Я проникся симпатией к простым людям Афганистана, делающим революцию и отстаивающим ее. Я узнал поэтов — молодых, красивых людей — Абдуллу Наиби и Муджавара Ахмада Зияра, для кого поэзия — прежде всего борьба, прежде всего выбор и бесстрашие. Там, в Афганистане, все перемешалось — как когда-то было и у нас в России,— перемешалось новое и старое, доброе и злое, надежда и горе, ибо нарождается новый мир. И поэты Афганистана пишут об этом. Они пытаются сохранить и в себе, и в художественном слове эти долгие мгновения перемен и борьбы, когда искренность и убежденность поэзии проверяются не только выбором темы и яркой метафоры, но и самой жизнью.

Асадулла Хабиб — лирик. Его мужественная поэзия философична, активна и гражданственна, его лирический герой близок советскому читателю своей открытостью, тонкостью души, непримиримым отношением ко злу, к врагам, четкостью поступков.

Не знаю, удалось ли мне передать поэтический мир Асадуллы Хабиба, но когда я переводил его, перед моими глазами вновь вставали суровые горы Афганистана, шум кабульских базаров, суровые и добрые лица дехкан, улыбки друзей. Я вновь услышал красивую непривычную речь и вспомнил прошлую весну.

Прощание

Мама, не плачь.
Перед разлукой не разрывай
Мое сердце печалью.
Не умоляй меня взглядом остаться.
Я боюсь твоих слов,
Я боюсь твоих слез,
Потому что разлука с тобою горька.
Пусть печальные вздохи
Прервет поцелуй...

И прощальным своим поцелуем
Подари мне решимость
Расстаться с тобой.
Дай мне мужества на дорогу
И прости, что рискую собой.
Я спешу на Великое дело,
Унося в своем сердце тепло твоих рук.
Там, где кровью алеет родная земля,
Где бушует огонь и где плещется ярость,
Ждут меня и мой долг, и друзья.

Но однажды я снова к тебе возвращусь.
И придет вместе с нами победа.
Ну, а если меня принесут на руках —
Оставляю тебе два завета:

Если в грудь меня ранят смертельно —
Не плачь... Я навеки останусь с тобой.
Если в спину враги свою пулю пошлют,
Прокляни меня —
Словом, забвеньем и болью.

Наставление старца

Из преданий о гератском шейхе Абдулле Ансари

Однажды утром прискакал гонец
К отшельнику, живущему в пещере.
— Послал меня к тебе великий хан.
Он ждет тебя и выслушать намерен.

Спеши предстать перед лицом его.
И в дар ему вручи свой ум великий.
Выслушивать советы мудрецов —
Любимое занятие владыки.

Но старец не послушался гонца.
— Мне этот путь,— сказал он,— слишком труден.
Кто голову склоняет во дворцах,
Не может добрых дать советов людям.

Предчувствие бури

Море тревожится, море вздыхает,
Что-то бормочет, о чем-то грустит.
Ветер над ним то шумит, то стихает.
Море роняет волну на гранит.

Берег поет свою песню негромко.
Запахом роз наполняется сад.
Над горизонтом, над самою кромкой
Звезды лучами неслышно скользят.

Волны несут свои думы на берег.
Гордо утес над водою стоит.
Он-то в себе бесконечно уверен,
Как умудренный годами старик.

Море минуту свою выжидает,
Копит вдали свою силу волна.
И заиграет в ней стать молодая,
Будто бы душу раскроет до дна.

И содрогнется утес величавый.
Яростный гром все вокруг оглушит.
Птицы от страха попрячутся в травы.
Сад, под дождем потемнев, задрожит.

И, раскрываясь во всей своей силе,
Море утес наконец сокрушит.
А поутру — в той же ласковой сини —
Тихо уронит волну на гранит.

Слово к матери

Когда ночами я сижу за книгами
И в комнату мою глядятся звезды,
Ты робко говоришь мне из-за двери:
— Усни, сынок, усни... Уже так поздно.

И каждый раз я лгу, что мне не спится.
И шелестом страниц я стыд свой заглушаю,
Ведь ты из-за меня вновь не уснешь сегодня.
И между нами ночь — как чья-то тень чужая.

Но должен взять я этот клад бесценный,
Что спрятан в книгах... Я в тебя — упрямый.
Иначе потерплю я пораженье.
Прости мое упорство, мама.

Я знаю — эти ночи, что мы вместе,
Нас отделяют друг от друга снова.
И я терзаюсь нашим отчужденьем,
Когда ты смотришь на меня сурово.

Ты — словно солнце на закате дня...
Покоя хочешь от забот вчерашних.
Я — как свеча у изголовья ночи —
Хотел бы свет пролить на землю нашу.

Я столько в детстве задавал вопросов!
И вот настала очередь твоя:
Ты спрашивай меня о новой жизни.
Теперь на все тебе отвечу я.

Я рос, как виноградная лоза.
Меня взрастила ты и воспитала.
Но время поменяло нас местами —
И мудрости былой уже мне мало.

Мечта лозы — быть соком виноградным,
Чтобы кого-то обогреть в ночи.
Я стал вином... Пролей меня на землю.
У ног своих...[1] И прах им омочи.

[1] По народному обычаю полить землю у чьих-то ног значит выразить глубокое почтение. *(Прим. Л. Киселевой.)*

Пастух

Медленно догорает
Солнце в пустынном небе.
Возле бедняцкой юрты
Страшно лежит пастух:
Скручены за спиною
Руки его большие.
Черной веревкой смерти
Ноги опутал враг.

Крепко он стиснул зубы,
Чтобы сдержать проклятья.
Боль на лице страдальца.
Ярость в глазах его.
И выползают змеи,
Норы свои покинув,
И выползают змеи,
Чтоб разделить с ним ночь.

Солнце спустилось в бездну.
Вспомнил пастух невольно,
Как он совсем недавно
Счастлив и весел был.
Песней своей негромкой
Славил он дым селений
И кобылиц бесстрашных
Теплое молоко.

Да, это он — дехканин —
Плоть своего народа.
С ним он делил невзгоды,
Гордость его делил.

Помнит он, как недавно
Добрые уши юрты
Слушали на рассвете
Песню его души.

В травах заря купалась.
В травах стихала песня.
Бедность свою дехканин
Песнями веселил.
Вот он лежит у юрты,
Черной веревкой смерти,
Свитой из конской гривы,
Связанный, словно куль.

Ноет спина от боли.
В горле клокочет песня —
Горькая песня смерти.
Ярость ее поет.
А по степи зеленой
Стадо бредет куда-то,
Стадо бредет уныло,
Осиротевши вдруг.

Медленно догорает
Солнце в пустынном небе.
И выползают змеи,
Чтоб разделить с ним боль.

Утренняя звезда

Москва, 1972 г.

Идущий путник видит в небе звезды.
Одна из них пылает ярче всех.
Как будто для него она пылает.
И он с надеждой снова смотрит вверх.

В степи пустынной только шелест ветра.
Но путник слышит сквозь ночной туман:
Звучит призывно где-то колокольчик,
Из стылой тьмы выходит караван.

И кажется ему, что не звезда сверкает,
А чье-то сердце бьется в небесах.
И небо держит сердце, словно факел,
Чтоб ночью людям был неведом страх.

А может быть, звездою безымянной
Взошло над миром сердце Спартака?
Далекое — как память о любимой,
Бесстрашное — как мужество клинка.

А может, это сердце Че Гевары?
Оно взошло в недавние года...
И чтоб светилось имя Революции —
Горит его великая звезда.

О, сколько звезд на синем небосклоне!
О, сколько жизней светится в ночи!
Пылающее сердце патриота
На землю шлет бессмертные лучи.

Восходят звезды над планетой нашей,
Приходят к людям пылкие сердца:
И сердце вдохновенного поэта,
И яростное сердце храбреца.

И в тех лучах сердец неугасимых
Идем с тобой то в стуже, то в пыли.
Быстрее, друг! Пройдем свою пустыню...
Я слышу звон колоколов вдали.

Самарканд

О, Самарканд! Где ныне твой Тимур,
Когда-то смерчем по земле прошедший?
Своих врагов сжигавший на кострах
И не жалевший ни детей, ни женщин?

В какой земле ржавеют копья те?
В какие дали улетели стрелы?
Где воины, взошедшие травой?
Где пленницы, что их в походах грели?

От славы той остались купола.
Земля свои долечивает раны.
И утвердилась истина в веках:
«Кто сеет смерть — взойдет седым бурьяном».

Но солнце так же светит над землей.
Над новым Самаркандом зреют зори,
Похожие на флаги и весну,
Не видящие рабства, зла и горя.

Смотрю я на старинный мавзолей...
И думаю я об одном и том же:
Что как бы ни был враг вооружен,
Он душу нашу покорить не сможет.

■

АЗИЗ НЕСИН

Рассказы

■

С турецкого

Никаких туристов не желаем

Местные власти добивались, чтобы уезд объявили губернией, но из этого ничего не вышло. А уезд, надо сказать, был крупный, и населения было, пожалуй, побольше, чем в иных губерниях. В уездном центре функционировало множество юридических контор — одних адвокатов насчитывалось более двадцати. Юристы не только составляли документы, но и следили за прохождением дел в государственных учреждениях: в прокуратуре, муниципалитете, суде и т. п. Контора одного из юристов, старшего секретаря суда на пенсии, обычно гудела как пчелиный улей. Особенно многолюдно бывало здесь по четвергам, в базарный день.

На дверных и оконных стеклах висели броские объявления: «Оформление всевозможных документов», «Оформление справок», «Купля-продажа недвижимого имущества: домов, земли, полей, огородов, виноградников, лавок, магазинов», «Изготовление ксерокопий», «Оформление налоговых документов», «Составление заявлений на пособия для рабочих», «Заявления и дела об отказе от налогов»...

В контору вошли три человека. На вид все трое старше шестидесяти. Судя по одежде, зажиточные крестьяне. Один — с окладистой бородой, другой — высокий, немного сгорбленный, третий — толстяк. Они так стремительно распахнули дверь, так сверкали глазами, так часто дышали, что всем сразу стало ясно: все трое вне себя от гнева.

— Селям алейкюм,— поздоровались они.

— Алейкюм селям,— отозвался юрист, не отрываясь от лежащих перед ним бумаг.

Рядом с его столом сидели женщина и двое мужчин. Бородатый и толстяк плюхнулись на свободные стулья; сутулый, не найдя места, остался стоять.

Бородатый спросил юриста:

— Ты очень занят?

Тот поднял глаза, узнал вошедших. Наверно, это были почтенные люди, потому что он весьма любезно повторил:

— Алейкюм селям... Добро пожаловать...

— Спасибо.

— Сейчас я освобожусь...

Он написал что-то в бумаге, лежащей перед ним, захлопнул досье и сказал женщине и мужчинам:

— Придете шестнадцатого. После обеда. До свидания.

Крестьяне подсели к столу. Казалось, они вот-вот взорвутся от переполнявшего их гнева.

— Пропали мы, всем миром пропали,— начал сутулый.

— Да что с вами? Что случилось? — удивился юрист.

Бородатый ответил:

— Хотели как лучше, а вышло...

Им не терпелось высказаться, они торопились, перебивали друг друга:

— Ты помнишь лучше нас, как это начиналось...

— Сам ведь писал нам заявление в министерство: мол, мы хотим стать туристской зоной...

— И еще заявление на получение кредита от министерства туризма...

— Много ты для нас писал... Да поможет тебе аллах...

— Твои бумаги не то что у других...

— Когда другие пишут, люди годами ждут ответа...

— А на твою бумагу ответ пришел сразу...

— Много добра ты нам сделал...

— Но лучше бы ты не писал нам ту бумагу. Лучше бы на нее вовсе не пришел ответ, не объявили бы нас туристской зоной и не брали бы мы кредит у министерства...

— И все из-за этого негодяя — нашего мухтара...[1]

— А старосту директор школы подбил...

— Директор школы все наседал на старосту, вот тот и поддался...

— Директор тогда только приехал к нам...

— И заладил сразу...

— «Здесь у вас рай земной»!..

— «Не цените вы своего края»...

— Такого, мол, моря нигде не найти... Конечно, песочек у нас на берегу, как пух. В других местах такого нету...

— Песок мягкий — раз, море глубокое — два...

— Сильных течений, волнений нет — три...

— А виноградники наши...

— Директор школы все твердил: «Нигде в мире нет такого прекрасного вина, как у вас!»

— По-ихнему, даже солнце у нас, понимаешь, необыкновенное... Вот ведь придумают: будто есть какое другое солнце... Будто нам невдомек, что аллах для всей большой земли одно солнце сотворил...

— Сам знаешь, у нас и источники есть... Вода в них холодная, вкусная...

— Вот директор школы и заладил: «Ценить да использовать надо этакие богатства».

— «Пусть,— говорил,— нам от всех этих богатств польза выйдет...»

— А еще говорил: нигде больше нет такого замечательного соснового леса, чтобы к самому морю подходил...

— Как-то в воскресенье созвал директор влиятельных людей и старцев, вроде нас, кого народ уважает... Собрались мы в школе...

— Там он нам все и выложил, о чем мы сейчас тебе толкуем...

— Начал с природы: и так, мол, она хороша, и эдак...

— А важнее всего люди... Люди здесь расчудесные...

— Мы, конечно, не спорим, это правда...

— Ты не подумай, будто мы себя хвалим. Но люди у нас и впрямь хорошие. Сам знаешь...

— Это у нас от отцов и дедов осталось. Уж если гость нагрянет, не знаем, как ему угодить.

— Потом директор к воздуху перешел: он-де у нас очень чистый...

— Это так... Фабрик-то у нас нет. Вот все и чистое — и вода, и земля, и лес, и море...

— Стали спрашивать мы директора: «Вот ты все твердишь: надо использовать, надо использовать, а как?»

— «Очень просто,— отвечает директор.— Зря вы прозябаете в бед-

[1] Мухтар — староста. (*Здесь и далее прим. перев.*)

ности. Сами не понимаете, что живете в раю. В наш век туризм дает великие доходы. Был я в Италии, Греции, Югославии, еще...»

— Ну, рассказал он нам про другие страны.

— «Здесь,— говорит потом,— если наладить туризм, можно миллионы загребать. Во многих местах, и не таких красивых да цветущих, зарабатывают благодаря туризму большие деньги. Продают солнце, море, воздух и получают очень даже прилично...»

— Да как это можно: продавать солнце аллаха, воздух аллаха, море аллаха? Правда, как-то газеты писали, объявился один жулик и продавал дуракам трамваи, городские мосты, башни, парки, выдавая их за свои...

— Трамвай, мост, башня — их можно глазом охватить. А мы-то чем торговать будем? Неужто и впрямь солнцем? Да воздухом?

— Молодого директора мы бы, наверно, не послушались. Но его с таким жаром поддержал староста... Так уж у нас заведено: что директор школы ни сказал, мухтар сразу соглашается...

— «Хорошо,— говорим,— только как же мы будем продавать солнце, воздух, море, лес? Их ведь не взвесить, не обмерить...»

— Ан нет, оказалось, все это можно продать туристам...

— Мы просто должны принять решение. А там уж директор школы и мухтар...

— Сами вдвоем все и сделают...

— Перво-наперво надо объявить нас курортной туристической зоной.

— «Ладно,— говорим,— давайте объявим...»

— Оказалось, не мы, а правительство должно объявить.

— Остальное все было на твоих глазах... Помнишь, мы пришли к тебе. Написали заявление в министерство туризма... Чтобы приехали ихние инспекторы и объявили нас туристской зоной.

— Да пошлет аллах тебе здоровья, сколько раз ты помогал нам бумаги писать...

— Не прошло и месяца, а уж был ответ из министерства.

— Нам сообщили, что инспекторы едут. Директор школы и мухтар сказали: теперь все зависит от этих самых инспекторов, надо их принять хорошенько да одарить как следует, вот и объявят наш район туристическим...

— По-ихнему выходило: стоит только нас объявить зоной туризма, и потекут сюда деньги...

— Да не лиры[1], а какая-то там валюта, что поценнее золота будет...

— Директор школы все твердил: «Пусть только туристы приедут, а там — успевай только денежки складывать».

— И вот мы...

— Говорят же: чего жалеть курицу, когда гусь наготове...

— Инспекторов было четверо... Ну, выложились мы, словно их было человек сорок...

— Все приехали с женами...

— Гостили неделю. Посмотрели все хорошенько.

— И нас объявили туристской зоной.

— Объявить-то объявили, а туристов все нет да нет.

— Что делать?

— Директор сказал: надо, мол, организовать отделение общества «Оздоровление и туризм».

— Помнишь, ты ведь сам и помог нам тогда оформить... Да продлит аллах твою жизнь...

— Вот после твоих бумаг кое-кто и получил документы членов общества. А туристов все нет...

— Время идет. А мы все ждем туристов и с ними обещанные горы денег... Ждем не дождемся...

[1] Турецкая лира — денежная единица Турции.

— Ну, староста с директором и говорят: надо нам заключить договор с какой-нибудь туристической фирмой.

— Надо так надо... Правда, для этого деньги нужно внести...

— Собрали мы деньги, отдали фирме... Ну, думаем, теперь фирма — нашел ее наш директор — объявит по всей Европе и Америке: есть, мол, на земле такое райское местечко и наконец приедут туристы...

— Тут-то мы и начнем распродавать солнце аллаха, море аллаха, воздух аллаха и заработаем кучу денег...

Наконец приходит известие: в такой-то день приезжает первая группа туристов...

— Ох, глянул бы ты на нас в тот день... Все — от мала до велика — готовились к встрече туристов...

— В туристической фирме накупили мы лозунгов, плакатов, табличек...

— Понавешали их на улицах, на стенах домов, на окнах, на дверях...

— Куда ни глянь — всюду: «Турист — наш гость», «Все — для туристов», «Будьте вежливы с туристами».

— «Будем гостеприимны — и за одним туристом приедет тысяча», «Показать туристам нашу страну — наш патриотический долг».

— «Туристы расскажут о нас миру», «Турист — источник валюты», «Откроем двери туристам».

— И еще много всякого...

— Надо было видеть поселок в тот день... Вот уж зрелище было... На одиннадцатую годовщину республики не было такого праздника.

— Весь народ высыпал на дорогу туристов встречать... Школьники...

— Ага, во главе с учителями. Директор школы организовал школьный оркестр, чтобы понравиться туристам...

— И вот впереди оркестр... За ним цыгане-зурначи да барабанщики...

— Фельдшер надоумил — наняли еще цыгана с двумя медведями...

— Вдобавок решили показать туристам национальную борьбу.

— Это надо было видеть. Весь поселок убран флагами, цветами, зелеными ветками.

— Казалось, сама земля веселится.

— Пришли мы на лужайку в стороне от дороги. Стоим. Ждем туристов.

— И вот видим — едут! Едут!

— Наконец-то!

— Надо же... Да это обыкновенные люди! Ну и ну!

— Рассмотрели поближе: люди как люди... Но вид все-таки чудной.

— Пыльные, мятые, на плечах лохмотья...

— Человек пятнадцать. Волосы по плечам: где девка, где парень— не разобрать.

— Ничего не понятно... Кто босой... У кого торба за плечами... У кого инструмент вроде нашего саза...

— Кофты, рубашки — пестрые, мы даже у наших цыган такого не видели.

— Я лично при виде их растерялся: кто они такие? То ли джинны, то ли дьяволы, то ли феи...

— По правде, все мы растерялись... Но тут выступил приехавший на такое важное событие председатель муниципалитета: «Люди! Что вы стоите, как пригвожденные? Зачем мы собрались? Сейчас приедут туристы! Гоните отсюда эту рвань! Пусть не позорят нас перед иностранцами!»

— Староста подхватил: «Гоните, гоните их, чтобы туристы не видели!» И тут...

— Директор школы о чем-то поговорил с приехавшими и поворачивается к нам: «Стойте, ведь это и есть туристы, которых мы ждем!»...

— Что в них туристского-то? Даже деревенские сумасшедшие и нищие выглядят пристойнее...

— Хорошо, директор вовремя сказал, а то бы мы этих людей побили и прогнали.

— Это они-то принесут прогресс в наши края?.. Они оставят кучу денег?.. Да будь у них деньги, разве ходили бы они в таком тряпье, путешествовали бы босиком?..

— По внешнему виду, отвечает староста, невозможно определить, у кого есть деньги, а у кого нет. Раз уж взялись, доведем дело до конца... Правительство учит нас: «Будьте внимательны к туристам».

— Загремел барабан, зазвенела зурна... Оркестр играет... Медведи пляшут... Веселье... смех... Потом повели туристов по домам...

— Наше общество оздоровления и туризма велело освободить для туристов лучшие дома... Это называется пансион. Разобрали мы в лучшие дома туристов по двое, по трое. Турист — наш гость, надо быть к нему внимательным... Мы все готовы отдать туристу, лишь бы он доволен был. Накрыли столы... Плов выставили, баранину. Зажили они припеваючи... Пьют, едят, гуляют, купаются, развлекаются. Через несколько дней в одном из домов — там жили три туриста — ночью раздались крики... Что случилось?..

— Мы все побежали к дому... Оказалось, что хозяйка дома нагрела воды и силком хочет вымыть девушек-туристок... А те голосят и ни в какую...

— Хозяйка объясняет: они, мол, все вшивые... Дом кишит вшами. Ну, думаю, люди издалека приехали, в дороге всякое бывает, пусть, думаю, помоются... А они не хотят...

— Да, в наших домах появились вши... Денег у наших туристов не оказалось... А курить они были горазды все... Жалели мы их.

— Собрали деньги, покупали сигареты, раздавали... А они меж тем брюхо набьют и дремлют целыми днями, а по ночам собираются, песни орут, в танцах трясутся.

— Спать не дают... Но мы молчим: гости ведь...

— Не надо нам ихних денег, ничего не надо... Ждем не дождемся их отъезда. Не тут-то было. Прослышав, что есть такое райское место на земле, приехала еще одна группа, человек двадцать.

— И оказалась эта группа еще хуже первой... Беда на наши головы.

— Но мы марку держим, сами не едим, а их кормим... На здоровье, нам не жалко. Но эти затащили к нам наркотики. Наш народ понятия не имел о них... А теперь... Молодежь наша стала сперва плясать, дрыгаться с этими, а там и к наркотикам пристрастилась. Но время шло, и туристы, слава аллаху, стали разъезжаться. Уезжая, писали что-то по-своему на стене школы.

— Спрашиваю директора, что они там пишут. Он прочитал одну надпись по-английски: «Дорогие Петер и Джин Луис! Мы ждали вас здесь пятнадцать дней. Встретимся в Катманду».

— Школьная стена стала что твоя почта. Туристы отбывали...

— Да, трое отбудут, а на их место сразу пятнадцать новых свалятся. Фирма, с которой мы связались, здорово работала. Сделала нам рекламу по всей Европе и Америке. Туристы валом валят в наши края. Тут начались каникулы в школе. Разместили мы туристов в классах, обставили их, конечно, как надо.

— Классы стали хуже конюшен... Прокормить всех не можем... Оставить голодными — позор... Ведь гости наши...

— Чужие люди... А кормить надо... Гость — он посланец аллаха...

— Вот и правительство призывает: будьте внимательны к туристам, они расскажут о нас миру... Ну а время-то идет...

— Еще чуть-чуть, и станет их больше, чем нас... Откуда только берутся эти безродные!.. Что гонит их из дому?

— Кто только у нас не перебывал: тут тебе и немцы, и французы, и американцы, и итальянцы, и англичане... Короче, все нации, какие могут на ум прийти...

— Да-а... Юноши наши, пообвыкнув, стали умыкать туристок в горы, в леса... А там уж...

— Беда! Не успели со вшами совладать, пошла повальная чесотка... Чешемся все как один... Так и живем... Вши — с одного боку, чесотка — с другого.

— Горы денег должны были заработать на туристах... Боялись, места не хватит хранить капиталы... И вот, извольте: вши, чесотка, гашиш. Потом... будто мало всего этого. Пошли косить молодых дурные болезни...

— Человеку свойственно жалеть нищих... У кого из нас было по две пары обуви, одну туристам отдали. А тут осень пришла, зарядили дожди. С одеждой у нас и без того не шибко было, а мы еще все пораздавали...

— Клянчат: штаны дай... Дай рубаху... В конце концов мы...

— Да-да, стали с виду точь-в-точь как они. Не отличить... Позор, да и только!

— Вдобавок, молодежь наша совсем свихнулась... Ну, парни еще ладно. Так ведь и девки к туристам льнут. И ничего не поделаешь... Парни с девками стали говорить по-иностранному... И все это, все мы сами содеяли, своими руками... Но теперь баста, мы сыты по горло...

— Не нужны нам их деньги... Молодежь стала пропадать из поселка.

— Девки и те уходят! Где это видано? Днем и ночью орут не умолкая: концерт, говорят... Такой гвалт стоит, выдержать невозможно. А у нас нет даже возможности спокойно собраться и обмозговать все. Может, прогнать их, к дьяволу?..

— Так ведь жалко — голодные, раздетые... И правительство велит уважать туристов... Газеты то же самое...

— Пошел я как-то в кофейню. Смотрю: председатель нашего туристического общества склонился над какой-то бумагой, думает. Что за бумага? — спрашиваю. Оказывается, письмо из министерства туризма. А в нем сообщается, что за восемь месяцев текущего года, по сравнению с прошлым годом, в нашу страну приехало на триста тысяч туристов больше. И мы должны быть внимательны к туристам, чтобы их приезжало еще больше. К бумаге приложен проект гостиницы для туристов. И министерство готово дать кредит.

— Министерство, оказывается, специально сообщает, сколько каждый месяц к нам туристов приезжает. Чтобы народ радовался: чем больше туристов, тем народ богаче...

— Зима на носу... А туристы от нас все не уезжают... Нравится им у нас...

— Едут и едут... Без счету... Скоро мы совсем обеднеем.

— Пропали мы, пропали...

— Долго мы думали, как быть. И порешили отказаться от туризма... С этим к тебе и пришли...

— Напиши нам самую лучшую бумагу для правительства...

— Напиши, что прикрыли мы туристическое общество и уничтожили все относящееся к туризму. А правительство наше...

— Да-да, пусть не посылает к нам больше туристов... Мы все выплатим: кредит, и проценты, и налоги. Есть и пить не будем, а выплатим в самом скором времени...

— Пусть только больше туристы не приезжают. Упроси ты правительство сделать такое доброе дело.

— Потому как... Нет больше мочи... В новой бумаге правительство пишет: мол, в зонах туризма на восемь туристов имеется только одна койка, а надо, чтобы каждому было спальное место...

— Мы уступили им все что могли...

— Поотдавали туристам кровати, а сами ютимся с семьями на одной постели...

— О-о-о-ох!

— Ты все можешь... Напиши... Хочешь, бери нашу кровь вместо чернил. Только напиши правительству такую бумагу, чтобы...

— Чтобы пожалел нас каждый, кто ее прочтет. И пусть к нам не посылают больше туристов...

— Мы больше не туристическая зона, и никаких туристов нам не надо...

После этой долгой исповеди трое крестьян выглядели совершенно обессиленными и опустошенными. Но, выговорившись, они вроде немного успокоились...

Редкий негодяй

Я познакомился с ним во время одной из лесных прогулок.

На поляне перед симпатичным одноэтажным коттеджем толпились крестьяне. Некоторые были с детьми. Неподалеку журчал ручеек: он впадал в выдолбленное в стволе лежащего дерева углубление и, вытекая из него, разливался неширокой лентой. Словно старинная олеография ожила передо мной — домик на лужайке, окруженной густым лесом. Я вылез из машины.

Вдруг шофер буркнул:

— Эта дрянь даже не заслуживает, чтобы с ним здоровались...

— О ком это ты? — не понял я.

Он кивнул в сторону дома:

— Да о здешнем лесничем.

— А как его звать?

— Да пропади оно пропадом, его имя... Не любим мы этого гада, и имени его знать не хотим. Называем «лесничий»— и все тут...

Врачи рекомендовали мне переменить — и надолго — климат. Потому я сюда и приехал. Вот уже две недели я, сняв дом в деревне, целыми днями беспечно бродил по лесу, а для дальних вылазок нанимал машину. На этот раз вез меня честный, правдивый и независтливый человек. Уж если он ругал лесничего, значит, по заслугам. В этаком райском уголке вдруг встретиться с каким-то негодяем. Не хотелось портить себе настроение, и я повернул было назад, но красота пейзажа притягивала меня как магнит.

Я направился к дому. Кое-кто из крестьян, столпившихся перед ним, громко стонал, раскачиваясь из стороны в сторону, другие катались по траве, как от сильной боли, третьи и вовсе были забинтованы. Такое можно увидеть разве что возле больницы или амбулатории.

Я поднялся по лестнице из трех массивных деревянных ступеней. Через открытую застекленную дверь вошел в прихожую. Глазам моим открылось поразительное зрелище. В центре веранды помещалась кушетка — такие обычно стоят в кабинете врача. На ней лицом вниз лежал человек. Штаны его были спущены. По обнаженной ноге текла кровь. Около него хлопотали мужчина и женщина, должно быть хирург и сестра. У человека на ноге была не то рана, не то нарыв. Мужчина в очках надавливал возле раны ватой, оттуда выступал гной. Больной кричал от боли. Меня едва не стошнило...

Они были так заняты, что не заметили, как я вошел. Женщина промыла рану перекисью водорода, приложила тампон и перевязала. Мужчина поднял голову и тут увидел меня. У него было умное, при-

ветливое лицо. Казалось, мне улыбались не только его лицо и глаза, но и очки. Он протянул руку, словно мы много лет были знакомы:

— Здравствуйте.

Я пожал руку, поневоле улыбнувшись. Но, вспомнив, как мой шофер ругал этого человека, тут же постарался погасить улыбку.

Крестьянин тем временем встал, оделся:

— Спасибо, инженер-бей.

Повернулся к женщине:

— Спасибо, сестрица.

— Через два дня не забудь прийти на перевязку,— отозвалась она.

— Через два дня? Днем у меня дела, можно я приду вечером?

— Ладно, приходи,— разрешила женщина.

Инженер крикнул в сторону двери:

— Следующий...

Вошла молодая крестьянка с ребенком на руках и стала рассказывать.

— Инженер-бей...

Оказалось, что ребенок плачет день и ночь, не умолкая. Пока крестьянка рассказывала, инженер извинился передо мной:

— Прошу прощения, видите...

Я представился ему и сообщил, что приехал в эти края по совету врачей, гуляя, увидел его домик и вот зашел.

— Это прекрасно, прекрасно, что зашли! — радостно воскликнул он.— Сейчас я отпущу больных, выпьем чаю и поговорим...

Показав на свою помощницу, распеленывавшую плачущего ребенка, инженер сказал:

— Моя жена...

Я поздоровался.

Никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы инженеры лечили людей.

Жена его меж тем раздвинула ножки ребенка и стала отчитывать мать:

— О, аллах, да что же это такое... Весь сопревший, сплошная рана. Еще бы ему не плакать... Женщина, ты хоть раз его помыла? Припудрила? Неужто даже сухой глины нет присыпать ребенка?

Инженер тем временем вызвал следующего больного. Выслушав, посоветовал обратиться к жившему в поселке врачу. Больной крестьянин сказал, что он уже был у врача, отдал деньги и все зазря — лекарство, данное врачом, ничуть не помогает.

— Ведь врет,— обратился инженер ко мне.— Ни у какого врача он не был... Разве не так? — повернулся к крестьянину.

Тот молча кивнул.

Инженер вытащил из кармана бумажку в сто лир, протянул крестьянину:

— Возьми. Поправишься, отработаешь на дозорной вышке... Завтра утром сходишь в поселок. Покажешься врачу... До свидания...— И добавил вслед уходящему: — Приду в деревню, проверю...

Потом пояснил мне:

— Как бедняга может пойти к врачу? Легко ли: деньги за осмотр, деньги за лекарство...

Больше часа я наблюдал, как муж и жена занимались больными. Одному инженер дал письмо к врачу.

Жена инженера приготовила чай. Позвала шофера, ожидавшего меня перед домом. Шофер, еще недавно бранивший инженера, вошел в дом, с почтением пожал руки хозяевам, произнес очень уважительные слова. Мы пили чай и беседовали.

Из рассказа инженера и его жены я узнал, что они давно заработали пенсию, но видя, сколько людей, которым они могут помочь, облегчить жизнь, страдает вокруг, не сочли возможным уйти на отдых, пока есть еще силы работать. У них трое детей — две дочери и сын, все семейные. В этом домике они живут вдвоем. Говорили они спокойно, приветливо.

Через некоторое время инженер поднялся:

— Мы строим дозорную вышку, я должен побывать там... Хотите, поедем вместе...

Я понял, что не имею права больше отрывать людей от дела. Прощаясь, женщина пригласила:

— Заезжайте... Приходите к обеду... Право, мы будем рады...

На обратном пути я сказал шоферу:

— Ты говорил, что лесничий — дрянь, но ведь эти двое — сущие ангелы... Чем уж он так плох?

Шофер засопел:

— Эх... Если б вы знали, какие это негодяи...

— Почему?..

— Говорю «подлец»— значит подлец... Противно рассказывать...

Я не настаивал.

На следующий день под вечер, сидя на плетеном низком стульчике перед деревенской кофейней, я разговаривал с хозяином, обычным моим собеседником. Я постарался навести разговор на директора лесного хозяйства и спросил, что мой собеседник думает о нем.

— Уж мы навидались здесь плохих чиновников,— услыхал я в ответ,— но такого отвратного видим первый раз. Хуже просто некуда.

— Чем же он плох? — поинтересовался я.

— Оставь, не заставляй меня пересказывать сплетни...— Он отвернулся и ушел в глубь кофейни.

Насколько я знал, директора лесных хозяйств по большей части редко наведывались в свои хозяйства, жили в роскошных домах в городах или поселках. А этот человек поселился в самом укромном уголке леса. Я спросил об инженере старосту, у которого снимал дом.

— Представляешь, какие грязные дела на совести у этого мерзавца, если он затаился в лесной чаще,— ответил мне староста.

— Да чем же он плох? — настаивал я.

— Меня не спрашивай, других спроси... Любой содрогнется при одном его имени... Спроси — узнаешь.

И впрямь, кого бы я ни спросил, каждый сообщал, что инженер — негодяй. И никаких объяснений!..

В деревне, где я жил, был лесник. Он, как и все, подтвердил, что инженер — негодяй. И, как все, не мог объяснить почему. Я решил докопаться до причины этой всеобщей неприязни.

— Может, он нарочно устраивает в лесу пожары? — спросил я лесника.— А выгоревшие поляны продает крестьянам втридорога?

Лесник расхохотался:

— С чего это ты взял? Раньше в наших лесах каждый год бывало по три-четыре пожара. А с тех пор как этот тип объявился, прошло уже четыре года, и ни одного пожара...

— Почему же раньше были пожары, а теперь нет?

— Да ведь инженер днем и ночью из леса не вылезает, не сходит с дозорных вышек, вечно на работе, будто и не ложится спать никогда... Как хаджиятмаз... [1] Раньше в наших лесах было четыре дозорных вышки и ни одной с телефоном. А этот, как приехал, довел число вышек до семидесяти и на большинстве установил телефоны. Все соеди-

[1] Хаджиятмаз — игрушка типа «неваляшки», «ваньки-встаньки».

нены с его домашним. Потом проложил просеки, чтобы легче было справиться с пожаром, если он, не дай бог, случится...

— А почему раньше все шло по-другому?

— Раньше на это не было денег.

— Ему что, много денег дают?

— Нет, дорогой, денег у него столько же, сколько и у других было, но он, видишь, как-то управляется, удается ему...

— В чем же все-таки проявляется его подлость?

Лесник тяжко вздохнул и ударил себя в грудь...

— Уж мы-то знаем... Это такая скотина...

Наверняка инженер ворует казенный лес. Есть такие люди. Удачливые, работящие, очень много делают. Но... воруют...

У меня был знакомый сельский учитель из деревни в часе езды от моего жилища. Он скоро должен был выйти на пенсию. Сам выходец из деревни. Мы иногда встречались с ним, разговаривали. И я отправился к нему. Главным моим намерением было выведать что-нибудь про инженера.

— Я познакомился с директором местного лесного хозяйства,— начал я без обиняков.— Наверно, крупный вор, много леса крадет...

— Кто это вам сказал? — Пожилой учитель так и подскочил.

— Никто не говорил. Сам догадался...

— Почему вы так думаете?

— Я слышал, он дал деньги на адвоката крестьянину из верхней деревни. У того тяжба с министерством лесного хозяйства. Как же так? Сам лесничий дает деньги крестьянину, который судится с его собственным министерством... Значит, какая-то выгода ему от этого есть...

— Ни малейшей... Крестьянин прав, вот инженер и дал деньги. Что поделаешь, где взять крестьянину деньги на адвоката...

— Но инженер — простой служащий. У него-то откуда деньги? Он что, богат?

— Да, богат... Жена у него богатая. Большую часть зарплаты он раздает бедным крестьянам... А в прошлом году даже дал нам денег на ремонт школы.

— Ну и ну!..

— Чему вы удивляетесь?

— Да ведь все говорят про него, что он негодяй...

— Понимаете... Само собой, негодяй... Таких мерзавцев свет не видывал...

— Не крадет, все ему удается, прекрасно работает, помогает всем, кто нуждается в помощи... Так почему же он мерзавец?

— Хотите выведать у меня секрет?

— Да нет, просто хочу понять.

— А я говорю вам: мерзавец он. Неважно почему. Мерзавец — и все тут.

Все знают: инженер — подонок и не сплетничают о нем... Ну и люди — никто не говорит за спиной гадости! Поистине великолепная черта...

Как-то я снова посетил инженера. И снова упорно пытался разговорить шофера.

— Может, он взятки берет? — спрашивал я.

— Бог с вами, зачем зря чернить человека. Он, конечно, сволочь, но никто не видел, чтоб он брал взятки...

— Значит, врун...

— Да нет, этого за ним не водится.

Когда мы добрались до симпатичного домика, инженера не оказалось дома. Жена приветливо пригласила меня:

— Проходите, пожалуйста, муж вот-вот придет... Обрадуется

вам... Два дня уже, как уехал из дому. Помечает деревья на порубку... Лесники частенько обманывают крестьян, выбирают не те деревья, поэтому он и поехал сам. Собирался сегодня утром вернуться. Сейчас появится. Проходите, отдохните...

— Спасибо, я пойду погуляю часок по лесу, а потом вернусь...

Я углубился в лес. Через некоторое время послышались свистки, топот, автомобильный гудок. Поднявшись на холм, я увидел дорогу. По ней промчался джип. Погуляв немного, я направился к домику. Инженер уже вернулся. Он стоял перед домом. Тут же были три лесника и два крестьянина. Один пожилой, другой совсем молоденький...

— Добро пожаловать,— поздоровался со мной инженер,— сейчас я закончу свои дела...

Из разговора лесников с инженером я понял: крестьяне срубили без разрешения дерево и, когда, погрузив его на телегу, собрались в путь, были пойманы на месте преступления. Тут жена инженера позвала меня в дом, и конца разговора я не слышал.

Через несколько минут вошел инженер:

— Как хорошо, что вы заглянули к нам... Очень рады... Как раз к обеду...

Отказаться было невозможно. К тому же я вознамерился узнать инженера поближе. Жена накрыла на стол. Мы с шофером заняли свои места.

Инженер рассказывал о только что пойманных ворах:

— Что им, беднягам, остается делать? Земли нет, а если есть — клочок, все равно не хватает... Работы нет... Предприятий нет... Той работой, что мы даем им в лесу, семью не прокормишь. Выжигать в лесу поляны я не позволяю... Что же им — с голоду помирать? Вот и рубят деревья, да продают в город на дрова... Тут-то мы и хватаем их за шиворот... Я приказал лесникам, чтобы они ни одного вора без моего ведома жандармам не передавали. Городская тюрьма набита такими «преступниками»... Не возьмешь с них штраф — не исполнишь долг. Возьмешь — совесть не на месте. Нелегкое это дело...

Любопытство мое разгоралось: отчего же, скажите на милость, все хулят такого достойного человека? Снедаемый любопытством, я сел в автобус, идущий в ближайший городок. Рядом со мной уселся крестьянин. Я узнал его. Это был тот самый человек, которому инженер с женой накладывали повязку в день моего первого посещения. Я заговорил с крестьянином и похвалил инженера.

— Чего в нем хорошего, в инженере-то?— вдруг озлился крестьянин.— Гад и мразь!

Я напомнил, как инженер оказал ему медицинскую помощь.

— Это — одно, а что он человек поганый — совсем другое,— услышал я в ответ.

Всю дорогу я наседал на крестьянина, но, кроме того, что инженер — редкий негодяй, ничего от него не услышал.

В городе у меня был знакомый лавочник, он-то и помог мне снять деревенский дом. В заведении моего знакомца продавалось все: от радиоприемников и телевизоров до краски для волос, от обуви — до книг и моторов. Я спросил его напрямик, почему все так недовольны инженером и считают его скверным человеком.

— Раз все так считают, значит, так оно и есть...

— Да почему же он плохой?

— Потому что плохой...

Меня одолевали предположения всякого рода. Может, инженер слаб по женской части? Может, он — неверный муж?

Лавочник тут же возразил:

— Насколько нам известно, он прекрасный муж и семьянин...

Меня, как я уже говорил, обуревали самые невероятные предположения. Человек он, конечно, немолодой, но... кто знает... может, он извращенец?

— Что за бред,— возмутился лавочник.— Кто это мог сказать?

Стоило мне приписать инженеру какой-нибудь новый изъян, каждый тут же вставал на его защиту.

Я не выдержал:

— Если вы все считаете этого человека таким негодяем, почему не напишете жалобу на него в министерство?

— Как это нет жалоб? Пойдемте со мной!..

Мы вышли. Лавочник привел меня в контору к адвокату. Адвокат был из местных.

— Этот господин интересуется, почему мы не жалуемся на лесного инженера, этого подлеца. Покажи ему наши прошения и жалобы...

Адвокат достал пухлую папку.

— Пожалуйста, смотрите...

Я начал читать бумаги в папке. Это были копии заявлений отдельных лиц и коллективные. Во всех заявлениях содержалась просьба перевести директора лесного хозяйства в другое место. Заявления были адресованы в министерство лесного хозяйства и даже премьер-министру... Были и копии телеграмм.

Я поразился:

— Как же после стольких жалоб человека не переведут отсюда?

— Сами видите, не переводят,— ответил адвокат.

— А что плохого сделал этот инженер? — спросил я адвоката.

— Да он сплошь состоит из пороков,— ответил адвокат,— даже трудно назвать какой-нибудь один...

Я потерял всякую надежду понять, в чем дело. Ясно, инженер — человек плохой. Но почему?.. Любопытство мое не было удовлетворено. Я часто бывал у него. Чем ближе мы знакомились, тем больше он мне нравился. В его доме было полно книг. Он много читал, разговаривать с ним было интересно и поучительно. Помогал он всем, кому мог, и не ждал в ответ никакой благодарности.

Думая о том, как ругают его в округе, я решил: «Нашему народу добро — не впрок». Однажды, не выдержав, я сказал инженеру:

— Все говорят, что вы — плохой человек. Ни одна живая душа здесь не похвалила вас. А ведь вы делаете столько добра...

Он улыбнулся:

— Да, я слышал, меня ругают.

— Но почему?

— А это вы у них спросите...

— Добро им явно не впрок,— сказал я,— неблагодарные они...

— Нет-нет, что вы, это совсем не так,— возразил он.

Заканчивалось время моего житья в деревне. Перед отъездом я вручил старосте, в доме которого жил, кучу подарков. Прощаясь, я не удержался и все-таки спросил:

— Слушай, староста. Я уезжаю. Прошу тебя: ну скажи мне наконец, чем плох здешний инженер?

Староста ответил:

— Мне он ничего плохого не сделал, но все говорят, что он плохой, не могу же я отрываться от народа...

Так староста увильнул от ответа. Я пошел прощаться к знакомому учителю, но и от него ничего не добился.

Я уехал из деревни. Приехал в городок. До стамбульского автобуса было часа два времени. Чтобы убить эти два часа, я пошел в контору старого адвоката:

— Уезжаю вот, пришел попрощаться...

Адвокат радостно приветствовал меня, а я продолжал:

— Я погибаю от любопытства... Ради бога, скажите, почему инженер — плохой человек? Поверьте, я никому не передам.

Адвокат сказал мне доверительно:

— Ладно, я верю, вы не проболтаетесь. К нам, как в любое другое место, приезжают и плохие чиновники, и хорошие...

— Конечно,— согласился я.

— Когда приезжает настолько плохой чиновник, что народ не выдерживает, начинают сыпаться жалобы.

— Разумеется,— вставил я.

— Но чем больше здешний народ жалуется, тем дольше чиновник остается на одном месте. Правительство не торопится с переводом. Плохие чиновники попадаются, в общем, чаще, чем хорошие. Когда в кои-то веки появляется хороший чиновник, народ доволен, о нем начинают везде говорить, хвалить. И тогда его тут же переводят в другое место. Хорошие чиновники здесь не удерживаются. Сколько ни просит народ, сколько ни пишет — все впустую. Мы это хорошенько усвоили на собственном опыте. И теперь, стоит появиться хорошему чиновнику, мы начинаем ругать его на чем свет стоит. Возьмите того же инженера. Все от мала до велика поносят его. Время от времени мы даже посылаем прошение убрать от нас этого негодяя. И собираем сто, а то и тысячу подписей. Таким образом, мы удерживаем его уже четыре года. Хорошо бы удалось еще годика четыре продержать. А попробуйте, спросите у народа про губернатора. Услышите, что вам скажут.

Я понял ситуацию. Но непонятно было, почему правительство оставляет на месте плохих чиновников и отзывает хороших?

Адвокат пояснил:

— На выборах правящая партия собрала здесь очень мало голосов, вот правительство и придумало наказание.

— Инженера бранят все, кому не лень, но разве у вас нет представителей и сторонников правящей партии?

— Есть. Я сам — член правящей партии. Но в этих вопросах мы едины — хотим, чтобы у нас работали хорошие чиновники, и действуем сообща: в один голос ругаем их почем зря.

Прощаясь, адвокат напомнил:

— Обязательно поспрашивайте людей, что они думают о губернаторе.

На остановке (автобус запаздывал) я осведомился о губернаторе по меньшей мере у двадцати человек. Они наперебой до небес превозносили его заслуги.

Один из неопрошенных, мой сосед в автобусе, оказался чиновником губернского управления. К великому своему удивлению, я услыхал от него:

— Губернатор? Мерзавец из мерзавцев!

— Быть не может! Все кроме вас его очень хвалят.

— Ну разумеется... Им просто еще неизвестно, что его переводят в другое место... Приказ об этом пришел лишь сегодня утром. Повторите-ка им свой вопрос, когда они узнают из газет о новом назначении...

Перевод В. ФЕОНОВОЙ

Моя пишущая машинка при мне и после меня

Снова беда с моей старой пишущей машинкой: отлетела буква, очень важная буква, без которой не обойдешься. И сколько ни искал я ее, ползая под столом и по всей комнате, так и не нашел. Приспичило же стрястись несчастью как раз в тот момент, когда мне позарез надо закончить одиннадцатую часть многосерийной радиопостановки «Всеми своими успехами я обязан жене». А в тексте, как назло, то и дело встречалась эта злополучная буква. Пришлось вписывать ее в текст от руки.

Да, у меня есть еще две машинки, совсем новые, но я люблю старую. Мы привыкли друг к другу, сроднились, превратились в одно целое, в единый организм, словно бы это уже и не машинка, а часть меня самого, мои пальцы, моя рука... Из существа механического она стала существом одухотворенным, живым, как я сам. И если что-то портится в ней, то же самое происходит со мной, я обнаруживаю в себе изъян, будто и сам заболел. Вот и теперь: отскочила буква на машинке, а мне кажется, будто я сломал зуб или вывихнул палец...

Моя старая пишущая машинка — самая первая вещь, которую я купил сразу после свадьбы. Был холодный январский день 1956 года, меня только что выпустили из тюрьмы. Мы с женой шли по проспекту Независимости и в витрине магазина увидели пишущую машинку. Она нам очень понравилась, и мы купили ее в рассрочку. На мое счастье, продавец даже не потребовал у меня поручительства.

И вот мы с моей машинкой неразлучны уже девятнадцать лет — срок такой, что не только сживешься друг с другом, а и сольешься воедино. Как она послушна, покладиста, готова исполнить любое мое желание!.. Разделить со мной все мои чувства. Она радуется моими радостями, печалится моими печалями. Ей ведомы все мои тайны, горести и огорчения, о которых никто не знает и даже не догадывается, ведь именно ее пятьдесят один палец, на кончике которого вместо ногтя припаяна буква, отпечатал все написанное, придуманное, сочиненное мною.

О, она прекрасно знает меня, будучи как бы продолжением моих пальцев. И никакая новая машинка не в состоянии заменить ее — даже самая современная, совершенная, самая быстро и легко печатающая машинка. Я все равно никогда не расстанусь с ней, моей старой пишущей машинкой! Не предам ни ее, верную мою подружку, ни самого себя.

Но, увы, мы стареем, и я, и моя машинка,— стареем, изнашиваемся, приближаясь к своему естественному концу. Черный материал, обтягивающий доску, на которой крепится машинка, износился, протерся до дыр и висит кое-где бахромой; металлические клавиши, особенно те, по которым я чаще всего ударяю, облезли, облупились и блестят. Верно говорят: металл, находящийся в вечной работе, сверкает — вот клавиши и сверкают. И когда я, рассматривая облупившуюся, стершуюся краску, гляжу на блестящий металл, я вижу в нем девятнадцать лет своего писательского труда — девятнадцать из тех тридцати, что я тружусь на литературной ниве. Сколько же раз пальцы мои должны были касаться этих клавишей, чтобы надраить их до такого блеска...

Долгие годы она служила мне, добросовестно помогая в работе. О да, машинка эта честно трудилась для меня, хотя не могу сказать, чтобы я уж очень старательно ухаживал за нею, берег ее и холил. Зато я никогда не отделял себя от нее: сколько внимания уделял себе, столько и ей. Не больше и не меньше! Я заставлял ее работать до изнурения, до седьмого пота, как и самого себя. И взваливал на нее такое бремя, которое под силу, наверно, пяти машинкам. Короче говоря, меж нами не было никакого различия...

Стоит мне отправиться куда-нибудь — что случается очень редко,— в поезде меня охватывает горечь разлуки, мне всегда не хватает ее. Особенно в заграничных поездках. Да, я скучаю по ней, по своей пишущей машинке, и мне кажется, она тоже тоскует обо мне.

Не буду утверждать, что чувство мое так уж явно выражено, но, положа руку на сердце, я ревную ее к другим. Хоть меня и всегда утешает уверенность: нет, никто, кроме меня, ни при моей жизни, ни после смерти, не сможет на ней работать. Она моя и только моя, и, нещадно гоняя ее до седьмого пота, я искалечил ее, искорежил, сделал своим подобием — у нее и нрав мой, поэтому тот, кто не знает ее характера, никогда не справится с нею, она просто не станет его слушаться, сопротивляясь с невиданным упорством. Не сомневаюсь: никто не напечатает на ней ни одной буквы! Вот потому-то у нас с ней свои секреты, и знаю о них только я. Могу даже раскрыть кое-какие из них.

К примеру, чтобы напечатать вопросительный знак, надо ударить по клавише с изображением запятой. Иные буквы стерлись до того, что прочесть их невозможно, но для меня это не помеха: как человек безошибочно тянет руку к своему рту или носу, так и я, не раздумывая, по привычке нахожу эти буквы и безошибочно ударяю по нужным клавишам.

Нет-нет, моя многострадальная машинка никому, кроме меня, не способна принести пользы. Да никто и не обратит на нее внимания — так неказиста она на вид,— не захочет иметь с нею дело. Никто, кроме меня... Ибо она создана лишь для меня и мне одному подвластна. Она — моя, моя пишущая машинка...

Велики ее заслуги и неоспоримы ее права. И от нее многое досталось мне. А ведь правда, как много я приобрел именно благодаря ей. Пусть я нещадно заставлял ее работать, только ее — никого больше, кроме себя, естественно. Детей своих, жену, дом — все это я содержал за счет трудов ее.

Четыре месяца, пока строились дома приюта на средства фонда Несина, я прожил в палатке. И вместе со мной находилась неразлучно моя пишущая машинка, мы с нею трудились все это время. Как я боялся, что какой-нибудь незадачливый вор стащит у меня машинку из палатки. Там были вещи покрасивее и поценнее, но лишь пропажа машинки огорчила бы меня по-настоящему. Все остальное я мог купить заново — и шикарнее, и красивее,— но старую мою машинку я купить больше не смог бы! Машинку, на клавишах которой остались следы моих пальцев, следы моей девятнадцатилетней писательской жизни — моего бытия, моего существования... Ничего не может быть лучше, прекраснее моей пишущей машинки. В ней заключено все, что она могла получить от меня за эти годы,— и сила моих пальцев, и теплота моих рук, думы и мысли мои, мечты и чувства, радость и горе, надежды и огорчения,— в ней течет моя кровь, в моей пишущей машинке. Потому она так хороша и так необходима мне. И если я уезжал на Чаталджу, оставив без присмотра машинку в палатке, то, вернувшись, первым делом спешил глянуть, на месте ли она...

В письме, которое я недавно послал сыну, были такие строки: «Не удивляйся, если однажды, когда меня не станет, вы услышите из моей комнаты стук машинки, и, войдя в комнату, увидите, что в машинку вложена бумага, а на ней напечатаны какие-то слова!.. Когда меня больше не будет в живых, машинка сама сможет писать за меня. За столько лет совместной работы она прекрасно изучила и меня, и мысли мои, и замыслы, она знает обо всем, что я пишу или хочу написать. Так что после моей кончины она напечатает именно то, что мог бы я сочинить, и подпишется: «За писателя — его пишущая машинка...»

Я, кажется, говорил, что моя пишущая машинка послушна мне? Да, так было в первые годы — я мог заставить ее напечатать все, что только пожелаю, и она подчинялась мне. Но с годами характер у нее

стал портиться, она становилась все более упрямой. А состарившись, и вовсе вышла из подчинения. Теперь я уже не могу напечатать на ней все, что мне вздумается. Она просто не станет этого делать. Более того, она вот-вот заставит меня писать только то, что ей угодно и по вкусу. О сообразительности домашних животных часто говорят: «Сейчас промолвит слово, ответит вам!» — так и моя пишущая машинка: она уже готова заговорить и начала писать за меня. Она ни в чем не желает мне уступать, грубит мне, перечит, старается что-то объяснить, предупредить: «Послушай, мы с тобой уже оба не молоды. Это в молодости ты вынужден был много писать. Ведь впереди у тебя была бездна времени, чтобы исправить плохо написанное, улучшить и даже создать шедевр — ты был полон надежд. Ах, молодость! Написать поскорее и побольше — неважно, что там получится... А теперь у тебя уже нет больше времени. Теперь для тебя важно не только то, что ты написал, но и как написал! И даже то, почему ты вдруг не написал чего-то, почему смолчал. Отныне ты должен отдавать себе отчет не только в том, что ты написал, но и в том, чего не сумел написать. В твои годы человек уже не имеет права плохо писать! Вот так-то!..»

Когда теперь я печатаю на моей машинке и вдруг в каком-то месте случается заминка, заест рычаг, западет буква, я понимаю: ей не нравится, что я пишу. А уж если ей что не по душе, она начинает артачиться — скрипит как несмазанное колесо, гудит, бренчит, клавиши сопротивляются моим пальцам, рычажки наскакивают друг на друга, лента перестает крутиться,— и она будет мучить меня, пока я не начну злиться, не потеряю самообладание. Она стала самым беспощадным моим критиком... Ну а ежели ей по вкусу то, что я пишу, стук ее превращается в музыку, в сладостную мелодию, и я уже не могу понять: играю я на рояле или печатаю на машинке... Каждый слог звучит на свой голос, каждое слово как пение птицы. И в нас обоих поет радость, невыразимое счастье...

Очень часто, сидя за машинкой, я включаю приемник, который стоит рядом. И мы с нею слушаем музыку. Может быть, поэтому мне и кажется, будто это я играю, печатая на машинке. А музыка так захватывает нас, что мы невольно начинаем подлаживаться под ее ритм: мелодия льется неторопливо, и машинка работает не спеша, с паузами, а я, стуча по клавишам, тоже покачиваюсь неспешно из стороны в сторону; под бравурную музыку машинка стучит быстрее, и я едва успеваю подпрыгивать на стуле. Но стоит мне запоздать, не попасть в такт — и машинка заставляет меня быстрее перестроиться, взять нужный ритм. Глянь на нас кто-нибудь со стороны, как под звуки бодрого марша, подскакивая на стуле, вскидывая руки и отчаянно барабаня по клавишам, мы мчимся в экстазе, ничего не видя вокруг, право же, нас приняли бы за сумасшедших... И едва эта мысль приходит мне на ум, я тотчас выключаю радиоприемник, стараюсь усесться посолиднее и печатать с самым серьезным видом, машинка моя тоже успокаивается и начинает вести себя степенно...

Экая беда, у бедняжки отлетела очень важная, нужная буква! Отлетела и куда-то завалилась, пропала. Которая это по счету поломка? Сколько раз отскакивали буквы и машинка портилась? Но что бы ни случалось с нами, какие бы беды и неполадки ни преследовали нас, мы стойко противимся им, мы боремся со старостью и продолжаем жить и писать, создавая хорошие, правдивые вещи.

Завтра я отнесу ее в ремонт. Я всегда несу ее к одному и тому же мастеру, потому что у него золотые руки. И всякий раз, когда я приношу свою машинку, он усмехается и глядит на меня так, словно хочет сказать: да стоит ли с ней возиться, с этакой развалюхой!..

Странный человек, не понимает, что девятнадцать лет для пишущей машинки, может быть, и не очень солидный срок, но ведь я-то заставил ее трудиться не девятнадцать, а все сто девятнадцать лет!..

Да и сам я в свои шестьдесят прожил за это время не единожды по шестьдесят!..

И всякий раз, когда иду к мастеру и вижу, как он с ехидцей глядит на мою пишущую машинку, я непременно говорю ему: мол, у меня есть еще две новенькие машинки.

Я знаю, ежели стану печатать на новых машинках, моя старенькая ужасно огорчится и станет ревновать меня к ним; мне будет все время казаться, будто я предал старинного, верного друга, который жил и состарился вместе со мной. Нет-нет, это не для меня — я не признаю измены, даже мысли о ней не допускаю...

Машинке моей столько же лет, сколько прожили мы с женой. И каждый раз, когда я собираюсь нести машинку к мастеру, жена говорит мне:

— Видишь, даже она не способна выдержать твой характер, все время ломается...

Писателя, которого не выдерживает механизм, выдержала эта женщина. Жена, как всегда, права, ведь она — моя жена!..

Перевод В. ДЖАЛАВЯНА

■

Писатель и проблемы экологии

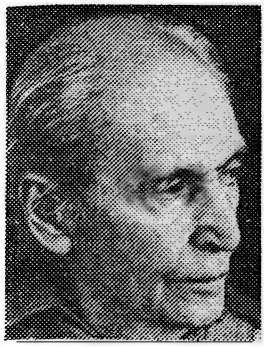
Всего лишь около ста лет назад немецкий биолог Эрнст Геккель ввел в научный обиход слово «экология». А сегодня взаимодействие общества с окружающей средой, сохранение биосферы для блага человечества стало одной из актуальнейших проблем исторического развития. Люди привыкли считать свою планету сказочно богатой, неистощимой кладовой, привыкли считать, что природа воспроизводит сама себя. Но уже с середины XX века все чаще стали раздаваться голоса ученых, предупреждающих о том, что природа не в силах выдерживать «нажим» техники.

В наши дни охрана окружающей среды, рациональное использование ее богатств неразрывно связано с борьбой за мир, за предотвращение ядерной войны. За последние годы выросли масштабы международного сотрудничества по усилению природоохранной работы. Человечество должно направить свои огромные ресурсы — и материальные и умственные — на восстановление экологического равновесия, на гармонизацию отношений человеческого общества и природы.

Прогрессивные писатели мира не закрывают глаза на тревожную и трудную реальность. Выступая в защиту природы, которая для человека одновременно и «храм» и «мастерская», они выступают и в защиту человеческого в человеке. В общении с природой мы черпаем физические и духовные силы, общение с ней способствует самовоспитанию, формирует наше нравственное, эстетическое чувство. «Леса учат человека понимать прекрасное»,— говорит герой чеховской пьесы Астров.

«Сколько бы машин не перевидал, сколько бы чудес ни изведал,— пишет в новелле-зарисовке наш современник, советский писатель Виктор Астафьев,— вот эта древняя картина: лошадь среди спящего села, недвижные леса вокруг, мокро поникшие на лугах цветы бледной купавы, потаенной череды, мохнатого и ядовитого гравилатника, кусты, травы, доцветающие рябины, отбелевшие черемухи... все это древнее, вечное для меня и во мне — нетленно... По-настоящему жалко сделалось тех, кто уже не просто не увидит, но даже знать не будет о том, что такое спящий деревенский мир, спящие среди села смирные, терпеливые, самые добрые к человеку животные, простившие ему все, даже живодерни, и не утратившие доверия к этому земному покою».

Ниже мы публикуем произведения двух писателей социалистических стран, размышляющих об экологических проблемах века. Лирико-философские заметки известного венгерского поэта и прозаика Тибора Дери — фрагменты его книги «Наслоения дней». К этой книге журнал «Иностранная литература» уже обращался несколько лет назад («ИЛ», 1974, № 9). Недавно в Будапеште вышло ее новое, значительно дополненное издание, и мы предлагаем вниманию читателя несколько отрывков из этой книги, в том числе не публиковавшихся при жизни писателя. Рассказ-притча Юлиана Кавальца «Большой праздник на стройке» также посвящен теме «человек и природа», теме, которая в творчестве этого талантливого польского прозаика занимает важное место.



ТИБОР ДЕРИ

Наслоения дней

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

1966, октябрь

Я сижу на заросшем травою бугорке у межи, на краю виноградника тетушки Печет. Подо мной, внизу, Балатон, отсюда мне видна вся восточная часть его чащи, сквозь осеннюю дымку белеют далекие скалы Кенеше, справа, выгнув кошачью спину, лежит и мурлычет Тиханьский полуостров, а за ним, далеко-далеко, тускло поблескивает водная гладь, уводя взгляд к Боглару и Фонёду. Солнце греет сегодня сильнее, чем в августе.

Своенравен бег человеческого воображения. Известно: подростка даже белый фартук на мяснике заставляет думать о женщине, о любви. О чем же напоминает писателю осень? О сборе плодов? Или о старости, об увядании? Этим можно примерно определить степень его оптимизма, доверия к миру. И, пожалуй, возраст тоже. Юному лирику, надо думать, осень навевает иные мысли, чем пожилому прозаику; правда, моему поколению даже в молодости свойственно было замечать вокруг скорее трагическое, чем розовое сияние новой зари. И не только поэты-декаденты были угрюмы и склонны к унынию: даже парни и девки в деревнях куда чаще, чем сейчас, бросались в колодец от неразделенной любви. И заметьте, особенно часто — осенью. Может, меньше стало теперь безответных любовей? Или меньше любви вообще?

Впрочем, какое это имеет значение: солнце льет свой приветливый свет на сверкающую всеми красками землю, вместе с озером, виноградниками, горами счастлив (почти) и я. Почти — так как внизу, на арачском шоссе, слишком много ревущих, надрывающих двигатели мотоциклов, по соседству, на полях учебного хозяйства, упражняется трактор, над головой прорезают лазурь стрелы сверхзвуковых самолетов, а со стороны Фюзвё тихий, ласковый ветерок гонит в нос серную вонь из труб тамошнего завода. Впрочем, не буду преувеличивать: не всю вонь, а лишь по крепкой понюшке каждые десять—двенадцать минут. Может, там потому сейчас слышнее, чем летом, что заметно редеют вокруг заслоны древесных крон?

Каждая клеточка тела у человека полна драгоценной расслабленности после многих хлопот: завершен сбор урожая. За спиной у меня стучит дятел на дереве, это грецкий орех, недавно с него отрясли плоды. Миндаль тоже снят. В виноградниках, куда ни посмотришь, уже тихо и пусто, лишь у Т. еще только готовятся к сбору, но уже и оттуда, с давильни, доносится запах бродящего молодого вина, мушта; муштом пахнет все: земля, воздух, вода. Словно вся гора Тамаш тонет в шелковом шорохе яростного брожения, и ему монотонно вторит звенящий хор пчел, шмелей, мошек; все окрестности, нежась под

© Déry Tibor örököse, 1982.

солнцем, источают тихую улыбку. Люди же, что весьма удивительно, нынче тише природы: не поют, как им положено в пьесах из народной жизни, но зато и не сквернословят. Вина в этом году будет мало, но вино будет хорошее.

На соседнем винограднике красивая белая лошадь тянет плуг меж рядов лозы. В конце ряда бредет Л., хозяин; на спине у него — корзина, на макушке — соломенная шляпа: весь он — словно ожившая аллегория плодородия. В первую смену аллегория ходит работать на корабельный завод.

Перебродивший, но еще не созревший мушт становится мутным, белесым; здешний люд называет его в эту пору — обезьянье молоко.

Солнце печет с неослабевающей силой, в небе ни единого кучерявого облачка. В арачской белой церквушке звонят полдень — колокольный звон так ангельски чист, будто в мире не изобрели еще термоядерной бомбы. Звонят полдень, мне пора домой, мы живем здесь по деревенскому расписанию.

Жена сидит на корточках возле каменной стенки в углу сада, где еще летом посадила несколько кустиков штокрозы. «Как растут!.. Как растут! — качает она головой.— Просто как сумасшедшие».

Даже сейчас, среди всеобщего созревания и увядания, в преддверии зимней смерти, природа неугомонно, упрямо ведет подготовку к весне.

(...)

1967, апрель

(...)

И как это птицы могут жить еще в больших городах, при теперешнем безумном движении? Как у них, бедных, нервы выдерживают? В те счастливые времена, когда одни только конные экипажи раскатывали по улицам, проворные воробьишки с патриархальным спокойствием могли порхать между, над, под ними; одного взмаха крыльев было достаточно, чтобы увернуться даже от самого быстрого фиакра. Близкий стук копыт по булыжнику был для них все равно что нежное анданте, негромкое тактичное предупреждение, равно как и трамвайный звонок, который когда-то вожатый приводил в действие, стуча по нему кулаком. Да и кошт у них, благодаря лошадям, был куда более сытным. А что делать им нынче с отработанными автомобильными газами, к тому же куда более зловонными? А насколько большей нагрузке подвергаются в наше время рефлексы птиц, нервная их система: ведь с какой быстротой приходится им спасаться от стремительно мчащихся по дорогам машин; иной раз воробей или голубь буквально в последнюю долю секунды вспархивает перед радиатором, так что пассажир на переднем сиденье чуть не вскрикивает от неожиданности. И все равно не увидишь на мостовой птичьих трупов. Видимо, птичий организм тоже приноравливается к технике,— но какой ценой? — вот вопрос. К технике, которая столь беспощадно опрокидывает биологическое равновесие в природе, вызывая последствия, пока что не поддающиеся разумению и предвидению. Более нервными стали сейчас воробьи, чем сто лет назад? Если да, то тогда почему остаются они в городах, в обстановке постоянной смертельной опасности, почему не перебираются жить в деревню? Есть, в конце концов, и там ведь дома культуры. Что в деревне: почему за последние десять лет в Пеште стало так много горлиц и голубей? Может, это предвестие долгого мира?

Пешт — ладно, но как могут жить птицы в Риме? (Вот уже два дня мы находимся здесь на какой-то писательской встрече, а точнее, просто так, под предлогом встречи.) Как они существуют в этом диком машинном столпотворении, в десять, в сто раз страшней пешт-

ского? Рим все еще чудесен, но совершенно невыносим. По статистике римский номер носят один миллион триста тысяч автомобилей, и все они беспрерывно движутся, меняют место, ведь иначе — это тоже подсчитано — они просто-напросто не уместились бы в городе. Куда они несутся? Куда ползут? Неужели весь Рим целые дни проводит в машинах, на улице, там работает, ест, пьет, рожает, живет, умирает? Но ведь вокруг я вижу и пешеходов — правда, главным образом тех, кто как раз собирается сесть в машину или только что вылез из нее. Наблюдаю я пешеходов и в лавках: продавцов, даже покупателей; наблюдаю мужчин, что выглядывают, насвистывая, из окон домов или оффисов. Утром я завтракаю в баре (или эспрессо, если перевести на хороший венгерский язык) рядом с нашей гостиницей; пока я не спеша — хоть и стоя — поглощаю свой кофе с булочкой, вокруг раза три сменяются вбегающие и выбегающие любители кофе. Миллион триста тысяч — это значит одна машина на каждые две с половиной души, включая грудных ребятишек. И все они мчатся как на пожар или тащатся еле-еле, тормозя через каждые десять метров, останавливаются, снова дают газ, и вот уже снова мчатся, сигналя... знать бы только куда. Двигатели ревут, выжимая газ, на первой, на второй передаче, тебя обгоняют слева, справа, где только можно, хоть на глазах у регулировщика; маленькие «фиаты» влезают в любую щель и, улыбаясь, машут оставшимся позади величественным «ланчам», которые — хотите верьте, хотите нет,— улыбаясь, машут в ответ. Пешеходы же — ибо, как я сказал, таковые имеются тоже — пересекают дорогу, где им взбредет в голову, никто не бежит с высунутым языком к переходу, а ревущий, в три-четыре ряда поток машин вежливо останавливается, пропуская перед урчащими, вибрирующими радиаторами мужчину, женщину, ребенка, собаку, кошку — кого угодно.

И все-таки здесь меньше — в процентах, конечно,— несчастных случаев и аварий, чем у нас, да и вообще у северных, уважающих порядок и его стражей народов; несравнимо меньше, чем, скажем, в ФРГ, туго затянутой в корсет правил уличного движения. Меньше аварий, но зато шума больше. А ведь в Париже, Лондоне, Москве, в бесчисленных средних и маленьких городах на Западе уличный шум уже перешагнул ту границу, до которой его без вреда для себя способен переносить человеческий организм. Модные некогда низкие детские коляски пришлось заменить высокими, чтобы спасти младенцев от стелющихся по земле выхлопных газов. Мы через два дня сменили гостиницу: невозможно было спать в утихающем поздно ночью и на заре набирающем силу реве моторов. Окна нашей комнаты теперь выходят на относительно тихую улицу с тремя гигантскими пиниями против окон. В ветвях пиний нежно чирикают воробьи, уже начинают щебетать ласточки, дрозды настраивают свои свирели, ничуть не смущаясь. Сначала я бы все же проверил их нервы.

Так же, как и нервы людские. Правда, проку от этого никакого: техника компромиссов не признает. Что с того, что повсюду в мире до абсурда доходит интенсивность уличного движения; что с того, что по выходным дням под колесами или в машинах гибнет больше людей, чем при землетрясении: с лент конвейеров сходят все новые миллионы автомашин; если их производство хоть на полгода приостановить, тут же услышишь со всех сторон тревожно-певучие вопли сирен автомобильных заводов. Сердца потребителей так податливы... ну-ка, вот вам еще одна, самая новая марка! Нас уже тоже почти захватило это поветрие. Мы тоже спешим «трабант» поменять на «шкоду», «шкоду»— на «москвич», «москвич»— на «фиат» или «опель». Личность, затянутая в водоворот под названием «общественная потребность», напрочь теряет способность сопротивляться. «Без машины в наше время не проживешь». В самом деле не проживешь —

и вот я покупаю машину, обмениваю на новую. То же делают мои друзья и знакомые — все, кто в силах и при деньгах. Мы выкладываем сколько потребуется — но мы заставляем расплачиваться и воробьев. А они-то при чем тут? И какое вообще дело великой и мудрой Природе, из лона которой выскочил человек, до творимой им второй, искусственной, эрзац-природы?

(...)

РЕПОРТАЖ ИЗ САДА

1967, август

(...)

Ведем борьбу, но не с саблезубым тигром — с мирными кротами. Конечно, сердце обливается кровью: по какому такому праву мы ополчились на них? По праву сильного? Жизни нашей кроты, правда, не угрожают — но зато угрожают делу наших рук. А заслуживает оно, чтобы мы его защищали? Доморощенное мое философствование, которым я не хочу никого убедить, снова и снова заводит меня в тот тупик, где мысль неожиданно натыкается на неодолимую стену. И пока беспомощно топчется перед ней, жизнь внезапно дает ей такой щелчок, что бедная мысль и топтаться позабывает.

Итак, борьба с кротами, портящими нам газоны и цветочные клумбы, как мы сказали уже, началась. В итоге — семнадцать дохлых цыплят. Ограничусь, поскольку речь идет о жизни и смерти, сухим изложением фактов.

Первая стадия борьбы — применение физического насилия: мы затаптываем кротовины и заталкиваем в ходы деревянные колья. Тщетно: на следующий день появляются новые холмики, означающие, что кроты не хотят расставаться с традициями своих предков. Такими же результатами завершился второй этап — заливание кротовых нор водой из садового шланга. По всему судя, кроты очень даже довольны бесплатным купаньем в такую жару — и с новой энергией продолжают работу в размякшей почве. И тогда, по совету специалистов, наши домочадцы прибегли к хорошо зарекомендовавшему себя во время войны способу — газовой атаке: в кротовые ходы насыпали размельченного карбида, залили его водой, сверху ходы зарыли землей. Результат — ноль. Так дошло дело до крайнего средства — рассыпания какой-то смеси с мышьяком, после чего семнадцать цыплят тетушки Печет, по-соседски наведавшиеся к нам во двор, были отнесены на бакелитовом подносе домой и зарыты поглубже в навозную кучу, чтобы не добрались до них бродячие псы.

Здесь кончается первая часть репортажа из нашего сада — а с ней и первая половина лета. Еще взгляд — теперь уже не на озеро, а за дом, вверх, на склон горы Тамаш, где маршируют к вершине, в сопровождении верных телохранителей, миндаля и грецкого ореха, ряды виноградной лозы. Их четкий, разумный строй успокаивает взбудораженные кротовой войной нервы. Как мы сказали уже, урожай этим летом будет редкостный... вернее, был бы редкостным, если б... Но не стоит об этом!

(...)

1967, декабрь

Целыми днями ворчу и хмурюсь. Причин много; одна из них, вероятно, в том, что зима на дворе, а я не люблю зиму. Вторая: я недоволен собой, потому что ее не люблю. В четыре часа уже темень, да и днем не намного светлее, вокруг дома — стена тумана, медная ручка ворот обжигает мне пальцы, на дороге лед, я скольжу, чуть не

падаю — и потому предпочитаю совсем не высовывать носа из дома; и внутри, и снаружи — всюду холод: так почему ж я ее не люблю? Дикие голуби, синицы, дрозды, воробьи целыми днями сидят на решетке террасы, ждут, когда я им брошу зерна: они тоже не любят зиму? Вчера я насадил на конец палки, чтоб не достали кошки (и они тоже не любят?) большой кусок сала; сегодня смотрю: он наполовину уже исклеван. А как сердито кричат горлицы, если я опаздываю с кормежкой! Садятся на подоконник, заглядывают в комнату. Занятие для старых дам. Может, потому я недоволен?

Я недоволен не только собой, но и миром. Не стану упоминать особо шумные события в разных его краях: углубившись в себя, я не так хорошо их вижу. Но то, что происходит здесь, можно сказать рядом,— почему это все в общем и целом мне не нравится? Потому, может быть, что уж очень много кругом машин, даже здесь, в дальнем конце Пашарета [1], и они ежедневно сбивают в стране по шесть-восемь-десять пешеходов? Или, может быть, потому, что у этих шести-восьми-десяти человек нет машины, чтобы они тоже могли кого-нибудь сбить? А может быть, потому, что если б дороги у нас были лучше, то и машин могло бы быть больше? И больше задавленных пешеходов? А если б дороги были хуже, то машин было бы меньше — когда их и без того не хватает? Потому что тогда за птичьим щебетом не слышно было бы мотоциклетного треска? А может, я потому в общем и целом не люблю этот мир, что разучился видеть его за телевизионным экраном? Или потому, что я в крайнем восторге от этой нашей — о! — технической цивилизации? Которая, говорят, в некоторые слаборазвитые страны и не заглядывала еще. Я не Венгрию имею в виду. Не Венгрию, где я могу сколько угодно ворчать и сердиться не только в качестве пешехода, но и сидя в машине. И не только зимой, но и летом, коли уж так доведется.

(...)

1971, август

В Фюреде у нас даже ласточки есть. «У нас есть»,— говорю я и чувствую, что здесь что-то не так. «У меня есть стол?» — ладно. «У меня есть собаки?» — хм, тут уже не все так просто. Но — «у меня есть ласточки»? С тем же правом эту формулу я бы мог употребить по отношению к воздуху, наполняющему мне легкие, к ветру, что, пролетая, потреплет меня по щеке, к облаку, что в эту секунду бросает мне тень на тетрадь. Лучше скажу точнее: в нашем доме гнездятся ласточки.

В этом году мы приехали в Фюред позже обычного, лишь в июне, ласточки опередили нас, но погреб во дворе, где обычно селились, они нашли в этот раз закрытым. Лишенные своего пристанища, они улетели куда-то в другое место. Стыдно сказать, но мне так их не хватает: будто целый сезон вычеркнут кем-то из года или целый сегмент вырезан из горизонта перед нашим садом. Их стремительное пикирование с высоты, затем крутой вираж вдоль двора и — под притолоку в погреб, на край гнезда, прямо в неистовый писк, в разинутые навстречу клювы, и тут же — обратно, на волосок ниже притолоки, великолепной дугой мимо двух высоких кленов, стрелой в высоту. Это был такой захватывающий спектакль, что я иной раз по четверти часа стоял перед погребом и все не мог насытиться зрелищем, в котором было изящество плюс абсолютная точность,— насытиться радостью, которую ощущаешь, наблюдая, как трудится мастер своего дела. К радости примешивалась и капля (даже говорить излишне, что мужественной) растроганности при виде столь высокого образца самозабвенной родительской любви и безграничного чувства долга.

[1] Пашарет — улица в районе вилл и особняков в Будапеште. *(Здесь и далее прим. перев.)*

И вот теперь — ничего! Три гнезда остались пустыми.

Вплоть до сегодняшнего дня, когда я, проходя по двору, услышал над головой свистящий шелест крыльев. Такой быстрый, что лишь краешком глаза успел ухватить мелькнувшую птицу. Под притолоку — в полумрак погреба, словно пуля, и уже несется из дверей смешной отчаянный писк из нежных желтых клювов. И снова молния. Из дверей — и ввысь. Значит, ласточки наши — простите: живущие у нас в доме ласточки — вернулись!

Точнее, из трех пар вернулась только одна — по-видимому, для второй кладки. Человек ненасытен: я, конечно, уже раздумываю над тем, почему не вернулись две другие семьи? Неужели нашли место лучше? Лучше, чем в моем доме? В котором они все же стали как бы моей частной собственностью?

И не слишком ли поздно взялись они выводить птенцов, продолжаю я рассуждать с обычным своим пессимизмом, прохаживаясь взад и вперед перед погребом? Успеют ли малыши должным образом возмужать к богородицыну дню, когда, по раз и навсегда заведенному расписанию, ласточки отправляются в дальний путь на юг? Этот ежегодный старт, раз уж он происходит в моем доме, чуть ли, можно сказать, не с моей ладони, волнует меня, пожалуй, сильнее, чем запуск очередного «Аполлона».

Их стремительные зигзаги в небе — их приветствие будущему.

И прощание вместе с тем. Черт возьми, почему то и дело приходится с чем-то прощаться?

(...)

1972, июль

(...)

Почему он все о животных да о животных, могут спросить, даже, может быть, спрашивают себя иные мои читатели. О собаках, о кошках, а вот в нижеследующих абзацах — о двух пернатых?

Да потому, что они беззащитны. Потому что слабы. Потому, что зависят от человека, который безжалостно выжимает из них, из живых и из мертвых, необходимую ему прибавочную стоимость. А ведь если верно, что человек — хозяин земли, то он несет ответственность за свои действия.

И да не забудет никто, говорю я, воздев кверху палец, что природа, потревоженная в своем равновесии, мстит за себя. Истребленные ради их бивней слоны, изменив облик, превратившись в простейших микробов, двинутся в контрнаступление на человека; вирусы, убитые пенициллином, станут невосприимчивыми к нему. И грядет восстание агнцев против волков.

А птицы? Кому мешают их невесомые, в воздух вписанные тела? Скажите, а грачи? А скворцы? Но в отместку мы поедаем кур, индюшек, уток, гусей, а те, у кого потолще бумажник,— фазанов, перепелов; в Италии не жалеют дроби даже на крохотных, на один зуб, певчих птичек. Голубей мы содержим — но и едим их. Пускай Зевс обесчестил Леду в облике лебедя, я все же не слыхал, чтобы птицы хоть раз нанесли человечеству столь же ощутимый урон.

Но двух упомянутых выше пичуг беда настигла не где-то, а в нашем пештском саду, и тут, естественно, мои чувства к животным, подогретые личной ответственностью, взыграли. Без особого, правда, толку!

Мне выпал случай спасти от зубов хищников — нашего фокстерьера Лиди и уличных кошек — выпавшего из гнезда дрозденка и сломавшую крыло юную горлицу.

Горлицу я поручил женщинам: кормить и ухаживать — это их дело. Сломанную косточку крыла они скрепили тонкой палочкой — вроде гипса на ноге человека,— посадили калеку в коробку с дырка-

ми для свежего воздуха, коробку же поставили в гараже на полку. Питание — сугубо больничное: молотая кукуруза и свежая вода. Спустя неделю, когда коробку открыли, горлица лишь шлепнулась на пол и суматошно замолотила здоровым крылом. Еще через неделю, перепархивая и помогая себе уже двумя крыльями, она добралась до дверей гаража. Интересно, что она думала своей маленькой, воспетой Пикассо голубиной головкой (по сравнению с которой наш массивный, изборожденный извилинами мозг — не правда ли? — куда эффектнее способен защитить мир во всем мире!), когда мы водворили ее назад, в коробку, и она, тревожно вертя точеной сизой шеей с элегантным серебристо-зеленым воротничком, мелкими черными бусинками-глазами изучала склонившиеся над ней огромные лица? И что думала, когда мы наконец сняли шину с ее крыла и распахнули перед ней гаражные двери?

Вверенный же моим заботам дрозденок к тому времени уже почил в бозе, о чем я вынужден сообщить с величайшим стыдом, оскорбленный в своем мужском самолюбии и удрученный прикосновением смерти. Хотя, казалось бы, у него тоже была и коробка с дырками, и вода, и кусочки сырого мяса, которое женщины — снова женщины! — клали пинцетом в его разинутый клюв; я снабдил его всем, что только может вообразить человеческий мозг о телесных потребностях молодого дрозда. Я позаботился даже о том, чтобы он и в период вынужденного пленения был поблизости от родителей: коробку я поставил на чердаке, вблизи от предполагаемого местонахождения его семьи, надеясь, что старики услышат через открытое чердачное окно плач своего дитяти и найдут к нему путь. Но на четвертый день птенец загрустил, не раскрывал уже клюв, и когда я поднимал крышку, он, махая слабыми крылышками, пытался спрятаться в задней, темной части коробки. На пятый день он лежал на боку, вытянув лапки, взъерошенный, потускневший.

Половина четвертого ночи. Перед тем как улечься в постель, я хожу взад-вперед по комнате, чтобы размять онемевшие от неподвижности ноги и снять напряжение с мозга. Начинает светать, за окном раздается первая, пробная трель дрозда. Нет, не того, что умер!

Все мы на свете, увы, заменимы. И по спирали птичьих трелей я возношусь туда, где нет ни боли, ни мыслей.

(...)

1972, июль

(...)

Свидание с садом: огромное облегчение на душе. Его выдает глубокий, счастливый вздох; моя оптимистическая диафрагма и легкие долго держат его в себе, стараясь не выпустить на волю, приберегая к этому, с тайной тревогой ожидаемому моменту. Они не обманулись в ожиданиях, и вздох наконец вырывается из груди. За ним следует еще один, такой же радостный и раскованный. Все в порядке, более или менее. Да что там: просто все в порядке.

Страшно даже подумать, что бы делал я летом со своим пером, со своим трудолюбием и своей ленью, если б мне дано было пережить огромный каштан, стоящий перед нашим домом, если б его повалила пронесшаяся здесь в мае буря и мы остались бы без благословенной прохлады, исходившей от тысячи простертых над домом добрых темно-зеленых ладоней, без раскидистой кроны, что служила танцзалом для ветерков, слетавшихся сюда со всей окрестности, без тихой ночной музыки его листьев, одинаково благотворной и для моей работы, и для сна,— если б сад наш остался без вознесенного ввысь, зеленого своего знамени, которое видно аж от самого Чопа-

ка. Даже вообразить такое — страшный грех против святости жизни. Однако буря пощадила каштан, лишь сломив не очень большую ветку на восточной его стороне да немного потрепав ствол, в результате чего омертвевшие и зацементированные места на нем потрескались кое-где, а в общем дерево, слава богу, выглядит живым и здоровым, и два новых побега, что в позапрошлом году пошли от ствола, стали уже толщиной в руку. Я обхожу его, осматриваю со всех сторон — я счастлив.

И вообще я на сад не могу жаловаться — он сохранился неплохо. Цела и стенка из белого камня, что огораживает с боков треугольную, почти нависающую над обрывом — словно нос корабля — часть нашего сада; этот нос, как и прежде, смотрит точно на Шиофок, буря не отклонила его от курса. Как прежде, выглядывает из-за стенки плотный ряд сирени, нынче он даже пышней, чем всегда; как прежде стоит в саду большое уксусное дерево, которое, по расхожему мнению, красиво на вид, но нехорошо пахнет. Лично мне кажется, что пахнет оно замечательно. Любопытно устроена человеческая душа: то, что наше, не может пахнуть дурно, пусть даже это отходы нашего пищеварения — лишь бы были свои; чужие же человек, зажав нос, обойдет далеко стороной. Из этого тезиса могут быть сделаны и социально-психологические выводы. Меня, скажем, вполне устраивает запах мелких белых цветочков, распускающихся у нас на живой изгороди из бирючины, а соседи считают их вонючими. То, что мое, все прекрасно — так отхватим же для себя как можно больше из окружающего нас мира; примерно такова логика мысли не только отдельных людей, но и целых народов. Увы!

Сохранился и сад за домом; на площадке величиной с ладонь он, не без доли высокомерия, пытается изобразить собою английский парк. Мужают шелковицы, посаженные уже нами возле ворот; приходит в себя даже крайнее деревце слева: его мы посадили всего полтора года назад, на место бог знает почему засохшего саженца. Год или два — столько времени требуется деревьям, чтобы прижиться; люди иногда приживаются куда быстрее. Правда, это зависит и от того, как глубоко уходят в землю корни. Возьмем, например, штокрозу. Всего лишь несколько лет назад вдоль одной из сторон корабельного носа мы посадили четыре-пять кустиков этого очаровательного, стоглазого цветка, а сейчас он, как когда-то татары Европу, грозит захватить весь сад, забираясь даже к миндальным деревьям; побеги штокрозы проникли уже в виноградник к соседям, чтобы, словно предприимчивые коммивояжеры, пропагандировать там продукцию своей фирмы. Нравятся мне штокрозы, нравится неукротимая их энергия. Цветы их играют таким же многообразием оттенков, что и изменчивая писательская душа.

Гараж за домом я просто узнать не могу; безобразное бетонное сооружение, попав в объятия штокрозы, превратилось в цветочное сооружение, в некий гигантский «арранжман» [1], какие во времена Дюлы Круди пештские кавалеры посылали — в миниатюре, конечно,— тогдашним красавицам в знак любви и рыцарского поклонения. Конечно, штокрозе помогли в этом и зеленый настенный ковер дикого винограда, и трудолюбивая красная вьющаяся роза, которая протянула побеги уже на зеленые ворота гаража; как известно, все живое требует для себя места, и, когда ему недостаточно не знаю сколько там миллионов квадратных километров земной поверхности, перешагивает на луну и даже... А поэтому, стремясь приучить наш сад, а заодно и Атялу [2], то есть нашу собаку Лиди, к должной скромности, я огораживаю бедные штокрозы четырьмястами погонными метрами проволочной сетки, побуждая их — ровно как и себя, да и всех

[1] Arrangement (*франц.*) — устройство, сооружение.
[2] Атяла (Аттила)— легендарный предводитель гуннов.

своих ближних — расти ввысь и вглубь, вместо того чтобы захватывать новые территории. Чтобы намерение свое подкрепить примером, я направляю указующий перст на серебристую ель, что усердно тянется в высоту и едва-едва — в ширину; с прошлого лета, по моим подсчетам, она приблизилась к небосводу по крайней мере на два метра. Словно худой и высокий святой Франциск, стоит она посреди нашего сада, читая неслышную проповедь собирающимся вокруг нее голубям, воробьям, соловьям и, наверное, той семье певчих дроздов, ни единого члена которой за семь лет я не видел ни разу, слыша только их ни с чем не сравнимые, сладостные рулады под лучами полдневного солнца, как, например, и сейчас, когда я пишу эти строки.

— На твоем месте я бы не был таким безоглядно счастливым!

— Почему же?

— Взгляни-ка лучше на свой миндаль!

— Ни к чему. Зная твой злорадный нрав, я и так догадываюсь: ты собрался мне сообщить какую-нибудь гадость. Но положения вещей это не меняет.

— То есть?

— То есть я все равно счастлив, хотя я никогда не мечтал к старости стать неуязвимым для бед. У меня есть своя ахиллесова пята, и не одна даже, и каждый может их обнаружить.

— Например?

— Нос у меня слишком большой.

— Значит, Парис бы направил свою стрелу не в твою пятку... Дальше!

— Не люблю причинять боли ни себе, ни другим. А ведь без бича и креста даже сам Христос Назаретский не вознесся бы на небеса.

— То есть ты — излишне чувствителен.

— И к тому же горд. Я считаю, несовершенен не я, а само мироздание. Хотя лучшего предложить не могу.

— Словом, ты нисколько не радуешься, видя, как лев пожирает газель.

— Льву ведь тоже жить надо. Впрочем...

— Что? Не надо?

— Вот если б он был травоядным!.. Впрочем, и растениям надо жить. Определенно: несовершенен сам механизм.

— Но лучшего, говоришь, ты не знаешь?

— По крайней мере нам, людям, надо бы жить меж собою согласней, коли уж мы, с нависшим над глазами лбом и висящими до колен руками, спустились с деревьев на землю. Дикой своей неуемностью мы подражаем природе, не умея, однако, перенять ее гармоничность, и сопротивляемся ей там, где не надо. Мы истребляем друг друга, мы безобразны, глупы.

— Не считая тебя! Однако на твой миндаль напала тля.

— Я ведь сказал, что бич тоже нужен.

— Значит, ты сейчас пойдешь и, противясь природе, станешь истреблять тлю домотоксом?

— Разумеется.

Я сижу за своим столом, освещенным настольной лампой; в открытое настежь окно влетает и садится мне на тетрадь ночная бабочка. Чего ты царапаешь там — могла бы она, вероятно, думать,— от этого никому ни жарко, ни холодно. Лучше посмотри на меня!

Я смотрю. Она неподвижно сидит на белой бумаге; крылья ее по краям окаймлены черным, в середине они розово-красные, и на

красном поле тремя рядами, один под другим, идут, все уменьшаясь и завершаясь в конце концов точкой, черные ромбики. Число ромбиков в каждом ряду — сверху вниз, по мере того как сужаются крылья — семь, пять, три. Этот рисунок до миллиметра, даже, наверное, до десятой доли миллиметра повторяется на обоих крыльях, и это самое поразительное. Ведь если у человека слева и справа находится по руке, у лани — по две ноги, у рыбы — по плавнику или по два, у птиц — по крылу, то объясняется это присущим природе принципом целесообразности (равновесие, техника движения и т. д.). Но чем объяснить, что природа использует симметрию как эстетический принцип? Для чего нужно — нужно ли? — бабочке, чтобы на левом и правом крыле у нее были одинаково расположены ромбики?

Я вспоминаю однокрылую птицу Аполлинера и женский портрет Пикассо с двумя носами: восстание человека против законов природы.

Вот над чем поломай лучше голову — думает, очевидно, ночная бабочка, когда вдруг соединяет крылья и, покачиваясь, вылетает в окно, в стократ более загадочную ночь.

(...)

1972, сентябрь

Размышляю о противоречиях и о согласии между природой и человеком. Что сформировало человеческий вкус?.. Под вкусом я понимаю хороший вкус. Наверное же, он не сам собой появился, но — за пределами принципа целесообразности — следовал существующим образцам, образцам цвета, формы и звука, созданным природой. Поэтому мы вполне можем утверждать, что природа не бывает безвкусной, один цвет никогда в ней не «забивает» другой, формы всегда пропорциональны, то есть удовлетворяют человеческое чувство равновесия, и даже некоторые ее звуки, признанные неприятными: крик хищных птиц, шипенье змеи и т. д.— вполне умещаются на шкале, выносимой человеческим ухом. Видел ли ты когда-нибудь безвкусно раскрашенную бабочку, или цветок, или птицу? Домашние животные — которые вырождаются, как и их хозяин,— порой грешат против гармонии; но пусть первым бросит в них камень тот, кто вывел дающих в год десять тысяч литров молока коров с противоестественно раздутым выменем.

Искусство — бунт человека против вкусового террора природы; оно выдумывает, добавляя к уже имеющемуся, нечто такое, чего еще не было. Конечно, оно не обрывает пуповину, соединяющую его с родной матерью — природой, оно лишь удлиняет ее. Порой удлиняет так сильно, что мы не видим уже изначальных истоков и лишь рты раскрываем в изумлении. То, что нынче называют модерным искусством (главным образом в живописи, в скульптуре), стремится уйти еще дальше; иной раз пуповина звенит, готовая лопнуть. Это искусство стремится своими новыми средствами сотворить новый мир, со своими формами и цветом; но, одно обретая, оно безнадежно теряет другое: оно изгоняет смысл, что разлит в природе; смысл, который присущ и муравью и слону и который иногда можно найти даже в человеке. Так оно становится символом нашей эпохи — разлезающейся по швам, сосредоточившей всю энергию на побочном, неглавном, ищущей решения отнюдь не самых насущных вопросов, жонглирующей далеким от существа дела объяснениями, эпохи нового вавилонского столпотворения, принесенного на нашу голову технической цивилизацией.

Взгляни на ель: она знает свои возможности, знает пределы их и живет, приноравливаясь к ним, то есть осмысленно. Ее жажда знаний ограничена необходимостью. Чего мы достигли, сорвав то злополучное яблоко?

«В третьем мире сейчас неграмотных на сто миллионов больше, чем двадцать лет назад» (по данным ООН).

«Сорок три миллиона детей, в возрасте от шести до одиннадцати лет, вынуждены заниматься физическим, нередко очень тяжелым трудом; девяносто процентов из них живут в развивающихся странах, небольшая часть — в отсталых районах промышленных стран» (из доклада в Женеве Международной комиссии по труду).

«Один мексиканский болельщик смотрел по телевизору матч с участием своей любимой команды. Когда она проиграла со счетом 1 : 0... он выхватил револьвер, расстрелял телевизор, затем пустил пулю себе в лоб» («Непсабадшаг»).

Почему и как живое существо кончает с собой — тоже дело вкуса. Скорпион, например, жалит себя, лишь оказавшись в смертельной опасности.

(...)

1973, октябрь

(...)

Об уродливых отношениях природы и человека говорит еще одно сообщение.

Следует знать: Перу (Южная Америка) в геологическом плане состоит из скалистой, бесплодной прибрежной полосы и, за нею, горного массива Анд. Среднегодовое количество осадков в горах — 3750 мм, у берегов — всего 50. Бывает, что за год здесь не выпадает ни капли дождя; за тысячелетия берег превратился в каменную пустыню.

Но тем щедрее здесь море; с незапамятных времен бессчетные косяки хамсы приходили в эти богатые планктоном воды. Хамса привлекает сюда птиц, питающихся рыбой: бакланов и пеликанов; помет миллионных стай птиц, или гуано, с течением времени образовал вдоль узкого берега длинную, в несколько тысяч километров, цепь холмов. Гуано — прекрасное удобрение для кукурузы. Кукурузу едят куры, кур ест человек. Пока что все идет как хорошо смазанное колесо.

Но вот в дело вмешивается научно-технический прогресс.

Хамса и птицы работают плохо. Вторые должны съесть не менее двадцати пяти центнеров первой, чтобы дать один центнер гуано,— а как еще долог отсюда путь до румяного жареного цыпленка. Если же человек возьмет хамсу непосредственно, и перемелет ее в муку, и исключит из круговорота птиц и кукурузу — из шести центнеров гуано он получит центнер рыбной муки для своих кур.

И вот Перу вышло в море. Целые флотилии рыбацких моторных судов двинулись в поход на хамсу, которая, все труднее выдерживая мирное сосуществование с человеком, трусливо бежала. Прямо в объятия собственной гибели. В 1970 г. перуанцы выловили двенадцать миллионов тонн рыбы, в 1972 г.— всего четыре с половиной миллиона. Птицы, лишенные пищи, тоже отступили — тоже к своей гибели. Жизнь на морском побережье вымерла.

Теперь — ни рыбы, ни кур.

(...)

1973, декабрь

(...)

Куда улетают умирать птицы? Куда они летают справлять нужду, я знаю: мне на голову. Мишень эта, казалось бы, невелика, да к тому же еще движется, однако они ухитряются все же попадать в нее каждый раз, как я в своем пашаретском саду совершаю утреннюю прогулку. Воробьи и синицы еще куда ни шло, но когда меня избирает мишенью крупнотелая балканская горлица, я возмущаюсь и делаю ей громкий выговор, даже порой кулаком, бывает, грожу. Не нашла лучшей цели, чем моя изрядно уже полысевшая голова? Нын-

че утром опять... Оскорбляться я, правда, не оскорбляюсь, ибо, думаю, в мировоззрении птиц, в структуре их воззрений на мир просто нет места какой-либо узкой идеологии, которая побуждала бы их выражать презрение к моей личности, и все же меня глубоко удручает, что они испражняются мне на голову. Понимать ли это как мнение природы о человечестве? Но тогда почему они выражают его именно мне?

Куда улетают умирать птицы? Семь лет я уже гуляю по нашему саду и по пашаретским аллеям, а птичий труп видел всего раз: в прошлом году, на улице королевы Эржебет, в траве под диким каштаном. Две лапки, словно две спички, торчали к небу из комочка взъерошенных перьев и казались неестественно длинными; на желтом клюве дрозда молчала уже запекшаяся капелька крови. Только путем долгих умозаключений можно было установить, что еще недавно этот комочек мусора был птицей, воплощением легкости. То, что до сих пор могло быть только поймано на лету, только взглядом, теперь вдруг отяжелело, слилось с землей, стало нелепым и неподвижным; скоро дворничья метла заметет это в совок и отправит в мусорный ящик. Пока птица эта жила, она не была телом — она была посвистом, легкой трелью, касавшейся человеческого сердца и подымавшей его в небеса; она была тихим шелестом крыльев, едва слышимой ухом мелодией. Она была тактом ритма в пробуждении человеческого сознания, толчком пульса меж небом и землей. Можно ли было поверить, что этот ритм остановится навсегда?

Куда улетают умирать птицы?

(...)

1974, октябрь

(...)

Читаю в газете, что на Поэтической улице, в XII районе, оборудуется музей защиты природы. Рядом с ним создадут символическое кладбище — в память о тех видах животных, которые уже исчезли на территории Венгрии.

Кто же будет беречь память о человеке, когда он окончательно истребит свой род на земле?

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ

Большой праздник на стройке

РАССКАЗ

Перевод с польского В. СЕЛИВАНОВОЙ

Деревня исчезала постепенно, можно сказать, это делалось методично: сначала тяжелые ножи бульдозеров срезали с полей всю растительность; когда прекратилось наконец надсадное, всепроникающее, немного глуховатое, как дребезжание треснувшего колокола, грохотание этих машин, дома и окружающие их деревья оказались как бы на берегу плоской бурой пустыни, прикрытой только воздухом, которая с каждым днем становилась все

более безжизненной, ибо все, что было в ней живого,— все, что жило в земле, что ходило и бегало по земле, что летало над землей, спешило выбраться на еще зеленые окраины пустыни; земляные твари, испуганные страшной наготой пустыни, пытались спрятаться, ввинчиваясь в глубь земли, и, быть может, прорывали там подземные тунели, терпеливо и настойчиво пробираясь туда, где кончалась пустыня, прокладывая ходы для всего кротового и червячьего племени; все, умеющие бегать, убегали, а все те, что имели крылья, отталкивались от земли, как от раскаленной плиты, и поднимались высоко в воздух, так высоко, что не видно было этой пустыни.

Все это продирание сквозь землю, передвижение по земле, полет над землей можно было бы назвать бегством с голой, превращенной в пустыню земли.

Вскоре, однако, пограничная зеленая дуга садов и лесов, а также заросли ивняка по берегу реки перестали быть землей обетованной для насекомых, зверей и птиц, потому что дошла очередь и до садов со стоящими в них маленькими старыми домами, и до леса, и до зарослей прибрежного ивняка.

Ибо для того, что предстояло тут построить, пустыня, подготовленная первым нашествием бульдозеров, оказалась недостаточно длинной и широкой, и нужно было пригнать множество других машин, больших, средних и маленьких, таких, которые смогли бы как можно скорей разрушить и убрать деревенские дома, а также вырвать с корнями и убрать сады, лес, заросли ивняка и увеличить таким образом пустыню.

И такие машины прибыли и начали издавать разные непривычные звуки — то страшные, то смешные, и рушить дома, и выдирать деревья; благодаря этому пустыня значительно увеличилась, и в то же время длиннее стал путь к той земле обетованной, к которой устремились все твари, жившие в земле, на земле и летающие над ней.

В связи со значительным удлинением пути к зеленым окраинам пришлось всем этим тварям запастись еще большим терпением, особенно тварям, жившим в земле: не вынеся ужасающей пустынности и сухости, устремлялись они к зеленым и влажным окраинам по проделанным ими самими с величайшим трудом и терпением подземным ходам.

Увеличенная пустыня имела форму неправильного круга и была неоднородна по цвету, ибо к бурому цвету той части пустыни, что образовалась в результате первого раунда нашествия бульдозеров, прибавились темно-бурые и даже совсем темные, а местами и просто черные полосы по краю круга, возникшие после второго раунда нашествия, когда были разрушены дома и истреблены деревья.

Какое-то время на всем этом пространстве царила мертвая тишина, такая, что можно было услышать то, чего обычно даже при самой полной тишине не услышишь: казалось, что слышишь, а может быть, и в самом деле слышалось, как трескается высыхающая земля, как буравят ее маленькие существа, прокладывая подземные ходы к далеким влажным окраинам.

И все-таки не все прежние обитатели этих мест покинули их, один из них добровольно остался жить в иссохшей пустыне; это была птица с ярким, красивым оперением; специалисты-орнитологи наверняка сумели бы правильно ее назвать и определить семейство, к которому она относится; если же говорить об обычных людях, далеких от орнитологии, то они считали, что этот единственный обитатель искусственно созданной пустыни похож на дятла, хотя и для них необъяснимо было его пребывание в этих местах, ведь дятлы и подобные им дятлообразные, если можно так выразиться, любят пребы-

вать в больших тенистых лесах, в которых растут старые высокие деревья с толстой, отставшей от ствола, потрескавшейся корой.

Что же могло привлечь представителя отряда дятлообразных на этой пустынной, сухой земле? Трудно предположить, что ему доставляло удовольствие долбить твердую корку ссохшейся земли, отдаленно напоминавшую потрескавшуюся кору дерева.

Птица эта была и похожа и непохожа на дятла: похожа была цветом оперения, тоже яркого, бросающегося в глаза, величиною же она намного превосходила дятла — и грудка пышнее, и хвост длиннее, зато голова и клюв были меньше, чем у дятла, так что если бы кто-нибудь взялся утверждать, что эта птица походит на фазана, тоже был бы в чем-то прав, хотя и в этом случае было необъяснимо пребывание птицы на этой твердой, как подошва, земле: ведь всем известно, что фазаны и птицы семейства фазаньих охотнее всего водятся в светлых, пронизанных солнцем рощах и невысоких перелесках по соседству с возделанными полями, где они находят себе пропитание; летают фазаны тяжело, низко; отрываясь от земли, они поднимаются в воздух по длинной наклонной линии, а это было бы трудно сделать среди высоких деревьев густого леса.

Но независимо от того, к какому отряду или семейству она относилась, птица вызывала удивление каждого, кто видел ее среди иссохшей пустыни.

Что же еще можно сказать об этой птице? Можно предположить, что она была очень упрямая, или что ею руководили какие-то непонятные людям соображения, или что она была очень привязана к этим местам, просто до самозабвения любила эти места, которые вскоре превратились в совсем мертвую пустыню.

Человеку, не знакомому с планами и задачами нашествия машин и механизмов, то, что творилось дальше на опустошенной земле, представлялось сплошным хаосом, который ничего уже не создает, разве что еще больший хаос.

И тем не менее этот хаос, рев моторов, крики, шум, скрежет, вой, тарахтенье, быстрая езда, быстрые удары железных молотов по вбиваемым в землю опорам и ленивые движения ажурных стрел подъемных кранов, весь этот хаос породил высокие и ровные, похожие на гигантские книги, стены и еще более высокие кирпичные трубы, напоминающие статные деревья своими безупречно округлыми формами.

Самым удивительным, однако, представляется не то, что такой большой всеобъемлющий хаос мог вызвать к жизни творения, обладающие вполне определенной формой с четкими линиями и правильными окружностями, а то, что начавшаяся на пустоши громадная стройка не спугнула птицу, что она осталась среди всех этих машин, кранов и стен.

Непонятное упорство или глубокая привязанность, любовь к родным местам, где в былые времена она вила гнезда среди зелени, удерживали птицу на стройке и заставляли ее бесцельно бродить по земле или совершать полеты над стройплощадкой; разные это были полеты — свободные, непринужденные, круговые, когда птица возносилась горизонтальными кругами в горизонтальной плоскости или, снижаясь, описывала вертикальный круг в вертикальной плоскости, а были полеты и вынужденные, стремительные, когда она резко взмывала вверх, в воздух и так же стремительно опускалась.

Люди, которые прибыли сюда вместе с машинами и которым гораздо привычнее был вид вращающихся колес, чем восходящего солнца, хорошо относились к птице, с теплотой говорили о ней и всегда ласково обращались с ней, они кидали ей крошки хлеба, позволяли садиться на край огромной железной бочки и пить из нее воду и не сгоняли ее с железных машин и механизмов, когда она усаживалась на них.

Можно было бы даже утверждать, что люди на стройке испытывали тайную радость оттого, что рядом с ними живет это красивое летающее существо; не всегда удавалось им скрыть эту радость, и тогда они проявляли ее совсем по-детски.

Происходило это чаще всего, когда они говорили между собой или только думали о том, что ведь эта птица, у которой есть крылья и которая умела летать, могла при желании улететь отсюда в далекие, еще зеленые леса, окружающие пустыню, на которой с грохотом разворачивалась огромная стройка, или еще дальше — в чащу пусть чужой, но буйной и сочной зелени, туда, куда уже переселились — а если еще не переселились, то находились на пути к ней — все твари живые, привыкшие из поколения в поколение жить среди трав и деревьев.

Она осталась на этой земле, одетой в железо и камень, она не испугалась того, что после двух нашествий машин с земли содрали скальп и оставили какое-то время один на один с небом, звездами, солнцем и дождем и что земля попеременно становилась то пустыней, то болотом.

Птица не испугалась адского шума: грохота и стука, скрежета, и воя, и громкой человеческой речи, нашпигованной проклятиями и ругательствами, без которой не обходится ни одна большая стройка.

Стройка подобна прожорливому человеку, которого трудно насытить. Ибо территория, которая поначалу представлялась достаточной для большой стройки, со временем уже не удовлетворяла своими размерами, так что от зеленого кольца окраин приходилось отщипывать новые куски, истреблять на них всю зелень, потом тщательно скальпировать и опустошать, а потом придавливать железом и камнем, застраивать стенами и трубами, то есть следовать трем главным и старым как мир законам маленькой и большой стройки, выдержать три обусловленных этими законами этапа обращения с землей: сначала содрать с нее кожу, потом плодородие заменить бесплодием и, наконец, до смерти забить ее каменьями.

Но если даже допустить, что какая-нибудь большая стройка поместится в первоначально отведенных для нее границах, все равно самим своим воздействием окраины она уподобит себе; воздействие это проявляется сначала незаметно, или почти незаметно, для глаза, а в некоторых случаях, когда оно становится заметно, воспринимается только как игра воплощенного в материальной форме солнечного света, то есть как нечто интересное и даже привлекательное внешне, что, со временем становится все более ощутимым.

Имеется в виду пыль, с помощью которой стройка захватывает прилегающие к ней территории даже тогда, когда они ей вовсе не нужны, более того, даже тогда, когда она вовсе не хочет их захватывать .

Воздействие пылью не запланировано, оно носит, так сказать, самопроизвольный характер: окружающая стройку кромка зелени блекнет и выцветает, постепенно тоже превращаясь в пустыню, хотя это никак не входит в задачи, поставленные перед стройкой.

Происходит это тогда, когда первоначальное кажущееся отсутствие или как бы отсутствие пыли переходит в заметное глазу ее присутствие — на одежде, на теле, на гладкой поверхности металла, на стекле, на листе дерева.

Справедливости ради следует отметить, что пустыня, образующаяся в результате воздействия пыли на зеленые массивы, существенно отличается от пустыни, созданной в результате нашествия машин на будущую стройплощадку.

Эта последняя быстро сменяет плодородную землю, ей предшествует массовое истребление, массовое уничтожение зелени, ее быстрое стирание с лица земли; можно сказать, что первый вид опустошения достигается путем скоропостижной смерти растений и мелких ор-

ганизмов, смерти, которая исключает — и это понятно, ведь здесь действуют машины — медленное увядание, постепенное умирание, предагональное состояние, предшествующее гибели и смерти,— поникшие, с каждым днем все ниже клонящиеся к земле стебли и ветви.

Превращение зеленой земли в пустыню под воздействием пыли происходит, как легко понять, совсем по-другому; в этом случае с земли уже не сдирают кожу, прежде чем забить ее до смерти каменьями, как поступают с землей, предназначенной под большую стройку. Вымирание растительности от разрушительного воздействия пыли наступает постепенно, медленнее медленного, почти незаметно: ведь вначале эту пыль можно принять за поток золотистого солнечного света, струящийся на зеленые леса и рощи.

Но эти золотистые полосы, протянувшиеся между деревьями, на самом деле состоят из частичек пыли и несут в себе гибель для зеленой растительности, в них изначальная причина умирания, начало длительной агонии, симптомы которой явственно проявляются в том, что сначала обесцвечиваются и свертываются листья, потом обвисают ветви, затем ослабевают и клонятся верхушки деревьев, и постепенно шум еще живых деревьев сменяется тихим потрескиванием деревьев мертвых.

Возвращаясь к птице, следует сказать, что ее добровольный отказ от зелени и примирение с тем фактом, что эта зелень с каждым днем все более удаляется от нее, трогал даже людей суровых, много перенесших в жизни, которых трудно было растрогать.

И еще надо добавить, что незаметное глазу воздействие пыли отразилось в первую очередь на птице: яркое многоцветное оперение как будто чуточку потускнело, как будто слегка стерлись границы между ярчайшими — пурпурной, голубой и золотой — полосами, между безупречно белой и абсолютно черной, а также другими полосами ее оперения.

Поначалу никто этого не заметил, ибо на первых порах человеческий глаз не в состоянии этого заметить, но вот однажды кто-то сказал: «Кажется, птица немного изменилась».

Тогда люди, возводящие стены на этой пустынной земле, стали присматриваться внимательно к птице и делиться наблюдениями, которые сводились к тому, что чуточку стерлась граница между красным и желтым, а также между черным и синим и между белым и желтым, что теряется безупречная чистота красок ее оперения.

И можно было заметить, что эта потеря былой безупречной чистоты красок в оперении птицы огорчила строителей, что они с тяжелым сердцем уходили от птицы и, грустные, возвращались к своим машинам и кирпичам.

Уже несколько высоких труб торчало и дымило на этой пустынной земле и уже было построено несколько домов поселка, когда один из рабочих воскликнул: «Кажется мне, что наша птица посерела!»

Серость в окраске птицы проявилась уже отчетливо: правда, она еще не стала однородной, так что можно было различать отдельные цвета, но цвета эти потеряли прежнюю яркость; казалось, на птицу была наброшена густая серая вуаль, плотно прилегавшая к перьям.

Кто-то задал вопрос: «Почему это произошло?» Тогда остальные стали растерянно улыбаться, а один не выдержал и горячо заговорил: «Как можно не видеть этого, как можно?»— и закончил свою тираду словом: п ы л ь.

А за ним и все стали повторять: «Пыль»; а он еще: «Пыль покрывает все вокруг», а остальные вслед за ним: «Пыль покрывает все вокруг»; он: «Пыль проникает всюду», остальные: «Пыль проникает всюду»; он: «От пыли не спасешься», остальные: «От пыли не спасешься».

После этой л и т а н и и они на минуту отвели глаза от птицы и

посмотрели в небо: на вид воздух был прозрачным и чистым, но они знали, что он полон пыли.

Потом они посмотрели на недавно привезенную часть стальной конструкции какой-то большой машины: сталь сияла и блестела, в ней отражались огни горевших на стройке сигнальных — или аварийных — ламп, но хоть эта сталь и блестела и в ней отражались огни, они видели, что ее покрывает пыль.

А потом они опять посмотрели на птицу, и один из рабочих сказал: «А что, если посадить тут для нее дерево, а над деревом соорудить крышу на высоких столбах, нечто вроде зонтика, который бы защищал дерево от сыплющейся сверху пыли. И чтобы эту крышу можно было бы снимать, когда идет дождь, и опять устанавливать, когда сухо».

Кто-то стал мечтать вслух: «Как было бы хорошо, птица бы сидела на дереве под зонтиком».

Эти слова рассердили того, кто начал литанию о пыли, и он сказал: «Глупые, вы не знаете пыли».

Понятно, о чем он думал: защита от сыплющейся сверху пыли — это еще не все, потому что пыль падает не только сверху, она движется во всех направлениях, проникает всюду, все насыщает собой; пыль вездесуща.

Тот, кто начал литанию о пыли, хотел сказать, что пыль проникнет и под крышу, она покроет дерево и птицу, ибо пыль так же легко распространяется по горизонтали, как и по вертикали, она не только может падать сверху вниз, но и, преодолевая силу тяжести, подниматься снизу вверх. Однако тот, кто предложил посадить дерево под зонтом, защищая свою идею, возразил ему: «Дерево можно поливать водой, и можно это делать часто».

Тот, кто начал литанию о пыли, рассмеялся, услышав эти слова, как бы давая понять, что он, дескать, лучше знает, что такое пыль, и стал покачивать головой и жестикулировать в знак того, что все равно не верит, что его не убедили, но в конце концов он уступил и сказал: «Попробовать можно, попробовать всегда можно...»

И таким образом было принято решение — сначала группой рабочих, а потом и руководством — о том, чтобы посадить дерево под навесом.

За ним отправилось несколько человек, понимающих в деревьях, а также несколько механиков, умеющих обслуживать удивительную машину, которая могла выкопать довольно большое дерево с корнями и землей и пересадить его в другое место.

Для того чтобы найти зеленое и здоровое дерево, в котором не было бы ни малейшего изъяна, в котором не было бы ни малейших признаков ненормальности в развитии или хотя бы самого пустякового недомогания, в котором ничто не свидетельствовало бы о замедленном росте, наоборот, которое всем своим видом, стволом, ветвями, каждой своей частичкой выражало нетерпеливое, излишне поспешное стремление вверх, как бы не желая считаться с объективными законами роста и развития деревьев,— чтобы найти такое дерево, специалистам пришлось пересечь довольно широкий пояс лесов, окружающих стройку и как бы состоящих из трех зон, отличающихся одна от другой степенью умирания растительности.

Когда специалисты вышли из проволочного ограждения, они оказались в зоне лесов, непосредственно примыкающей к территории стройки с ее уже во многих местах дымящими трубами, в зоне, которую можно назвать зоной полного вымирания; то, что прежде было деревьями, предстало здесь как толстые столбы, тонкие веточки и очень сухие пластинки листьев, такие сухие, что при малейшем прикосновении они рассыпались в прах.

Путь через зону полного вымирания проходил как в сухом тумане, и в том тумане из пепла одни мертвые стволы сменяли другие.

За зоной полного вымирания следовала зона, в которой умирание достигло своей последней фазы, но еще не самого конца, оно не было завершено окончательно, и поэтому здесь еще оставалось что-то, напоминающее о лесе живом, настоящем.

Жизнь еще теплилась здесь в островках зелени, но уже не было для нее спасения, и поэтому единственным желанием, возникшим в душе специалистов, было порожденное разумным состраданием желание, чтобы конец наступил как можно скорее, а значит, пожелание, чтобы как можно скорее эта зона сравнялась с первой, где царило полное вымирание. Когда это произойдет, зона полного вымирания станет намного шире.

А если станет шире зона полного вымирания, то тем самым намного увеличатся и зона умирания, и следующая за ней третья зона, в которую вступили специалисты после того, как пересекли вторую зону, и которую можно было бы назвать зоной первых признаков умирания.

Эти зоны, эти пояса постепенно будут расширяться, и умирание будет проникать все глубже в зеленый массив, распространяться все дальше и дальше, пока не дойдет до самого его конца.

Специалисты вступили уже в зону первых признаков умирания; здесь еще сохранялась надежда, что деревья выстоят, что они смогут стряхнуть с себя пыль, что они смогут избежать судьбы деревьев первых двух зон, что они не превратятся в пепел, но самое печальное, что надежды эти напрасны, потому что деревьям не выстоять и не избежать, потому что через какое-то время дым и пыль превратят и этот пояс в зону умирания, а в конечном итоге еще больше увеличат зону полного вымирания.

Тут еще следует сказать, что в зоне первых признаков умирания самое тяжелое впечатление производят верхушки деревьев и молодые ветви, которые отклонились в сторону, противоположную первым двум зонам, вытянулись в направлении живого зеленого массива, еще не затронутого гибельным воздействием пыли, и кажется, как будто деревья хотят сами себя вырвать и убежать в глубь зеленых лесов; но ведь убежать нельзя, земля крепко связывает и удерживает их; вот это и производит такое гнетущее впечатление, ибо рано или поздно их настигнет пыль, и в состояние полного вымирания они войдут с этими своими верхушками и ветвями, устремленными в сторону зеленых лесов, и тем самым в состоянии полного вымирания останется навсегда закрепленным их отчаянный порыв, тщетная попытка спастись.

Специалисты пересекли уже пояс, отмеченный первыми признаками умирания, и, пройдя мимо деревьев, в которых немногие бы могли обнаружить эти признаки, поскольку они были так незначительны или так скрыты, что только глаз специалиста был в состоянии их заметить, дошли до того места, где росли здоровые и сильные деревья.

Специалисты шли все дальше и дальше в глубь этого зеленого леса, так как хотели подальше уйти от трех зон, оставшихся позади.

Безотчетная радость охватила специалистов при виде столь многих признаков здоровья и силы: и деревья были зеленые, и шум их был шумом здоровых деревьев, так как шум этот создавали удары и трения друг о друга живых, а не мертвых ветвей и листьев, и слышалось пение птиц-беглянок, и много всего другого, свидетельствующего о полнокровной жизни, увидели специалисты в этой части леса, в том числе и целующуюся в густых зарослях молодую парочку.

Эти двое для своей любви тоже выбрали зеленый молодой лес; да и какая может быть любовь в тех лесах, среди пепла и пыли, сыплющейся сверху, застилающей землю и проникающей всюду, какой может быть поцелуй в мертвенном тумане, как можно смотреть в глаза друг другу сквозь пыльную мглу, как можно назвать объятием сближение обсыпанных пылью, пепельно-серых тел?

Поэтому этим двум влюбленным пришлось продираться сквозь три описанных выше зоны погибшей или погибающей зелени.

Специалисты улыбнулись, заметив эту парочку, и чтобы не помешать им, обошли их стороной, сделав большой круг.

Нелегко было выбрать дерево, так как слишком большим был выбор; в конце концов они остановились на одном, по их мнению, самом подходящем: оно было уже не маленькое, но еще не слишком большое, оно было абсолютно здоровое, короче говоря, как раз такое, каким должно быть дерево, чтобы хорошо перенести пересадку в новую почву и в новый воздух — в сухую почву и сухой, пропыленный воздух.

Когда дерево привезли на стройку, яма для него уже была подготовлена; посадили дерево вблизи поселка, подальше от заводских высоких труб из кирпича и других труб, пониже, расширяющихся кверху, которые неустанно извергали черно-ржавую пыль; над деревом на высоких стойках водрузили, как и было задумано, крышу, которая выглядела очень красиво, потому что сделана была из сверкающего стекла.

И теперь на территории огромной стройки были две вещи, живо волнующие рабочих: птица, которая не переставала их удивлять и то доставляла радость, то заставляла тяжко и глубоко задумываться, и зеленое дерево, единственное дерево, единственная живая зелень на большой площадке стройки, можно даже сказать — в поселке, ибо дерево это было посажено ближе к жилым корпусам, нежели к фабричным стенам и трубам.

А когда дерево уже посадили, строителей стали тревожить два вопроса: выживет ли дерево и полюбит ли его птица?

Поэтому каждую свободную от работы минуту они использовали для того, чтобы подойти к дереву и внимательно его рассмотреть, и можно сказать, что это дерево стало их х р а м о м, ибо было в нем нечто от святости, и над ним возносился на четырех отполированных белых столбиках сверкающий яркими искрами стеклянный балдахин.

После работы строители собирались вокруг своего х р а м а; им хотелось бы даже заглянуть в глубь дерева, чтобы узнать, насколько сильна в нем жизнь.

Поначалу в разговорах рабочих, собирающихся у храма, слышались слова: «Принялось», «Выстоит», «Теперь уж наверняка выстоит...»

Затем: «Неизвестно, выстоит ли», «Болеет», «Переболеет и будет расти...»

Очень часто, особенно в периоды затянувшейся суши, слышалось также тарахтенье маленькой пожарной помпы, с помощью которой поливали дерево, а заодно обливали и балдахин со столбиками.

Когда вода крупными каплями обрызгивала дерево, когда она увлажняла землю, на которой оно росло, когда она стекала по белым столбикам и, как дождь, барабанила по стеклянному балдахину, заставляя стекло искриться еще ярче, строители испытывали большое удовлетворение, чтобы не сказать — счастье.

Эта простая процедура была наполнена для них особым смыслом, это был торжественный акт, вот почему и помпа с моторчиком, и обслуживающий ее пожарный представлялись чем-то более значительными, чем были на самом деле, а дерево, объект их забот, становилось как бы участником некоего обряда, в котором пожарный был чуть ли не жрецом.

Легко понять, почему столь обычная процедура полнилась таким необычным смыслом, обрела столь высокий ранг: строители не только хотели верить, что вместе с водой в дерево вливается жизнь, но и в своем воображении проникали в сокровенные глубины ствола, корней и ветвей, во все их жилы и капилляры, становясь сопричастными к великому таинству жизни.

Не менее сильно занимала рабочих и вторая проблема: как отнесется к дереву птица, полюбит ли его, захочет ли признать храм своим домом?

Поначалу все говорило о том, что этого не произойдет: птица держалась в стороне от дерева, как и прежде, кружила над участками еще пустой земли или над наваленными кучей столбами и бетонными плитами, а также над сваленными в беспорядке железными конструкциями; на этих участках еще пустой земли, на бетонных плитах и стальных конструкциях она и сидела; и даже тогда, когда строители, размахивая руками и добродушно покрикивая: «На дерево, на дерево, голубушка!»— пытались подогнать ее к храму, птица все равно не приближалась к нему, облетая его стороной или сверху.

Это был период, когда их не радовало даже заверение, что, переболев, дерево примется и будет расти, ибо они еще не знали, полюбит ли его птица, признает ли своим.

Кто-то сказал, что не следует пытаться силой загнать птицу на дерево, и добавил еще, что так можно у птицы отбить всякую охоту сесть на дерево, то есть добиться противоположного результата.

В конце концов все согласились с этим и перестали загонять птицу на дерево.

Они говорили тогда: «Пусть поступает как знает, посмотрим, что из этого выйдет»; но, работая на подъемных кранах или на стенах строящихся домов, они часто поглядывали в сторону дерева, надеясь увидеть птицу сидящей на нем.

Птица, однако, не спешила садиться на дерево, возможно, ее отпугивали блестящие столбы и сверкающая крыша.

Но уже можно было заметить, что птица понемногу начинает привыкать к дереву, постепенно осваивается с деревом, и с четырьмя столбами вокруг него, и с балдахином над ним; случалось, что, пролетая над храмом, она снижала свой лет, как бы намереваясь сесть на балдахин, а когда ей приходилось пролетать мимо дерева, она уже не описывала вокруг него большую дугу, а лишь слегка отклонялась в сторону, и несколько раз это отклонение было столь незначительным, что казалось, она, того и гляди, заденет крылом за белый столб или обитый серебристой жестью край крыши.

И вот в один прекрасный день, когда плавающие в воздухе между заводскими корпусами и домами поселка клубы пыли вытянулись в блестящие на солнце разноцветные полосы, которые, как пестрые ленты, связали между собой и здания цехов, и дома поселка, птица слетела с огромной стальной лапы подъемного крана и, низко паря над землей в своей специфической волнообразной манере, которую строители называли «подпархиванием», взяла направление на это единственное зеленое дерево на стройке.

Она приближалась к храму по прямой линии, и, когда уже была совсем близко от него, оказавшись в последнем углублении между двумя возвышениями своего волнообразного полета, те, что наблюдали за ней, затаили дыхание, ибо никогда еще она не была так близко от дерева; стало ясно, что конечным пунктом этого низкого лёта было именно оно, единственное зеленое дерево на стройке.

Птица уселась на одной из верхних веток дерева, у самой верхушки, и весть об этом быстро облетела всю стройку, и приглушенный, чтобы не спугнуть птицу, крик: «Птица сидит на дереве!»— несся от здания к зданию, от крана к крану, от цеха к цеху.

А потом осторожно, стараясь это сделать как можно незаметнее, согнув ноги в коленях — чтобы шаги были тише,— строители стали сходиться к храму, где стояло дерево, которое было для них и лесом, и садом, и рощей, и полем и на котором сидела их птица, и, хотя это была одна-единственная птица, она заменяла им всех других существующих в мире птиц, всех маленьких и всех больших, тех, что

порхают в ветвях, и тех, что садятся на крыши домов, и тех, что летят в небе большими, как тучи, стаями, и всех других птиц.

И вот взорам рабочих открылась удивительная и прекрасная картина: дерево в окружении четырех белоснежных столбов под сверкающим серебристым балдахином и птица, сидящая на ветке этого дерева.

Стоя на некотором расстоянии, они смотрели на нее и все не могли насмотреться, и лица их выражали большое удивление и глубокое удовлетворение.

С каждым днем они испытывали все большее удивление и все большее удовлетворение, и кто знает, каких размеров достигло бы их удивление и удовлетворение, если бы не случилось того, что случилось: один из рабочих, под прикрытием сваленных в кучу бетонных балок, подкрался к самому храму, а потом, торопливо вернувшись к стоящей в отдалении толпе строителей, сказал: «Кажется мне, что дерево немного пожелтело, а птица еще больше поблекла и вдобавок отощала».

Это сообщение пало в самую сердцевину радости строителей и сразу заморозило эту радость, стерло с лиц удовлетворение и заставило захлопнуться разинутые в радостном удивлении рты.

Некоторые из рабочих медленно повторили услышанные слова, то ли с недоверием, то ли проверяя, дойдут ли они до сознания: «Дерево пожелтело, птица поблекла и вдобавок отощала».

Они приблизились к храму и остановились, боясь спугнуть птицу; потом еще немного продвинулись вперед и опять остановились, ибо им хотелось, чтобы птица сидела на ветке сколько сама пожелает.

С этого расстояния они пытались разглядеть дерево и определить, насколько оно пожелтело; пребывая еще в значительном отдалении от дерева, они стали потихоньку высказывать свои мнения, и это были разные мнения, так как одни уверяли, что в зеленой окраске дерева не видно ни малейших признаков желтизны, а другие им возражали, и долгое время было неизвестно, кто же из них прав.

Даже и тогда, когда птица, посидев на ветке сколько ей хотелось, слетела с дерева и в низком полете переместилась на бетонный столб, одиноко торчавший за свалкой железа, трудно было решить, кто же прав — те ли, которые не заметили желтого оттенка на зелени, или те, которые такой оттенок заметили.

Долго спорили бы они впустую и не пришли ни к какому решению, тем более что спорившие уже давно работали на стройке и давно не видели настоящей зелени, так что совсем позабыли, какого цвета бывают здоровые деревья, если бы не оказался на стройке человек, который лишь недавно приехал сюда из мест, не тронутых пылью и дымом большой стройки, то есть из мест, где сохранилась зеленая растительность; и все единодушно решили: «Пусть скажет новенький, он лучше знает, он совсем недавно видел здоровые деревья».

Новенький приблизился к дереву и внимательно осмотрел его листья, а потом повернулся к рабочим и, стоя между двумя белыми столбами, произнес: «Пожелтело». И еще добавил: «Говорю вам, это дерево начинает желтеть».

От храма они отходили медленно, притихшие, погрузившись в глубокую задумчивость, а потом вошли в полосу темного дыма, валящего клубами из низкой, расширяющейся кверху трубы, дыма, который испачкал и разорвал светлые полосы пыли, искрящиеся на солнце разными цветами, точно ленты, развешенные между зданиями, той пыли, под чьим воздействием гибла окрестная зелень, а на ее месте образовывались три зоны: полного вымирания, умирания и первых признаков умирания.

Если говорить о дыме, то наихудшим из них является не тот, что черный, жирный, тяжелый, а тот, что легок и обманчив, которого вроде бы и не существует и который при определенном освещении

может показаться даже красивым; в обычных условиях он почти не виден или же можно заметить только легкое сероватое облачко, или слегка голубоватое, или чуть-чуть желтоватое.

Потом строители, ступая так же медленно и торжественно и все еще погруженные в задумчивость, оказались в облаке пара, вырывающегося из всех огромных и круглых, точно гигантские бочки, отверстий зданий, в которых производилось охлаждение каких-то очень горячих изделий.

Этот пар, вырываясь наружу легкими, белыми, летучими клубами, тут же смешивался с черным и тяжелым дымом и превращался в пар, тяжелый и грязный; таким оседал он на рабочих, делая темными их одежду, лица и руки, но они выбрали этот путь, так как он вел их к бетонному столбу, на который села птица после того, как слетела с дерева: они хотели хорошенько рассмотреть ее.

То, что она действительно поблекла и отощала, они заметили сразу же, никакой эксперт для этого был не нужен, никакой новенький, из тех, кто еще недавно имел возможность видеть на воле разных птиц и в памяти которых не успели померкнуть краски их оперения.

В оперении этой птицы уже не было ни пурпура, ни золота, не было прежней глубокой черноты и безупречной белизны: все краски приглушила серость, ибо многолико воздействие пыли; проявляется оно и в том, что стирает все яркое, красочное, заменяя его серым цветом, который по сути своей бесцветен, о котором точнее будет сказать, что это и не цвет вовсе, а бесцветие.

Не вызывал сомнения и факт, что птица отощала: ее пышная грудка как бы съежилась и усохла.

И опять перед строителями встали две проблемы: как уберечь их лес, то есть их единственное дерево, и что сделать для того, чтобы их единственная птица, которая была для них воплощением всего царства пернатых, опять обрела свою прежнюю яркую окраску, а грудка ее опять стала пышной и гордой.

Они пытались разрешить первую проблему, разрыхляя и удобряя землю под деревом и смывая с дерева пыль с помощью пожарной помпы, но оказалось, что чем чаще поливали дерево водой, тем более толстым слоем оседала на нем пыль: избыточная влага притягивала ее как магнит к листьям, ветвям и стволу, к тому же легкая порошкообразная пыль, оседая на влажной поверхности, превращалась в вязкую, трудно смываемую грязь.

Так что в этой борьбе двух стихий, если можно так выразиться,— воды и пыли — победила пыль; все усилия рабочих были напрасны, и вот уже не только новенькому, который недавно пришел на стройку и еще не забыл, как выглядит настоящая зелень, но и всем остальным, кто подходил к х р а м у поближе, сразу становилось ясно, что дерево желтеет; а потом уже и приближаться не было необходимости, так как желтая окраска дерева стала заметна издалека.

Тем не менее следовало признать, что это желтое дерево выглядело очень красиво в окружении белых столбиков, под нарядным стеклянным балдахином; особенно красивым оно казалось тогда, когда окутывающее его, как прозрачная вуаль, разноцветное облако пыли просвечивалось насквозь солнечными лучами или светом зеленых и красных сигнальных — или контрольных — огней, горящих на стройке.

Красота эта не радовала строителей, так как они хорошо знали свою пыль и понимали, что если уж она начала губить дерево, то доведет это дело до конца; и они настолько отдавали себе отчет в неотвратимости происходящего, что уже не высказывали суждений типа «Не выживет дерево» или «Засохнет дерево, ничто его не спасет», ибо такие суждения высказываются тогда, когда надеются услышать в ответ возражения типа: «Может, и выживет, может, не засохнет, может, еще и отойдет».

Ничуть не лучше было положение с птицей, она становилась все более серой, и ни дожди, ни внезапное окатывание ее водой из засады не в силах были смыть эту серость; вдобавок птица все худела, хотя питалась совсем неплохо, так как рабочие щедро сыпали ей крошки хлеба и ничего не жалели.

Строители никак не хотели примириться с фактом, что их дерево погибает, и — к сожалению, это уже не вызывало сомнения — с тем, что их птица тоже погибает; все их усилия, вся их энергия, направленные на спасение их леса (а есть все основания назвать так это единственное дерево), не только не предотвратили гибели «зеленого массива» великой стройки, но, пожалуй, еще ускорили ее; ведь действовали они лихорадочно, непродуманно, вкладывая в свои действия излишне бурную энергию, которая не считается ни с чем, даже с тем, что вместо пользы приносит лишь вред; пример того нередкого явления, когда усилия, направленные на спасение, приводят к гибели: ведь вода, без которой, как известно, дерево не может расти, если ею злоупотреблять, пользоваться ею неумеренно, если без конца обдавать дерево тугими струями из пожарного шланга, вода не только не поможет дереву, но и переполнит почву влагой, повредит его кору и листья и в конечном итоге погубит дерево.

К этому и свелись попытки спасти дерево, и получилось так, что вода, вместо того чтобы противостоять воздействию пыли, помогла ей, и если поначалу велась борьба воды с пылью, закончившаяся победой пыли, то вскоре она сменилась союзом двух стихий, погубившим «зеленый массив» великой стройки.

Мало того, что в середине лета дерево стало совсем желтым; из-за того, что дерево интенсивно били сильными струями воды, его крона утратила былую пышность и сквозь ее пустоты просвечивало небо.

Но уже ничто не могло удержать строителей, они все чаще поливали дерево, и уже не просто поливали, а как бы хлестали его водой, как будто прежняя нежность к дереву перешла в ненависть и как будто они ставили перед собой цель не спасти свой «лес», а уничтожить его, как будто в них клокотало раздражение: пропадай, коли не хочешь жить! Пропадай, коли не помогли тебе ни рыхление почвы, ни поливка, ни крыша, которую мы снимали в дождь и опять устанавливали, чтобы защитить тебя от едкой пыли! Погибай, коли не помог тебе наш х р а м!

И дерево, словно послушавшись их, быстро сбрасывало листья; но даже и с немногими сохранившимися листьями оно выглядело красивым при определенном освещении, когда облако пыли расцвечивалось всеми цветами; тогда оно привлекало взгляды строителей, и в них стихало раздражение и спадала эта непонятная, словно бы озлобленная энергия, направленная на сохранение дерева; случалось также, что птица, которая к тому времени совсем ослабела и потеряла способность высоко летать, находила в себе силы, то летя над самой землей, то передвигаясь по земле, подняться до верхних веток дерева и сесть на них.

И все-таки неумолимо приближался и пришел наконец день, а точнее тот предвечерний час, такой момент перед самым вечером, когда небольшой ветерок, что разрывал и уносил вдаль клубы черного дыма, испускаемого высокими кирпичными трубами и низко проложенными горизонтальными железными трубами с расширяющимися жерлами, всеми этими заводскими трубами, как бы играющими дымовую симфонию, когда этот ветерок, что заполнял стройплощадку и поселок густыми волнами пыли, словно погружая их в застывшую сухую воду пепельного цвета, когда этот ветерок, сухо шелестевший большими листами жести на свалках металлолома, стряхнул с дерева последний лист и превратил среди лета «зеленое насаждение» стройки как бы в зимнее дерево, в дерево безлистное и сухое, как бы в дерево, сделанное из железа; но оно все еще оставалось в х р а м е,

и на него падал свет красных и зеленых ламп, сообщающих рабочим, когда машины и механизмы опасны, а когда послушны и к ним можно прикасаться.

Теперь «зеленое насаждение», представленное одним-единственным засохшим деревом, и сидящая на нем одинокая понурая птица являли собой печальное зрелище, которое трудно было вынести, и строители не в силах были его вынести, и стали говорить: «Этого нельзя так оставить, этого нельзя так оставить, с этим что-то надо сделать». «Что-то надо сделать с деревом» означало одно — вырвать его и выбросить, ничего другого это не могло означать.

И вот появилась небольшая, но ловкая и сильная машина, и она вспугнула птицу, и птица, то с трудом вспархивая, то передвигаясь шагом, перебралась опять на мощную лапу подъемного крана, где она часто сиживала раньше; потом машина ухватила дерево — приблизительно в середине ствола — чем-то похожим на большую руку, выдернула его из земли и отшвырнула в сторону, а потом его убрали те, кто поддерживал чистоту на стройке с помощью других, меньших машин и разных щеток, грабель и пр.

Когда храм опустел, кто-то сказал: «В одном магазине появились в продаже искусственные деревья»; это сообщение сразу вызвало большой интерес, и люди стали повторять: «Ты говоришь, появились искусственные деревья? Где этот магазин?»

Это был большой магазин в большом городе, сразу бросались в глаза его вывеска «Вечная природа» и другие яркие, завлекающие надписи: «Если вы хотите приобрести вечное дерево, если вы желаете украсить свою жизнь цветком, который не засохнет, не завянет и будет цвести вечно,— посетите наш магазин; если вы хотите приобрести вечнозеленую траву-муравy, не требующую никакого ухода,— посетите наш магазин».

Войдя в магазин, посетитель оказывался в небольшой рощице, пронизанной благоуханием духóв — пульверизаторы были искусно замаскированы в кочках, поросших мхом. В ветвях деревьев сидели маленькие птицы, сделанные из металла, их клювики были раскрыты, так что создавалась иллюзия, что это поют они, а не записанные на магнитофонную пленку настоящие птицы — магнитофоны тоже были искусно замаскированы.

Рощицу украшала красивая зеленая полянка; надпись информировала, что такие полянки (3×2,5 м) можно приобрести в магазине: удобно свернутые в рулоны, они лежали на полках.

В середине поляны на поваленном стволе дерева, сделанном из пластмассы, сидела пластмассовая парочка — девушка и парень; его глаза выражали неописуемое счастье, он подался к ней, протянув и слегка приподняв руки, застыв, казалось, в ту самую минуту, когда намеревался обнять ее и прижать к сердцу; и ее глаза тоже выражали неописуемое счастье, она слегка откинулась назад, как бы уклоняясь от объятия и самим этим уклонением вызывая его, как бы запрещая и в то же время нетерпеливо ожидая сближения, как бы говоря неслышное «нет» только затем, чтобы оно прозвучало как неслышное «да».

Далее размещался цветочный отдел, краса и гордость магазина «Вечная природа».

При виде великолепия ярких и чистых красок, заполнивших все пространство на полу, на полках и специальных полочках, при виде этого великого множества цветов, свешивающихся с жардиньерок и кашпо, оплетающих какие-то столбики, жердочки и декоративные стенки, при виде этого буйства красок, окунувшись в буйство всевозможных запахов, ибо у каждого цветка был свой, только ему свойственный запах, делегация строителей, приехавшая купить дерево, совсем растерялась.

Строители охотно скупили бы все эти цветы и рощу целиком, но они могли купить только одно небольшое дерево, так как только на него были выделены деньги из директорского фонда.

Поэтому они вернулись в «рощу», вынули из нее одно дерево и, поставив его посередине магазина, стали внимательно осматривать со всех сторон; оно им сразу понравилось своей безупречной формой, его ствол ровным и аккуратным конусом сужался к верхушке, что же касается его высоты, то, по их мнению, она как раз соответствовала их храму.

Они спросили, не потеряют ли со временем листья свою яркую окраску, и их горячо заверили, что краска очень прочная, что она выдержит жару, непогоду и мороз; потом они обсудили вопрос о воздействии пыли и с помощью продавца пришли к утешительному выводу, что с этого дерева пыль очень легко устранить, ибо такое дерево обладает весьма благоприятным для данного случая качеством, а именно плотной и скользкой поверхностью, так что вся пыль с листьев и ствола будет скатываться по законам скольжения, поэтому достаточно самого легкого ветерка, чтобы сдуть ее.

Таким точно образом — по законам скольжения — с дерева будет сползать грязь, попавшая на него.

Этот последний аргумент стал решающим в вопросе о приобретении дерева, и рабочие купили искусственное дерево, которое потом погрузили на машину и повезли на стройку.

На обратном пути они уже не столь сильно печалились, проезжая одну за другой три зоны, возникшие на месте зеленых лесов, некогда окружавших стройку, а именно — начиная с последней, так как они ехали на стройку — зону первых признаков умирания, зону умирания и зону полного вымирания.

Теперь эти зоны не производили прежнего гнетущего впечатления, так как у них было дерево, которому ничто не страшно, дерево вечнозеленое и вообще вечное, так что одну из двух стоящих перед ними проблем они могли считать решенной.

В этот же день дерево было доставлено в храм, а там установлено и смонтировано.

Не посажено, а установлено и смонтировано — так впервые сказали о дереве рабочие той великой стройки, как сказали бы они о стальном кране или каком-нибудь другом механизме, да и не могли они сказать иначе, разве что им пришло бы в голову пошутить или обмануть самих себя, поскольку дерево и в самом деле было установлено и смонтировано; ведь не могли же они просто воткнуть его в почву, где перед этим росло их одно-единственное, чахлое, но настоящее дерево; теперь пришлось сначала сделать небольшой бетонный цоколь и закрепить на нем механизм, напоминающий зажим в бормашине, только гораздо больше по размеру; вот в этот-то зажим вставили дерево и смонтировали его так, чтобы оно стояло прочно, не болталось и не покосилось.

Такой способ установки дерева позволяет назвать его не деревом, а памятником дереву, тому дереву, настоящему и даже можно сказать заслуженному, которое воплощало в себе целый лес и помогало людям воскресить в памяти зелень тех мест, откуда они пришли на стройку; глядя на свое дерево, строители, бывало, с грустью и умилением вспоминали детские годы и пышную зелень родных лесов.

Следует признать, однако, что новое дерево чрезвычайно подходило к храму, даже больше, чем то прежнее, живое: в свете ярких огней стройки блестящая поверхность листьев искрилась зелеными отблесками, усиливая и без того яркий блеск стеклянной крыши храма.

Могло ли это искусственное дерево тронуть души людей и перенести их мысленно в родные места, в леса и поля их детских лет?

Может, и могло, может, и переносило, но при этом еще больше

отдаляло их от живых лесов, заставляя осознать, как далеки они от них теперь.

Тем временем птица уже совсем потеряла способность летать и стала серым, изможденным пешеходом; однако в тот период она изредка еще предпринимала отчаянные попытки взлететь, и эти редкие взлеты давались ей с неимоверным трудом; но чаще случалось так, что, топчась на одном месте, она напрасно хлопала крыльями и пыталась хотя бы ногами оттолкнуться от земли; в такие минуты она поднимала кверху голову и издавала скрипучий хрип, как бы моля кого-то там, наверху, вернуть ей способность летать.

Все ее попытки взлететь были напрасны, крылья птицы уже не могли загребать под себя столько воздуха, чтобы можно было на него опереться, так как теперь ее крылья казались сделанными из сетки,— так мало в них осталось перьев.

Вот и отправлялась она в путь пешком, шатаясь из стороны в сторону, опустив голову, как бы пристально вглядываясь в пыль, покрывавшую землю, асфальт и бетон.

И уже не жалость, а злость охватывала строителей, когда они смотрели на это, и они говорили со злостью и раздражением: «Ведь она же, глупая, могла улететь в лес, когда еще летала, ведь она, глупая, могла улететь со стройки, когда была сильная и такая яркая... Зачем она осталась здесь?»

Но злость, если она находит выражение в таких словах, должна неминуемо опять смениться жалостью, а жалость в свою очередь чем-то вроде уважения к этой геройской птице, к твердости ее характера.

Иногда строителей охватывало непреодолимое желание помочь этой птице; тогда они окружали птицу и ловили ее, а потом поднимались с ней на крышу дома или на верхушку подъемного крана и оттуда спускали ее вниз; но все было напрасно, птица опускалась вниз тяжело и некрасиво, силы в крыльях ей хватало лишь на то, чтобы не свалиться камнем вниз и не разбиться.

Несколько раз они сажали ее на новое дерево, но она сразу же соскакивала с него и спешила покинуть х р а м.

Для птицы наступила третья стадия в ее жизни — теперь она только ходила по земле и уже не делала попыток взлететь, навсегда распростившись с надеждой на то, что сможет взлететь; ибо этой третьей стадией было лишенное всяких надежд хождение по пыльной земле большой стройки; в первой стадии жизни птицы ей выпало все, что отпущено птице природой,— способность летать сколько хочет, возможность садиться куда хочет и пребывать в облюбованном месте сколько хочет, бродить по земле, подпрыгивать и порхать, неограниченная способность пользоваться крыльями и ногами.

Вторая стадия означает передвижение по земле, когда еще остаются иллюзии, мечты и надежды, хождение тогда часто прерывается хлопаньем крыльев и подпрыгиванием, а это означает, что осталась еще надежда взлететь.

А теперь наступила упомянутая выше третья стадия в жизни птицы, означающая крушение всех надежд и безропотную покорность; эта стадия явилась убедительным доказательством всемогущества пыли, той пыли, что на первый взгляд так невинно выглядит и даже при определенном удачном освещении придает стройке известное очарование, когда полосы пыли, подобно разноцветным лентам, протягиваются между стенами домов и цехов.

Вот эта, столь невинно выглядевшая пыль и стала причиной того, что птица медленно, но неуклонно приближалась к четвертой стадии своей жизни, когда она уже могла лишь стоять на одном месте, тупо, бездумно, беспомощно стоять на одном месте.

Ее пытались спугнуть, чтобы она сдвинулась с места, ее брали в руки и подбрасывали вверх — ничто не помогало: птица не реагировала, когда ее пугали, а если ее брали в руки и подбрасывали вверх,

она просто падала на землю, а потом поднималась и оставалась стоять неподвижно, зарывшись клювом в пыль.

Это неподвижное стояние было началом конца, и нетрудно было предвидеть, каков будет этот конец, тем более что птица пошатывалась, когда стояла.

А тут еще стали дымить две новые высокие кирпичные трубы и две дополнительные горизонтальные металлические трубы с расширяющимися выходными отверстиями, так что пыль стала сыпаться еще гуще, и толще стал ее темно-серый слой, покрывающий землю; теперь пыль доходила птице до грудки, одновременно посыпая сверху ее перья более густым слоем.

Падение на землю, которым должно было закончиться и которым закончилось неподвижное стояние птицы, падение навзничь кверху лапами выглядело так, как будто птица утонула в сухой темно-серой воде, из которой торчали только ноги птицы, а точнее, торчали только потрескавшиеся, со стертыми когтями пальцы; недолго она так лежала, ее смела вместе с пылью и поглотила автоматическая мусороуборочная машина, разъезжающая по территории стройки.

И когда эта хитроумная машина поглотила птицу и она попала в большой железный барабан, где уже находилось много ненужных вещей, один из строителей опять разразился прежними наивными и ненужными сетованиями-вопросами, которые не способны были ничего изменить и на которые все равно не получить ответа: «Ведь могла же она, глупая, улететь далеко отсюда, когда здесь началась стройка с ее пылью! Зачем она осталась тут, почему не сбежала?»

Сетования его привели лишь к тому, что и он сам, и другие строители погрузились в грустное раздумье, из которого их вывело известие, что в магазине «Вечная природа» открыт отдел, в котором продаются искусственные птицы, умеющие летать и петь.

Делегация, направленная в большой город, в магазин «Вечная природа», обнаружила там богатый выбор, так что не представляло труда подобрать такую птицу, которая походила на их прежнюю и величиной, и окраской, то есть относилась к семейству дятлообразных, а может, фазаньих, и в оперении ее переливались такие же яркие краски, те же пурпур и золото, глубочайшая чернь и безупречная белизна.

Автоматизация была на самом высоком уровне: птица умела расправлять и складывать крылья, а по команде из пункта управления — подниматься в воздух и летать.

Внутри птицы находились записи птичьих песен, которые могли звучать и в полете; при желании птицу можно было легко прикрепить к ветке дерева, и это обстоятельство оказалось особенно важным, так как строители непременно желали видеть эту птицу сидящей на ветке дерева в храме.

Когда через несколько дней дистанционно управляемая птица совершила полет над заводскими трубами и домами поселка, строители не смогли удержать криков восторга: «Какая красивая птица!»

И в самом деле, ярчайшие краски — пурпурная, золотая, голубая, исчерна-черная и белоснежно-белая — горели и переливались на солнце и просто идеально гармонировали с переливающимися в солнечных лучах разноцветными лентами легчайших, невесомых, едва заметных в воздухе пылинок.

Радость строителей возросла, когда птица начала петь; она возросла еще сильнее, когда птицу поместили на дереве в храме, и больше не было никаких забот, и на стройке был большой праздник.

■

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС

Священный брак

РАССКАЗ

Перевод с английского ДМИТРИЯ ЖУКОВА

1

Проведя день за рулем, Говард Дин в половине пятого увидел наконец первые дома городка Маус-оф-Лоумур, что находится в штате Западная Виргиния. Была теплая осень, шоссе № 77 все шло на подъем. Теперь уже он ехал узкой горной дорогой, пальцы его крепко сжимали руль. Говард то и дело поглядывал направо, где открывался вид на долину. Да и как не глядеть, если он прекрасен — мирная долина, поля, разделенные едва различимыми межами, и все полоски одинаковые, неярко-зеленые. Рай да и только. Совсем другой мир. Говарда удивило, что в этом далеком краю так много белых домиков. Ну, сколько продержится белая краска — год, два?.. Его радовало, что люди, живущие в долинах, у подножья гор, заботятся, чтобы их жилища были нарядны.

От высоты начало закладывать уши. Он выехал на обочину и вылез из машины, желая внимательней рассмотреть долину. Да и глаза уже побаливали от напряженной езды в этот ослепительно яркий, солнечный октябрьский день. Говард был человеком, не привыкшим к красоте. Ему редко удавалось вырваться из большого города, редко отпускала его повседневная работа. Возбужденный поездкой, он радовался, словно мальчишка. Хотелось увидеть как можно больше.

Тишина. Сельская тишина. Справа земля полого шла под уклон, к ручейку, к лугу, где виднелись какие-то неясные белые точки — овцы, наверно. Но они совершенно неподвижны! Красный коровник ближайшей фермы в осенней дымке казался грязноватым пятном. Позади высится белый дом. А дальше — неровный ряд деревьев, еще один ручей или проселок и еще два, тоже белых, дома. Один из них вполне мог быть церковью. Далеко справа виднелись почти спрятанные рощицей какие-то светлые строения, которые, как догадался Говард, были большими коровниками: длинный белый плоский прямоугольник и другой — гораздо длиннее, металлический, серый, едва различимый; Говард прищурился, чтобы разглядеть его. Позади, сразу за густой посадкой, начиналась холмистая местность, переходящая в гористую. Говард забрался так высоко, что ему казалось, будто он парит над долиной, на одном уровне с вершинами горного хребта напротив. Но, по-видимому, здесь было не слишком высоко. А казалось, будто он летит в маленьком двухместном самолетике и ему вдруг открывается затаенная жизнь этой сельской местности — не покидало чувство какой-то неясной опасности...

Взволнованный, Говард вернулся к машине и поехал дальше, к Маус-оф-Лоумур. Справа по-прежнему тянулась сонная долина, прекрасная, молчаливая и таинственная: ее яркие осенние краски приглушало расстояние — похоже на акварель, колорит которой художник выдержал в коричневых тонах. Было что-то очень человечное в этом уютном пейзаже и вместе с тем странное, для Говарда непостижимое. Он смотрел как завороженный. Даже попадавшиеся в ложах высох

ших ручьев и рвах свалки старых автомобилей, кроватных сеток, матрасов и всякой рвани почему-то выглядели привлекательно. Слева тянулась скалистая стена, кое-где изрезанная ущельями с бурными речушками, вода в которых казалась холодной как лед, пенилась, шумела. Говард понимал, что все это очарование — результат минутного настроения, и все же ему было приятно.

В Маус-оф-Лоумур он проехал мимо небольшого мотеля под названием «Четыре звезды» и подумал, что, по-видимому, заночует здесь. Но заказывать номер он не стал — прежде всего ему хотелось увидеть дом Пирса. *Дом самого Пирса...* Он уже много раз штудировал карту, присланную вдовой Пирса, и сейчас, достав из кармана, развернул ее, боясь проехать Лидия-стрит. Улица шла перпендикулярно шоссе № 77, именовавшемуся в городе Лоумур-стрит. Городок не отличался от множества других городков, которые Говард проезжал в этот день. Это не удивило его, вернее, не разочаровало. Он переехал узкий мост и с бьющимся сердцем покатил вниз, минуя небольшие, простые, крашенные белой краской дома, стоящие впритык. У тротуара теснилось много машин; некоторые были весьма потрепанные. На улице играли дети. Они разбегались, когда приближалась машина Говарда. Какой-то малыш показал рукой на номер машины приезжего и что-то крикнул, будто появление автомобиля из другого штата было чрезвычайным событием.

Центр городка Маус-оф-Лоумур он миновал ровно без четверти пять, как показывали часы на старомодном здании банка. В центре здания были очень старые, обшарпанные. Сверкающий кафельный фасад аптеки бросился в глаза, но все остальные дома были сложены из потемневшего от непогоды красного кирпича. Говард ехал, высматривая Лидия-стрит. Да, вот и она, как раз на том месте, где вдова Пирса поставила на карте жирный крест... Крест стоял на большом складе, ныне пустующем, который Говард «не мог проехать» и действительно не проехал. Это чудовищное строение высилось на берегу мерзко пахнувшей речушки с почти стоячей ярко-рыжей ржавой водой. Говард послушно повернул здесь направо и ехал мили две по Лидия-стрит. Он ехал мимо тесно стоявших каркасных зданий, потом мимо маленьких безвкусных кирпичных домов; ближе к окраине города вдруг появились дома побольше. А потом в самом конце Лидия-стрит он увидел и сам дом Пирса, небольшой трехэтажный особняк в викторианском стиле, на первый взгляд казавшийся безобразным и ветхим, вызывающе уродливым — сплошной тускло-коричневый кирпич, ненужные шпили и купола, белая столярка, начавшая лупиться... Говард смотрел на дом во все глаза. Так вот он какой, дом Пирса... Он был так прост, вызывающ и *существовал воочию.*

Лужайку перед домом окружала железная сварная решетка с кривобокими воротами. Газон был густой, давно не стриженный, с большими замусоренными проплешинами. В грязи ковырялись несколько пестрых кур. Кур? А может быть, бантамских петухов. У них был гордый и бодрый вид. На крыльце лежал, греясь на солнце, черный кот. На веранде стояло много тонконогих стульев, по-видимому, старых и давно никому не нужных; часть их была запрокинута и прислонена к перилам веранды. Окна были чересчур высокие, узкие, с жалюзи, что придавало дому угрюмый вид. Шторы были полуспущены.

Неужели Коннелл Пирс жил в таком доме?

Говард смотрел на дом и не мог сообразить, уродлив он или привлекателен. Сам он жил в Мэдисоне, штат Висконсин, в обыкновенном многоквартирном доме, весьма привлекательном, но ничем не примечательном; в сущности, покидая свой дом, Говард тут же забывал о нем — где-то в подсознании тлела мысль, что он либо все еще живет с родителями на Востоке, либо вообще еще не устроился. Ему было все равно, где жить. Но Коннелл Пирс выбирал свои жилища

так тщательно, он придавал такое мистическое значение домам (даже названиям мест, где жил), что этот дом в Маус-оф-Лоумур, очевидно, выбран не случайно. Лет десять назад Пирс писал в книге, названной «Псалмы и руны»:

Места, в которых мы обитаем,
проступают сквозь нас,
на лицах лежит отпечаток
названий, хрупкость
и святость познанья...

Говард проехал мимо дома и заулыбался, обнаружив, что к дому прилегает большой участок земли, настоящая маленькая ферма. Там был просторный амбар, к которому примыкал сарай, а перед ними — изрытая колеями площадка с брошенными в беспорядке плугами, боронами и прочими сельскохозяйственными орудиями. Между домом (выглядевшим громадным при ближайшем рассмотрении) и сараями раскинулся сад, весь желтый, золотой, оранжевый, с несколькими белыми и красными пятнами, окаймленный с обеих сторон высоченными подсолнухами. Сад казался пыльным, сонным и таким же таинственным, как и вся долина. Говард тормознул и, удивленный, смотрел во все глаза. Осенний воздух благоухал, чуть даже перенасыщенный ароматом растений. Говард никогда не видел подобной усадьбы, необычного сочетания благопристойного старого особняка с небольшой неряшливой фермой. Так вот где Коннелл Пирс прожил последний год своей жизни...

Из боковой двери дома вышла женщина в зеленом платье. Она была далеко от Говарда и не смотрела в сторону улицы. Она пошла в сад; Говард не видел ее лица, но был уверен, что это вдова Пирса. Говард пришел в страшное возбуждение. Он не осмелился показаться ей на глаза и вернулся в мотель «Четыре звезды»... Там он снял номер со стенами из железобетонных панелей и постелью, от которой несло чем-то кислым и сырым. Но он был очень доволен.

Во-первых, он должен позвонить миссис Пирс и попросить ее принять его завтра утром. Нет, в первую очередь надо распаковать чемоданы и привести все в порядок. Он должен привести в порядок свои мысли. Очень важно, какими словами он начнет разговор. Нельзя произвести дурного впечатления. Не один час он просидел, выбирая слова для письма, которое отправил ей... Во-первых, он должен успокоиться. Можно позвонить в Мэдисон, невесте. Ее звали Джоан. Она развелась с человеком, которого Говард не знал, и одна растила двухлетнюю дочь. Секретарша одного из деканов университета, она была нервной несчастной, беспомощной молодой женщиной, порой очень нуждавшейся в Говарде, а иногда совершенно равнодушной к нему — в зависимости от настроения. Вера Говарда в то, что он нуждается в ней, а она в нем, внушала чувство ответственности, которое он воспринимал с благодарностью, потому что он был, в конце концов, совершенно свободен, не связан никакими обязательствами и все еще ждал (в свои тридцать семь лет) события, способного изменить его жизнь, наполнить ее. Он снял трубку с рычажка, чтобы позвонить Джоан, но заколебался... и вспомнил вдову Пирса, вышедшую из боковой двери в зеленом платье, не видевшую его, молодую незнакомую женщину, которая отправилась работать в сад...

На единственной фотографии, побывавшей в руках Говарда, лицо жены Пирса трудно было разглядеть. Они с Коннеллом стояли под палящим солнцем; в Испании где-то, всего год назад. Говард читал как-то, что она была на двадцать лет моложе Пирса и, по всей вероятности, очень красива — как и все другие женщины, которых Пирс любил и вовлекал в свою жизнь. Но она как бы не существовала во плоти для Говарда, который до сих пор почти не думал о ней: она

просто при сем присутствовала, была посредницей между ним и покойным поэтом.

Он набрал номер, который она ему дала, и ждал, нервничая, пока телефон звонил на другом конце провода.

Когда он думал о себе (о Говарде Дине), ему часто приходило в голову, что он всегда напоминал себе человека, набравшего по телефону чей-то номер, но еще не соединившегося с собеседником, хотя уже связанного с ним, напряженно ожидающего, уже не способного уйти в покой собственного молчания, а целиком поглощенного предстоящим разговором. В общении с людьми он испытывал неловкость, они пугали его, и все же он тянулся к ним, старался понравиться. Его невеста, которая еще не дала окончательного согласия выйти за него замуж, иногда тоже пугала его. И ее маленькая дочь, чьим отчимом он вполне мог стать. Коллеги Говарда по университету пугали его, хотя он знал, что они восхищаются им. Это хорошие люди, хотя и беспокойные, причиняющие беспокойство, импульсивные, если сходишься с ними поближе; впрочем, они остаются прекрасными людьми, когда держишься от них подальше. Некоторые из его коллег — блестящие, выдающиеся ученые. Да и сам Говард — автор трех книг, хорошо принятых, но вызывавших у него неловкость, так как он чувствовал, что они не вполне отвечают его честолюбивым замыслам. Замыслы у него, кажется, всегда были честолюбивые. Вот теперь он задумал написать литературную биографию Коннелла Пирса, начал со скромных литературоведческих исследований, которые ему вполне по плечу; а потом оказалось, что Пирс опубликовал сотни стихотворений, многие из которых не вошли в сборники и забылись; они встречались буквально в каждом значительном журнале, выходящем в Соединенных Штатах или Англии; Пирс писал даже на испанском для «Ревиста де оксиденте». Колоссальная энергия Пирса, его плодовитость встревожили Говарда, чувствовавшего себя рядом с ним ребенком. Было страшно осознавать, что между людьми может существовать такая гигантская разница.

Свой замысел он обдумывал несколько лет. Постепенно он пришел к мысли, что именно он, Говард Дин, призван представить Пирса всему миру, который бы сам никогда не открыл или не воздал должное поэту. Он не мог ждать, пока кто-то другой сделает это. Говард написал три книги, которые не удовлетворили его, хотя он работал над книгами с любовью, с исступленной самоотверженностью, доводя себя до болезненного состояния и душевной депрессии, но они не казались по-настоящему важными, не стоили той траты энергии, той способности к терпеливой, полной самоотдаче, которой, по его убеждению, он обладал. Поэзия Коннелла Пирса была совсем иной. Великая поэзия, достойная поэзия. Последние лет двадцать Говард знал это и думал о Пирсе как о своем современнике, который в этот суматошный, зыбкий, трагический век писал книгу за книгой, прокладывая путь для Говарда и других людей его поколения, объясняя им их судьбу, посмеиваясь над ними, вселяя в них мужество, шокируя их, раздражая, порой вгоняя в краску стыда — Говард до сих пор знал Коннелла Пирса издали, живя своей параллельной жизнью, но место в этой жизни Пирс занимал не призрачное, а очень значительное, существенное, и существенность эта была сродни серьезности, с которой Говард некогда воспринимал самого господа бога. Пока Пирс жил, существовала и надежда, существовала возможность жить в настоящем; оно осмыслялось и объяснялось Пирсом и поэтому было приемлемо для Говарда и других людей его поколения.

Но Пирс умер.

Однажды утром Говард наткнулся на некролог в «Нью-Йорк таймс», никак не ожидая увидеть в газете и фотографию Пирса. Сообщение о его смерти уместилось в восьмидюймовую колонку. Пирс скончался внезапно в маленьком западновиргинском городке, о ко-

тором Говард услышал впервые. Умер естественной смертью. Биографические сведения были скудные. Точная причина смерти не указывалась, но потом пошли слухи о самоубийстве. Говард чувствовал себя так, будто умерла часть его самого. В сущности, он так и не оправился от удара, полученного в тот день, когда развернул газету и наткнулся на некролог.

Он всегда питал робкую надежду когда-нибудь познакомиться с Коннеллом Пирсом и подружиться с ним. Наверно, у них нашлось бы что сказать друг другу. Одарить друг друга. Говард был похож на человека, находящегося в вечном ожидании,— стоит он, прижав телефонную трубку к уху, ждет, ждет терпеливо, что кто-нибудь заговорит с ним, назовет его по имени.

Тотчас после смерти Пирса стали появляться хвалебные заметки и короткие восторженные эссе. Самый популярный еженедельник дал на всю полосу фотографию Пирса — немного устаревшую фотографию, на которой поэту нет еще и сорока; у него был задумчивый вид, темные брови, прекрасно очерченный рот, ироничное выражение глаз. Издатели вновь выпустили его самую известную книгу «Судьба животных». Один знакомый Говарда из Гарвардского университета, человек, как он полагал, холодный и беспринципный, объявил о своем намерении прибрать к рукам все бумаги, оставшиеся после смерти Пирса; по-видимому, он неоднократно писал молодой вдове поэта, но не получил ответа. Говард ужаснулся при мысли, что такой человек и в самом деле прорвется к ней. Сам он не спешил с письмом, полагая неприличным навязываться тотчас после кончины, а также из-за своей робости, но к середине лета и он составил очень длинное умоляющее письмо, сопроводив его оттисками двух эссе о Пирсе, которые он уже успел опубликовать, и экземплярами своих трех книг. Он не смел даже надеяться на то, что вдова Пирса откликнется; письмо его было таким нескромным...

«...У Вашего мужа есть поэма в прозе, в которой содержатся такие строки: «Мы расстаемся с юностью в тот самый день, когда открываем, что в чувствах нет ничего личного, сокровенного. Почему бы тогда не умереть? Нас выставили на всеобщее обозрение. Но для чего отказываться от жизни? Расстанемся лучше с мыслью о личной судьбе?» Когда я впервые прочел эти строки, я был потрясен. Мне трудно объяснить свое чувство. Не знаю, то ли это чувство возникло во мне самом, а стихи лишь помогли осознать его, то ли стихи (то есть Ваш муж) породили его. «Судьба животных» была первой из прочитанных мною книг Вашего мужа, и, мне кажется, она оказала влияние на мою жизнь. Я понимаю, что потом он писал более глубокие книги. Он создавал блестящие книги. Я совсем запутался, но ясно одно — Ваш муж отчасти сформировал мое мышление. Без его трудов я не был бы тем, кем стал. Вы вправе спросить, кто же это такой... этот путаник Говард Дин... человек, который еще не достиг среднего возраста, но всегда, даже мальчиком, был этаким безвозрастным... личностью невыдающейся; однако, как бы ни был я незначителен, я сознаю, что без поэзии Коннелла Пирса я бы мог и не дожить до своих лет Коннелл Пирс дал нам всем возможность увидеть, как он выжил, как нашел себя в этом американском хаосе 1963 года и справился с тьмой собственных личных неприятностей. Он показал нам, как это делается. Он сумел заставить нас чувствовать судьбу, личную судьбу, в этом хаосе, заставил нас прозреть и увидеть, что верить во что-то не значит быть сентиментальным и что совсем не святоша тот, кто надеется на спасение...»

На письма других не отвечали, а на письмо Говарда ответили сразу. Деловитой, превосходно отпечатанной на машинке запиской его

приглашали ознакомиться с бумагами, оставшимися после смерти Пирса. Он может задержаться на неделю, если захочет. На неделю! Говард был вне себя от такой удачи. Как одно-единственное его послание, написанное лихорадочно, с почти юношеским томлением, могло пронять вдову Пирса? Оно каким-то образом ее тронуло, словно семя, оплодотворяющее яйцо, так быстро, так случайно и вместе с тем во исполнение какого-то непреложного замысла,— единственное семя, единственное яйцо, а миллионы других семян оказались беспомощными, растраченными бесплодно, погибли...

На другом конце провода взяли телефонную трубку.

2

Он приехал за несколько минут до назначенных десяти часов и поэтому подождал в своей машине, остановившись в квартале от дома Пирса. Он изумился расстоянию, которое одолел,— расстоянию, измеряемому милями и годами. Сюда его привел Коннелл Пирс. Говард был обязан этим утром Пирсу, который написал: «*Мы получаем все, прося лишь об одном еще утре*».

Пирс помог его созреванию. Умерев, Пирс показал ему, как умирать,— в противном случае Говард не представлял бы себе смерти.

Но в это утро не хотелось думать о смерти. Он направился к дому сквозь ржавые кривобокие ворота, сердце колотилось. Он обратил внимание на то, что по бокам массивной двери были окна, цветные стекла которых, чуть поблекшие, оттенялись по краям черными полосами чего-то, похожего на засохшую замазку.

Дверь отворилась, и на пороге показалась женщина, улыбавшаяся ему. Говард широко раскрыл глаза. Женщина была очень молода, как он и ожидал, но... поразительно красива. Его словно током ударило, ударило больно. Она представилась и протянула руку. Говард вяло ответил на рукопожатие, глядя на гладкое девичье хорошенькое личико женщины, личико, которое казалось неестественно хорошеньким. Этому личику здесь было не место: получалось какое-то несоответствие. Ее черные волосы вились, обрамляя лицо.

Она словно бы не заметила смущения Говарда. Она пригласила его войти в прихожую, предложила взять у него кожаный чемоданчик, спросила, как он доехал. И было ли ему удобно в мотеле? Говард робко смотрел на нее и наконец увидел, что на ней зеленое платье. Зеленое, как листья, оно было слишком ярким пятном в этой полутемной комнате. Видимо, в честь его приезда она обернула несколько раз вокруг шеи янтарное ожерелье. До сих пор Говард почти не думал о ней и теперь был вынужден признать ее существование, ее тревожащую реальность. Пока она с улыбкой рассказывала ему о городке, о спокойной жизни,— ведь ее тут никто не знает,— Говард судорожно вспоминал, что же он читал о ней: ей около двадцати пяти, она из какого-то города штата Нью-Йорк. И больше ничего. Никаких сведений.

В ответ на один из ее вопросов Говард неожиданно для самого себя сказал:

— Я... я так благодарен за это... Я почти не спал этой ночью...

Губы ее дрогнули, она сердечно улыбнулась, будто он сказал нечто замечательное.

— Давайте я покажу вам дом. Коннелл любил этот дом.

Они находились уже в другой комнате, видимо, в гостиной, где был длинный диван с неопределенно-бежевой обивкой, довольно потертой, кресло, стулья у стены, два стола тоже у стены, старомодные горшеры с абажурами, украшенными фестончиками и бахромой,— типично викторианская обстановка. Говард не мог не заметить, что старые деревянные полы не отциклеваны и не натерты, как положено. Под окнами пристроились неуклюжие шкафы с выдвижными

ящичками, предназначенные, по всей видимости, для того, чтобы скрыть батареи; выкрашенные в светло-зеленый цвет, они не гармонировали с прочей мебелью.

На стене висела старая фотография человека с темными усами и темной же шевелюрой. Он был похож на генерала в штатском. Жена Пирса, увидев, что Говард уставился на фотографию, тотчас сказала:

— Это так... в том смысле, что это вовсе не предок Коннелла. Просто старый портрет, доставшийся ему вместе с домом.

Она провела его в столовую, длинную, затхлую, мрачную комнату с тяжелой люстрой, забавной и безвкусной, хотя и, как догадывался Говард, очень дорогой. Массивный буфет красного дерева был с зеркалами. На нем стояли в два ряда хрустальные бокалы, покрытые пылью.

— Мы не часто пользовались этой комнатой,— сказала вдова Пирса и провела его в кухню — ужасно старомодную, с большой пятнистой раковиной, двойной раковиной, оба отделения которой покрылись ржавчиной, позеленевшей на краях. Громадная уродливая плита. Ряд шкафов без дверец, так что множество тарелок и чашек, косо висевших на маленьких белых крючках, были выставлены напоказ. Говард удивился — это был хороший фарфор. Женщина взяла тарелку и показала ему, словно бы довольная проявленным интересом. Это был и в самом деле хороший фарфор, но розы и виноградные гроздья на плоской белой поверхности показались Говарду банальными и разочаровывающими.

— Коннелл купил дом целиком, со всем хозяйством и обстановкой,— сказала женщина. — У нас не было ничего собственного. Он сказал, что это он унаследовал — все это.

Звали ее Эмилией. Говард с трудом заставил себя называть ее так. Она вела себя просто, любезно, полностью сообразуясь с ситуацией, осознавая, что он нервничает — чем спокойнее она была, тем больше он волновался, и потому обращалась к нему все более ласково и даже с извиняющимися нотками в голосе. Она как бы была хранительницей такого завидного сокровища, что ей приходилось оправдываться...

— Да. Это очень мило,— сказал Говард.

В маленькой комнате, предназначенной для завтраков, но, очевидно, не использовавшейся для этой цели, Эмилия, щебеча о «ферме», предложила ему выглянуть из окна. Снаружи как раз были бантамские петушки.

— Коннеллу нравилось, как они кукарекают рано утром, он любил, чтобы его так будили, — сказала она.

Говард старался не смотреть на нее. Интересно, как она живет теперь; Пирс умер семь месяцев тому назад.

Она провела его еще через одну комнату. Это было что-то вроде буфетной; застекленные шкафы возвышались до самого потолка, лепнина которого не была даже покрашена. Обои в этой комнате были странные — угнетающее сочетание серого с синим.

— Этот дом следовало бы обслуживать целому штату прислуги,— сказала Эмилия.— Он слишком велик для двоих. Мы заперли несколько комнат, потому что с печкой не все в порядке и тепло приходилось беречь...

— У кого вы купили дом?— вежливо спросил Говард.

— У вдовы человека по фамилии Несбит. Гораций Несбит. Он считался самым богатым человеком Лоумура. Он был банкиром.

— Интересно, а почему... как бы это сказать, почему ваш супруг решил перебраться сюда?.. Он странствовал по всему свету, и, судя по тому, что я вычитал в его стихах, он любил Испанию и Нью-Мехико... — сказал Говард.

— Да, он пространствовал по свету,— согласилась Эмилия, улыбнувшись застенчиво, но гордо,— но ему хотелось вернуться сюда, потому что он родился тут, в здешнем крае. Всего в нескольких милях от Лоумура.— Она смотрела Говарду прямо в глаза и улыбалась. В ней было что-то невинно-откровенное, она держалась с королевской простотой, словно бы стала наследницей каких-то исторических владений и получила право следить за правильным истолкованием событий, отошедших в прошлое. Она вела себя с непринужденной, самонадеянной любезностью, сознавая свою ответственность и все-таки не жалуясь на ее бремя. Она даже старалась говорить помедленней, как бы учитывая то, что Говарду захочется запомнить каждое ее слово.— Коннелл не всякому говорил о том, где родился. И даже свой возраст держал в секрете. Так вот, он родился на ферме в семи милях от города. Ферма теперь принадлежит другим людям, все родственники Коннелла поразъехались. Они были очень бедными. Коннелл обычно совершал продолжительные прогулки в сторону фермы, но он говорил, что не питает к ней сентиментальной привязанности. К дому Несбита он питал что-то вроде любви,— сказала Эмилия. Она повела Говарда по коридору в глубь дома. Говард смотрел ей в спину; казалось, все это не наяву, и она проплывает по этому темному, дурно пахнущему холлу, ничего не замечая вокруг. Она говорила счастливым и немного взволнованным голосом.

Они вошли в комнату, поразившую Говарда. Много воздуха и света было в этой просторной гостиной, с окнами от пола до потолка, с камином, сложенным из дикого камня.

— Это любимая комната Коннелла... я хотела сказать, была любимой... Здесь мы обычно ели... Мы можем пообедать тут сегодня,— сказала она.

Говард недоуменно посмотрел на нее.

— Мы можем?.. Сегодня?..

— Мы с вами. Если вы хотите пообедать. Если вы захотите остаться и пообедаете со мной,— растолковывала Эмилия.

— Конечно, это было бы превосходно,— медленно произнес Говард.

Он оглядел комнату — кожаный диван, массивный круглый стол, стопки книг, журналов и газет; здесь было так уютно, так покойно, несмотря на покоробившиеся половицы и мокрые пятна на потолке, что Говард никак не мог соотнести эту гостиную со всем остальным домом. Какое-то мгновение он даже не соображал, где находится. К нему подошел кот, большой черный кот со зверской мордой и клочковатой шерстью на спине. Эмилия промурлыкала что-то и наклонилась, чтобы погладить кота. Говард наблюдал за ними, представляя себе, какие жесткие, должно быть, эти клочки...

— А теперь я покажу вам кабинет Коннелла,— сказала Эмилия. Она повела его обратно по коридору и стала подниматься по очень крутой лестнице. Говард не мог оторвать глаз от ее ног, мелькавших перед ним, от молодых икр, владелица которых была уверена, что они не могут не понравиться, от обнаженной кожи, бледной и даже немного синеватой. Она продолжала разговаривать с ним через плечо. Он рад был тому, что она не умолкает.

— Коннелл мог работать где угодно,— говорила Эмилия.— Но он говорил, что лучше этой комнаты ему не доводилось видеть; она была для него центром земли...

Говард вошел в комнату, и у него зарябило в глазах. Там было три стола, заваленных бумагами. Папки и просто кучи бумаги. Рукописи. Говард недоверчиво озирался.

— И это все... его архив? Все это осталось после его смерти?

— Да,— сказала Эмилия.

У Говарда заколотилось сердце. Он не верил своим глазам.

Эмилия говорила негромко и неторопливо.

— Здесь плоды почти тридцатилетней работы... старые журналы, рукописи стихотворений, заметки для романа и других книг... сотни страниц заметок или набросков... я в этом слабо разбираюсь,— сказала она с придыханием, бросив взгляд на Говарда и заметив его волнение.— Здесь, пожалуй, несколько тысяч страниц... они все перепутаны, в хаотическом состоянии. Он все оставил, не дав никаких указаний, разве что об отдельных людях, которых ему не хотелось бы видеть в этом доме... Перед кончиной он порвал со своими издателями и с большинством друзей. Вы, наверно, знаете об этом?.. В сущности, он не хранил только писем. Ему писали многие, даже знаменитости, но он выбрасывал письма, прочитав их. Он не желал загромождать свою жизнь лишними знакомствами...

— А эти стихотворения не публиковались?— спросил Говард.

— Не знаю. Наверно,— ответила Эмилия.— Есть наброски ранних стихотворений... Вы знаете стихотворение под названием «Импульсы»?

— Конечно,— сказал Говард.

— Мне попались шестьдесят семь его вариантов.

Она говорила спокойно, вроде бы и не глядя на Говарда.

— Шестьдесят семь вариантов?!

— Да.

— И тут есть стихотворения, никогда не публиковавшиеся... Никогда не публиковавшиеся стихотворения Пирса...— задумчиво произнес Говард.

Сердце его колотилось неистово. У него было ощущение, что он находится в святилище. Он не заслужил права посетить это место, а оказался здесь случайно, не преследуя никакой эгоистической цели.

— Вы довольны?— прошептала Эмилия.— Вы именно этого хотели?

— Да...

— Видимо, вы даже и представить себе не могли, что после него останется так много... так много такого, о чем никто не знает?

— Мне и в голову это не приходило,— сознался Говард.— Нет. Куда там... я рассчитывал на несколько писем, на несколько набросков ранних стихотворений...

Растерянный, он запнулся.

Помолчав, Эмилия сказала:

— Не хотите ли посмотреть нашу спальню... его спальню?

Она провела Говарда через холл в темную спальню. Говард затаил дыхание. Он учуял запах времени и печали в этой комнате, забитой старинной мебелью. Кровать была под балдахином из какого-то светлого шелковистого материала; занавеси подвязаны ветхими шелковыми шнурами. На полу простирался не потерявший красоты восточный ковер. Громоздкая мебель была украшена резными венками и небольшими замысловатыми спиралями и выглядела так, будто ее никогда не чистили.

На одной из стен висело несколько фотографий Коннелла Пирса. Они были заключены в старинные рамки. Говард тотчас устремился к этим снимкам, которые зафиксировали Пирса в различных настроениях — с намеком на улыбку, без улыбки, застигнутого врасплох в каком-то саду, стоящего на пляже — тут его щелкнули в профиль и выражение лица было безразличное. Эмилия спокойно и молча смотрела на изучающего фотографии Говарда. Больше всего ему понравился снимок, печатавшийся как-то в газете,— Пирс смотрит прямо в объектив, не улыбается, но и не угрюм, радужные оболочки черных глаз громадные, словно от очень яркого света или чрезмерного любопытства окружающих. Глядя на это изображение, Говард чувствовал, что собственное его лицо горит; у него было такое ощущение, будто с фотографии на него смотрят. Казалось, Пирс стиснул

зубы, обозначились желваки, а на лбу набухли вены. Пирс был сильным, энергичным, очень *видным* человеком — Говард же, по контрасту, представился себе каким-то несущественным, невидным.

— Это вы снимали?— спросил Говард.

— Я?— удивленно переспросила Эмилия.— Нет. Я тогда его еще не знала.

Говард заметил, что снимки сделаны в различные периоды жизни Пирса. Он почти не менялся — и живя на Западе, и когда пребывал в Нью-Мехико, поражая всех мускулистой худобой и голодным сардоническим выражением лица, и во время лихорадочной жизни в большом городе, когда он появлялся в хорошо сшитых костюмах, знался со множеством людей, с фанатическим энтузиазмом набирался жизненного опыта и волочился за женщинами. «Он использовал этих женщин для своих целей,— сказал кто-то о нем,— но вообще-то женщин не любил. Зато каждую из них любил глубоко». Насколько Говард мог судить, это в последней фазе своего творчества Пирс вернулся в горы Западной Виргинии и купил чье-то «наследство»...

Когда Говард обернулся к Эмилии, глаза его были полны слез.

Она заметила это, улыбнулась, взяла его за руку и вывела из комнаты. В коридоре о ее ноги стал тереться кот.

— Он... он умер в этой комнате?— спросил Говард.

— Да, в этой комнате,— ответила Эмилия.

Она оставила его в кабинете Пирса, а сама пошла вниз готовить обед. Оставшись один, Говард ходил от стола к столу, брал в руки папки, пачки бумаги, клал их на место и снова брал в руки что-нибудь... Ему казалось, что он все еще плачет. А ведь он даже вспомнить не мог, когда плакал последний раз. Он внимательно всмотрелся в пожелтевший листок бумаги, исписанный почерком Пирса... чернила черные, стихотворение... да, это стихотворение он знал, хотя в ином виде. Он положил стихотворение на стол с ощущением, будто прикоснулся к чему-то священному. Что же ему делать с бумагами Пирса? Потянет ли он такую работу?

Говард был очень взволнован. Он выглянул в одно из узких окон. Вдали горы затянуло бесцветными облаками. Внизу, в саду, стало светлее. Бросились в глаза подсолнухи. Гротескные цветы, стебли устремлены не вверх, а немного наклонены в сторону этого дома, словно бы цветы жаждут заглянуть в окна, цветы с плоскими, сожженными солнцем рыжими лицами! Совершенно неподвижные, настороженные, они смотрели прямо на Говарда так, будто сами были когда-то такими же людьми, как он, а потом их колдовством превратились в грубых, безобразных, но добродушных зверей.

3

После обеда Эмилия вышла с ним прогуляться. Они покинули дом через парадную дверь, как будто Говард был слишком важным гостем, чтобы его можно было провести через кухню. В прихожей Говард заметил на столе пачку писем, и глаза его инстинктивно сузились от ревности, но что ж тут такого — Эмилия, видимо, получает письма, подобные тому, какое написал он, каждый день, от всех тех, кто хочет приехать сюда.

— Много ли людей приезжает поработать с бумагами вашего мужа?— спросил Говард.

Эмилия взглянула на него так, словно была не уверена, надо ли отвечать на такой вопрос.

— Нет, немного,— сказала она. И, помолчав, добавила:— Он не хотел чтобы их было много.

Они шли по захудалому газону перед домом, где клочки травы перемежались с проплешинами засохшей грязи. Когда они завернули

за угол дома, у Говарда появилось ощущение, что он вступает в иную часть жизни Пирса. У сараев мирно копались бантамские петухи.

— Он не хотел, чтобы многие знали, как он жил,—сказала Эмилия.

Она была исключительно любезна, гостеприимна до приторности. Во время обеда она подчеркнуто заботилась о Говарде, была щепетильна даже в мелочах, предугадывала малейшее желание гостя, что говорило о чрезвычайной благовоспитанности и производило немного странное впечатление. Говард был благодарен ей за любезность. Даже теперь она стояла совсем близко к нему: у нее была привычка дотрагиваться пальцами до его руки.

— Быть здесь — для меня большая честь, — сказал Говард.

Она смотрела на него влажными, томными глазами, словно впитывая все, что он говорил, или мог сказать, или думал, и в то же время прислушиваясь к чему-то еще — к голосу, звучавшему в ее голове, наверное. Говард был в восторге от нее.

Они осторожно пробирались сквозь лабиринт разбросанных сельскохозяйственных орудий к первому сараю — там были всего лишь пустые стойла, клочки соломы, невыветрившийся, не совсем приятный запах навоза. Вошедший в сарай Говард рад был видеть все, что когда-то принадлежало Пирсу. Сарай побольше был грязный и пустой, весь опутанный порванной паутиной, казавшейся толстой от пыли.

— Коннелл собирался купить несколько лошадей. Ему хотелось использовать этот сарай,— сказала Эмилия.

Они вошли в сарай осторожно, почти на цыпочках. Место это показалось неприкосновенным, священным. Говард посмотрел вверх, на темный сеновал, потом оглянулся на открытую дверь, как бы ожидая увидеть, что кто-то наблюдает за ними.

— Здесь так спокойно, так одиноко,— сказал Говард.

— Да. У Коннелла не было друзей в конце жизни. Только я одна, — медленно произнесла Эмилия.— Он отвадил всех, одного за другим. При одной мысли об общении с людьми его бросало в дрожь... Я и сама толком его не знала,— добавила она.

Это поразило Говарда, хотя было произнесено все тем же невыразительным, тихим голосом.

— Он женился на мне в январе, когда уже знал, что умирает. Он сделал выбор между мной и другой женщиной, имени которой я так и не узнала... она живет теперь в Калифорнии. А до того я приезжала сюда время от времени, когда он хотел меня видеть. Он не желал знаться ни с кем, считая, что люди начнут отождествлять его личность с его поэзией. Для него важна была лишь поэзия. Он не хотел, чтобы его самого... как бы это сказать... не желал существовать в памяти людей как личность.

Говард что-то пробормотал в знак согласия. Ему стало неловко.

— Вы считаете, что он был великим человеком?— спросила Эмилия.

— Да.

— Действительно великим человеком? Гением?

— Да. Конечно,— повторил, не задумываясь, Говард.

Она улыбнулась ему. Но улыбнулась не сразу, поколебавшись и как бы отдалившись от Говарда.

— Тогда мы пойдем к его могиле. Ему бы захотелось, чтобы вы увидели могилу,— сказала она.

Пирс был похоронен на жалком пресвитерианском кладбище неподалеку. У его могилы Говард с Эмилией постояли молча. Говарда разочаровала обыкновенная могильная плита и неухоженность травы. Но в этот туманный и теплый вечер, завершавший прекрасный день, он почувствовал с почти беспощадной ясностью, что оказался именно там, где ему и нужно было находиться, стоять именно здесь, молчать у могилы Коннелла Пирса с женщиной, которая была замужем

жем за поэтом. Бесцельная жизнь Говарда начала наконец обретать смысл.

Эмилия посмотрела на него.

— Вы довольны, что пришли сюда?— спросила она.

— Да.

— Он был очень странным человеком,— говорила она медленно.— Процесс умирания вдохновлял его. Он ни с кем не делился тем, что испытывал во время болезни, держал это в секрете даже от меня... будто он сам творил свою смерть, как стихотворение. Кажется, я понимаю, что с ним происходило — умираешь ведь только раз, смерть уникальна. А впрочем, я могу ошибаться. Но теперь, после его смерти, я, кажется, меньше боюсь умирать... будто он пошел вперед и показал, как...

— Я понимаю вас,— сказал Говард.

— Только после его смерти я узнала, чем он болел... раком. Он запрещал своему врачу говорить мне об этом, пока был жив. Он был очень странный, удивительный человек.

Говард медленно кивал.

Она наблюдала за ним с особенной, напряженной улыбкой. В каком-то порыве она почти прижалась к Говарду, вся напряглась; смазливость ее личика исчезла, и Говард теперь едва различал черты его, овал и ее темные вьющиеся волосы — все, что отвлекало и раздражало его ранее. Теперь он видел только *ее*... саму. Казалось, он чувствовал ее.

Она продолжала тихо говорить:

— Если Коннелл дотрагивался до кого-нибудь кончиками пальцев, он узнавал человека... он мог воспринять человека... Вы чувствовали толчок, вас как бы несильно дергало током, что-то переходило от него к вам, исходило от вас и вливалось в него, и это ощущение оставалось навсегда... Таким образом он вбирал много разных людей в себя, в свою жизнь. Он говорил мне, что прожил жизнь многих разных людей. Вы понимаете?

— Не знаю. Наверно, нет,— сказал Говард.

Она улыбнулась ему.

По дороге к дому Говард пытался поговорить с вдовой Пирса о чем-нибудь другом... теперь он очень нервничал... даже собственный голос казался чужим, отражался от несуществующих воздушных стен, что-то предвещая. Он чувствовал, что влюбляется в Эмилию, а любовного опыта у него было немного. Он верил, что любовь существует, но не представлял себе ее. Голос у него стал дрожать, хотя он старался говорить о посторонних вещах — о названиях городов и городков этого штата.

— Некоторые названия очень красивы,— сказал он.— Блуфилд, Рэймидж, Ошуэна, Аппалачиан... А некоторые названия и вовсе удивительны, непонятны — Голодная Мать, Булыжник, Опасность и Грязь... Есть городок Грязь, а еще один городок называется Странный...

Эмилия взяла его за руку.

— Да, я слышала эти названия. Вам нравится, что наш городок зовется Маус-оф-Лоумур? — спросила она.

— Очень красивое название.

— Красивое, да, — сказала она с кривой улыбкой.

Помолчав, она спросила:

— Хотите остаться здесь на некоторое время? Со мной?

Дыхание Говарда стало прерывистым.

— Я собирался остаться на неделю...— сказал он.

— Вы должны к кому-то вернуться?

— Нет. Да. К своей работе. Но...

— Коннелл женился, когда узнал, что умрет. Это был его первый брак. А вы женаты?

— Нет.

— Он увидел меня, когда мы оба оказались в Малаге. Это на юге Испании. Я была там с первым моим мужем, а он один, как мне кажется. Он увидел меня в вестибюле гостиницы и оставил письмо для меня. Вы понимаете, почему он позволил мне влюбиться в него?

— Почему?

— Потому что считал меня красивой.

— Вы действительно красивы.

— Он так считал, *он*, — медленно произнесла Эмилия. — Именно поэтому он искал со мной сближения. Он всегда увлекался красивыми женщинами, верно?

— Вроде бы так, — сказал Говард.

Он весь пылал.

Но почему? В присутствии этой женщины ему легко. Нет никаких причин для волнений. Она ведет себя непринужденно и выкладывает все без всякой задней мысли. Говорит она спокойным тоном.

Пальцы Эмилии ласково касались пальцев Говарда, как будто они знали друг друга уже давно или были мужем и женой, эти двое, возвращавшиеся теперь в дом неторопливо, как супруги.

Они вошли в парадную дверь.

— Хотите подняться наверх со мной?— спросила Эмилия.

— То есть?..

— Вы хотите любить меня?

Ему словно бы сдавило мозг, а потом в голове просветлело, как от беззвучного взрыва: выхвачена была из тьмы его плоть, его доброе и весьма привлекательное лицо, его тесный костюм и немодная прическа. Он не думал о себе до сих пор, о своем теле, о том, как выглядит его лицо, не думал до сих пор о своей внешности. Он не воспринимал себя достаточно серьезно, чтобы беспокоиться о своей внешности, как это делают другие люди. Он был слишком скромен. Теперь же заявила о себе плоть. Ему представилось, что он говорит: «Да, да, конечно, да!»

Они прошли через прихожую, где Эмилия не обратила внимания на новую пачку писем.

— Вы же будете меня любить?— спросила она.

— Да,— ответил он слабым голосом.

В тесной, заставленной мебелью спальне наверху, показавшейся еще более темной и беспорядочно загроможденной взволнованному Говарду, молодая женщина обвила его шею руками и поцеловала в губы. Лицо ее, казалось, вплавилось в его лицо, так тесно она прижалась. А как прелестны были ее движения, какими непринужденными и упоительными были ее ласки! Он почти ничего не соображал. Просто у него было такое ощущение, будто он всю жизнь даром терял время, всегда насупленный и сдерживающий ток крови.

Они стали любовниками.

Шли дни, и Говард вспоминал тот вечер, то любовное слияние их с изумлением: все случилось так легко, с такой малой толикой напряженности и наблюдения за самим собой, что казалось, будто это привиделось ему во сне. Разумеется, он не забывал о реальности — о реальности тел, он помнил о своем порыве, ласках и смущении. Конечно, он все время испытывал неловкость. Но Эмилия была ему как жена, а какая может быть неловкость между мужем и женой?..

Он то и дело трогал свое лицо, как будто в первый раз обнаружил, что оно есть у него. Он привлекательный мужчина, с чистыми карими глазами и узким умным лбом. И в конце концов, ему всего лишь тридцать семь лет.

— Ты никогда не был женат? Никогда?— спрашивала она.

— Никогда.

— И никогда ни с кем не был в постели?

— Был, но...

Ее глаза, ее рот виделись ему мечтательно искаженными, как в колышущейся дымке.

— Все должны предаваться любви,— сказала Эмилия.

Прежде Говард постепенно вовлекался в такие отношения с женщинами, которые начинались с приподнято-веселого тона, переходили в глубокую, пылкую симпатию, в спокойные, серьезные, долгие разговоры, а потом вдруг все резко и необъяснимо обрывалось невнятными обвинениями и слезами, и не оставалось ничего, кроме горечи и скуки. Загадочный процесс. Говард всякий раз чувствовал себя совершенно сбитым с толку и неспособным управлять ходом событий. Наверно, он мог бы любить и быть женатым не раз, да только он себя никогда не считал увлеченным до конца.

Эмилия — действительно то, что надо. Между ними нет никаких несогласий, никакой неловкости. Кажется, что они знают друг друга долгие годы. Хотя Говард понимал, что Коннелл Пирс познал эту женщину незадолго до своей смерти, казалось, что именно ее он постоянно воспевал в своих стихотворениях. Ее сущность, ее милая ненавязчивость были предсказаны за десять лет в одном из длинных хрупких стихотворений Пирса:

Она растворена
в самом твоем дыхании
опьянена благоуханьем
души непознанной и заключенной
в мужскую плоть...

Говард подумал вслух:

— Душа моя была непознанна. Это верно. Сам бы я никогда не догадался.

— О чем это ты?— спросила Эмилия.

— Трудно объяснить,— сказал он, улыбаясь.

Он выехал из мотеля и поселился в доме с Эмилией, решив остаться еще на неделю. В голове звенело от возбуждения! Каждый день ровно в семь он садился работать за средний стол Пирса. Стул с расшатанной спинкой он принес из столовой. Долгие часы он изучал рукописи Пирса. Он решил не торопиться. Ему хотелось вникнуть во все, изучить все, он словно бы не верил в свою удачу, знал, что не успеет, и все же заставлял себя исследовать архив тщательно... Ему попались разрозненные страницы дневников Пирса, датированные концом тридцатых годов: впечатления от произведений любимых поэтов, особенно Йитса, и заметки о запутанных личных делах, в которых Говард так и не смог разобраться. Попадались очень старые записи, сделанные на листках, вырванных из записных книжек, и наброски стихотворений — нескладные наброски, лишь намеки на то, чему предстояло стать великими произведениями. Говард почувствовал, что скользит по поверхности из-за своей восторженности.

Пытаясь избавиться от эмоций, он отодвинул стул, встал из-за стола и пошел к окну. Там он энергично потер лицо руками и стал смотреть на осенний сад. Эмилия иногда работает в саду, выпалывает сорняки.

Эмилия...

Говарду показалось, что он уже прожил в этом доме изрядную часть своей жизни. Стал чем-то вроде местной достопримечательности. Поживает себе тут, вещи его аккуратно висят на плечиках в шкафу, что

стоит в спальне, сквозь сон он слышит, как задолго до рассвета поют петушки, его тело наслаждается любовью Эмилии, которая ничего не требует от него. Ему казалось, что он работает над бумагами Пирса уже много лет. Порой ему чудилось, что он совсем растворился в этой работе и даже умудрился сродниться с рукописями Пирса. Например, то ли это Пирс сделал карандашом первый набросок прекрасного стихотворения «Лежу без сна...» еще в 1941 году, то ли сам Говард написал его?

У Пирса было несколько почерков. Говард восхищался самым поздним, косым, четким. Буквы начертаны авторучкой с тупым пером и непременно черными чернилами. Говард попытался копировать этот почерк. Он нашел ручку, которой писал Пирс, и практиковался в имитации подписи поэта, пока не посчитал, что делает это превосходно.

Коннелл Пирс...

Ночью он лежал с женой Пирса на кровати под балдахином, укрывшись стеганым одеялом, от которого пахло горьковато-сладкой пылью. С тихим изумлением он говорил о своей удаче и чувствовал, что это радует Эмилию.

— Обычно поиск, подобный моему, ни к чему не приводит,— сказал Говард.— Оказывается, что рукописи поэта либо потеряны, либо толку от них нет, либо они в чем-то разочаровывают...

— Но рукописи Коннелла стоят изучения?

— Господи, еще какого!— воскликнул Говард.

— Я мало знаю о его работе,— сказала Эмилия.— И его-то самого я мало знала...

Они перешли на шепот.

— Но ты его очень любила?— спросил Говард.

— Да.

И она обняла его за шею, как бы демонстрируя свою любовь. Она была хрупка и худощава чуть-чуть не в меру.

— Ты меня разлюбишь, если я похудею еще больше,— сказала она.— Я собираюсь снова нагонять вес. Может, мне забеременеть? Как ты думаешь?

— Забеременеть?

— Я еще ни разу не была беременна,— сказала она.

Ошеломленный, Говард молча лежал рядом с ней. Потом он услышал свой голос:

— Как хочешь.

Он увезет ее с собой, и там они поженятся. Вот как оборачивалось его приключение: он женится на вдове Пирса.

— Коннелл не хотел детей,— шептала Эмилия.— Мне кажется, он хотел ускользнуть от всего и вся. Вот почему он вернулся сюда, где ни он никого не знал, ни его никто не знал, где он когда-то жил мальчиком — в этих краях ему можно было снова стать мальчиком и играть в прятки. Он хотел, чтобы я его любила, но не желал, чтобы я узнала его.

— Ты была одинока?

— Да, я была одинока,— сказала она, но в голосе ее не было недовольства.— Разумеется, я была одинока. И буду одинокой всегда. Но я была его женой... Я была женщиной, которую он выбрал в жены среди всех прочих...

— Да, этим можно гордиться,— сказал Говард.— Ты была единственной женщиной, которую он не отверг. И его единственным другом, в конце концов.

— Мне кажется, вы подружились бы, если бы встретились,— мягко сказала Эмилия, как бы льстя ему.

— Не думаю,— запротестовал он.

Оба они благословляли темноту, которая, казалось, стирала раз-

личия между ними, Эмилией и Говардом, и приближала Пирса с тех фотографий... Границы между ними размывались.

— Коннелл верил, что многие вещи осуществимы еще при жизни,— тихо говорила Эмилия.— Но надо заставить их случиться. Я выросла в Олбани, в штате Нью-Йорк, где у моего отца страховая компания. Я всегда была очень счастлива. Всегда. Меня всегда любили родители и другие люди... друзья... молодые люди... они всегда любили меня потому, наверно, что у меня красивое лицо. Я не хочу казаться тщеславной. Я боюсь тщеславия. Но я знаю, что у меня приятное лицо, а если ты хорошенькая женщина, то может случиться такое, чего и не ждешь... Коннелл опустил письмо в мой ящик для писем в гостинице. Мы с мужем собирались уехать на следующий день. Но Коннелл оставил мне это письмо, он выбрал меня, он выбрал мое лицо в толпе... Он учил меня, что между людьми может случиться всякое. Если представить себе что-либо, то это может случиться. И будет случаться. Он учил меня, что мир совершенно открыт, как мечта.

— И несмотря на все это, ты оказалась способной влюбиться в него?

— Несмотря на что?

— На то, каким образом он тебя выбрал.

— Конечно. Любая женщина полюбила бы его,— сказала Эмилия.— Об этом даже и вопрос не стоял. Есть мужчины, которые понимают, как можно сделать так, чтобы любая женщина их полюбила. Остается только решить, нужны ли им эти женщины. И потом, как отделаться от них. Так уж получилось,— шептала Эмилия,— что он решил не отделываться от меня. Время от времени, да, он отсылал меня, но всегда призывал обратно. Он женился на мне. Разве что я так и не узнала его поближе...

— Почему же не узнала? Он все время работал?

— Да, он работал постоянно. Постоянно. Если он даже находился не в кабинете, то все равно думал о работе. Он все представлял себе в голове и только потом записывал... Бывало, я смотрю — стоит он, выражение лица чудно́е, счастливое, будто прислушивается к музыке, что играет у него в голове... Я никогда не тревожила его в эти минуты. Я была счастлива, что живу с ним, а раз я его жена, то чего же мне тревожить его?

— Где вы поженились?

— В Чарлстоне. Это был гражданский брак.

— Твои родители не приехали?

— О, нет. Они порвали со мной. Они были возмущены.

— Тем, что ты жила с Пирсом?

— Тем, что я тут же бросила ради него своего мужа. Они так и не простили меня. Я сочувствую им, но у меня не было выбора. Мне пришлось уехать с Коннеллом.

Говард был тронут. Он обхватил ладонями ее личико, имевшее форму сердца. Она такая послушная, делает все, что положено делать *хорошей жене*.

— Мне кажется, что тебе понравится Мэдисон,— сказал он.

Она прижалась к нему теснее и ничего не сказала.

5

На одиннадцатый день своего пребывания в городке Говард занимался разгадыванием последовательности страниц заметок для «автобиографического романа», которые перепутались с набросками «религиозных притч и загадок», когда услышал голос Эмилии, доносившийся снизу. Видимо, кто-то постучал в дверь.

Говард оторвался от своей работы. Он ждал. Ждал, что дверь закроется и Эмилия вернется в кухню, где она готовила обед. Но че-

рез несколько минут он услышал голоса. Мужской голос. И мелодичный, почти неслышный ответ Эмилии.

Прошло еще некоторое время. Десять минут, по крайней мере. Говард слишком нервничал, чтобы работать, и когда он услышал шаги на лестнице, ему пришлось подавить желание вскочить с места. Он услышал веселый, кокетливый смех Эмилии и удивленный и довольный мужской смех, отразивший ее настроение как в зеркале. Они приближались к кабинету. Почувствовав безотчетный ужас, Говард обернулся к двери.

Эмилия ввела в кабинет очень высокого веснушчатого молодого человека.

— Говард, я хотела бы познакомить тебя с Феликсом Фрейзером. Феликс из Калифорнийского университета.

Говард встал и пожал руку молодому человеку. Феликс улыбался застенчиво и довольно. Лицо у него было веснушчатое и немного болезненное, глаза сияли. Говард заметил, что молодой человек старается не смотреть жадно на стопки бумаг на столах.

— Из Калифорнийского университета?..— с непроницаемым видом переспросил Говард.

— Из Риверсайда,— подтвердил молодой человек.

— Попросил материал для исследования ранних стихотворений Коннелла. Первые наброски,— снова вступила в разговор Эмилия.

— Понятно,— промолвил Говард.

Феликс смотрел на бумаги как завороженный.

Наступила неловкая пауза, и тогда Эмилия сказала:

— Говард работает тут уже больше недели. Он собирается остаться еще на несколько дней, но вы оба можете работать в кабинете. Надеюсь, поладите? Или для ученых это слишком трудно?

Говард смотрел на Эмилию в упор.

— Что-нибудь случилось?— спросила она.

Феликс вздрогнул, подумав, что вопрос обращен к нему.

— Случилось? Конечно нет...

— Конечно нет,— подтвердил Говард.

Ему пришлось присесть на шаткий стул. Ноги онемели.

— Я... я счастлив, что попал сюда, и я... я готов сейчас же взяться за работу.

Феликс Фрейзер говорил, поглядывая на бумаги. Больше тридцати дать ему было нельзя. Очень высокий — шесть футов пять дюймов, по крайней мере. Привлекателен, хотя костляв и неуклюж. Не такой привлекательный, каким Говард был в свое время, и все же...

— Где вы остановились, Феликс?— спросил Говард.

— В чем-то под названием «Четыре звезды». Дыра, но удобно.

Через несколько минут Эмилия увела Феликса. Говард подошел к двери и услышал, как они спускаются по лестнице, идут через холл к спальне... к спальне!.. услышал ее голос:

— Коннелл любил этот дом...

Говард вернулся к столу и обхватил голову руками. Когда он говорил о Мэдисоне... когда он намекал на то, что оба они будут жить там... разве она ничего не поняла? Прямо о женитьбе он не говорил. Может быть, ему не удалось объясниться?

Он отпихнул от себя заметки Пирса. Заметки к «автобиографическому роману»... *На кой черт миру еще один автобиографический роман?* Говард пожал плечами. Романов предостаточно. Слишком много романов. Живая женщина заслуживает большего внимания, чем роман покойника, любой роман любого покойника или его стихотворение, чем вся поэзия вообще. Вот так-то!

Ему не верилось, что такое случилось именно с ним.

Когда Феликс ушел, чтобы вернуться на следующий день, Говард спустился вниз и стал перед Эмилией.

— Почему ты пригласила сюда этого человека?— спокойно спросил он.

— Для того, чтобы он работал над ранними стихотворениями Пирса,— ответила Эмилия.— Над ранними набросками. Он сказал, что увлечен...

— Разве мы не собирались пожениться?

— Пожениться?

— Мы с тобой, пожениться?

Она пристально посмотрела на него.

— Я ничего не знала об этом,— запинаясь, сказала она извиняющимся тоном. Но во взгляде ее была отчужденность, туман, неопределенность, как будто все это не больше чем недоразумение, на котором она никак не может сосредоточиться. Она оставалась любезной хозяйкой, серьезно озабоченной мелочами, которые могут нарушить покой гостя, но эта забота никак не касалась души гостя.

— Ты даже говорила о том, что забеременеешь...— сказал Говард.

— Да, но...

— Но?

— Да, но замуж я за тебя не собиралась... Говорила я о том, что мы поженимся?— спросила она с озабоченным видом.

— И ты пригласила его сюда. Этого Феликса. Этого Фрейзера. Ты послала ему приглашение, живя со мной...

— Но к этому времени ты уже собирался уехать.

Говард обхватил голову руками. Ударить ее, что ли, как это сделал бы Пирс. Хлестнуть по лицу рукой. Уничтожить это лицо. Говард содрогнулся, он был совершенно опустошен этой внезапной ненавистью к ней — к этому нервному хорошенькому личику, к затуманенным, широко раскрытым глазам, к этому чувственному рту, который он целовал столько раз, что губы, казалось, немного вспухли.

— Значит, ты не собираешься ехать со мной?— спросил Говард.

— Ехать? Оставить этот дом? Как же я могу оставить этот дом?— спросила она. В замешательстве она раскинула руки. Беззащитна. Ее девичье тело было в его власти.— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу, чтобы ты уехала со мной. Мы поженимся.

— Уехать отсюда?

— Да, уехать отсюда! Ты поедешь со мной в Мэдисон. Мы будем работать над бумагами Пирса... Мы напишем книгу о нем, мы с тобой... А впрочем, пошел он к черту!..

— Ты с ума сошел!

Она сердито отвернулась от него. Говард схватил ее за руку. Опять что-то содрогнулось в нем.

— Ты мне лгала? Скажи. Это все было ложью? Что же это было? Шутка, ложь?

Эмилия задумалась. Потом она обняла его, прижалась лицом к его груди и так стояла кротко, смиренно, молча, вся пылающая. Еще мгновенье — и Говард стал гладить ее по голове. По спине. Мышцы его одеревенели.

— Значит, ты меня не любишь?— прошептал он.

Она тесно прижалась к нему и спрятала лицо.

— Ты никогда не уедешь отсюда?..

Она ничего не ответила. Немного погодя он отпустил ее, вышел, спотыкаясь, из комнаты и поднялся в кабинет. Работать он больше не мог, а уйти было некуда. Что же теперь делать здесь? Он постоял несколько минут в кабинете, тупо уставившись во что-то и ничего не видя. Он включил свет, подошел к столу и полистал заметки, рассеянно, нервно. Почерк Пирса. Слова Пирса. Пирс не умер, а жил и оставался более сильным, чем Говард. Более привлекательным, чем Феликс, несмотря на свои морщины и сутулость; ни одна женщина не променяла бы Пирса на него! Никогда!

Говард пролистал заметки к «религиозным притчам и загадкам».

Тут было не меньше пятидесяти исписанных страниц. Говард учуял неприятный запах пота, выступившего изо всех пор его напрягшегося тела. Он не понимал, что с ним происходит. Это загадка, головоломка... Несмотря на нервное состояние, он начал читать и немного погодя сел за стол. Было восемь вечера. В четверть двенадцатого набрел на такую запись:

«Представим себе X, знаменитого испанского романиста, дворянина. Родился в 1899 году. Надо, чтобы он родился в девятнадцатом веке... Много приключений. Тюрьма. Романы, признанные в целом свете. X — красивый, пожилой, элегантный, денди, есть некоторая фальшь в поведении (постоянно подчеркивает, что он католик, что верен Франко и т. д.). Совершенно поглощен своей работой, искусством. Язык этой притчи должен предполагать... подмену человека его искусством. Язык, который несет в себе нечто большее, чем просто смысл. На грани. На грани поэзии. Да, X при смерти и хочет написать роман о собственной жизни, продолжающейся и после смерти. В Мадриде он выбирает некую женщину. Он дворянин, умирающий старик, а она очень красивая молодая женщина. *Она* заслуживает того, чтобы быть его женой. И поэтому он женится на ней, она ухаживает за ним во время смертельной болезни, хоронит его и потом одаривает своей любовью всех поклонников его искусства, которые приезжают к ней, потому что она одна остается хранительницей его божественности. *Ее тело. Освященное тело.* Череда любовников приходит к ней, они любят X, и она дарит им любовь, всем без исключения, оставаясь вечно девственной...»

Говард пошел искать Эмилию. Он сунул ей листок.

— Вот это... ты читала это? Ты знала об этом?

— О чем?

— Заметки для притчи...

— Какой притчи? — Она взглянула на листок.— Наверно, не читала. Нет,— сказала она.— С чего это ты так рассердился?

Говард бросил листок.

— Я уезжаю,— сказал он.

— Уезжаешь? Но сейчас почти двенадцать ночи...

— Я не могу тут оставаться.

— Почему же?

Говард зашагал прочь. Она пошла за ним в спальню. Пока он швырял свои вещи в чемодан, она недоуменно говорила:

— Но по горным дорогам ночью ездить опасно. Почему ты хочешь уехать сейчас же? Мистер Фрейзер явится не раньше восьми утра. Почему ты уезжаешь? Ты недоволен? Разочаровался в рукописях?

Говард скомкал сорочку и запихал ее в чемодан. Его пальцы дергались от желания вцепиться в Эмилию, но дело было совсем не в ней.

— Но... ты обещаешь, что будешь вести машину осторожно? Если в горах туман, обещай мне остановиться и переждать где-нибудь,— попросила она.

— Да. Я обещаю.

— Почему ты такой злой?

— Не злой,— сказал он, захлопывая крышку чемодана.

Она проводила его вниз, а потом на улицу.

— Ты не закончил свою работу? Ты когда-нибудь вернешься?

— Не знаю. Может быть.

— Тебе хорошо работалось здесь?

— Да.

— А со мной тебе было хорошо?

Он кинул чемодан на заднее сиденье машины. Когда он включил

фары, тотчас над асфальтом появились громадные призрачные тени. Эмилия сказала:

— Я так и не понимаю, почему ты едешь на ночь глядя. Пора спать. Ты такой странный.

Она наклонилась и поцеловала его на прощанье, дружески и целомудренно.

Он отшатнулся в испуге.

— Нет-нет! Прощай,— сказал он.

Он вел машину в темноте, боясь разрыдаться. Из головы не шла спальня, постель... Лицо Эмилии, ее руки, ее тело... И фотографии Пирса на стене. Это красивое бесплотное лицо. Говард гнал машину в совершенной темноте. Клочья тумана проносились над дорогой. Очень хорошо, он попадет в аварию, он свалится в пропасть на повороте. Он не замедлял хода. К черту! Ему хотелось убраться подальше от этого дома... Он был возбужден, подавлен. К чему жить? Он чувствовал, как его лицо, тело, сама индивидуальность его где-то там внутри просачиваются в аморфную бесформенность его прошлого.

Он снова становился обыкновенным человеком.

Туман сгущался. Горная дорога головокружительно петляла, машину головокружительно заносило то вправо, то влево. Говард ехал как во сне, едва соображая, что делает. Он очень устал. Подавлен. И все же ему бы не хотелось потерпеть аварию... не хотелось умирать... Жизнь его пуста, посмешище, а не жизнь. И все же умирать не хотелось. Миль через пятнадцать он добрался до мотеля «Горный вид», где решил переночевать. В номере не топили, но он заснул. Давно уже он не спал так крепко.

Утром, в дороге, направляясь на север, к Чарлстону, он почувствовал себя немного лучше. Он размышлял о том, что произошло за эти двенадцать дней, и пришел к заключению, что все обстоит не так уж плохо. Уныние стало проходить. Его предали, да, но, видимо, это неважно. Он заколебался. Говарду Дину лгали, его предали, ну и что тут такого? Важно, что он видел архив Пирса.

Встало солнце. Тепло разогнало туман. Постепенно тепло развеяло и уныние Говарда, и к тому времени, когда он пересек границу штата Огайо у Мариетты, от пережитого не осталось и следа. Наоборот, он почувствовал ту самую чудесную энергию, которая вливалась в него, когда он впервые просматривал стопы неопубликованных, непознанных работ Пирса. Это реальность. Да, это реальность, а то, что случилось с Говардом, не совсем реально. Он думал обо всем этом и чувствовал, как прежняя энергия завладевает всем его существом. Он привлечет внимание всего мира к Коннеллу Пирсу: это его миссия, это суть его жизни. Это его священный долг, и он непременно исполнит его.

Он ехал целый день, едва сдерживая страсть и радость.

■

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

Человек без свойств

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Перевод с немецкого и вступление С. АПТА

Начало эпопеи

Читатели «Иностранной литературы» уже немного знакомы с австрийским писателем Робертом Музилем (1880—1942)[1] и знают о существовании романа под странным названием «Человек без свойств». Роман этот Музиль писал много лет, но не дописал, он умер среди работы — в эмиграции, в Швейцарии, через десять лет после того, как опубликовал первые два тома, больше полутора тысяч страниц.

«Человек без свойств» — «труд жизни» Музиля. Как ни интересны его новеллы, повести, статьи, дневники, с именем его связан прежде всего этот роман, одно из самых значительных литературных произведений нашего века. Роман переведен уже на несколько европейских языков. Число критических и литературоведческих работ о нем в последние годы быстро растет. В связи с тем, что издательство «Художественная литература» готовит сейчас к печати русский перевод, журнал счел уместным вернуться к Музилю и познакомить своих читателей с главной его книгой. Нельзя сказать, что это произведение не было сразу же замечено и высоко оценено. Нашлись даже горячие поклонники. Но ясно и без объяснений, что историческая обстановка в Европе тридцатых—сороковых годов не очень-то располагала вчитываться в пространный, да еще и неоконченный роман, действие которого происходит к тому же в давно канувшей в прошлое Австро-Венгрии. И автор «Человека без свойств» разделил судьбу многих больших художников, закончивших свои дни в бедности и почти безвестности, но прославившихся посмертно.

Настоящая жизнь романа началась в 1952 году, когда Адольф Фризе, восторженно писавший о Музиле еще в тридцатые годы, совершил рискованный текстологический эксперимент: он издал «Человека без свойств» как бы в законченном виде, прибавив к тому, что опубликовал или успел подготовить к печати сам автор, свою компиляцию из его черновиков и набросков. Здесь не место вдаваться в разбор сделанного Фризе. Конечно, нужно быть благодарным ему за то, что он вернул роман к жизни, хотя попытка завершить сюжетные линии книги, «закруглить» ее, лишить ее фрагментарности несостоятельна изначально, неправомерна по существу: незавершенность есть поистине дух и судьба этого произведения.

Герою романа, «человеку без свойств» Ульриху, не удается устроить свою жизнь так, чтобы внутренне согласиться с каким-то определенным ее укладом, признать его окончательность, на чем-то остановиться. Мир интересен Ульриху не

[1] В 1970 г. в № 3 была напечатана новелла «Тонка» со вступительной заметкой Ю. Архипова, а в 1980 г. в № 9 — новеллы «Гриджия» и «Черный дрозд» со статьей А. Карельского.

своей конкретной реальностью, которая представляется ему косной, наперед связанной сложившимися шаблонами, всегда уныло похожей на себя самое. Привлекает Ульриха океан заложенных в мире возможностей. Обрести свойства, обрасти свойствами — это при таком взгляде на вещи значит застыть, омертветь. Ульрих ощущает возможность как нечто высокое, абсолютное и остро чувствует бескрылость, относительность, паллиативность всякого осуществления.

Структура романа связана с таким мироощущением героя теснейшим образом. И кажущаяся случайность иных поворотов действия, и переходы от эпической манеры к эссеистической и сатирической, и сама незавершенность произведения, которое не раз сравнивали с торсом гигантской статуи,— все в этой книге словно бы говорит: «возможны варианты».

И удивительно: даже тот факт, что место и время действия определены здесь как нельзя более точно, что об Австро-Венгрии 1913 года нам рассказывают со множеством самых мелких и подлинных подробностей,— даже этот факт не убивает впечатления, что варианты возможны и тут, что судьба империи Франца-Иосифа есть какой-то частный случай, всего только, может быть, пример или символ судьбы буржуазной Европы или конца буржуазной эпохи вообще.

Как это получается, как достигается такой эффект?

Рассказывая о Вене 1913 года, Музиль нигде, не только в материале и фабуле, но и в аналитических отступлениях, но и в бесчисленных метафорах — нигде, кроме одной-единственной фразы (последней в главе «Какания»), не выходит из временных рамок повествования, не забегает вперед, не намекает на свое большее, чем у его живущих тринадцатым годом героев, знание. Ведь такое же большее знание есть и у любого будущего читателя, оно как бы вынесено в романе за скобки. И поскольку в центре рассказа — подготовка к юбилейному празднеству 1918 года, читатель, помнящий, что принес этот год и Габсбургам, и Гогенцоллернам на самом деле, невольно смотрит на австро-венгерскую жизнь как на некий проигрышный, ведущий к краху вариант жизни.

Ульрих отказывается сперва от военной карьеры, потом от профессии инженера и становится математиком, но затем покидает и это поприще, чтобы заняться наблюдениями и умственными экспериментами не в области чистой науки, а в области человеческого поведения, морали. Ульрих убежден, что действительно стоит усилий мысли только один вопрос на свете — как правильно жить, ни больше, ни меньше. Роман обрывается, не доведя до конца ни австро-венгерской, так сказать, эмпирической линии, ни линии нравственных поисков Ульриха. Если в широком смысле конец первой известен нам из истории, то о несчастливом конце второй можно догадываться. Такой ее конец проглядывает между строк, он словно бы обозначен пунктиром, как обозначают воображаемое продолжение линии на геометрических чертежах. Ведь предпринимаемая Ульрихом попытка найти смысл бытия, обрести «тысячелетнее царство», как несомненно иронически выражается Музиль, в «другом состоянии», то есть в иррациональной восторженности, в полумистическом любовном экстазе, заранее дискредитирована, потому что она предает одну высокую и демократическую мечту Ульриха, которая была и идеей Музиля, идеей, можно сказать, пронизывающей труд его жизни.

Еще в 1913 году Музиль выступил со статьями, где от третьего лица, устами героя, ратовал за то, чтобы распространить уровень мышления, достигнутый в математике, на «человеческое», «перенести наконец из естественных наук в область морали преимущества свободной от предрассудков лабораторной техники». Герой одного из этих эссе, молодой человек, в котором легко узнать и Ульриха, и самого Музиля, говорит себе, что «в этом своем желании он сам уже есть детище демократии», ибо «наука — результат демократии», и что «будущего можно достичь лишь через сильную и чистую демократию». В другом эссе сказано, что если нужно применить математику к вопросам жизни, то «совершить этот шаг — дело поэтов», потому что «область морали» (так Музиль сокращенно обозначал всю сферу человеческих отношений) нельзя систематизировать как физическую природу и исключения здесь важнее, чем правила. Кстати сказать, первые главы романа, выделенные заголовком «Своего рода введение» в некий пролог, некую увертюру, главы и в самом деле предвосхищающие все темы книги и представляющие главных ее героев, знакомят читателя именно с «исключениями» — безумной Клариссой, нимфоманкой Бонадеей, маньяком Моосбругером. Иррациональная восторженность, в которой во втором томе романа пытается найти спасительную альтернативу унылой реальности Ульрих, ставится самой логикой такого пролога в один ряд с другими иллюзорными и явно неприемлемыми решениями вопроса вопросов — как жить.

Упорная мысль Музиля о применении методов математики и естественных наук к вопросам морали приобретает в рассуждениях Ульриха парадоксальную форму идеи «генерального секретариата точности и души». Эта идея, связывающая два, казалось бы, несовместимых постулата, составляет почти такое же важное слагаемое мировосприятия Ульриха, как его обостренное чувство возможного, и уж во всяком случае не в меньшей мере проявляется в построении и стиле романа. Само это неожиданное словосочетание «генеральный секретариат точности и души», заряженное разнородными ассоциациями, охватывающее и государственно-административную, и научную, и сентиментальную сферы, может служить выразительным примером музилевского стиля и в то же время показывает, какие разные области жизни находятся в поле зрения «человека без свойств» и того, кто о нем рассказывает.

Если ульриховская идея «секретариата точности и души» утопична, то зато реальными удачами увенчались попытки художника Музиля соединить точность с душой в его научно непредвзятом и человечном освещении вопросов «морали». Краски для ярких портретов крупного промышленника Аргейма, управляющего банком Фишеля, приспособляющегося к капиталистической эпохе аристократа графа Лейнсдорфа замешаны на размышлениях автора о механизмах власти денег, а пластичность таких фигур, как генерал Штумм, госпожа Туцци, отец Ульриха, достигнута не в последнюю очередь достойной профессионала осведомленностью повествователя об устройстве имперского военного аппарата и о теориях разных психологических и юридических школ.

Тесная связь поэтической структуры романа с острым чувством, во-первых, скудости реального и заманчивости возможного, а во-вторых, неточности и бездушия ходячих нравственных норм — тесная связь эта, что говорить, обернулась для музилевской эпопеи не только художественными удачами. Если какая-то книга остается неоконченной или если концовка ее кажется неубедительной, то это довольно часто объясняется не внешними, не житейскими причинами, а тем, что у автора нет четкой общей идеи и он не может поэтому соединить сложенные им стены — а стены получаются иной раз очень внушительные — соразмерными сводами. Чем больше вчитываешься в «Человека без свойств», тем упорнее напрашивается мысль, что роман остался незавершенным не из-за безвременной смерти Музиля, а из-за его боязни поставить точку, отказаться от манящих возможностей еще как-то повернуть фабулу, «проиграть» еще какие-то варианты.

И все-таки художественная сила этого письма, непрестанно вдохновляемого возможностью экспериментировать, ставить рядом непохожих друг на друга персонажей, сталкивать идеи, показывать низменное в высоком и высокое в низменном,— огромна. Эстетическая плодотворность «чувства возможного» дала себя знать у Музиля особенно в богатстве его языка метафорами. Ведь метафора, сопоставляющая совершенно разнородные предметы на основании какого-то одного общего у них элемента, прямо-таки воплощает собой идею неограниченных возможностей и непредубежденного подхода к любым вещам.

Самыми наглядными свидетельствами благотворности «чувства возможного» для творческой фантазии могут служить такие две грандиозные находки, как «Какания» и «параллельная акция». Выдуманное Музилем слово «Какания», ставшее в его романе кодовым обозначением критики Австро-Венгрии, вышло за пределы книги, сделалось крылатым в немецком языке. А насколько точна и глубока сама музилевская критика, квинтэссенцией которой стало это словцо, можно судить по тому, что почти ни один историк последнего периода Австро-Венгерской империи уже не обходится без цитат из «Человека без свойств».

«Параллельная акция» — это та подготовка к празднованию в 1918 году семидесятилетия правления Франца-Иосифа, о которой говорится в конце «Своего рода введения». Мотив, звучащий в увертюре последним и не очень громко, станет главной, организующей темой первого тома. Сколько сарказма и многозначительности в самой этой словесной формуле! Она дышит важностью, деловитостью, ее первый элемент напоминает о такой же кампании в Германии, а второй, «акция», не только означает «действие», но и родит мысленную связь, с одной стороны, с каким-то четко продуманным военным или полицейским мероприятием, с другой — с акцией биржевой, с финансовым капиталом. Все эти ассоциации оправдываются дальнейшим ходом рассказа: в подготовку к юбилею, в кипучую деятельность и правда включаются и военные, и полицейские, и банкиры, но ведь читатель-то знает, чем кончилось дело в 1918 году, и поэтому вся «параллельная акция», с точки зрения читателя заведомо тщетная, предстает ему скорее широко развернутым примером ненужной деятельности, суеты, пожирающей огромную энергию, чем экскурсом в довоенную Вену. Но поскольку перед нами все-таки несомненная Вена во всей конкретности своих дворцов, бульваров, экипажей, особняков, все-таки вполне достоверно изображенная габсбургская монархия, то и этот самобытный город, и это лоскутное, трещащее по швам государство кажутся всего лишь частным случаем, всего лишь вариантом современного буржуазного мира.

Чтобы выступить в тридцатые годы с романом об Австро-Венгрии и продолжать работу над ним даже во время второй мировой войны, Музиль, естественно, должен был полагать, что дает читателю нечто большее, чем картины прошлого. Не получив настоящего признания при жизни, он высказывал уверенность, что лет через пятьдесят (высказывание относится к 1933 году и, значит, имеет в виду наши дни) его книгу оценят и будут читать. Значит, он верил, что она покажется современной и не очень далеким потомкам. Зная, что книге его недостает целостности, композиционного единства, синтеза затронутых тем, Музиль считал, что этим она как раз и соответствует характеру своей разноструктурной эпохи, выражает его честнее, правдивее, чем сводящий все концы с концами роман,— например, Томаса Манна. Не будем углубляться в сложный и чисто теоретический вопрос о праве художественного произведения на завершенность и целостность в эпоху духовных и социальных разбродов. Современной, обаятельной, свежей делает книгу книг Музиля личность этого художника, его язык, его особый стиль, соединяющий эпическую интонацию с эссеистской, метафорическую многозначительность с научной точностью, лирическое волнение с иронией. Конечно, первые главы не вбирают в себя всех элементов музилевского письма, но для знакомства с эпопеей «Своего рода введение» — так назвал эти девятнадцать глав автор — наиболее, думается, подходящий отрывок.

1

Откуда, надо заметить, ничего не вытекает

Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем соотношении со среднегодовой, с температурой самого холодного и самого теплого месяцев, а также с непериодическим месячным колебанием температуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, Венеры, колец Сатурна и многие другие значительные явления соответствовали прогнозам в астрономических календарях. Водяные пары в воздухе предельно рассеялись, и влажность воздуха была невелика. Короче говоря — и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты,— стоял прекрасный августовский день 1913 года.

Автомобили вышмыгивали из узких, глубоких улиц на отмели светлых площадей. Пешеходы тянулись темными, мглистыми потоками. Там, где их вольную поспешность перерезали более мощные линии скорости, они утолщались, текли затем быстрее и, немного попетляв, опять обретали свой равномерный пульс. Сотни звуков сливались в могучий гул, из которого поодиночке выступали вершины, вдоль которого тянулись и снова сходили на нет бойко выпиравшие ребра, от которого откалывались и отлетали звонкие звуки. По этому шуму, хотя особенность его описанию не поддается, человек после многолетнего отсутствия с закрытыми глазами узнал бы, что он находится в имперской столице Вене. Города можно узнавать по походке, как людей. Открыв глаза, он определил бы то же самое по характеру уличного движения гораздо раньше, чем ему подсказала бы это какая-либо примечательная деталь. И даже если он только воображает, что смог бы определить,— тоже не беда. Переоценка вопроса о том, где ты находишься, идет от времен кочевого быта, когда надо было примечать места пастбищ. Интересно бы узнать, почему, когда речь идет о красном носе, довольствуются весьма неточной констатацией, что он красен, и никогда не спрашивают, какого именно он красного цвета, хотя это можно с точностью до микрона выразить через длину волны, а когда речь идет о такой намного более сложной вещи, как город, где кто-то находится, всегда хотят точно знать, какой именно город имеется в виду. Это отвлекает от более важного.

Не надо, стало быть, придавать особое значение названию города. Как все большие города, он состоял из разнобоя меняющихся, забегающих вперед, отстающих, сталкивающихся предметов и дел, из бездонных точек тишины между ними, из проторенных путей и бездорожья, из большого ритмического шума и из вечного разлада и сдвига всех ритмов и в целом походил на клокочущий кипяток в сосуде, состоящем из прочного материала зданий, законов, установлений и традиций. У тех двух, что шли в этом городе вверх по широкой, оживленной улице, такого впечатления, разумеется, вовсе не было. Они явно принадлежали к привилегированному слою общества, были аристократичны в одежде, осанке и манере говорить друг с другом, носили на белье свои со значением вышитые инициалы и точно так же, то есть не напоказ, а в тонком нижнем белье своего сознания, знали, кто они такие и что в имперской столице они на месте. Если предположить, что их имена Арнгейм и Эрмелинда Туцци — что́, однако, не соответствует действительности, ибо госпожа Туцци находилась в августе в обществе своего супруга в Бад-Аусзее, а доктор Арнгейм еще в Константинополе,— то напрашивается вопрос, кто же они. Люди живого ума очень часто встречают на улицах такие загадки. Решение их, надо заметить, состоит в том, что их забывают, если не могут в

течение следующих пятидесяти шагов вспомнить, где уже видели этих двоих. Но вот пара эта внезапно остановилась, потому что впереди столпился народ. Уже на мгновение раньше что-то выскочило из ряда, двинулось наискось, что-то крутнулось, скользнуло в сторону,— тяжелый, резко затормозивший грузовик, как оказалось теперь, заехав одним колесом на кромку тротуара, сидел на мели. Как пчелы вокруг летка, сразу скопились люди вокруг пятачка, который они оставили незаполненным. Там, выйдя из своей машины, стоял шофер, серый, как оберточная бумага, и объяснял происшествие, грубо жестикулируя. Взгляды подходивших устремлялись на него, а потом осторожно спускались в глубину прогалины, где кто-то, неподвижный, как мертвец, был уложен на край тротуара. Он пострадал из-за собственной неосторожности, как все признавали. Люди попеременно опускались возле него на колени, чтобы что-нибудь с ним предпринять: распахивали и снова запахивали его пиджак, пытались приподнять его или, наоборот, вновь уложить; никто, собственно, не преследовал этим никакой другой цели, кроме как заполнить время, пока со спасательной службой не прибудет умелая и полномочная помощь.

Дама и ее спутник также подошли и поглядели поверх голов и согнутых спин на лежавшего. Затем они отошли назад и помедлили. Дама почувствовала что-то неприятное под ложечкой, что она вправе была принять за сострадание — это было нерешительное, сковывающее чувство. Господин после некоторого молчания сказал ей:

— У этих тяжелых грузовиков, которыми здесь пользуются, слишком длинный тормозной путь.

Дама почувствовала после таких слов облегчение и поблагодарила внимательным взглядом. Она уже несколько раз слышала это выражение, но не знала, что такое тормозной путь, да и не хотела знать; ей достаточно было того, что сказанное вводило этот ужасный случай в какие-то рамки и превращало в техническую проблему, которая ее непосредственно не касалась. Да и слышна была уже резкая сирена «скорой помощи», и быстрота ее прибытия наполнила удовлетворением всех ожидавших. Замечательная вещь — эти социальные службы. Пострадавшего положили на носилки и вдвинули вместе с ними в машину. Вокруг него хлопотали люди в какой-то форменной одежде, а внутри кареты, насколько улавливал взгляд, все было так же опрятно и правильно, как в больничной палате. Уйти можно было с почти оправданным убеждением, что произошло нечто законное и правомерное.

— По американской статистике,— заметил господин,— там ежегодно из-за автомобильных катастроф гибнет сто девяносто тысяч и получает увечья четыреста пятьдесят тысяч человек.

— Вы думаете, он мертв? — спросила его спутница, у которой все еще было неоправданное чувство, что она присутствовала при чем-то из ряда вон выходящем.

— Надеюсь, он жив,— отвечал господин.— Когда его вносили в машину, он казался живым.

2

Дом и жилище человека без свойств

Улица, где произошел этот маленький несчастный случай, была одним из тех длинных, извилистых транспортных потоков, которые лучами вытекают из центра города, пересекают окраины и впадают в предместья. Задержись здесь наша изящная пара чуть дальше, она увидела бы нечто такое, что ей наверняка понравилось бы. Это был отчасти еще сохранившийся сад восемнадцатого или даже семнадцатого века, и, проходя мимо его решетчатой ограды из кованого желе-

за, можно было увидеть между деревьями, на тщательно подстриженном газоне, что-то вроде небольшого, с короткими крыльями зáмка, охотничьего или предназначенного для любовных радостей замка минувших времен. Точнее говоря, его несущие арки остались от семнадцатого века, парк и верхний этаж отдавали восемнадцатым, фасад был обновлен и немного испорчен в девятнадцатом веке, так что все вместе казалось несколько смазанным, как фотографические снимки, сделанные один поверх другого; однако же при виде всего этого никак нельзя было не остановиться и не сказать «ах!». А когда это белое прелестное зданьице отворяло свои окна, взгляду открывалась благородная тишина уставленных книгами стен жилища ученого.

Это жилище и этот дом принадлежали человеку без свойств.

Он стоял за одним из окон, смотрел сквозь нежно-зеленый фильтр садового воздуха на коричневатую улицу и уже десять минут с часами в руках считал автомобили, экипажи, трамваи и размытые расстоянием лица пешеходов, заполнявших сеть взгляда торопливым снованием; он определял скорости, углы, кинетическую энергию движущихся физических тел, которые молниеносно притягивают, привязывают, отпускают глаз и в течение не поддающегося никакому учету времени заставляют внимание упереться в них, оторваться, перескочить к следующему и метнуться за ним; короче говоря, немного посчитав в уме, он со смехом спрятал часы в карман и пришел к заключению, что занимался ерундой... Если бы можно было измерить скачки внимания, работу глазных мускулов, колебательные движения души и все усилия, затрачиваемые человеком на то, чтобы удержаться на ногах в потоке улицы, получилась бы, наверно,— так он думал и забавы ради попытался вычислить эту невозможную сумму — величина, по сравнению с которой сила, необходимая Атланту, чтобы удержать на себе мир, ничтожна, и можно было бы измерить, какую огромную работу совершает ныне даже человек, ничего не делающий.

Ибо человек без свойств был сейчас таким человеком.

А делающий что-либо?

«Из этого можно извлечь два вывода»,— сказал он себе.

Мышечная работа обывателя, который спокойно ходит целый день по своим делам, значительно больше, чем мышечная работа атлета, который раз в день выжимает огромный вес,— это доказано физиологически, и, значит, мелкие обыденные усилия в их общественной сумме и благодаря тому, что они поддаются этому суммированию, вносят в мир, пожалуй, больше энергии, чем героические подвиги; героический подвиг представляется даже крошечным, как песчинка, с помпой водружаемая на гору. Эта мысль ему понравилась.

Но нужно прибавить, что понравилась она ему вовсе не потому, что он любил обывательскую жизнь,— напротив, ему просто доставляло удовольствие создавать затруднения своим склонностям, которые когда-то были иными. Может быть, как раз обыватель-то и предчувствует начало огромного нового, коллективного, муравьиного героизма? Его назовут рационализированным героизмом и сочтут куда как прекрасным. Кто может знать это уже сегодня? Таких остававшихся без ответа вопросов тогда были сотни. Они носились в воздухе, они горели под ногами. Время двигалось. Люди, которые тогда еще не жили, не захотят этому поверить, но уже тогда время двигалось со скоростью верхового верблюда; а не только сегодня. Не знали лишь куда. Да и не могли как следует разобраться, что было наверху, а что внизу, что шло вперед, а что назад.

«Можно делать что угодно,— сказал себе человек без свойств, пожимая плечами,— в такой сумятице сил это не имеет ни малейшего значения!»

Он отвернулся, как человек, который научился отказываться, даже почти как больной, который боится всякого сильного прикосновения, и когда он, шагая через смежную гардеробную, проходил мимо

висевшей там боксерской груши, он нанес ей такой быстрый и мощный удар, каких в смиренном настроении или в состоянии слабости обычно не наносят.

3

Даже у человека без свойств есть отец, обладающий свойствами

Только, собственно, из озорства и потому, что он терпеть не мог обычных квартир, снял человек без свойств, не так давно вернувшись из заграницы, этот маленький замок, бывший некогда летней резиденцией перед городскими воротами, которая утратила свое назначение, когда ее поглотил разросшийся город, и стала в конце концов не чем иным, как пустующим, ждущим повышения цен на землю, никем не заселенным земельным участком. Арендная плата была соответственно низкой, но неожиданно много денег ушло затем на то, чтобы привести все в порядок и увязать с современными требованиями; это была авантюра, исход которой вынудил его обратиться за помощью к отцу, что́ ему, человеку без свойств, отнюдь не было приятно, ибо он любил свою независимость. Ему было тридцать два года, а его отцу шестьдесят девять лет.

Старик был в ужасе. Не от внезапной атаки, собственно, хотя и от нее тоже, ибо терпеть не мог опрометчивости, и не от затрат, на которые должен был пойти, ибо в сущности ему было по душе, что сын его обнаружил потребность в домашнем очаге и собственном устройстве. Но приобретение здания, которое, хоть и с прибавлением уменьшительного словечка, нельзя было определить иначе чем замок, оскорбляло его чувства и пугало их, как зловещая дерзость.

Сам он начинал домашним учителем в сиятельных домах — будучи студентом, а потом и молодым помощником адвоката и, собственно, не от нужды, ибо уже отец его был состоятельным человеком... Позднее, однако, став университетским преподавателем и профессором, он почувствовал себя за это вознагражденным, ибо благодаря тщательно поддерживаемым связям постепенно сделался юридическим консультантом почти всей земельной аристократии своей родины, хотя теперь-то и вовсе не нуждался в побочном занятии. И даже долгое время спустя, когда приобретенное им таким путем состояние уже выдерживало сравнение с приданым семьи рейнских промышленников, которое некогда принесла рано умершая мать его сына, эти добытые в молодости и укрепленные в зрелом возрасте связи не прерывались. Хотя от настоящей адвокатуры уважаемый ученый теперь отстранился и лишь при случае занимался высокооплачиваемым арбитражем, все события, касавшиеся круга бывших его покровителей, тщательно регистрировались в его записях, с большой точностью переносились с отцов на сыновей и внуков, и не проходило ни одной свадьбы, ни одного дня рождения, ни одних именин без поздравительного письма с тонкой смесью почтительности и общих воспоминаний. Столь же пунктуально приходили каждый раз и короткие ответные письма, благодарившие дорогого друга и маститого ученого. Поэтому сын его с младых ногтей усвоил этот аристократический талант почти бессознательно, но вполне точно взвешивающего высокомерия, который безошибочно устанавливает меру любезности, и раболепие человека, принадлежащего как-никак к аристократии духа, перед владельцами лошадей, пахотных земель и традиций всегда раздражало его. Но отец его был нечувствителен в этом пункте не по расчету; большую карьеру таким путем он сделал исключительно по природному побуждению, он стал не только профессором, членом академий и множества научных и государственных комитетов, но и рыцарем, комтуром, даже кавалером большого креста высших орденов, его величество наконец даровал ему потомственное дворянство и еще до того назначил

членом Верхней палаты. Удостоившись этого отличия, он примкнул там к либерально-буржуазному крылу, которое иногда противостояло нобилитету, но характерно, что никого из его аристократических покровителей это не обижало и даже не удивляло; в нем ничего иного, чем дух поднимающейся буржуазии, никогда и не видели. Старик деятельно участвовал в специальных комиссиях по законодательству, и даже когда он при каком-нибудь бурном голосовании оказывался на буржуазной стороне, у другой стороны это вызывало не злость, а скорее чувство, что его просто не пригласили. В политике он не делал ничего другого, чем то, что уже и прежде было его функцией: он сочетал превосходящее и порой мягко корректирующее знание с впечатлением, что на его личную преданность можно все-таки положиться, и, существенно не изменившись, как утверждал его сын, стал из домашнего учителя учителем верхнепалатным.

Когда он узнал об истории с за́мком, она показалась ему нарушением некоей не определенной законом, но тем более требующей строгого соблюдения границы, и он осы́пал сына упреками, еще более горькими, чем те, что он уже не раз делал ему в прошлом, звучавшими даже как предсказание скверного конца, который, мол, теперь начался. Оскорблено было главное чувство его жизни. Как у многих, кто достиг чего-то значительного, состояло оно, далекое от своекорыстия, из глубокой любви к полезному, так сказать, вообще и сверхлично,— другими словами, из честного уважения к тому, на чем строишь свою выгоду, уважения не оттого, что ты ее строишь, а в гармонии с нею, а также по общим причинам. Это очень важно; даже благородная собака ищет себе место под обеденным столом, не смущаясь тем, что ее пинают ногами, вовсе не из собачьей подлости, а из привязанности и верности; а люди холодного расчета не добиваются и половины того успеха в жизни, что души правильно смешанные, способные действительно любить людей и условия, которые приносят им выгоду.

4

Если есть на свете чувство реальности, то должно быть и чувство возможности

Чтобы легко пройти в открытые двери, надо учитывать тот факт, что у них есть твердый косяк. Это правило, по которому всегда жил старый профессор, есть просто требование чувства реальности. Но если существует на свете чувство реальности — а в его праве на существование никто не усомнится,— то должно быть и нечто такое, что можно назвать чувством возможности.

Кто обладает им, тот, к примеру, не скажет: случилось, случится, должно случиться то-то и то-то — нет, он станет выдумывать: могло бы, должно бы случиться то-то и то-то, хорошо бы случиться тому-то; и если ему говорят, что дело обстоит так-то и так-то, он думает: ну, наверно, оно могло бы обстоять и иначе. Таким образом, чувство возможности можно определить как способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, бо́льшую важность, чем тому, чего нет. Ясно, что следствия такого творческого дарования могут быть любопытными, и нередко, к сожалению, они представляют то, чем люди восхищаются, ложным, а то, что они запрещают,— дозволенным, или и то, и другое — не имеющим ровно никакого значения. Такие люди, люди возможности, витают, как говорят, в облаках, в облаках фантазии, мечтаний и сослагательного наклонения. У детей, имеющих эту тягу, ее настойчиво искореняют, называя при них таких людей фантазерами, мечтателями, слюнтяями, а также критиканами и придирами.

Когда хотят их похвалить, этих глупцов называют также идеалистами, но все перечисленные прозвища применимы только к слабой

их разновидности, которая не может понять реальность или жалким образом избегает ее, то есть применимы тогда, когда отсутствие чувства реальности и в самом деле означает недостаток. Между тем возможное включает в себя не только мечтания слабонервных особ, но и еще не проснувшиеся намерения бога. Возможное событие или возможная истина — это не то, что остается от реального события или реальной истины, если отнять у них их реальность,— нет, в возможном, по крайней мере на взгляд его приверженцев, есть нечто очень божественное, огонь, полет, созидательная воля и сознательный утопизм, который не страшится реальности, а подходит к ней как к задаче, как к изобретению. Чтобы проще было понять, чем отличаются люди с чувством реальности от людей с чувством возможности, достаточно подумать о какой-нибудь определенной сумме денег. Все возможности, какие вообще содержит в себе, например, тысяча марок, она ведь, конечно, содержит в себе независимо от того, есть ли она у тебя или ее нет; тот факт, что она есть у меня или у тебя, так же ничего не прибавляет тысяче марок, как ничего не прибавляет какой-нибудь розе или какой-нибудь женщине. Но дурак прячет эти деньги в чулок, говорят люди реальности, а способный человек делает с ними что-то; даже к красоте женщины тот, кто ею владеет, несомненно, что-то прибавляет или, наоборот, что-то отнимает от ее красоты. Реальность — вот что пробуждает возможности, и нет ничего нелепее, чем отрицать это. И все-таки в сумме или в среднем всегда остаются одни и те же возможности, повторяющиеся до тех пор, пока не появится человек, для которого что-то реальное значит не больше, чем что-то мыслимое. Он-то лишь и дает смысл и назначение новым возможностям, и он пробуждает их.

Однако такой человек — явление не очень-то простое. Поскольку его идеи, если это не пустые химеры, суть не что иное, как еще не рожденные реальности, у него, естественно, тоже есть чувство реальности; но это — чувство возможной реальности, а оно достигает своей цели куда медленнее, чем присущее большинству людей чувство своих реальных возможностей. Этому человеку подавай, так сказать, лес, а другому хватит деревьев; но лес — это нечто такое, что трудно выразить, тогда как деревья означают столько-то и столько-то кубических метров древесины определенного качества. Или, может быть, лучше сказать иначе: человек с обыкновенным чувством реальности подобен рыбе, которая клюет на приманку и не видит лески, а человек с тем чувством реальности, которое можно назвать и чувством возможности, забрасывает удочку, понятия не имея, насажена ли наживка. Чрезвычайное равнодушие к хватающей наживку жизни навлекает на него опасность творить совершенно нелепые вещи. Непрактичный человек — а он не только кажется таковым, он таков и есть — всегда ненадежен, и в отношениях с людьми от него можно ждать всяческих неожиданностей. Он будет совершать действия, которые означают для него нечто иное, чем для других, но спокойно воспримет что угодно, если только это можно охватить какой-нибудь необычной идеей. И к тому же сегодня он еще очень далек от последовательности. Вполне, например, возможно, что преступление, наносящее ущерб другому, покажется ему всего лишь социальным просчетом, виновен в котором не преступник, а устройство общества. Вряд ли, однако, пощечина, которую получит он сам, представится ему позором общества или хотя бы чем-то столь же безличным, как укус собаки; наверно, он сначала даст сдачи, а уж потом придет к мнению, что этого он не должен был делать. И конечно, если у него отнимут возлюбленную, то сегодня он еще не вполне способен отрешиться от реальности такого оборота дела и вознаградить себя новым, внезапным чувством. В данное время развитие в этом направлении еще продолжается и оборачивается для отдельно взятого человека как силой, так и слабостью.

И поскольку обладание свойствами предполагает известную радость по поводу их реальности, то это позволяет увидеть, как кто-то, у кого нет чувства реальности даже по отношению к себе самому, может вдруг в один прекрасный день предстать себе человеком без свойств.

5

Ульрих

Человека без свойств, о котором здесь повествуется, звали Ульрих, и Ульрих — неприятно звать все время по имени кого-то, с кем еще так мало знаком, но фамилию приходится ради его отца утаить,— Ульрих показал первый образчик своего способа думать уже на рубеже отрочества и юности в одном школьном сочинении на патриотическую тему. Патриотизм был в Австрии совершенно особым предметом. Германские дети, например, просто учились презирать войны австрийских детей, и им внушали, что французские дети — это внуки истощенных распутников, которые тысячами пускаются наутек при виде германского солдата с окладистой бородой. И совершенно то же самое, только с перестановкой ролей и желательными заменами, заучивали тоже часто одерживавшие победы французские, русские и английские дети. А дети — хвастуны, они любят играть в сыщиков-разбойников и всегда готовы считать семью Икс из Большого Игрековского переулка, если они случайно к ней принадлежат, самой главной семьей на свете. Их, стало быть, легко склонить к патриотизму. Но в Австрии это было немного сложнее. Ибо хотя во всех войнах своей истории австрийцы побеждали, после большинства этих войн им приходилось что-нибудь да уступать. Это будит мысль, и в своем сочинении о любви к отечеству Ульрих написал, что серьезный друг отечества никогда не вправе считать свое отечество самым лучшим; больше того, в озарении, которое показалось ему особенно прекрасным, хотя он был слишком ослеплен его блеском, чтобы разобрать, что́ происходит, он прибавил к этой подозрительной фразе еще и вторую: что, наверно, и бог предпочитает говорить о своем мире в conjunctivus potentialis[1] (hic dixerit quispiam — здесь можно и возразить...), ибо бог создал мир, думая при этом, что сошло бы и по-другому... Ульрих был очень горд этой фразой, но, по-видимому, он выразился недостаточно ясно, ибо поднялся переполох и его чуть не исключили из школы, хотя никакого постановления так и не приняли, потому что не могли решить, чем считать его дерзкое замечание — хулой на отечество или богохульством. Он воспитывался тогда в аристократической гимназии Терезианского дворянского лицея, поставлявшей самый благородный материал для столпов государства, и его отец, разгневанный тем, как посрамило его это далеко от яблони упавшее яблоко, отправил Ульриха на чужбину, в одно маленькое бельгийское воспитательное заведение, которое находилось в захолустном городке, управлялось с хорошей коммерческой хваткой и, при невысоких ценах, недурно зарабатывало на проштрафившихся учениках. Там Ульрих научился презирать идеалы других и в более крупном, международном масштабе.

С той поры пролетели, как облака по небу, шестнадцать или семнадцать лет. Ульрих не сожалел о них и гордости за них не испытывал: на тридцать третьем своем году он просто удивленно смотрел им вслед. За это время он побывал в разных местах, иногда ненадолго задерживался и на родине и везде занимался как почтенными, так и пустыми делами. Намеком уже дано было понять, что он был математик, и больше об этом не стоит распространяться, ибо на любом по-

[1] Сослагательном наклонении, выражающем возможность *(лат.)*.

прище, если подвизаешься на нем не ради денег, а из любви, наступает момент, когда кажется, что прибавление лет никуда не ведет. После того как этот момент продлился довольно долго, Ульрих вспомнил, что родине приписывают таинственную способность наделять мечты корнями и почвой, и осел там с чувством путника, который навеки садится на скамью, хотя предчувствует, что тотчас же встанет.

Когда он при этом, выражаясь на библейский лад, «устроял дом свой», он сделал одно открытие, которого, собственно, ждал. Он поставил себя перед приятной необходимостью полностью перестроить свое небольшое запущенное владение как пожелает. Все принципы — от чистой по стилю реконструкции до полной бесцеремонности — были к его услугам, и соответственно все стили — от ассирийского до кубизма — должен был он мысленно перебрать. На чем следовало ему остановить выбор? «Современный человек родится в клинике и умирает в клинике, так пусть и живет как в клинике!»— провозгласил недавно один ведущий зодчий, а другой реформатор интерьера потребовал передвижных стен в квартирах на том основании, что человек должен учиться доверять человеку, живя с ним вместе, и не вправе обособляться и замыкаться. Тогда как раз началось новое время (ведь это оно делает каждый миг), а новое время требует нового стиля. К счастью Ульриха, замок, каким он его застал, обладал уже тремя стилями, друг на дружке, так что с ним и правда нельзя было предпринять все, чего требовали; тем не менее Ульрих чувствовал себя очень взбудораженным ответственностью, накладываемой на него устройством дома, и угроза «скажи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты», которую он то и дело вычитывал в журналах по искусству, висела над его головой. После подробного ознакомления с этими журналами он пришел к выводу, что лучше уж ему взять в свои руки отделку собственной личности, и принялся собственноручно делать наброски будущей своей мебели. Но как только он придумывал какую-нибудь внушительно-громоздкую форму, ему приходило в голову, что ее вполне можно заменить технично-скупой и функционально оправданной, а стоило ему набросать какую-нибудь истощенную собственной силой железобетонную форму, он вспоминал по-весеннему тощие формы тринадцатилетней девочки и начинал мечтать вместо того, чтобы принять решение.

Это были — в вопросе, всерьез его не очень-то трогавшем,— та знакомая бессвязность идей и то расширение их без средоточия, которые характерны для современности и составляют ее своеобразную арифметику, перескакивающую с пятого на десятое, но не знающую единства. Постепенно он стал выдумывать вообще только невыполнимые интерьеры: вращающиеся комнаты, калейдоскопические устройства, трансформируемые приспособления для души, и его идеи становились все более и более бессодержательными. Наконец он пришел к той точке, куда его тянуло. Отец его выразил бы это примерно так: кто может выполнить все, что ему ни заблагорассудится, тот вскоре уже сам не знает, чего ему и желать. Ульрих повторял себе это с великим наслаждением. Эта подержанная мудрость показалась ему исключительно новой мыслью. Человека нужно стеснить в его возможностях, планах и чувствах всяческими предрассудками, традициями, трудностями и ограничениями, как безумца — смирительной рубашкой, и лишь тогда то, что он способен создать, обретет, может быть, ценность, зрелость и прочность... Невозможно и впрямь перечесть, что означает эта мысль! Так вот, человек без свойств, вернувшийся на родину, сделал и второй шаг, чтобы подвергнуться формирующему воздействию внешних обстоятельств: на этой точке своих раздумий он просто предоставил устройство своего дома гению своих поставщиков в твердом убеждении, что они-то уж позаботятся о традиции, предрассудках и ограниченности. Сам он только освежил старые линии, оставшиеся здесь от прежних времен,— темные оленьи рога под

белыми сводами зальца, плоский потолок салона, а в остальном прибавил все, что казалось ему целесообразным и удобным.

Когда все было готово, он вправе был покачать головой и спросить себя: вот, значит, жизнь, которая должна стать моей?.. Он обладал очаровательным небольшим дворцом; дом этот просто следовало так назвать, ибо он был совершенно таким, какими воображают дворцы, этакой изысканной резиденцией для важного лица, как его представляли себе мебельные, ковровые и санитарно-технические фирмы, главенствующие в своих областях. Только этот прелестный часовой механизм не был заведен; а то бы по пандусу подкатили кареты с сановниками и знатными дамами, лакеи спрыгнули бы с запяток и недоверчиво спросили Ульриха: «Милый человек, где ваш хозяин?»

Он возвратился с заоблачной выси и сразу же снова обосновался в заоблачной выси.

6

Леона, или Смещение перспективы

Устроив дом свой, надо взять кого-то в жены себе. Ульриховская подруга тех дней звалась Леонтиной и была певицей в небольшом варьете; она была высокого роста, стройная и полная, раздражающе вялая, и называл он ее Леоной.

Она обратила на себя его внимание влажной темнотой глаз, болезненно-страстным выражением красивого, с правильными чертами, продолговатого лица и чувствительными песнями, которые она пела вместо непристойных. Содержание всех этих старомодных песенок составляли любовь, страдание, верность, одиночество покинутой, шум леса и блеск форели. Рослая и до мозга костей одинокая, стояла Леона на маленькой сцене и терпеливо пела их публике голосом домашней хозяйки, и если в ее исполнении все же попадались рискованные в нравственном смысле места, то в них уж и вовсе не было жизни, потому что и трагические, и игривые сердечные чувства эта девушка подкрепляла одинаковыми, старательно заученными жестами. Ульриху это сразу напомнило не то старинные фотографии, не то красавиц в немецких семейных журналах давно минувших лет, и, вдумываясь в лицо этой женщины, он открыл в нем множество черточек, которые никак не могли быть реальными и все же составляли это лицо. Конечно, во все времена есть все разновидности лиц; но вкус времени выделяет всегда какую-то одну и возводит ее в счастье и красоту, а все другие лица стараются тогда уподобиться этому — даже безобразным это более или менее удается с помощью прически и моды, и никогда это не удается лишь тем, рожденным для странных успехов лицам, в которых, ничем не поступаясь, выражает себя величественный и отживший свой век идеал красоты прежней эпохи. Трупами прежних вожделений мелькают такие лица в великой пустоте любовного вихря, и когда мужчины глазели в простор скуки, которой было исполнено пение Леонтины, и не понимали, что́ с ними происходит, крылья носа дрожали у них совсем от других чувств, чем при виде маленьких, дерзких, причесанных под «танго» певичек. Тогда-то Ульрих и решил назвать ее Леоной, и обладать ею показалось ему столь же желанным, как обладать большой, обработанной скорняком львиной шкурой.

А после того как началось их знакомство, Леона развила еще одно несовременное свойство: она была невероятно прожорлива, а это порок, ревностное служение которому давно вышло из моды. По своему происхождению это была прорвавшаяся наконец страсть бедного ребенка к дорогим лакомствам; а теперь он обрел силу идеала, выпущенного наконец из клетки и захватившего власть. Ее отец был, повидимому, добропорядочным мещанином, который каждый раз бил ее, когда она заводила поклонников; но делала она это исключительно

потому, что страшно любила сидеть в садике какой-нибудь маленькой кондитерской и, чинно поглядывая на прохожих, есть ложечкой мороженое. Нельзя, правда, утверждать, что она не была чувственна, но, коль скоро это дозволено, надо сказать, что и в этом, как во всем прочем, она была довольно-таки ленива и старалась не утруждать себя. В ее крупном теле каждому возбуждению требовалось удивительно много времени, чтобы дойти до мозга, и случалось, что среди дня глаза ее без причины увлажнялись, а ночью бывали устремлены в какую-нибудь точку на потолке, словно наблюдая за сидевшей там мухой. Точно так же она иногда в полной тишине начинала смеяться над какой-нибудь шуткой, которая дошла до нее только теперь и которую за несколько дней до этого она спокойно выслушала и не поняла. Если у нее не было особой причины для противоположного, она вела себя поэтому вполне порядочно. Каким образом она вообще пришла к своей профессии, выведать у нее было невозможно. Видимо, она и сама это уже не помнила точно. Выяснилось только, что исполнение песенок она считала необходимой частью жизни и связывала с ним все возвышенное, что когда-либо слышала об искусстве и о людях искусства, вследствие чего ей казалось очень правильным, педагогичным и благородным выходить ежевечерне на маленькую, окутанную сигарным дымом сцену и исполнять песни, душераздирающее действие которых не подлежало сомнению. Разумеется, ее нисколько при этом не коробили нет-нет да попадавшиеся в текстах непристойности, потребные для оживления пристойного, но она была твердо убеждена, что первая певица императорской оперы делает в точности то же, что и она.

Конечно, если непременно называть это проституцией, когда человек отдает за деньги не — как то обычно бывает — всего себя, а только свое тело, то при случае Леона проституцией занималась. Но если в течение девяти лет, как она с шестнадцатого года своей жизни, знать скудость поденной платы на кабацкой эстраде, держать в голове цены на туалеты и на белье, вычеты, скупость и произвол хозяев, проценты от съеденного и выпитого увеселенными гостями и от счета за номер в соседней гостинице, если ежедневно иметь со всем этим дело, ссориться из-за этого и обладать коммерческой сметкой, тогда то, чем профан восхищается как разгулом, становится профессией, полной логики, целесообразности и сословных законов. Ведь как раз проституция — это такая штука, которую видишь очень по-разному в зависимости от того, откуда на нее смотришь — сверху или снизу.

Но хотя Леона имела вполне объективное представление о половом вопросе, у нее была и своя романтика. Только всякая экзальтация, всякое тщеславие, всякая расточительность, такие чувства, как гордость, зависть, сладострастие, скупость, готовность отдаться, короче — движущие силы личности и успеха в обществе связаны были у нее не с так называемым «сердцем», а с tractus abdominalis — пищеварительным процессом, с каковым они, кстати сказать, обычно связывались в прежние времена, что́ и сегодня можно наблюдать на примере дикарей или кутящих крестьян, которые умудряются выразить благородство чувств и все прочее, что отличает человека, с помощью пира, где полагается торжественно и со всеми сопутствующими явлениями объедаться. За столиками своего кафешантана Леона исполняла положенные обязанности, но предметом ее мечтаний был кавалер, связь с которым на срок ангажемента избавила бы ее от этого и позволила ей сидеть в фешенебельной позе над фешенебельной карточкой кушаний в фешенебельном ресторане. Тогда она бы предпочла поесть сразу от всех имеющихся блюд, но в то же время ей доставляла болезненно-противоречивое удовлетворение возможность показать, что она знает, как надо выбирать и как составляют изысканное меню. Волю своей фантазии она могла давать лишь за небольши-

ми десертами, и обычно из этого получался обильный второй ужин в обратной последовательности. Черным кофе и стимулирующим обилием напитков Леона восстанавливала свою вместительность и подхлестывала себя сюрпризами до тех пор, пока не утоляла своей страсти. А тогда ее чрево так наполнялось изысканными лакомствами, что чуть не разрывалось. Лениво сияя, она оглядывалась вокруг и, хотя разговорчивостью не отличалась, любила в этом состоянии присовокуплять к съеденным ею изыскам ретроспективные замечания. Произнося «пульмоне а-ля-Торлонья» или «яблоки а-ля-Мелвилл», она бросала эти слова так, как иной нарочито небрежно упоминает, что он беседовал с князем или лордом, носящим ту же фамилию.

Поскольку появляться с Леоной на людях было не совсем во вкусе Ульриха, он обычно устраивал ее кормление у себя дома, где она могла пировать в обществе оленьих рогов и стильной мебели. Но это не удовлетворяло ее социальных амбиций, и когда неслыханнейшими яствами, какие может предложить ресторатор, человек без свойств побуждал ее к одинокой неумеренности, она чувствовала себя оскорбленной в точности так же, как женщина, которая замечает, что любят ее не из-за ее души. Она была красива, она была певица, ей нечего было прятаться, и каждый вечер к ней устремлялись желания нескольких десятков мужчин, которые подтвердили бы ее правоту. А этот человек, как ни хотел он быть с нею наедине, не способен был даже сказать ей: «Боже мой, Леона, твоя ж...— это блаженство!»— и со смехом облизнуть усы при виде ее, как к тому ее приучили кавалеры. Леона немножко презирала Ульриха, хотя, конечно, хранила верность ему, и Ульрих это знал. Прекрасно знал он, кстати сказать, как принято вести себя в обществе Леоны, но времена, когда губы его в силах были произнести что-либо подобное и когда эти губы носили усы, миновали слишком давно. А когда ты уже не способен на что-либо, что прежде умел делать — пусть даже это была величайшая глупость, то ведь это все равно как если бы у тебя отнялись руки и ноги. У него дрожали глазные яблоки, когда он глядел на свою подругу, которой ударяли в голову еда и питье. Ее красоту можно было осторожно отделить от нее. Это была красота герцогини, которую Эккехард Шеффеля пронес через порог монастыря, красота всадницы с соколом на перчатке, красота легендарной императрицы Елизаветы с тяжелым венцом волос, очарование для людей, которые все уже умерли. Чтобы выразиться точно, она напоминала также божественную Юнону, но не Юнону вечную и непреходящую, а то, что связала с именем этой богини эпоха, которая прошла или проходит. Таким образом, мечта бытия облекала его материю довольно неплотно. Леона же знала, что за великосветское приглашение надо как-то платить, даже если пригласивший никаких желаний не выражает, и что нельзя просто позволять глазеть на себя; поэтому она вставала, как только вновь обретала такую способность, и начинала спокойно, но очень громко петь. Ее другу подобные вечера напоминали вырванный листок, живой, благодаря доверенной ему игре мыслей, но, как все вырванное из связи, мумифицированный и полный той тирании навек застывшего, которая составляет жутковатую прелесть «живых картин», где жизнь словно бы приняла вдруг снотворное, да так и застыла в оцепенении, полная внутренней связи, резко очерченная и все-таки в целом ужасно бессмысленная.

7

В состоянии слабости Ульрих приобретает новую возлюбленную

Однажды утром Ульрих явился домой в плачевном виде. Платье его было изодрано, расшибленную голову ему пришлось облепить примочками, часы и бумажник исчезли. Он не знал, взяли ли их

те трое, с которыми он вступил в драку, или же они были украдены у него каким-нибудь тихим другом человечества за то короткое время, что он пролежал без сознания на мостовой. Он лег в постель и, когда его измученные члены снова почувствовали себя спокойно расправленными и укрытыми, еще раз обдумал все происшествие.

Три эти головы очутились перед ним внезапно; он мог на пустынной в поздний час улице случайно задеть кого-то из них: ведь мысли его прыгали и были заняты чем-то другим, но эти лица были уже готовы к злобе и вошли в круг фонаря уже искаженными. Тут он сделал ошибку. Ему следовало отпрянуть, словно испугавшись, и при этом крепко толкнуть спиной или локтем в живот парня, стоявшего позади него, и в тот же миг постараться удрать, ибо с тремя сильными мужчинами сладить нельзя. Вместо этого он помедлил. Виной тому был возраст — его тридцать два года: вражда и любовь требуют теперь уже несколько больше времени. Он не поверил, что эти три лица, которые вдруг среди ночи взглянули на него с презрением и злобой, посягают только на его деньги, и отдался чувству, что тут слилась и воплотилась направленная на него ненависть; и в то время, как хулиганы уже осыпáли его площадной бранью, он радовался мысли, что это, может быть, вовсе не хулиганы, а такие же граждане, как он, только подвыпившие и освобожденные от скованности, в которой он, проходя мимо них, пребывал и которая замкнула на нем ненависть, всегда с готовностью поджидающую его и вообще всякого чужого человека, как гроза в атмосфере. Ведь нечто подобное чувствовал, бывало, и он. Невероятное множество людей чувствует ныне огорчительное противоречие между собой и невероятным множеством других людей. Это основная черта культуры — что человек испытывает глубочайшее недоверие к человеку, живущему вне его собственного круга, что, стало быть, не только германец еврея, но и футболист пианиста считает существом непонятным и неполноценным. Ведь в конце концов вещь сохраняется только благодаря своим границам и тем самым благодаря более или менее враждебному противодействию своему окружению; без папы не было бы Лютера, а без язычников — папы, поэтому нельзя не признать, что глубочайшая приверженность человека к своему сочеловеку состоит в стремлении отвергнуть его. Об этом он думал, конечно, не так подробно; но он знал это состояние неопределенной атмосферной враждебности, которым насыщен воздух в наш век, и когда она вдруг сгущается в трех навсегда потом исчезающих незнакомцах, чтобы разразиться громом и молнией, то это чуть ли не облегчение.

Все-таки при виде трех хулиганов он раздумывал, пожалуй, несколько больше, чем надо бы. Правда, первый, бросившись на него, отлетел назад, потому что Ульрих опередил его ударом в челюсть, но второго, с которым следовало разделаться затем в один миг, кулак едва задел, ибо удар сзади каким-то тяжелым предметом чуть не размозжил голову Ульриху. У него подкосились ноги, его схватили, он снова выпрямился с той почти неестественной легкостью тела, что обычно приходит за первым изнеможением, двинул несколько раз в путаницу чужих тел и был свален кулаками, которые делались все больше и больше.

Поскольку ошибка, допущенная им, была теперь выяснена и относилась только к спортивной области, словно какой-нибудь слишком короткий прыжок, Ульрих, все еще обладавший прекрасными нервами, спокойно уснул в точно таком же восторге от ускользающих витков забытья, какой он где-то в глубине души уже испытал при своем поражении.

Проснувшись, он убедился, что его ранения незначительны, и еще раз задумался о случившемся. Драка всегда оставляет неприятный осадок, привкус, так сказать, поспешной интимности, и независимо от того, что нападал-то не он, у Ульриха было такое чувство, что

он вел себя неподобающим образом. Но неподобающим чему?! Совсем рядом с улицами, где через каждые триста шагов полицейский карает за малейшее нарушение порядка, находятся другие, требующие такой же силы и такого же склада ума, как дремучий лес. Человечество производит библии и винтовки, туберкулез и туберкулин. Оно демократично, имея королей и дворянство; строит церкви и, с другой стороны, университеты против церквей, превращает монастыри в казармы, но в казармы направляет полковых священников. Естественно, что и хулиганам оно дает наполненные свинцом резиновые шланги, чтобы изувечить тело сочеловека, а потом предоставляет этому одинокому и поруганному телу пуховики, как тот, что облекал сейчас Ульриха, наполненный как бы сплошной почтительностью и предупредительностью. Это известное дело — противоречия, непоследовательность и несовершенство жизни. По поводу их смеются или вздыхают. Но Ульрих-то был как раз не таков. Он терпеть не мог эту смесь покорности и слепой любви в отношении к жизни, мирящуюся с ее противоречиями и половинчатостью, как старая дева — с неотесанностью молодого племянника. Только и с постели он тоже не стал вскакивать, когда выяснилось, что пребывать в ней — значит извлекать выгоду из непорядка в делах человеческих, ибо в каком-то смысле это не что иное, как поспешная сделка с совестью за счет существа дела, самопоблажка, дезертирство в частную жизнь, если ты лично избегаешь дурного и поступаешь хорошо, вместо того чтобы печься об общем порядке. После его недобровольного опыта Ульриху даже казалось, что если тут упразднят винтовки, а там королей и какой-нибудь большой или малый прогресс уменьшит глупость и зло, то в этом будет до отчаяния мало толку; ибо мера мерзостей и подлостей тотчас же восполнится новыми, словно одна нога мира всегда отскальзывает назад, как только другая выдвинется вперед. Причину и тайный механизм этого — вот что надо бы познать! Это было бы, конечно, несравненно важнее, чем быть добрым человеком по стареющим принципам, и поэтому в сфере морали Ульриха тянуло больше к службе в генеральном штабе, чем к повседневному героизму доброты.

Теперь он еще раз представил себе и продолжение своего ночного приключения. Когда он очнулся после неудачно прошедшей драки, у тротуара стоял наемный автомобиль, шофер которого пытался приподнять раненого незнакомца за плечи, и какая-то дама склонялась над ним с ангельским выражением лица. В такие моменты, когда сознание выплывает из бездны, все видишь как в мире детских книжек; но вскоре этот обморок уступил место действительности, присутствие хлопотавшей над ним дамы взбодрило и освежило Ульриха, как одеколон, так что он сразу понял, что пострадал не очень уж сильно, и попытался поизящнее встать на ноги. Это не сразу вполне удалось, и дама озабоченно предложила куда-нибудь отвезти его, чтобы ему оказали помощь. Ульрих попросил доставить его домой, и так как вид у него и правда был еще растерянный и беспомощный, дама согласилась. Потом он в машине быстро пришел в себя. Он чувствовал рядом с собой что-то матерински-чувственное, нежное облако услужливого идеализма, облако, в тепле которого теперь, когда он снова становился мужчиной, начинали складываться ледяные кристаллики сомнения и страха перед опрометчивым поступком, наполняя воздух мягкостью снегопада. Ульрих рассказал о своем приключении, и красивая женщина, которая была на вид лишь чуть-чуть моложе, чем он, то есть лет тридцати, посетовала на людскую грубость и нашла его донельзя достойным жалости.

Конечно, он стал теперь энергично оправдывать случившееся и объяснять удивленной красавице, от которой веяло чем-то материнским, что о таких стычках нельзя судить по успеху. Прелесть их в том и заключена, что в кратчайший отрезок времени с невиданной в обыденной жизни стремительностью и по едва уловимым сигналам

нужно выполнить столько многоразличных, мощных и все-таки точнейше согласованных друг с другом движений, что контролировать их сознанием становится невозможно. Напротив, любой спортсмен знает, что уже за несколько дней до состязания нужно прекратить тренировку, а это делается не для чего иного, как для того, чтобы мышцы и нервы могли заключить между собой последний договор без участия, а тем более вмешательства воли, намерения и сознания. В момент действия всегда потом так и бывает, описывал Ульрих: мышцы и нервы, вырвавшись на свободу, сражаются с личностью; и она, то есть все тело, душа, воля, вся эта главная фигура, вся эта юридически отделяемая от окружающего ее мира целокупность, захвачена ими только поверхностно, как Европа, сидящая на быке, а если выходит иначе, если малейший луч размышления проникает на грех в эту темень, тогда, как правило, дело не выгорает... Ульрих вошел в раж. Это — утверждал он теперь, имея в виду феномен почти полного устранения сознательной личности или прорыва сквозь нее,— это в сущности сродни утраченным феноменам, которые были знакомы мистикам всех религий, а потому это в какой-то мере современный заменитель вечных потребностей, пусть скверный, но все-таки заменитель; и значит, бокс и подобные виды спорта, приводящие все это в рациональную систему, представляют собой своего рода теологию, хотя и нельзя требовать, чтобы это было признано всеми.

Ульрих так энергично обратился к своей спутнице немного, наверно, и из тщеславного желания заставить ее забыть жалкое положение, в котором она нашла его. При этих обстоятельствах ей трудно было определить, говорит ли он всерьез или острит. Во всяком случае, ей могло показаться вполне в сущности естественным, что он пытается объяснить теологию через спорт, это было, пожалуй, даже интересно: ведь спорт есть нечто современное, а теология, напротив, нечто такое, о чем решительно ничего не знаешь, хотя налицо все еще, нельзя отрицать, много церквей. Как бы то ни было, она нашла, что счастливая случайность позволила ей спасти блестящего человека. Правда, время от времени она спрашивала себя, не произошло ли у него сотрясения мозга.

Ульрих, пожелавший теперь изречь что-нибудь понятное, воспользовался случаем, чтобы указать попутно на то, что и любовь принадлежит к религиозным и опасным феноменам, поскольку она вырывает человека из объятий разума, лишает его почвы под ногами и повергает в состояние полной неопределенности.

Да, сказала дама, но спорт так груб.

Разумеется, поспешил признать Ульрих, спорт груб. Он, можно сказать, есть сгусток тончайше распределенной, всеобщей ненависти, который оттягивается в состязаниях. Утверждают, конечно, обратное: спорт, мол, объединяет людей, делает их товарищами и тому подобное; но по сути это только доказывает, что грубость и любовь отстоят друг от друга не дальше, чем одно крыло какой-нибудь большой пестрой немой птицы от другого.

Он сделал акцент на крыльях и на пестрой немой птице — мысль без настоящего смысла, но наполненная толикой той огромной чувственности, с какою жизнь одновременно удовлетворяет все соперничающие в ее необъятном теле противоречия; он заметил теперь, что его соседка этого совершенно не поняла, однако мягкий снегопад, который она распространяла в машине, стал еще гуще. Тут он совсем повернулся к ней и спросил, не противно ли ей говорить о таких телесных вопросах. Телесные дела и правда слишком уж входят в моду, и в сущности это ужасно, потому что тело, если оно хорошо натренировано, берет верх и так уверенно, без спросу, реагирует на любой раздражитель своими автоматизированными движениями, что у владельца остается только жутковатое чувство, что он ни при чем и его характер как бы уходит от него в какую-нибудь часть тела.

Кажется, этот вопрос действительно глубоко задел молодую женщину; она обнаружила свою взволнованность сказанным, стала тяжелее дышать и осторожно отодвинулась. Механизм, подобный только что описанному — учащение дыхания, покраснение кожи, сердцебиение и, может быть, еще что-нибудь,— в ней, кажется, заработал. Но как раз тут автомобиль остановился перед домом Ульриха. Он успел лишь с улыбкой спросить адрес своей спасительницы, чтобы принести ей свою благодарность, но, к его удивлению, эта милость дарована ему не была. И черная кованая решетка захлопнулась за удивленным незнакомцем. Потом еще, возможно, в свете электрических ламп выросли высокие и темные деревья старого сада, зажглись окна, и по коротко остриженному изумрудному газону раскинулись низкие крылья маленького, как будуар, замка, глазам приоткрылись увешанные картинами и уставленные пестрыми рядами книг стены, и попрощавшегося спутника принял в себя неожиданно прекрасный быт.

Так оно вышло, и когда Ульрих еще размышлял, как было бы неприятно, если бы ему снова пришлось тратить время на одну из этих давно надоевших интрижек, ему доложили о какой-то даме, которая не пожелала назвать себя и вошла к нему под низко опущенной вуалью. Это была она самая, не назвавшая своего имени и своего местожительства, но самовольно продолжившая приключение таким романтически-благотворительным способом, под предлогом беспокойства о его состоянии.

Спустя две недели Бонадея была уже четырнадцать дней его возлюбленной.

8

Какания

В том возрасте, когда еще придают важность портняжным и цирюльным делам и любят глядеться в зеркало, часто представляют себе также какое-то место, где хочется провести жизнь, или по меньшей мере место, пребывание в котором импонирует, даже если чувствуешь, что тебя лично туда не очень-то тянет. Такой социальной навязчивой идеей давно уже стало подобие сверхамериканского города, где все спешат или стоят на месте с секундомером в руке. Воздух и земля образуют муравьиную постройку, пронизанную этажами транспортных магистралей. Надземные поезда, наземные поезда, подземные поезда, люди, пересылаемые, как почта, по трубам, цепи автомобилей мчатся горизонтально, скоростные лифты вертикально перекачивают человеческую массу с одного уровня движения на другой; в узловых точках люди перескакивают с одного средства передвижения на другое, всасываются и подхватываются без раздумья их ритмом, который между двумя разражающимися громом скоростями делает синкопу, паузу, маленькую пропасть в двадцать секунд, торопливо обмениваются несколькими словами в интервалах этого всеобщего ритма. Вопросы и ответы пригнаны друг к другу как детали машин, у каждого человека есть только строго определенные задачи, профессии собраны в группы по определенным местам, едят на ходу, развлечения собраны в других частях города, и опять же в каких-то других стоят башни, где находишь жену, семью, граммофон и душу. Напряженность и расслабленность, деятельность и любовь точно разграничены во времени и распределены после основательной лабораторной проверки. Столкнувшись в каком-либо виде деятельности с затруднением, дело просто бросаешь; ибо находишь другое дело или при случае лучший путь, или другой находит путь, с которого ты сбился; это совсем не беда: ведь ничто не транжирит столько общей энергии, сколько самоуверенная убежденность, будто ты призван не отступаться от определенной личной цели. В пронизанном силовыми линиями коллективе любой путь ведет к хорошей цели, если слишком долго не меш-

кать и не размышлять. Цели поставлены вкоротке; но и жизнь коротка, от нее получаешь, стало быть, максимум достижимого, а больше человеку и не надо для счастья, ведь то, чего достигаешь, формирует душу, а то, чего хочешь, но не достигаешь, только искривляет ее; для счастья совершенно не важно то, чего ты хочешь, а важно только, чтобы ты этого достиг. Кроме того, зоология учит, что из суммы неполноценных особей вполне может составиться гениальное целое.

Нет никакой уверенности, что так оно и должно быть, но такие представления входят в дорожные сны, в которых отражается чувство безостановочного движения, нас захватившего. Они поверхностны, тревожны и коротки. Бог знает, что будет на самом деле. Можно подумать, что мы каждую минуту держим начало в своих руках и должны поэтому составлять план для всех нас. Не нравится нам эта штука со скоростями — так затеем другую. Например, что-нибудь совсем медленное, с колышущимся, как покрывало, таинственным, как моллюск, счастьем и с глубоким коровьим взором, о котором мечтали уже греки. Но дело обстоит вовсе не так. Штука эта держит нас в своих руках. Едешь в ней днем и ночью, да еще делаешь при этом всякую всячину — бреешься, ешь, любишь, читаешь книжки, выполняешь свои профессиональные обязанности, как если бы четыре стены стояли на месте, и страшновато тут только, что стены едут, а ты этого не замечаешь, и выбрасывают вперед свои рельсы, как длинные, изгибающиеся щупальца, а ты не знаешь куда. А кроме того, хочется ведь еще по возможности самому принадлежать к силам, которые направляют поезд времени. Это очень неясная роль, и случается, что, выглянув после долгого перерыва наружу, видишь, что пейзаж изменился: что́ пролетает мимо, то пролетает, ибо иначе не может быть, но при всей твоей покорности все большую власть приобретает чувство, будто ты проскочил мимо цели или попал не на ту линию. И в один прекрасный день возникает неистовая потребность: сойти, спрыгнуть! Ностальгическое желание быть задержанным, не развиваться, застрять, вернуться к точке, лежащей перед *не тем* ответвлением! И в старое доброе время, когда еще существовала на свете Австрийская империя, можно было в этом случае покинуть поезд времени, сесть в обыкновенный поезд обыкновенной железной дороги и вернуться домой.

Там, в Какании, этом уже исчезнувшем, непонятом государстве, которое в столь многих отношениях было, хотя это и не признано, образцовым, тоже существовал темп, но темп не слишком высокий. Стоило на чужбине подумать об этой стране, как перед глазами вставало воспоминание о белых, широких, благополучных дорогах времен пеших походов и на́рочных — дорогах, тянувшихся по ней во всех направлениях, как реки порядка, как полосы светлого солдатского тика, и обнимавших земли бумажно-белой рукой управления. И какие земли! Были там ледники и море, Карст и чешские нивы, ночи на Адриатике в неугомонном звоне цикад и словацкие деревни, где дым выходил из труб, как из вывернутых ноздрей, а деревня лепилась между двумя холмиками, словно земля приоткрыла губы, чтобы согреть между ними свое дитя. Конечно, по этим дорогам катились и автомобили; но не слишком много автомобилей! Готовились к покорению воздуха, здесь тоже — но не слишком интенсивно. Время от времени отправляли судно в Южную Америку или Восточную Азию — но не слишком часто. Не было честолюбия мировой экономики и мирового господства. Находились в середине Европы, где пересекаются старые оси мира; слова́ «колония» и «заморские земли» отдавали чем-то еще совершенно неизведанным и далеким. Знали роскошь — но, боже упаси, не такую сверхутонченную, как французы. Занимались спортом — но не так сумасбродно, как англосаксы. Тратили невероятные суммы на войско — но ровно столько, чтобы прочно оставаться второй по сла-

бости среди великих держав. Главный город тоже был несколько меньше, чем все другие крупнейшие города мира, но все-таки значительно больше, чем просто большие города. И управлялась эта страна просвещенным, малоощутимым, осторожно срезáвшим острые углы способом, управлялась лучшей в Европе бюрократией, которую можно было упрекнуть только за одну ошибку: гениальность и гениальную предприимчивость частных лиц, не привилегированных на то родовитостью или государственным заданием, она воспринимала как нескромность и наглость. Но кому охота, чтобы ему указывали неправомочные! А к тому же в Какании только гения всегда считали болваном, но болвана гением, как то случалось в других местах, никогда не считали.

Вообще сколько поразительных вещей можно рассказать об этой исчезнувшей Какании! Она была, например, кайзерско-королевской и кайзеровской и королевской; одну из этих двух помет, «к. к.» или «к. и к.», носили там каждая вещь и каждое лицо, но все-таки требовалось тайное знание, чтобы безошибочно различать, какие установления и какие люди должны называться «к. к»., а какие «к. и к.». Письменно она именовалась Австро-Венгерской монархией, а в устной речи позволяла называть себя Австрией — именем, стало быть, которое она сняла с себя торжественной государственной присягой, но сохраняла во всех эмоциональных делах в знак того, что эмоции столь же важны, как государственное право, а предписания не выражают истинную серьезность жизни. Она была по своей конституции либеральна, но управлялась клерикально. Она управлялась клерикально, но жила в свободомыслии. Перед законом все граждане были равны, но гражданами-то были не все. Имелся парламент, который так широко пользовался своей свободой, что его обычно держали закрытым; но имелась и статья о чрезвычайном положении, с помощью которой обходились без парламента, и каждый раз, когда все уже радовались абсолютизму, следовало высочайшее указание вернуться к парламентарному правлению. Таких случаев было много в этом государстве, и к ним относились также те национальные распри, что по праву вызывали любопытство Европы и освещаются сегодня совершенно неверно. Они были настолько ожесточенны, что из-за них по многу раз в году стопорилась и останавливалась государственная машина, но в промежутках и паузах отправления государственности царило полное взаимопонимание и делался вид, будто ничего не произошло. Да по-настоящему и не происходило ничего. Просто та неприязнь каждого к стремлениям каждого другого, в которой мы все сегодня едины, в этом государстве сформировалась рано и стала, можно сказать, сублимированным церемониалом, который еще имел бы, пожалуй, большие последствия, если бы его развитие не было до срока прервано катастрофой.

Ибо не только неприязнь к согражданину была возведена там в чувство солидарности, но и недоверие к собственной личности и ее судьбе приняло характер глубокой самоуверенности. В этой стране поступали — доходя при этом порой до высших степеней страсти и ее последствий — всегда иначе, чем думали, или думали иначе, чем поступали. Несведущие наблюдатели принимали это за мягкость или даже за слабость австрийского, по их мнению, характера. Но это было неверно, и всегда неверно объяснять происходящее в какой-либо стране просто характером ее жителей. Ведь у жителя страны по меньшей мере девять характеров — профессиональный, национальный, государственный, классовый, географический, половой, осознанный, неосознанный и еще, может быть, частный; он соединяет их в себе, но они растворяют его, и он есть по сути не что иное, как размытая этим множеством ручейков ложбинка, куда они прокрадываются и откуда текут дальше, чтобы наполнить с другими ручьями другую ямку. Поэтому у каждого жителя земли есть еще и десятый характер, и характер этот — не что иное, как пассивная фантазия незаполненных про-

странств; он разрешает человеку все, кроме одного — принимать всерьез то, что делают его по меньшей мере девять других характеров и что с ними происходит; иными словами, значит, как раз то, что должно было бы заполнить его. Это, нельзя не признать, трудно описуемое пространство окрашено и сформировано в Италии иначе, чем в Англии, поскольку то, что отделено от него, имеет иную окраску и форму, и все же оно там и здесь представляет собой одно и то же — пустое, невидимое пространство, внутри которого действительность походит на покинутый фантазией игрушечный, из кубиков, город.

Насколько такое вообще может стать очевидным, оно стало очевидным в Какании, и в этом Какания, хотя мир не знал о том, была самым передовым государством; это было государство, которое только как-то мирилось с самим собой, в нем ты был негативно свободен, постоянно испытывал чувство недостаточности причин для собственного существования, и великая фантазия неслучившегося или случившегося не раз навсегда омывала тебя, как дыхание океанов, из которых вышло человечество.

«Так уж получилось»,— говорили там, когда другие люди в других местах полагали, что произошло бог знает что; это было самобытное выражение, в атмосфере которого факты и удары судьбы делались легкими, как пушинки и мысли. Да, несмотря на многое, что говорит об обратном, Какания, может быть, все-таки была страной для гениев; и наверно, потому она и погибла.

9

Первая из трех попыток стать выдающимся человеком

Этот вернувшийся домой скиталец не помнил такой поры своей жизни, которая бы не была проникнута желанием стать выдающимся человеком; с этой потребностью Ульрих, казалось, родился. Верно, что такая жажда может свидетельствовать и о тщеславии и о глупости; но не менее верно и то, что это — прекрасное и правильное стремление, без которого на свете было бы, вероятно, не так много выдающихся людей.

Беда состояла лишь в том, что Ульрих не знал, как им становятся и что это такое — выдающийся человек. В школьные годы он считал таковым Наполеона; объяснялось это отчасти естественной для юнца готовностью восхищаться преступлением, отчасти тем, что учителя ясно указывали на этого тирана, пытавшегося поставить Европу на голову, как на величайшего злодея истории. В результате, разделавшись со школой, Ульрих стал прапорщиком в кавалерийском полку. Вероятно, если бы его тогда спросили, почему он выбрал эту профессию, он уже не ответил бы: «чтобы стать тираном»; но такие желания — иезуиты; гений Наполеона начал развиваться лишь после того, как он стал генералом, а как мог Ульрих, будучи прапорщиком, убедить своего полковника в необходимости этого условия?! Уже во время эскадронных занятий нередко обнаруживалось, что полковник был другого мнения, чем он. Тем не менее Ульрих не проклял бы учебного плаца, на мирном поле которого нельзя было отличить самонадеянность от призвания, если бы не был так честолюбив. Пацифистским разговорам насчет «милитаристского воспитания народа» он не придавал тогда ни малейшего значения, а был полон страстной памяти о героике барства, насилия и гонора. Он участвовал в скачках, дрался на дуэлях и различал только три вида людей — офицеров, женщин и штатских; последние представляли собой физически неразвитый, презренный по своим умственным способностям класс, у которого офицеры уводили жен и дочерей. Он предавался великолепному пессимизму; ему казалось, что раз ремесло солдата есть некое острое и раскаленное орудие, то этим орудием надо жечь и резать мир ему же на благо.

Хотя с ним, на его счастье, при этом никакой беды не стряслось, однажды он все-таки сделал одно открытие. В одной компании у него вышло с одним знакомым финансистом маленькое недоразумение, которое он хотел уладить с обычным блеском, но оказалось, что и среди штатских есть мужчины, умеющие постоять за женскую часть своей семьи. Финансист переговорил с военным министром, с которым был знаком лично, и в результате Ульрих имел долгую беседу со своим полковником, в которой ему, Ульриху, была разъяснена разница между эрцгерцогом и простым офицером. С тех пор его больше не радовало ремесло воина. Он ожидал, что взойдет на арену потрясающих мир приключений, и вдруг увидел, как на широкой пустой площади буянит пьяный молодой человек, которому отвечают одни лишь камни. Поняв это, он простился с неблагодарным поприщем, где только что достиг чина поручика, и бросил службу.

10

Вторая попытка. Предпосылки морали человека без свойств

Но Ульрих переменил только коня, перейдя от кавалерии к технике; у нового коня были стальные члены, и бежал он вдесятеро резвее.

В мире Гёте стук ткацких станков был еще помехой, в эпоху Ульриха уже начали открывать музыку машинных залов, заклепочных молотков и фабричных гудков. Не надо, впрочем, думать, будто люди вскоре заметили, что небоскреб выше, чем человек на коне; напротив, еще и сегодня, желая изобразить из себя что-то особенное, они садятся не на небоскреб, а на высокого коня, они быстры как ветер и зорки не как гигантский рефрактор, а как орел. Их чувство еще не научилось пользоваться услугами их разума, и разница в развитии между этими двумя почти так же велика, как между слепой кишкой и корой головного мозга. Значит, это не такое уж малое счастье, если ты догадываешься, как то довелось Ульриху уже на исходе отрочества, что поведение человека во всех высших, на его взгляд вопросах гораздо старомоднее, чем его машины.

Ульриха зализорадило, едва он вошел в учебные залы механики. Зачем нужен еще Аполлон Бельведерский, если у тебя перед глазами новые формы турбогенератора или игра суставов распределительного устройства паровой машины! Кому интересны тысячелетние словопрения о том, что хорошо и что плохо, если оказывается, что это никакие не «константы», а «функциональные значения» и добротность сделанного зависит от исторических обстоятельств, а добротность людей — от психотехнической сноровки в использовании их свойств! Мир просто смешон, если смотреть на него с технической точки зрения — непрактичен во всех человеческих взаимоотношениях, в высшей степени неэкономен и неточен в своих методах; и кто привык улаживать свои дела счетной линейкой, тот просто не может принимать всерьез добрую половину всех людских утверждений. Счетная линейка — это две неслыханно остроумно сплетенные системы чисел и делений; счетная линейка — это две белые, лакированные, скользящие одна в другой планочки трапециевидного сечения, с помощью которых можно мгновенно решать сложнейшие задачи, не тратя без пользы ни одной мысли; счетная линейка — это маленький символ, который носишь в нагрудном кармане и чувствуешь над сердцем твердым белым штрихом акцентного знака; если у тебя есть счетная линейка, а кто-то приходит с громкими словами или с великими чувствами, ты говоришь: минуточку, вычислим сначала пределы погрешности и вероятную стоимость всего этого!

Это была несомненно мощная концепция инженерного дела. Она составляла рамку привлекательного будущего автопортрета, изображающего мужчину с решительными чертами, с набитой шеком трубкой в зубах, в кепи и превосходных сапогах для верховой езды, который находится в пути между Капштадтом и Канадой, чтобы для своей фирмы претворять в действительность внушительные проекты. При этом всегда можно выкроить время и при нужде добыть у своего технического мышления какой-нибудь совет насчет устройства мира и управления им или какое-нибудь изречение вроде эмерсоновского, которое не мешало бы вывесить над каждой мастерской: «Люди живут на земле как предвестники будущего, и все их дела — это попытки и поиски, ибо любое дело может быть превзойдено следующим!..» По правде говоря, эта фраза принадлежала самому Ульриху и была составлена из нескольких эмерсоновских фраз.

Трудно сказать, почему инженеры не совсем таковы, как то соответствовало бы этому афоризму. Почему они, например, так часто носят часы на цепочке, которая тянется из жилетного кармана к одной из верхних пуговиц кривобокой крутой дугой, или же эта цепочка образует у них на животе один подъем и два спуска, словно она находится в стихотворении? Почему им нравится втыкать в свои галстуки булавки с оленьими зубами или подковками? Почему их костюмы сконструированы так же, как первые образцы автомобиля? Почему, наконец, они редко говорят о чем-либо другом, кроме своей профессии; а если и говорят, то почему делают это в какой-то особой, натянутой, расплывчатой, формальной манере, которая проникает внутрь не глубже, чем до надгортанника? Конечно, это относится далеко не ко всем, но ко многим относится, и те, с кем Ульрих познакомился, когда в первый раз поступил на службу в фабричную администрацию, были таковы, и те, с кем он познакомился при втором поступлении, тоже были таковы. Они производили впечатление людей, крепко связанных со своими чертежными досками, любящих свое дело и обладающих замечательными способностями к нему; но предложение применить смелость их мыслей не к их машинам, а к ним самим они восприняли бы так же, как требование воспользоваться молотком с противоестественной целью убийства.

Поэтому так быстро кончилась и вторая, более зрелая попытка, которую Ульрих предпринял, чтобы стать необыкновенным человеком на стезе техники.

11

Самая важная попытка

По поводу всего предшествовавшего Ульрих сегодня только покачал бы головой, как если бы ему стали рассказывать о переселении его души; но не по поводу третьей своей попытки. Нетрудно понять, что инженер с головой уходит в свою профессию, вместо того чтобы выйти на вольный простор мира идей, хотя его машины и поставляются на самый край света; ибо ему так же не нужна способность переносить смелость и новизну души своей техники на свою личную душу, как не в силах машина применить к себе самой лежащее в ее основе исчисление бесконечно малых. Относительно же математики сказать этого нельзя; здесь перед нами сама новая логика, сам дух в чистом виде, здесь источники времени и начало необозримых трансформаций.

Если это и есть осуществление извечных мечтаний — летать по воздуху и плавать с рыбами, пробиваться сквозь толщи исполинских гор, посылать вести с божественными скоростями, видеть и слышать невидимое и далекое, слышать, как говорят мертвые, погружаться в

чудодейственный целебный сон, видеть живыми глазами, как будешь выглядеть через двадцать лет после смерти, знать среди мерцающей ночи о тысяче находящихся над и под этим миром вещей, прежде неведомых, если свет, тепло, сила, наслаждение, комфорт — извечные мечты человечества, то сегодняшние изыскания — это не только наука, а волшебство, а торжественный обряд, предполагающий величайшую силу сердца и мозга, перед которой бог открывает одну складку своего плаща за другой, религия, догмы которой пронизывает и поддерживает суровая, мужественная, гибкая, холодная и острая, как нож, логика математики.

Правда, нельзя отрицать, что, по мнению нематематиков, все эти извечные мечты осуществились вдруг совершенно иначе, чем то представлялось первоначально. Почтовый рожок Мюнхгаузена был прекраснее, чем законсервированный фабричным способом голос, семимильные сапоги — прекрасней автомобиля, царство Лаурина — прекраснее, чем железнодорожный туннель, волшебный корень — прекраснее фототелеграммы, вкусить от сердца собственной матери и понимать птиц — прекраснее, чем зоопсихологическое исследование об экспрессивных модуляциях птичьего голоса. Обретена реальность и утрачена мечта. Уже люди не лежат под деревом, разглядывая небо в просвет между большим и вторым пальцем ноги, а творят; и нельзя быть голодным и рассеянным, если хочешь чего-то добиться, а надо съесть бифштекс и пошевеливаться. Дело обстоит в точности так, словно старое бездеятельное человечество уснуло на муравейнике, а новое проснулось с зудом в руках и с тех пор вынуждено двигаться изо всех сил без возможности стряхнуть с себя это противное чувство животного прилежания. Незачем в самом деле много об этом говорить, большинству людей сегодня и так ясно, что математика, как демон, вошла во все области нашей жизни. Может быть, не все эти люди верят в историю о черте, которому можно продать свою душу; но все люди, которые, наверно, что-то понимают в душе, коль скоро они, будучи священниками, историками и художниками, извлекают из этого неплохие доходы, свидетельствуют, что она разрушена математикой и что математика есть источник некоего злого разума, хотя и превращающего человека во властелина земли, но делающего его рабом машины. Внутренняя пустота, чудовищная смесь проницательности в частностях и равнодушия в целом, невероятное одиночество человека в пустыне мелочей, его беспокойство, злость, беспримерная бессердечность, корыстолюбие, холод и жестокость, характерные для нашего времени, представляют собой, по этим свидетельствам, лишь следствие потерь, наносимых душе логически острым мышлением! Так вот и тогда уже, когда Ульрих стал математиком, были люди, предсказывавшие гибель европейской культуры из-за того, что в человеке нет больше веры, любви, простоты, доброты, и примечательно, что все они в свои юные и школьные годы были скверными математиками. Это позднее служило им доказательством того, что математика, мать точного естествознания, бабушка техники, является и праматерью того духа, из которого в конце концов возникли ядовитые газы и военные летчики.

В неведении относительно этих опасностей жили, собственно, лишь сами математики и их ученики, естествоиспытатели, ощущавшие все это душой столь же мало, как гонщики-велосипедисты, усердно нажимающие на педали и ничего на свете не замечающие, кроме заднего колеса того, кто сейчас перед ними. Об Ульрихе же, напротив, можно было с уверенностью сказать, что он любил математику из-за людей, которые ее терпеть не могли. Он был не столько научно, сколько по-человечески влюблен в эту науку. Он видел, что по всем вопросам, в каких она считает себя компетентной, она думает иначе, чем обыкновенные люди. Если бы можно было заменить научные взгляды мировоззрением, гипотезу экспериментом, а истину дей-

ствием, то труд жизни любого крупного естествоиспытателя или математика превосходил бы по мужеству и разрушительной силе величайшие деяния истории. Не появился еще на свете человек, который мог бы сказать верящим в него: крадите, убивайте, распутничайте — наше учение настолько сильно, что оно превратит навозную жижу ваших грехов в белопенный горный ручей; а в науке каждые несколько лет бывает так, что что-то, считавшееся дотоле ошибкой, внезапно переворачивает все прежние представления или что какая-нибудь невзрачная и презренная мысль становится владычицей нового царства идей, и такие случаи там — это не просто перевороты, нет, они, как лестница Иакова, ведут в вышину. В науке все происходит так же ярко, так же беспечно и великолепно, как в сказке. И Ульрих чувствовал: люди просто не знают этого; они понятия не имеют, как можно уже думать; если бы можно было научить их думать по-новому, они бы и жили иначе.

Возникает, правда, вопрос: так ли уж все неправильно в мире, что его нужно то и дело переворачивать? Но на это мир давно сам дал два ответа. Ведь с тех пор как он существует, большинство людей были в юности за то, чтобы его перевернуть. Они находили смешным, что старшие привязаны к существующему и думают сердцем, куском мяса, вместо того чтобы думать мозгом. Эти молодые всегда замечали, что моральная тупость старших есть в такой же мере неспособность к новым связям, как обыкновенная интеллектуальная тупость, и естественной для них самих моралью была мораль продуктивности, героизма и перемен. Однако, придя в возраст свершений, они больше уже не вспоминали об этом, да и вспоминать не желали. Вот почему многие, для кого математика или естествознание означает профессию, сочтут это наглостью, если кто-нибудь займется наукой по таким причинам, как Ульрих.

И все же на этом третьем поприще он, по мнению специалистов, сделал совсем не так мало, с тех пор как несколько лет назад вступил на него.

12

Дама, чьей любви Ульрих добился после одного разговора о спорте и мистике

Оказалось, что и Бонадея стремится к великим идеям.

Бонадея была та дама, что спасла Ульриха в ночь его неудачного бокса и навестила на следующее утро под низко опущенной вуалью. Он окрестил ее Бонадеей, благой богиней, потому что таковой вошла она в его жизнь, и еще в честь богини непорочности, обладавшей в Древнем Риме храмом, который путем странного переосмысления стал средоточием всяческого разврата. Она этого не знала. Звучное имя, данное ей Ульрихом, нравилось ей, и она носила его во время своих визитов, как роскошно вышитый пеньюар.

— Я, значит, твоя благая богиня? — спрашивала она.— Твоя Bona dea? — И верное произношение двух этих слов требовало, чтобы она при этом обвивала руками его шею и прочувствованно глядела на него со слегка запрокинутой головой.

Она была супругой уважаемого человека и нежной матерью двух красивых мальчиков. Любимое ее понятие было «глубоко порядочный»; она применяла его к людям, слугам, делам и чувствам, если хотела сказать о них что-нибудь хорошее. Она способна была произносить слова «истинное, доброе и прекрасное» так же часто и естественно, как другой говорит «четверг». Полнее всего удовлетворяло ее потребность в идеях представление о тихом, идеальном житье-бытье в кругу, который образуют супруг и дети, в то время как где-то далеко внизу маячит темное царство по имени «не введи меня во искушение», пригашивая своим мраком сияющее счастье и заставляя

его светиться мягко, как лампа. У нее был лишь один недостаток — от одного только вида мужчин она возбуждалась в совершенно необычайной мере. Она вовсе не была сладострастна; она была чувственна, как другие люди страдают чем-нибудь другим, например, потливостью рук или тем, что легко меняют свои убеждения, это было как бы врожденной ее чертой, и она не могла ничего с ней поделать. Познакомившись с Ульрихом при таких романтических, чрезвычайно волнующих воображение обстоятельствах, она с первой же минуты была обречена стать жертвой страсти, которая началась как сочувствие, перешла после короткой, но жестокой борьбы в запретные потаенности и продолжалась как чередование укусов греха и укусов раскаяния.

Но Ульрих был в ее жизни бог весть которым по счету случаем. С такими страдающими любовным бешенством женщинами мужчины, разобравшись, что к чему, обращаются чаще всего немногим лучше, чем с идиотами, которых можно глупейшими средствами заставлять спотыкаться снова и снова на том же месте. Ведь самозабвенно-нежные чувства мужчины очень напоминают рычание ягуара над куском мяса, и упаси боже тут помешать. Вследствие этого Бонадея часто вела двойную жизнь, словно какой-нибудь вполне почтенный в повседневном быту гражданин, который в темных закоулках своего сознания ведет жизнь железнодорожного вора, и когда ее никто не держал в объятьях, эту тихую, статную женщину угнетало презрение к себе, вызванное ложью и бесчестьем, на которые она шла, чтобы ее держали в объятьях. Когда ее чувственность была возбуждена, Бонадея была грустна и добра, более того, в этой своей смеси восторга и слез, грубой естественности и неизбежного раскаянья, во вспышках ее мании перед уже грозящей депрессией она приобретала особую прелесть, волнующую, как непрерывная дробь приглушенного барабана. Но в интервале между приступами, в раскаянье между двумя состояниями слабости, заставлявшем ее чувствовать свою беспомощность, она была полна достопочтенных претензий, делавших обхождение с ней непростым. Надо было быть искренним и добрым, сочувствовать всякой беде, любить императорский дом, почитать все почитаемое и вести себя в нравственном отношении так же деликатно, как у постели больного.

Если так не получалось, это тоже ничего не меняло в ходе вещей. В оправдание себе она придумала сказку, что в свое прискорбное состояние была приведена супругом в невинные первые годы их брака. Этот супруг, который был гораздо старше и физически крупней, чем она, представал тут каким-то беспардонным чудовищем, и в первые же часы своей новой любви она рассказала об этом и Ульриху с печальной многозначительностью. Лишь поздней он узнал, что человек этот был известным и авторитетным юристом, очень способным в своем деле, к тому же безобидным убийцей, любителем охоты и желанным гостем всяких застолий, где собирались охотники и законники и где говорили о мужских проблемах, а не об искусстве и о любви. Единственная оплошность этого простоватого, добродушного и жизнерадостного человека состояла в том, что он был женат на своей супруге и потому чаще, чем другие мужчины, находился с ней в тех отношениях, которые на судейском языке называют случайной связью. Под психологическим воздействием многолетней покорности человеку, чьей женой она стала больше по расчету, чем по влечению сердца, у Бонадеи сложилась иллюзия своей физической сверхвозбудимости, и эта фантазия сделалась почти независимой от ее сознания. Непонятная ей самой внутренняя необходимость приковывала ее к этому баловню обстоятельств; она презирала его за слабость собственной воли и чувствовала себя слабой, чтобы иметь возможность его презирать; она обманывала его, чтобы убежать от него, но при этом в самые неподходящие моменты говорила о нем или о

детях, которые были у нее от него, и никогда не была в состоянии освободиться от него целиком. Как многие несчастные женщины, опору на довольно зыбкой почве она обрела в неприязни к своему прочно наличествующему супругу и конфликт с ним переносила на каждое новое приключение, которое должно было освободить ее от него.

Чтобы утихомирить ее жалобы, не оставалось ничего другого, как поскорее перевести ее из состояния депрессии в состояние мании. Тогда она отказывала тому, кто так поступал и злоупотреблял ее слабостью, в каком бы то ни было благородстве помыслов, но ее страдание обволакивало ей глаза пеленой влажной нежности, когда она, как она это с научной объективностью выражала, «склонялась» к этому человеку.

13

Гениальная скаковая лошадь способствует созреванию убеждения, что ты — человек без свойств

Это весьма важно, что Ульрих был вправе сказать себе, что в своей науке он сделал немало. Его работы принесли ему и правда признание. Требовать восторгов было бы чересчур, ибо даже в царстве истины восторг испытывают только перед пожилыми учеными, от которых зависит, получишь ли ты доцентуру или профессуру. Если говорить точно, он остался тем, кого называют надеждой, а надеждами в республике умов называют республиканцев; это те люди, которые воображают, что всю свою силу можно посвятить делу, вместо того чтобы расходовать изрядную ее часть на внешнее продвижение; они забывают, что продуктивность одиночки невелика, а продвижение — это всеобщее желание, и пренебрегают социальным долгом карьеризма, обязывающим начинать как карьерист, чтобы в годы успеха стать подпоркой и ступенькой, с помощью которой выбьется в люди кто-то другой.

И вот однажды Ульрих перестал хотеть быть надеждой. Тогда уже наступило время, когда начали говорить о гениях футбольного поля или площадки для бокса, но на минимум десять гениальных изобретателей, теноров или писателей в газетных отчетах приходилось еще никак не больше, чем один гениальный полузащитник или великий тактик теннисного спорта. Новый дух чувствовал себя еще не совсем уверенно. Но как раз тогда Ульрих вдруг где-то вычитал — и как бы до поры повеяло зрелостью лета — выражение «гениальная скаковая лошадь». Оно встретилось в репортаже об одном сенсационном успехе на ипподроме, и автор, может быть, совершенно не сознавал всего величия мысли, подброшенной духом единства с обществом его перу. Ульрих же вдруг понял, в какой неизбежной связи находится вся его карьера с этим гением скаковых лошадей. Ведь лошадь была искони священным животным кавалерии, и в своей казарменной юности Ульрих только и слышал о лошадях да о женщинах, и от этого-то он и удрал, чтобы стать выдающимся человеком, и вот, когда он после разнообразных усилий мог бы уж, пожалуй, почувствовать близость вершины своих устремлений, его оттуда приветствовала опередившая его лошадь.

Это, конечно, оправдано исторически, ибо совсем не так давно достойный восхищения дух мужественности представляли себе существом, чья смелость была нравственной смелостью, чья сила — силой убежденности, чья твердость — твердостью сердца и добродетели, существом, которое быстроту считало мальчишеством, уловки — чем-то недозволенным, юркость и резвость — чем-то не вяжущимся с достоинством. Под конец, правда, это существо встречалось уже не в живом виде, а лишь на педагогических советах гимназий и во вся-

кого рода письменных высказываниях; оно превратилось в идеологический призрак, и жизнь должна была поискать себе новый образ мужественности. Поискав его, она, однако, сделала открытие, что уловки и хитрости, применяемые находчивым умом при логическом расчете, на самом деле не очень отличаются от бойцовских уловок жестоко натренированного тела и что существует всеобщая бойцовская душевная сила, которую трудное и невероятное делает холодной и умной независимо от того, привыкла ли она угадывать открытую для атаки сторону задачи или физического противника. Если подвергнуть психотехническому анализу гиганта мысли и чемпиона страны по боксу, то, вероятно, и правда их хитрость, их смелость, их точность, их комбинаторика, а также быстрота их реакций в области для них важной окажутся одинаковыми, и возможно даже, что в доблестях и способностях, определяющих их особый успех, они не будут отличаться от какого-нибудь знаменитого скакуна, ибо нельзя не учитывать того, сколько замечательных свойств пускается в ход, когда надо взять барьер. А к тому же у лошади и у чемпиона по боксу есть перед гигантом мысли то преимущество, что их достижения и значение можно безупречно измерить и лучших из них действительно признают лучшими, и, стало быть, спорт и объективность по праву вытесняют устаревшие представления о гении и человеческом величии.

Что касается Ульриха, то нужно даже сказать, что в этом вопросе он был на несколько лет впереди своего времени. Ведь наукой он занимался как раз по этому принципу улучшения рекорда на одну победу, на один сантиметр или на один килограмм. Его ум должен был доказать свою остроту и силу и выполнял работу силачей. Это наслаждение мощью ума было ожиданием, воинственной игрой, каким-то неопределенным, но властным притязанием на будущее. Ему было неясно, что́ он совершит с этой мощью; с ней можно было сделаться все и ничего не сделать, стать спасителем мира или преступником. Да такова, наверно, и вообще психологическая ситуация, благодаря которой снова и снова пополняется мир машин и открытий. Ульрих смотрел на науку как на подготовку, закалку и вид тренировки. Если выходило, что такое мышление слишком сухо, остро и узко, что оно не дает перспективы, то с этим приходилось так же мириться, как с отпечатком лишений и напряжения, который накладывают на лицо большие физические и волевые усилия. Ульрих годами любил духовную несытость. Он ненавидел людей, неспособных, говоря словами Ницше, «терпеть ради истины душевный голод»; тех, идущих на попятный, малодушных, изнеженных, которые тешат свою душу болтовней о душе и пичкают ее, поскольку разум якобы дает ей камни вместо хлеба, религиозными, философскими и выдуманными чувствами, похожими на размоченные в молоке булочки. Он держался мнения, что в этом столетии все человеческое пребывает на марше, что гордость требует противопоставить всем бесполезным вопросам девиз «еще нет» и жить по временным принципам, но в сознании цели, которой достигнут потомки. Правда состоит в том, что наука выработала понятие суровой, трезвой силы, делающее просто невыносимыми старые метафизические и моральные представления рода человеческого, хотя заменить их оно может только надеждой, что настанет далекий день, когда раса интеллектуальных завоевателей спустится в долы душевной плодовитости.

Но это удается лишь до тех пор, пока ты не вынужден оторвать взгляд от пророческой дали и направить его на теперешне близкое, прочитав, что некая скаковая лошадь стала тем временем гениальной. На следующее утро Ульрих встал с левой ноги и нерешительно зашарил правой в поисках домашней туфли. Это произошло не в том городе и не на той улице, где он жил сейчас, но всего несколько недель назад. По бурому асфальту под его окном уже сновали авто-

мобили; чистота утреннего воздуха стала наполняться кислецой дня, и ему показалось невыразимо нелепым наклонять сейчас, в пробивавшемся сквозь занавески молочном свете, свое голое тело вперед и назад, поднимать его с пола и опускать на пол брюшными мышцами и наконец колотить кулаками по груше для бокса, как то делает в этот же час столько людей перед уходом на службу. Час в день — это одна двенадцатая сознательной жизни, и его достаточно, чтобы держать тренированное тело в состоянии пантеры, готовой к любому приключению; но он тратится на бессмысленное ожидание, ибо никогда не случаются приключения, достойные такой подготовки. Совершенно так же обстоит дело с любовью, к которой человек готовится с невероятным размахом, и наконец Ульрих понял, что и в науке он походил на путника, одолевавшего без цели перед глазами один горный хребет за другим. Он обладал какими-то дольками нового способа думать и чувствовать, но столь сильная поначалу картина нового распадалась на все более многочисленные частности, и если раньше он верил, что пьет из источника жизни, то теперь он выпил почти все свои ожидания. Тут он и прекратил на середине большую и многообещающую работу. Его коллеги показались ему не то прокурорами и главными жандармами логики, не то курильщиками опиума и пожирателями какого-то странно бесцветного снадобья, от которого мир наполнялся для них видениями чисел и беспредметными связями. «Бог ты мой,—подумал он,— ведь я же не собирался быть математиком всю свою жизнь?!»

Но что, собственно, он собирался делать? В этот момент он мог бы обратиться разве что к философии. Но в том состоянии, в каком она тогда находилась, философия напоминала ему ту историю с Дидоной, где разрезается на ремни бычья шкура, только оставалось очень сомнительно, что ими действительно охватишь царство; а что прибавлялось нового, было похоже на то, чем он сам занимался, и никак не соблазняло его. Он мог только сказать, что чувствовал себя более далеким, чем в юности, от того, чем, собственно, хотел стать, если это вообще не осталось совершенно неизвестным ему. С удивительной ясностью видел он в себе все, кроме умения зарабатывать деньги, в котором он не нуждался, поощряемые его временем способности и свойства, но возможность их применения он потерял; и если уж футболисты и лошади обладают гением, то, значит, пустить его в ход — это в конце концов единственное, что остается, чтобы спасти свою самобытность, а потому он решил взять на год отпуск от своей жизни и поискать подходящего применения своим способностям.

14

Друзья юности

После возвращения Ульрих успел уже несколько раз побывать у своих друзей Вальтера и Клариссы, ибо они, несмотря на летнее время, никуда не уехали, а он много лет их не видел. Всякий раз, когда он являлся, они играли на рояле. Они находили само собой разумеющимся не замечать его в такую минуту, пока не закончат пьесу. На сей раз это была ликующая бетховенская песнь радости; миллионы, как то описывает Ницше, благоговейно падали в прах, ломались барьеры вражды, разделенных мирило, соединяло евангелие мировой гармонии; разучившись ходить и говорить, друзья готовы были, танцуя, взмыть в воздух. Лица их были в пятнах, тела изогнуты, головы рывками поднимались и опускались, растопыренные кисти рук месили неподатливое вещество звуков. Происходило нечто неизмеримое; набухал неясно очерченный, готовый вот-вот лопнуть пузырь, и излучения взволнованных кончиков пальцев, нервных складок на

лбу, судорог тела наполняли все новым чувством — чудовищный персональный мятеж. Сколько раз, интересно, такое уже повторялось?

Ульрих не выносил этого всегда открытого рояля с оскаленными зубами, этого широкомордого, коротконогого — помесь таксы с бульдогом — идола, подчинившего себе жизнь его друзей вплоть до картинок на стене и худосочных эскизов фабричной художественной мебели; сюда входил даже тот факт, что прислуги у них не было, а была только приходящая служанка, которая стряпала и убирала. За окнами этого обиталища поднимались к волнистым лесам виноградники с купами старых деревьев и кривыми домишками, но вблизи все было неряшливо, голо, разрозненно и вытравлено, как бывает там, где окраины больших городов врезаются в сельскую местность. Арку моста между таким передним планом и прелестной далью перекидывал инструмент; блестяще-черный, он выбрасывал за стены огненные столбы нежности и героики, хотя они, истертые в мельчайший звуковой пепел, рушились уже в сотне-другой шагов, не достигнув даже холма с соснами, где стоял трактир у дороги на полпути к лесу. Комнаты, однако, рояль мог заставить греметь и был одним из тех мегафонов, через которые душа кричит во вселенную, как томимая течкой олениха, которой нет другого ответа, кроме такого же соревновательного зова тысячи других, одиноко трубящих на всю вселенную душ. Сильная позиция Ульриха в этом доме основывалась на том, что он объявил музыку немощью воли и расстройством ума и говорил о ней пренебрежительнее, чем думал на самом деле; ибо для Вальтера и Клариссы она была в то время высочайшей надеждой и высочайшим страхом. Ульриха они отчасти презирали за это, отчасти почитали как какого-то злого духа.

Когда на сей раз игра закончилась, Вальтер, размягченный, выдохшийся, растерянный, остался на своем полуповернутом табурете сидеть у рояля, Кларисса же встала и оживленно приветствовала вторгшегося гостя. В ее руках и в ее лице еще дрожал электрический заряд игры, улыбка ее пробивалась сквозь напряжение восторга и отвращения.

— Лягушачий король! — сказала она, и голова ее, качнувшись назад, указала не то на музыку, не то на Вальтера. Ульрих почувствовал, как снова напряглась упругая сила союза между ним и ею. В прошлый его приход она рассказала ему об ужасном сне: какое-то скользкое существо хотело овладеть ею спящей, оно было пузато-мягким, ласковым и омерзительным, и означала эта большая лягушка музыку Вальтера. У обоих друзей было не так-то много секретов от Ульриха. Поздоровавшись с ним, Кларисса уже опять от него отвернулась, быстро возвратилась к Вальтеру, снова выкрикнула свой боевой клич «лягушачий король», которого Вальтер, казалось, не понял, и еще вздрагивавшими от музыки руками больно и с болью исступления рванула его за волосы. Ее супруг сделал мило-смущенное лицо и на шаг приблизился, возвращаясь из скользкой пустоты музыки.

Потом Кларисса и Ульрих пошли без него погулять под косым стреловидным дождем вечернего солнца — он остался у рояля.

Кларисса сказала:

— Способность запретить себе что-либо вредное — это проверка жизненной силы! Изнуренного влечет вредное!.. Что ты думаешь по этому поводу? Ницше утверждает, что это признак слабости, если художник слишком занят моральной стороной своего искусства.

Она села на землю, на бугорок.

Ульрих пожал плечами. Когда три года назад Кларисса вышла замуж за его друга юности, ей было двадцать два года, и он сам подарил ей на свадьбу сочинения Ницше.

— Будь я Вальтером, я вызвал бы Ницше на дуэль,— ответил он с улыбкой.

Стройная, нежно вырисовывавшаяся под платьем спина Клариссы напряглась, как тетива, и лицо ее тоже было полно напряжения; она боялась повернуть его к Ульриху.

— В тебе все еще есть что-то девчоночье и в то же время героическое...— прибавил Ульрих; это было сказано не то вопросительно, не то без вопроса, немного в шутку, но и с долей нежного изумления — Кларисса не совсем поняла, что́ он имел в виду, но оба его слова, которые он уже однажды употребил, вонзились в нее, как горящая стрела в соломенную крышу.

Время от времени до них доносилась волна наугад взбаламученных звуков. Ульрих знал, что она неделями отказывала в близости Вальтеру, если он играл Вагнера. Тем не менее он играл Вагнера; с нечистой совестью; словно это был мальчишеский порок.

Клариссе хотелось спросить Ульриха, что́ ему об этом известно; Вальтер не умел ничего держать про себя; но ей было стыдно спрашивать. Теперь и Ульрих присел на бугорок поблизости от нее, и наконец она сказала нечто совсем другое.

— Ты не любишь Вальтера,— сказала она.— Ты на самом деле ему не друг.

Это прозвучало вызывающе, но она засмеялась.

Ульрих дал неожиданный ответ:

— Мы — друзья юности, вот в чем штука. Ты была еще ребенком, Кларисса, когда мы уже находились в особых отношениях кончающейся юношеской дружбы. Несметное число лет назад мы восхищались друг другом, а теперь мы не доверяем друг другу, зная друг друга насквозь. Каждому хочется избавиться от неприятного впечатления, что когда-то он путал другого с самим собой, и потому мы служим друг другу неподкупным кривым зеркалом.

— Ты, значит, не веришь,— сказала Кларисса,— что он еще чего-то достигнет?

— Нет второго такого примера неизбежности, как тот, что являет собой способный молодой человек, когда он суживается в обыкновенного старого человека — не от какого-то удара судьбы, а только от усыхания, заранее ему предназначенного!

Кларисса плотно сомкнула губы. Старый, времен юности, уговор между ними, что убеждения важнее вежливости, всколыхнул ей сердце, но было больно. Музыка! Звуки все время добирались сюда. Она прислушалась. Теперь, в молчанье, отчетливо доносилось клокотанье рояля. Если не прислушиваться, то оно словно бы вздымалось из бугров, как «трепещущее пламя» вокруг Брунхильды.

Трудно было сказать, что представлял собою Вальтер в действительности. Он и поныне — это несомненно — был приятный человек с выразительными, полными значения глазами, хотя ему шел уже тридцать пятый год и он служил в каком-то причастном к искусству учреждении. Устроил Вальтеру эту удобную службу отец, пригрозив, что лишит его денежного подспорья, если он откажется от нее. Ведь, собственно, Вальтер был художником; одновременно с изучением истории искусства в университете он работал в классе живописи государственной академии и позднее некоторое время жил в мастерской. И когда он с Клариссой, вскоре после женитьбы на ней, перебрался в этот дом на отшибе, он тоже был художником; но теперь, казалось, он снова был музыкантом; в течение десяти лет своей любви он бывал то тем, то другим, а вдобавок еще и поэтом, издавал литературный журнал и пошел было даже, чтобы жениться, служить в агентство по распространению пьес, но через несколько недель отказался от этой затеи, стал вскоре, чтобы жениться, театральным дирижером, разглядел через полгода, что и это невозможно, был учителем рисования, музыкальным критиком, отшельником и многим другим, пока не лопнуло терпение его отца и его будущего тестя, несмотря на все их великодушие. Пожилые люди вроде них обычно

утверждали, что у него просто нет воли; но с тем же правом можно было утверждать, что он всю свою жизнь был только разносторонним дилетантом, и в том-то и состояло самое удивительное, что всегда находились специалисты в области музыки, живописи или литературы, которые прочили Вальтеру великое будущее. В жизни Ульриха, наоборот, хотя ему и удалось сделать кое-что бесспорно ценное, никогда не бывало такого случая, чтобы кто-то пришел к нему и сказал: «Вы тот человек, которого я всегда искал и которого ждут мои друзья!» В жизни Вальтера такое случалось каждые три месяца. И даже если это бывали не самые авторитетные судьи, то всегда все они были людьми, имевшими какое-то влияние, способными сделать заманчивое предложение, возглавлявшими какое-нибудь новое предприятие, располагавшими должностями, знакомствами и протекцией, которые они отдавали в распоряжение открытому ими Вальтеру, чья жизнь именно поэтому могла идти таким размашистым зигзагом. Было в нем, Вальтере, что-то казавшееся более важным, чем определенное свершение. Может быть, это был особый талант слыть большим талантом. И если это дилетантизм, то духовная жизнь немецкой нации в большой мере основана на дилетантизме, ибо этот талант встречается на всех уровнях вплоть до людей действительно очень талантливых — и только им его, по всей видимости, обычно недостает.

И даже талантом понимать это Вальтер обладал. Хотя он, конечно, как всякий, готов был считать свои успехи личной заслугой, все же счастливая легкость, с какою он поднимался от одной случайной удачи к другой, всегда тревожила его как пугающая легковесность, и каждая перемена его деятельности и человеческих связей происходила не только от непостоянства, но и от больших внутренних терзаний и в страхе, что он должен ради чистоты внутренних побуждений продолжить странствие, пока не успел закрепиться там, где уже намечается обманчивое пристанище. Его жизненный путь был цепью бурных переживаний, рождавших героическую борьбу души, которая, противясь всякой половинчатости, не подозревала, что служит тем самым своей собственной. Ибо в то время как он страдал и боролся за нравственность своей духовной деятельности, как то подобает гению, и целиком отдавал себя своему таланту, которого не хватало на что-то большое, его судьба кругами и потихоньку привела его назад к нулю. Он наконец достиг места, где ему уже ничто не мешало; тихая, незаметная, защищенная от всякой нечистоплотности художественного рынка служба в полученной должности давала ему предостаточно независимости и времени, чтобы сосредоточенно прислушиваться к своему внутреннему зову, обладание любимой снимало шипы, коловшие его сердце, дом «на краю одиночества», куда он перебрался с нею после женитьбы, был словно создан для творчества. Но когда не осталось ничего, что нужно было преодолевать, случилось неожиданное: произведений, которых так долго сулило величие его помыслов, не последовало. Вальтер, казалось, не мог больше работать; он прятал и уничтожал; он каждое утро или пополудни, вернувшись домой, запирался на несколько часов, совершал многочасовые прогулки с закрытым альбомом для зарисовок, но то немногое, что из этого возникало, он никому не показывал или уничтожал. На это у него были сотни разных причин. Но и в целом взгляды его в это время начали поразительно меняться. Он уже не говорил больше о «современном искусстве» и об «искусстве будущего» — понятия эти были связаны с ним у Клариссы с пятнадцатилетнего возраста,— а подводил где-то черту, в музыке, например, после Баха, в литературе после Штифтера, в живописи после Энгра, и объявлял все позднейшее вычурным, упадочническим, утрированным и вырождающимся; мало того, он с каждым разом все запальчивей утверждал, что в такое отравленное в своих духовных корнях время,

как нынешнее, чистый талант должен вообще воздерживаться от творчества. Но разоблачительно было то, что, хотя из его уст можно было услышать столь строгое суждение, из его комнаты, как только он запирался, все чаще доносились звуки Вагнера, то есть музыки, которую он в прежние годы учил Клариссу презирать как типичное порождение мещански вычурного, упадочнического времени, но перед которой теперь сам не мог устоять, как перед крепким, горячим, пьянящим зельем.

Кларисса сопротивлялась этому. Она ненавидела Вагнера, хотя бы уже из-за его бархатной куртки и берета. Она была дочерью художника, чьи эскизы декораций и костюмов имели широкую славу. Детство ее прошло в царстве, дышавшем воздухом кулис и запахом краски, среди трех разных жаргонов искусства — театрального, оперного и мастерской художника, в окружении бархата, ковров, гениев, леопардовых шкур, безделушек, павлиньих опахал, ларей и лютней. Поэтому она терпеть не могла всякого сладострастия в искусстве и испытывала тягу ко всему аскетически строгому, будь то метагеометрия новой атональной музыки или освежеванная, ясная, как анатомический препарат мышц, воля классических форм. Первую весть об этом принес в ее девичью неволю Вальтер. «Принц света»— назвала она его, и когда она была еще ребенком, они с Вальтером клятвенно обещали друг другу, что не поженятся, пока он не станет королем. История его перемен и предприятий была заодно историей безмерных страданий и восторгов, где роль награды за борьбу выпала ей. Кларисса не была так талантлива, как Вальтер,— это она всегда чувствовала. Но она считала гениальность вопросом воли. С дикой энергией принялась она заниматься музыкой; не исключено, что она вообще не была музыкальна, но она обладала десятью сильными пальцами для игры на рояле и решительностью; она упражнялась целыми днями и погоняла свои пальцы, как десять тощих волов, которые должны вытащить из земли какую-то застрявшую в ней невероятную тяжесть. Таким же манером она занималась и живописью. С пятнадцатилетнего своего возраста она считала Вальтера гением, потому что всегда намеревалась выйти замуж только за гения. Она не разрешала ему не быть гением. И увидев его несостоятельность, она стала бешено сопротивляться этому удушающему, медленному изменению атмосферы своей жизни. А Вальтеру как раз теперь и нужно было человеческое тепло, и когда его мучило его бессилие, он льнул к ней, как дитя, ищущее молока и сна, но маленькое, нервное тело Клариссы не было материнским. Ей казалось, что из нее тянет соки паразит, который хочет в ней угнездиться, и она не поддавалась ему. Она презирала эту жаркую, как в прачечной, теплоту, где он искал утешения. Возможно, что это было жестоко. Но она хотела быть спутницей великого человека и боролась с судьбой.

Ульрих предложил Клариссе папиросу. Что мог он еще сказать ей, после того как с такой прямотой сказал все, что думал. Дымки их папирос, потянувшиеся за лучами вечернего солнца, соединились в некотором отдалении от них.

«Что знает Ульрих об этом? — думала Кларисса на своем бугорке.— Ах, что может он вообще понимать в такой борьбе!» Она вспомнила, как распадалось, каким изнуренно-пустым делалось лицо Вальтера, когда его одолевали муки музыки и чувственности, а ее сопротивление не давало ему выхода; нет, полагала она, об этой чудовищности любовной игры словно бы на Гималаях, воздвигнутых из любви, презрения, страха и высших обязательств, Ульрих не знает ничего. Она была не очень благоприятного мнения о математике и никогда не считала его таким же талантливым, как Вальтер. Он был умен, он был логичен, он много знал — но разве это больше, чем варварство? Правда, в теннис он играл раньше несравненно лучше, чем Вальтер, и Кларисса помнила, как иной раз при виде его реши-

тельных ударов она с такой остротой чувствовала, что он добьется чего захочет, с какой этого никогда не чувствовала при соприкосновении с живописью, музыкой или мыслями Вальтера. И она подумала: «А может быть, он знает о нас все, да не говорит?!» В конце концов, он ведь вполне ясно намекнул только что на ее героизм. Это молчание между ними стало теперь захватывающе интересным.

А Ульрих думал: «До чего же мила была Кларисса десять лет назад — это полудитя с пылающей верой в наше, троих, будущее». И неприятна она была ему, собственно, только один-единственный раз — когда они с Вальтером поженились; тогда она проявила то неприятное себялюбие вдвоем, которое часто делает молодых, честолюбиво влюбленных в своих мужей женщин такими невыносимыми для других мужчин. «В этом отношении произошла большая перемена к лучшему»,— подумал он.

15

Духовный переворот

Вальтер и он были молоды в то ушедшее ныне время вскоре после последней смены веков, когда многие думали, что и век тоже молод.

Век, сошедший тогда в могилу, во второй своей половине не очень-то отличился. Он был умен в технике, коммерции и в научных исследованиях, но вне этих центров своей энергии он был тих и лжив, как болото. Он писал картины, как древние, сочинял, как Гёте и Шиллер, и строил свои дома в стиле готики и Ренессанса. Требование идеального господствовало наподобие полицейского управления над всеми проявлениями жизни. Но в силу того тайного закона, который не позволяет человеку подражать без утрирования, все делалось тогда так корректно, как то и не снилось боготворимым образцам, следы чего и сегодня еще видны на улицах и в музеях, и, связано ли это со сказанным или нет, целомудренные и застенчивые женщины того времени должны были носить платья от ушей до земли, но обладать пышной грудью и основательным задом. Впрочем, по разным причинам ни о каком минувшем времени не знают так мало, как о тех трех или пяти десятках лет, что лежат между собственным двадцатилетием и двадцатилетием отцов. Поэтому полезно, может быть, вспомнить и о том, что в плохие времена мерзейшие дома и стихи создаются по ничуть не менее прекрасным принципам, чем в самые лучшие; что у всех людей, уничтожающих достижения предшествующего хорошего периода, есть чувство, будто они их улучшают; и что бескровные молодые люди такого времени столь же высокого мнения о своей молодой крови, как новые люди во все прочие времена.

И это каждый раз кажется чудом, если после отлогого склона такой эпохи душа вдруг немного поднимется, как оно тогда и случилось. Из масляно-гладкого духа двух последних десятилетий девятнадцатого века по всей Европе вспыхнула вдруг какая-то окрыляющая лихорадка. Никто не знал толком, что́ заваривалось; никто не мог сказать, будет ли это новое искусство, новый человек, новая мораль или, может быть, новая перегруппировка общества. Поэтому каждый говорил то, что его устраивало. Но везде вставали люди, чтобы бороться со старым. Подходящий человек оказывался налицо повсюду; и что́ важно, люди практически предприимчивые соединялись с людьми предприимчивости духовной. Развивались таланты, которые прежде подавлялись или вовсе не участвовали в общественной жизни. Они были предельно различны, и противоположности их целей были беспримерны. Любили сверхчеловека и любили недоче-

ловека; преклонялись перед здоровьем и солнцем и преклонялись перед хрупкостью чахоточных девушек; воодушевленно исповедовали веру в героев и веру в рядового человека; были доверчивы и скептичны, естественны и напыщенны, крепки и хилы; мечтали о старых аллеях замков, осенних садах, стеклянных прудах, драгоценных камнях, гашише, болезни, демонизме, но и о прериях, широких горизонтах, кузницах и прокатных станах, голых борцах, восстаниях трудящихся рабов, первобытной половой любви и разрушении общества. Это были, конечно, противоречия и весьма разные боевые кличи, но у них было общее дыхание; если бы кто-нибудь разложил то время на части, получилась бы бессмыслица вроде угловатого круга, который хочет состоять из деревянного железа, но в действительности все сплавилось в мерцающий смысл. Эта иллюзия, нашедшая свое воплощение в магической дате смены столетий, была так сильна, что одни рьяно бросались на новый, еще не бывший в употреблении век, а другие напоследок давали себе волю в старом, как в доме, из которого все равно выезжать, причем обе эти манеры поведения не замечали такого уж большого несходства между собой.

Если не хочется, то и не надо, стало быть, переоценивать это прошедшее «движение». Да и существовало-то оно лишь в том тонком, текучем слое интеллигентов, который единодушно презирают поднявшиеся сегодня опять, слава богу, люди с мировоззрением, при всех его противоречиях непробиваемым, и не распространилось на массы. Но хоть историческим событием все это не стало, событьицем оно было, и оба друга, Вальтер и Ульрих, застали еще, когда были молоды, его мерцанье. Сквозь неразбериху верований что-то тогда пронеслось, как если бы множество деревьев согнулось под одним ветром,— какой-то сектантский и реформаторский дух, блаженное сознание начала и перемены, маленькое возрождение и реформация, знакомые лишь лучшим эпохам, и тот, кто вступал тогда в мир, чувствовал уже на первом углу, как овевает этот дух щеки.

16

Таинственная болезнь времени

Значит, они и правда совсем не так давно были двумя молодыми людьми,— думал Ульрих, когда снова оказался один,— которых великие идеи осеняли странным образом не только в первую очередь, раньше, чем всех других, но к тому же и одновременно: ведь достаточно было одному открыть рот, чтобы сказать что-то новое, как другой уже делал это же потрясающее открытие. Есть что-то странное в юношеской дружбе: она — как яйцо, чувствующее свою великолепную птичью будущность уже в желтке, но предстающее внешнему миру пока всего лишь довольно невыразительным овалом, который нельзя отличить от любого другого. Ульрих ясно видел перед собой комнату мальчика и студента, где они встречались, когда он на несколько недель возвращался из своих первых вылазок в мир. Письменный стол Вальтера, заваленный рисунками, заметками и нотными листками, заранее излучавший блеск будущности знаменитого человека, и узкую этажерку напротив, у которой Вальтер в пылу беседы стоял, бывало, как Себастиан у столба, под светом лампы, падавшим на прекрасные волосы, всегда вызывавшие у Ульриха тайное восхищение. Ницше, Альтенбергу, Достоевскому, или кого они на сей раз читали, приходилось довольствоваться местом на полу или на кровати, когда в них уже не было надобности, а поток разговора не терпел такой мелочной помехи, как аккуратное водворение их на место. Заносчивость юности, которой величайшие умы на то и нужны, чтобы пользоваться ими по своему усмотрению, показалась ему сейчас уди-

вительно прелестной. Он попытался вспомнить их разговоры. Они были как сновидение, когда, просыпаясь, еще успеваешь поймать последние свои мысли во сне. И он подумал с легким изумлением: когда мы тогда что-то утверждали, у нас была еще и другая цель, кроме правоты,— утвердить себя! Настолько сильнее в юности было стремление светить самим, чем стремление видеть при свете. Воспоминание об этом словно бы паривщем на лучах настроении юности он ощутил как мучительную утрату.

Ульриху казалось, что с началом зрелого возраста он попал в какой-то всеобщий спад, который, несмотря на случайные короткие всплески, разливался все более вялыми толчками. Трудно было сказать, в чем состояла эта перемена. Разве вдруг стало меньше выдающихся людей? Конечно нет! Да вовсе и не в них дело; уровень эпохи зависит не от них, ни бездуховность людей шестидесятых-восьмидесятых годов не могла, например, подавить развитие Геббеля и Ницше, ни они оба — бездуховность своих современников. Застыла общая жизнь? Нет, она сделалась мощнее! Стало ли больше, чем прежде, сковывающих противоречий? Вряд ли могло их стать больше! Разве раньше не соблазнялись извращениями? Еще как! Говоря между нами, вступались за слабых мужчин и обходили вниманием сильных; случалось, что болваны играли роль вождей, а большие таланты — роль чудаков; не тревожась по поводу всяческих родовых мук, которые он называл упадочнической и больной гиперболизацией, истинный немец продолжал читать свои семейные журналы и посещал в несравненно бóльших количествах массовые мероприятия и академические выставки, чем авангардистские «сецессионы»; а уж политика-то и вовсе игнорировала взгляды новых людей и их журналов, и официальные учреждения по-прежнему отгораживались от нового, как от чумы... Разве не правильнее было бы даже сказать, что с тех пор все изменилось к лучшему? Люди, возглавлявшие прежде лишь маленькие секты, стали теперь старыми знаменитостями; издатели и антиквары разбогатели; новое продолжает учреждаться; весь мир посещает и массовые мероприятия и «сецессионы», и «сецессионы» «сецессионов», семейные журналы коротко остриглись; государственные деятели любят показать свою компетентность в тонкостях культуры, а газеты делают историю литературы. Что же утрачено?

Что-то невесомое. Знак плюс или минус. Какая-то иллюзия. Как если бы магнит отпустил железные опилки и они снова перемешались. Как если бы размотался клубок ниток. Как если бы колонна пошла не в ногу. Как если бы оркестр начал фальшивить. Нельзя было назвать решительно ни одной частности, которая не была бы возможна и прежде, но все пропорции немного сместились. Идеи, авторитет которых прежде был тощим, стали тучными. Славу пожинали лица, которых прежде не принимали всерьез. Топорщившееся смягчилось, разделенное слилось вновь, независимые делали уступки всеобщим восторгам, уже сложившийся было вкус снова страдал неуверенностью. Резкие границы повсюду стерлись, и какая-то новая, не поддающаяся описанию способность родниться вынесла наверх новых людей и новые представления. Они не были дурными — отнюдь нет; только к хорошему примешалась чуточку великоватая доля дурного, к истине — заблуждения, к значительности — приспособленчества. Казалось прямо-таки, что для этой смеси существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех; маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата — она только и придавала гению гениальный, а таланту внушающий надежду вид, подобно тому как, по мнению многих, лишь известная добавка инжирного кофе или цикория придает кофе настоящую, полноценную кофейность, и вдруг все ключевые и важные позиции духа оказались заняты такими людьми, и все решения стали сообразны их вкусу. Ни на кого нельзя возлагать ответственность за это. И нельзя

сказать, как все стало таким. Нельзя бороться ни с какими-то людьми, ни с какими-то идеями или определенными явлениями. Нет недостатка ни в таланте, ни в доброй воле, ни в характерах. Только есть такой же недостаток во всем, какого нет ни в чем; ощущение такое, словно изменилась кровь или изменился воздух, таинственная болезнь сожрала небольшие задатки гениальности, имевшиеся у прежней эпохи, но все сверкает новизной, и в конце концов не знаешь уже, действительно ли мир стал хуже или просто ты сам стал старше. Тогда-то и окончательно наступает новое время.

Вот как изменилось время — как день, поначалу сияющий голубизной и потихоньку заволакивающийся; и оно не было настолько любезно, чтобы подождать Ульриха. Он отплачивал своему времени тем, что причину таинственных изменений, которые, пожирая гений, составляли его, времени, болезнь, считал самой обыкновенной глупостью. Совсем не в обидном смысле. Ведь если бы изнутри глупость не была до неразличимости похожа на талант, если бы извне она не могла казаться прогрессом, гением, надеждой, совершенствованием, никто бы, пожалуй, не захотел быть глупым и глупости не было бы. По крайней мере с ней было бы очень легко бороться. Но в ней, к сожалению, есть что-то необыкновенно располагающее и естественное. Если, например, найдут, что олеография — изделие более искусное, чем написанная вручную картина, то в этом будет и своя истина, и доказать ее можно точнее, чем ту истину, что Ван Гог был великий художник. Точно так же очень легко и выгодно быть как драматург сильнее Шекспира или как повествователь ровнее Гёте, и чистейшая банальность всегда человечнее, чем новое открытие. Нет решительно ни одной значительной идеи, которую глупость не сумела бы применить, она может двигаться во все стороны и облачаться в одежды истины. У истины же всегда только одна одежда и один путь, и она всегда в накладе.

Но в связи с этим Ульриху вскоре пришла в голову одна странная вещь. Он представил себе, будто великий церковный философ Фома Аквинский, умерший в 1274 году, после того как он с несказанным трудом привел в порядок мысли своего времени,— будто он предпринял еще более глубокое и основательное исследование и лишь только что закончил его; и вот, оставшись по какой-то особой милости молодым, он вышел с несколькими фолиантами под мышкой из сводчатой двери своего дома, и перед носом у него промчался трамвай. Недоуменное удивление доктора универсалис, как называли знаменитого Фому в прошлом, позабавило Ульриха. По пустой улице приближался мотоциклист, руки и ноги колесом, он с грохотом вырастал из перспективы. На лице его была серьезность ревущего с невероятной важностью ребенка. Ульрих вспомнил тут портрет одной знаменитой теннисистки, который видел на днях в каком-то журнале; она стояла на носке, с открытой до самой подвязки и выше ногой, закинув другую ногу к голове и высоко замахнувшись ракеткой, чтобы взять мяч; при этом лицо у нее было как у английской гувернантки. В том же журнале была изображена пловчиха, которую массируют после состязания; в ногах и в головах у нее, наблюдая за происходящим самым серьезным образом, стояли особы женского пола в верхней одежде, а она голышом лежала на кровати, на спине, с приподнятым, как будто она отдавалась, коленом, и на нем покоились руки массажиста во врачебном халате, стоявшего рядом и смотревшего с фотографии так, словно это женское тело освежевано и висит на крюке. Тогда стали появляться такие вещи, и существование их надо было как-то признать, как признают существование небоскребов и электричества. «Нельзя злиться на собственное время, без ущерба для себя самого»,— чувствовал Ульрих. Да он и всегда готов был любить все эти формы живого. Никогда ему только не удавалось любить их безгранично, как того требует чувство со-

циального благополучия; давно уже на всем, что он делал и испытывал, лежала печать неприязни, тень бессилия и одиночества, универсальной неприязни, к которой он не находил дополнения в какой-либо приязни. Порой у него было на душе совсем так, словно он родился с талантом, с которым сейчас нечего делать.

17

Воздействие человека без свойств на человека со свойствами

Беседуя, Ульрих и Кларисса не замечали, что музыка позади них порой прекращалась. Тогда Вальтер подходил к окну. Он не мог видеть их, но чувствовал, что они находились у самой границы его поля зрения. Его мучила ревность. Низменный дурман тяжело-чувственной музыки влек его назад. Рояль за его спиной был открыт, как постель, разворошенная спящим, который не хочет просыпаться, потому что не хочет смотреть в лицо действительности. Ревность паралитика, чувствующего, как шагают здоровые, изводила его, а заставить себя присоединиться к ним он не мог, ибо его боль делала его беззащитным перед ними.

Когда Вальтер поднимался утром и спешил на службу, когда он весь день говорил с людьми, а потом ехал среди них домой, он чувствовал себя человеком выдающимся и призванным к чему-то особому. Он думал тогда, что видит все иначе; его могло взволновать то, мимо чего небрежно проходили другие, а где другие небрежно хватали ту или иную вещь, там даже движение собственной руки было полно для него духовных приключений или самовлюбленной расслабленности. Он был чувствителен, и чувство было у него всегда взбудоражено копанием в мыслях, их провалами, колышущимися долинами и горами; он никогда не бывал равнодушен, а во всем видел счастье или несчастье и благодаря этому всегда находил повод для усиленных размышлений. Такие люди необыкновенно притягательны для других, потому что этим другим передается нравственное волнение, в котором они непрестанно находятся; в их разговорах все приобретает личное значение, и поскольку, общаясь с ними, можно все время заниматься самим собой, они доставляют удовольствие, которое вообще-то можно получить лишь за плату у какого-нибудь психоаналитика или специалиста по индивидуальной психологии, да еще с той разницей, что там чувствуешь себя больным, а Вальтер помогал людям казаться самим себе очень важными по причинам, дотоле ускользавшим от них. Этим свойством — распространять духовную самососредоточенность — он покорил и Клариссу и постепенно вытеснил всех соперников; поскольку все становилось у него этическим волнением, он мог убедительно говорить о безнравственности украшательства, о гигиене гладкой формы и о пивных парах вагнеровской музыки, как то соответствовало новому художественному вкусу, и приводил этим в ужас даже своего будущего тестя, чей мозг живописца был как распущенный павлиний хвост. Таким образом, не подлежало сомнению, что у Вальтера были успехи в прошлом.

Но как только он, полный впечатлений и планов небывалой еще, может быть, зрелости и новизны, прибывал домой, с ним происходила обескураживающая перемена. Ему достаточно было установить холст на мольберте или положить листок бумаги на стол, и в его душе уже возникало ощущение ужасной пропажи. Его голова оставалась ясной, и план в ней маячил как бы в очень прозрачном и чистом воздухе, план даже разъединялся, превращался в два плана или в большее число планов, которые могли оспаривать первенство друг у друга; но связь между головой и первыми, необходимыми для ис-

полнения движениями словно бы отреза́ло. Вальтер не мог решиться шевельнуть и пальцем. Он просто не вставал с места, где ему случилось сесть, и мысли его соскальзывали с поставленной перед собой задачи, как снег, что тает, едва упав. Он не знал, чем заполнялось время, но не успевал он оглянуться, как наступал вечер, и поскольку после нескольких таких случаев он уже приходил домой со страхом перед их повторением, целые вереницы недель стали скользить и проходили, как сумбурный полусон. Замедленный безнадежностью во всех своих решениях и побуждениях, он страдал от горькой грусти, и его неспособность превратилась в боль, которая часто, как носовое кровотечение, возникала у него где-то во лбу, едва он решался за что-либо взяться. Вальтер был пуглив, и эти явления, которые он отмечал у себя, не только мешали ему работать, но и очень страшили его; они настолько, казалось, были независимы от его воли, что часто производили на него впечатление начинающейся умственной деградации.

Но хотя его состояние в течение по́следнего года все ухудшалось, он в то же самое время нашел удивительную поддержку в мысли, которой никогда прежде достаточно не ценил. Мысль эта состояла не в чем ином, как в том, что Европа, где он был вынужден жить, безнадежно выродилась. В эпохи, внешне благополучные, но внутренне переживающие тот спад, который происходит, вероятно, во всяком деле, а потому и в духовном развитии, если на него не направляют особых усилий и не дают ему новых идей,— в такие эпохи прежде всего следовало бы, собственно, задаться вопросом: какие тут можно принять меры противодействия; но неразбериха умного, глупого, подлого, прекрасного как раз в такие времена настолько запутанна и сложна, что многим людям явно проще верить в какую-то тайну, отчего они и провозглашают неудержимый упадок чего-то, что не поддается точному определению и обладает торжественной расплывчатостью. Да и совершенно в сущности безразлично, что́ это — раса, сырая растительная пища или душа; как при всяком здоровом пессимизме, тут важно только найти что-то неизбежное, за что можно ухватиться. И хотя Вальтер в лучшие годы способен был смеяться над такими теориями, он тоже, начав прибегать к ним, быстро увидел великие их преимущества. Если дотоле был не способен к работе и плохо чувствовал себя о н, то теперь не способно к ней было в р е м я, а он был здоров. Его ни к чему не приведшая жизнь нашла вдруг потрясающее объяснение, оправдание в эпохальном масштабе, его достойное; и это принимало уже характер прямо-таки великой жертвы, если он брал в руку и опять клал на место карандаш или перо.

Тем не менее Вальтеру еще приходилось бороться с собой, и Кларисса мучила его. На разговоры о пороках времени она не шла, она верила в гений прямолинейно. Что́ это такое, она не знала; но все ее тело трепетало и напрягалось, когда заходила об этом речь; это либо чувствуешь, либо не чувствуешь — таково было единственное ее доказательство. Для Вальтера она всегда оставалась маленькой, жестокой пятнадцатилетней девочкой. Никогда она целиком не понимала его чувств, и ему никогда не удавалось подчинить ее себе. Но при всей своей холодности и суровости, сменявшихся у нее восторженностью и сочетавшихся с беспредметно пламенной волей, она обладала таинственной способностью влиять на него так, словно через нее поступали толчки с какой-то стороны, которую нельзя было указать в трехмерном пространстве. Иногда от этого делалось жутковато. Особенно он чувствовал это, когда они играли вдвоем. Игра Клариссы была сурова и бесцветна, подчиняясь чуждому ему закону волнения; когда тела пылали так, что сквозь них светилась душа, он чувствовал это с пугающей силой. Что-то не поддающееся определению отрывалось тогда от нее и грозило улететь вместе с ее

духом. Шло оно из какой-то тайной полости в ее естестве, которую нужно было в страхе держать закрытой. Вальтер не знал, по каким признакам он это чувствовал и что это было; но это мучило его невыразимым страхом и потребностью предпринять что-то решительное, чего он не мог сделать, ибо никто, кроме него, ничего такого не замечал.

Глядя в окно на возвращавшуюся Клариссу, он был почти уверен, что опять не удержится от искушения говорить об Ульрихе плохо. Ульрих вернулся некстати. Он причинял Клариссе вред. Он жестоко ухудшал в ней то, чего Вальтер не осмеливался бередить, каверну беды, все несчастное, больное, зловеще гениальное в Клариссе, тайное пустое пространство, где цепи были натянуты так, что могли в один прекрасный день и вовсе не выдержать. И вот она стояла перед ним с непокрытой головой, только что войдя, держа в руке летнюю шляпу, и он смотрел на нее. Глаза ее были насмешливы, ясны, нежны: может быть, немного слишком ясны. Иногда у него бывало такое чувство, что она просто обладает силой, отсутствующей у него. Жалом, которое никогда не даст ему покоя, была она для него уже в свои детские годы, и сам он, конечно, никогда не хотел, чтобы она была другой; в этом, может быть, и состояла тайна его жизни, непонятная тем двоим.

«Глубоки наши муки! — подумал он.— Нечасто, наверно, два человека любят друг друга так глубоко, как должны любить мы». И без перехода заговорил:

— Не хочу знать, что рассказывал тебе Уло. Но могу сказать, что его сила, которой ты любуешься, не что иное, как пустота!

Кларисса посмотрела на рояль и улыбнулась; Вальтер непроизвольно уселся опять у открытого рояля. Он продолжал:

— Легко, должно быть, испытывать героические чувства, если от природы ты нечувствителен, и мыслить километрами, если понятия не имеешь, какие миры таит в себе любой миллиметр!

Они называли его иногда Уло, как в пору его юности, и он любил их поэтому так, как сохраняют улыбчивую почтительность к своей кормилице.

— Он застрял на месте! — прибавил Вальтер.— Ты этого не замечаешь. Но не думай, что я его не знаю!

У Клариссы были какие-то сомнения.

Вальтер резко сказал:

— Нынче все разложилось! Бездонная пропасть интеллекта! Интеллект у него тоже есть, это я признаю. Но он совершенно не знает, что такое власть цельной души. О том, что Гёте называет личностью, о том, что Гёте называет подвижным порядком, он и ведать не ведает. «Эта дивная мысль о пределах власти, о законе и буйстве, о свободе и мере, о порядке подвижном...»

Стихи волнами срывались с его губ. Кларисса с приветливым удивлением посмотрела на эти губы, словно с них слетела какая-то милая игрушка. Затем опомнилась и вставила тоном заботливой мамочки:

— Хочешь пива?

— Пива? Почему бы и нет? Я ведь всегда не прочь.

— Но в доме нет пива!

— Жаль, что ты спросила меня,— вздохнул Вальтер.— Я, может быть, совсем об этом и не подумал бы.

Для Клариссы вопрос был уже исчерпан. Но Вальтер вышел теперь из равновесия; он уже не находил должного продолжения.

— Помнишь наш разговор о художниках? — спросил он неуверенно.

— Какой?

— Который был у нас несколько дней назад. Я объяснял тебе, что значит живое творческое начало в человеке. Не помнишь, как я

пришел к выводу, что прежде вместо смерти и логической механизации царили кровь и мудрость?

— Нет.

Вальтер запнулся, поискал, поколебался. Вдруг он выпалил:

— Он человек без свойств!

— Что это такое? — спросила Кларисса, хихикнув.

— Ничего. Именно ничего!

Но слова Вальтера расшевелили любопытство Клариссы.

— Нынче их миллионы,— утверждал Вальтер.— Это порода людей, рожденная нашим временем! — Нечаянно найденные слова понравились ему самому; как если бы он начал стихотворение, слова эти погнали его вперед, прежде чем он уловил их смысл.— Погляди на него! За кого ты могла бы его принять? Походит ли он на врача, на коммерсанта, на художника или на дипломата?

— Но ведь он не врач, не коммерсант и так далее,— трезво возразила Кларисса.

— Что ж, может быть, он походит на математика?

— Этого я не знаю. Я же не знаю, как должен выглядеть математик!

— Ты сказала сейчас нечто очень верное! Математик ни на кого не походит. То есть вид у него настолько интеллигентный вообще, что какого-то единственного, определенного содержания лишен! За исключением римско-католических священников, нынче уже вообще никто не выглядит так, как ему подобало бы, потому что своей головой мы пользуемся еще безличнее, чем своими руками. Но математика — это вершина, она уже сегодня знает о себе так же мало, как будут, наверно, знать люди о лугах, телятах и курах, когда станут питаться не хлебом и мясом, а энергетическими таблетками!

Кларисса тем временем поставила на стол нехитрый ужин, и Вальтер уже вовсю им занялся; чем, может быть, и было внушено ему это сравнение. Кларисса смотрела на его губы. Они напоминали ей его умершую мать, это были очень женственные губы, занятые едой, как какой-нибудь работой по дому, и увенчанные маленькими подстриженными усиками. Глаза его блестели, как свежеоблупленные каштаны, даже когда он просто искал кусок сыра на блюде. Хотя он был малого роста и сложения скорее рыхлого, чем хрупкого, он обращал на себя внимание и принадлежал к людям, которые кажутся всегда хорошо освещенными. Он продолжал говорить:

— Ты не можешь угадать его профессию по его виду, однако он не выглядит и как человек, профессии не имеющий. А теперь сообрази, каков он. Он всегда знает, что надо сделать. Он может посмотреть женщине в глаза. Он может в любую минуту тщательно все обдумать. Он может пустить в ход кулаки. Он талантлив, наделен силой воли, лишен предрассудков, мужествен, выносли в, напорист, осторожен — не хочу проверять все это по отдельности, пусть у него будут все эти свойства. Ведь у него-то их в сущности нет! Они сделали из него то, что он есть, и определили его путь, и все же они ему не принадлежат. Когда он зол, в нем что-то смеется. Когда он грустен, он что-то замышляет. Когда его что-то трогает, он этого не приемлет. Любой скверный поступок кажется ему в каком-то отношении хорошим. Всегда лишь какая-то возможная связь решает для него, как смотреть на то или иное дело. Для него нет ничего раз навсегда установленного. Все видоизменяемо, все — часть целого, бесчисленных целых, принадлежащих, возможно, сверхцелому, которого он, однако, ни в коей мере не знает. Поэтому каждый его ответ — ответ частичный, каждое его чувство — лишь точка зрения, и важно для него не «что это», а лишь какое-нибудь побочное «каково это», важна для него всегда какая-то примесь. Не знаю, понятно ли я говорю.

— Вполне,— сказала Кларисса.— Но я нахожу это очень милым с его стороны.

Вальтер непроизвольно говорил с растущей неприязнью; старое мальчишеское чувство более слабого, столь часто сопутствующее дружбе, увеличивало его ревность. Хотя он и был убежден, что, кроме нескольких простых демонстраций своей смышлености, Ульрих ничего не совершил, втайне Вальтер не мог избавиться от впечатления, что физически он всегда уступал Ульриху. Картина, которую он набросал, освободила его как удавшееся произведение искусства; не он извлек ее из себя, а вне его, подверстываясь к таинственной удаче начала, лепились слова к словам, и при этом внутри его распадалось что-то, так и не доходившее до его сознания. Закончив, он понял, что Ульрих олицетворяет не что иное, как эту бесхребетность, присущую ныне всему на свете.

— Тебе это нравится? — спросил он, горько теперь удивленный.— Ты не можешь утверждать это всерьез!

Кларисса жевала хлеб с мягким сыром; она могла только улыбнуться глазами.

— Ах,— сказал Вальтер,— прежде мы, может быть, тоже думали примерно так. Но ведь это лишь предварительный этап, не больше. Такой человек — это не человек!

Кларисса дожевала.

— Он же сам это говорит! — возразила она.

— Что он сам говорит?

— Ах, мало ли что?! Что сегодня все распалось. Он говорит, что все застряло на месте,— не только он. Но он на это не в такой обиде, как ты. Он как-то рассказал мне одну длинную историю. Если разложить на части естество тысячи человек, то окажется каких-нибудь два десятка свойств, чувств, реакций, конструкций и так далее, из которых все они состоят. А если разложить наше тело, то получится только вода и десяток-другой кусочков материи, в ней плавающих. Вода поднимается в нас точно так же, как в деревьях, и тела животных она образует так же, как облака. Я нахожу, что это славно. Только вот не знаешь тогда, что о себе и думать. И что надо делать.— Кларисса хихикнула.— На это я ответила ему, что в неслужебные дни ты с утра до вечера удишь рыбу и лежишь у воды.

— Ну и что? Хотел бы я знать, выдержал ли бы он это хотя бы десять минут. Но л ю д и,— сказал Вальтер твердо,— делают это уже десять тысяч лет, они глядят на небо, чувствуют земное тепло и не разлагают все это на части, как не разлагают на части собственную мать!

Кларисса опять невольно хихикнула.

— Он говорит, что с тех пор все очень усложнилось. Так же, как мы плаваем по воде, мы плаваем и в море огня, в буре электричества, в небе магнетизма, в болоте тепла и так далее. Но неощутимо. В конце концов остаются вообще только формулы. И что́ они по-человечески означают, выразить толком невозможно. Вот и все. Я уже забыла, что учила в лицее. Но так примерно оно, кажется, и есть. И если сегодня, говорит он, кто-нибудь хочет, как святой Франциск или ты, назвать птиц братьями, то он не вправе просто тешить себя этим, а должен решиться полезть в печь, утечь в землю через токоприемник трамвая или выплеснуться в канал через кухонную мойку.

— Да, да! — прервал Вальтер ее отчет.— Сначала четыре элемента превращаются в несколько десятков, а кончается дело тем, что мы плаваем в одних только отношениях, процессах, в помоях процессов и формул, в чем-то таком, о чем не знаешь, вещь ли это, процесс ли, фантазия или черт знает что! Тогда нет, значит, разницы между солнцем и спичкой, и между ртом, как одним из концов пищеварительного тракта, и другим его концом тоже никакой разницы нет!

У одной и той же вещи есть сотня сторон, у стороны сотня аспектов, и с каждым связаны другие чувства. Человеческий мозг, получается, успешно расщепил вещи; но вещи расщепили, выходит, человеческое сердце! — Он вскочил, но не вышел из-за стола.— Кларисса! — сказал он.— Он опасен для тебя! Пойми, Кларисса, сегодня человеку ничего так не нужно, как простота, близость к земле, здоровье. И — да, безусловно, можешь говорить что угодно — и ребенок, потому что именно ребенок прочно привязывает человека к почве. Все, что тебе рассказывает Уло, бесчеловечно. Уверяю тебя, у меня есть мужество просто пить с тобой кофе, вернувшись домой, слушать птиц, немножко погулять, перекинуться словом с соседями и спокойно закончить день. Это и есть человеческая жизнь!

Нежность этих видений медленно приближала его к ней; но как только вдалеке мягко забасили отцовские чувства, Кларисса заупрямилась. Ее лицо онемело, пока он к ней приближался, и заняло оборонительную позицию.

Когда он подошел к ней вплотную, он весь истекал теплой мягкостью, как хорошая крестьянская печь. Кларисса на мгновение заколебалась в этих потоках тепла. Потом она сказала:

— Дудки, милый мой! — Она схватила со стола кусок сыра и хлеба и быстро поцеловала Вальтера в лоб.— Пойду погляжу, нет ли ночных мотыльков.

— Но ведь в это время года, Кларисса,— взмолился Вальтер,— уже не бывает бабочек.

— Ну, это неизвестно!

От нее в комнате остался только смех. С куском хлеба и сыра бродила она по лугам; местность была спокойная, и в провожатых она не нуждалась. Нежность Вальтера опала, как преждевременно снятое с огня суфле. Он глубоко вздохнул. Потом, помедлив, снова сел за рояль и ударил по клавишам. Хотел он того или нет, получалась фантазия на мотивы вагнеровских опер, и под всплески этого необузданно бурлившего вещества, в котором он некогда, во времена заносчивости, себе отказывал, пальцы его барахтались и плескались в потоке звуков. Пускай это слышат и вдалеке! Наркоз этой музыки парализовал его спинной мозг и облегчал его участь.

18

Моосбругер

В это время публику занимало дело Моосбругера.

Моосбругер был плотник, рослый, широкоплечий, поджарый человек, с волосами, как шкурка коричневого барашка, и добродушно сильными лапами. Добродушную силу и порядочность выражало и его лицо, и кто их не увидел бы, тот почувствовал бы их по запаху, крепкому, честному, сухому запаху рабочего дня, неотъемлемому от этого тридцатилетнего человека и идущему от общения с деревом и от работы, требующей рассудительности не меньше, чем напряжения.

Люди останавливались как вкопанные, впервые увидев это лицо, наделенное богом всеми приметами доброты, ибо обычно Моосбругер ходил в сопровождении двух вооруженных охранников, с тесно связанными спереди руками и на крепкой стальной цепочке, ручку которой держал один из сопровождавших.

Когда он замечал, что на него смотрят, на его широком, добродушном лице с нечесаной шевелюрой, усами и бородкой появлялась улыбка; носил он короткий черный пиджак и светло-серые брюки, шагал по-военному широко, но больше всего занимала судебных репортеров эта улыбка. Улыбка эта могла быть смущенной или лу-

кавой, иронической, коварной, скорбной, безумной, кровожадной, жуткой,— явно перебирая противоречивые определения, они, казалось, отчаянно старались найти в этой улыбке что-то такое, чего, видимо, нигде больше не находили во всем его добропорядочном облике.

Ведь Моосбругер зверски убил уличную женщину, проститутку самого низкого разряда. Репортеры точно описали рану на шее от гортани до затылка, а также две колотые раны в груди, прошедшие сквозь сердце, две на левой стороне спины и надрезы на грудях, которые были почти отделены от тела; репортеры выразили свое отвращение к описанному, но не остановились, пока не насчитали еще тридцать пять уколов в живот и не объявили о резаной ране почти от пупка до крестца, продолженной вверх по спине множеством более мелких, а также о следах удушения на шее. Они не находили обратного пути от всех этих ужасов к добродушному лицу Моосбругера, хотя сами были людьми добродушными, и все-таки описали случившееся объективно, компетентно и явно задыхаясь от напряжения. Даже напрашивавшимся объяснением, что, мол, перед ними душевнобольной,— ибо Моосбругер уже несколько раз попадал в сумасшедший дом за подобные преступления,— они не воспользовались, хотя сегодня хороший репортер прекрасно разбирается в таких вопросах; они, казалось, пока еще никак не хотели отказываться от злодея и выпускать этот случай из собственного мира в мир больных, в чем были согласны с психиатрами, успевшими столько же раз объявить Моосбругера здоровым, сколько и невменяемым. А потом, как ни странно, случилось так, что, едва узнав о патологических выходках Моосбругера, тысячи людей, осуждающих газеты за их падкость на сенсации, сразу восприняли эту новость как «что-то наконец интересное» — и вечно спешащие чиновники, и их четырнадцатилетние сыновья, и погруженные в домашние заботы супруги. Вздыхали, правда, по поводу такого выродка, но заняты были им истовее, чем делом собственной жизни. И в эти дни какой-нибудь добропорядочный начальник отдела или управляющий банком вполне мог, ложась в постель, сказать своей сонной супруге: «Что бы ты сейчас сделала, если бы я был Моосбругером...»

Ульрих, когда его взгляд упал на это отмеченное участием бога лицо над наручниками, тут же повернул обратно, сунул часовому близлежащего окружного суда несколько папирос и спросил об арестанте, который, по-видимому, недавно прошел под конвоем через эти ворота; так он узнал... но так, должно быть, происходили подобные вещи прежде, поскольку часто о них повествуют в этой манере, да и сам Ульрих почти верил, что так оно и было, но современная правда состояла в том, что он просто прочел обо всем в газете. Прошло еще много времени, прежде чем он лично познакомился с Моосбругером, а увидеть его дотоле воочию Ульриху удалось только один раз во время слушания дела. Вероятность узнать что-либо необычное из газеты гораздо больше, чем вероятность столкнуться с этим самому; другими словами, в области абстракции происходят сегодня более существенные вещи, а менее значительные — в действительности.

Узнал же Ульрих этим путем об истории Моосбругера примерно следующее.

Моосбругер был в детстве бедным пастушонком в такой крошечной деревушке, что к ней даже проселочной дороги не было, и беден он был настолько, что ни разу не разговаривал с девушкой. На девушек он мог всегда только глядеть — и позднее, в годы ученья, и уж подавно потом, когда скитался. Надо только представить себе, что́ это значит. На то, чего желаешь так же естественно, как хлеба или воды, можно всегда только глядеть. Через некоторое время желаешь этого уже неестественно. Она проходит мимо, и юбки

колышутся над ее икрами. Она перелезает через забор и становится видна до колена. Ты глядишь ей в глаза, и они делаются непроницаемыми. Ты слышишь, как она смеется, быстро оборачиваешься и видишь лицо, такое же неподвижно круглое, как норка, в которую только что юркнула мышь.

Понятно поэтому, что даже после первого убийства девушки Моосбругер оправдывался тем, что его постоянно преследуют духи, взывающие к нему день и ночь. Они поднимали его с постели, когда он спал, и мешали ему во время работы; еще он слышал, как они днем и ночью разговаривают и спорят между собой. Это не была душевная болезнь, и Моосбругер терпеть не мог, когда об этом так говорили; он, правда, сам иногда украшал это воспоминаниями о церковных проповедях или излагал с учетом советов насчет симуляции, которые можно получить в тюрьмах, но материал был всегда наготове; он только немного тускнел, когда внимание от него отвлекалось.

Так было и во время скитаний. Зимой плотнику трудно найти работу, и Моосбругер часто неделями жил без крова. Идешь, бывает, целый день, приходишь в селенье, а пристанища нет. Шагай дальше до поздней ночи. Поесть нет денег, вот и пьешь водку, пока не зарябит в глазах и тело само не пойдет. В ночлежку проситься не хочется, несмотря на теплый суп,— отчасти из-за насекомых, отчасти из-за унижений, которых натерпишься; лучше уж добыть, побираясь, крейцер-другой и залезть на сеновал к какому-нибудь крестьянину. Без спросу, конечно, а то сперва долго проси, а потом только обиду терпи. Утром, правда, из-за этого часто выходит ссора и донос насчет хулиганства, бродяжничества и нищенства, и постепенно толстеет подшивка судимостей, которую каждый новый судья преподносит с таким важным видом, словно она-то и объясняет Моосбругера.

А кому бы задуматься, что это значит — днями и неделями не мыться по-настоящему. Кожа становится такой заскорузлой, что позволяет делать только грубые движения, даже если хочется сделать ласковое, и под такой корой затвердевает живая душа. Рассудок, должно быть, задет этим меньше, необходимое продолжаешь делать вполне разумно; он, должно быть, горит, как маленький огонек в огромном ходячем маяке, полном растоптанных дождевых червей и кузнечиков, но все личное тут раздавлено, и ходит лишь охваченное брожением органическое вещество. И вот когда Моосбругер, скитаясь, шел по деревне или по пустынной дороге, на пути его встречались целые процессии женщин. Сперва одна женщина и только через полчаса, правда, другая, но даже если они появлялись через такие большие промежутки и никакого отношения друг к другу не имели, в общем, это были все равно процессии. Они шли из одной деревни в другую или просто на минуту выбегали из дома, они носили толстые платки или кофты, змейчато обтягивавшие бедра, они входили в теплые горницы, или вели перед собой своих детей, или были на дороге так одиноки, что их можно было сшибить камнем, как ворону. Моосбругер утверждал, что он не садист, убивающий удовольствия ради, потому что вдохновляло его всегда только отвращение к этому бабью, и так оно, наверно, и есть, ведь можно понять и кошку, которая сидит перед клеткой, где прыгает вверх и вниз толстая золотистая канарейка; или хватает лапой мышь, отпускает, опять хватает, чтобы еще раз увидеть, как та бежит; а что такое собака, друг человека, которая бежит за катящимся колесом и только понарошку кусает его? В таком отношении к живому, движущемуся, безмолвно катящемуся или шмыгающему есть доля тайной неприязни к радующемуся самому себе сосуществу. И что наконец было делать, если она кричала? Можно было либо опомниться, либо, если опомниться-го не можешь, вдавить ее лицо в землю и набить ее рот землей.

Моосбругер был лишь бродячим плотником, совсем одиноким человеком, и хотя везде, где он работал, товарищи с ним ладили, друзей у него не было. Сильнейший инстинкт время от времени жестоко обращал его естество к внешнему миру; но, может быть, ему и правда не хватало лишь, как он говорил, воспитания и условий, чтобы сделать из этой потребности что-нибудь другое,— ангела массовой смерти, поджигателя театра, великого анархиста; ведь анархистов, сплачивающихся в тайные союзы, он с презрением называл жуликами. Он был несомненно болен; но хотя в основе его поведения явно лежала патология, отделявшая его от других людей, ему это казалось более сильным и более высоким сознанием своего «я». Вся его жизнь была до смешного, до ужаса неуклюжей борьбой за то, чтобы это признали и оценили. Он уже мальчишкой переломал пальцы одному хозяину, когда тот вздумал его наказать. От другого он удрал с деньгами; справедливости ради, как он говорил. Ни на одном месте он не выдерживал долго; он оставался везде до тех пор, пока, как то поначалу всегда бывало, держал людей в робости своим молчаливым трудолюбием при добродушном спокойствии и здоровенных плечах; но как только люди начинали обращаться с ним фамильярно и непочтительно, словно наконец раскусили его, он сматывал удочки, ибо его охватывало жутковатое чувство, будто его кожа сидит на нем недостаточно плотно. Один раз он сделал это слишком поздно; четыре каменщика на стройке сговорились доказать ему свое превосходство, сбросив его с верхнего этажа лесов; услыхав, как они уже хихикают у него за спиной и подкрадываются, он обрушил на них всю свою огромную силу, спустил одного с двух лестниц, а двоим другим перерезал на руках все сухожилия. То, что его наказали за это, перевернуло ему душу, как он говорил. Он эмигрировал; в Турцию; и вернулся, ибо мир везде сплачивался против него; ни волшебными словами нельзя было разрушить этот заговор, ни добротой.

А такие слова он усердно подхватывал в сумасшедших домах и тюрьмах — крохи французского и латинского, которые он в самых неподходящих местах вставлял в свои речи, с тех пор как обнаружил, что владение этими языками дает власть имущим право «выносить решение» о его судьбе. По той же причине он старался и на судебных заседаниях выражаться по-книжному, говорил, например, «это, по-видимому, является основой моего зверства» или «я ее представлял себе еще более жестокой, чем обычно бывают, по моему наблюдению, такого рода бабы»; видя, однако, что и это не производит ожидаемого впечатления, он нередко принимал театрально-эффектную позу и надменно объявлял себя «анархистом по убеждениям», который в любую минуту мог бы быть спасен социал-демократами, если бы захотел одолжаться у этих евреев, злейших эксплуататоров трудового, невежественного народа. И у него таким образом оказывалась своя «наука», область, недоступная ученым притязаниям его судей.

Обычно это приносило ему в зале суда оценку «недюжинные умственные способности», почтительное внимание во время процесса и более суровые наказания, но польщенное его тщеславие воспринимало в сущности эти процессы как почетные периоды его жизни. А потому он ни к кому не пылал такой ненавистью, как к психиатрам, полагавшим, что со всей его сложной сутью можно разделаться несколькими иностранными словами, как будто это дело самое обыденное. Как всегда в таких случаях, медицинские заключения о его психическом состоянии шатались под нажимом вышестоящего мира юридических представлений, и Моосбругер не упускал ни одной из этих возможностей публично доказать на суде свое превосходство над психиатрами и разоблачить их как самодовольных тупиц и обманщиков, которые ни в чем не смыслят и посадили бы его, если бы он симулировал, в сумасшедший дом, вместо того что-

бы отправить в тюрьму, где ему действительно место. Ибо он не отрицал своих преступлений, он хотел, чтобы на них смотрели как на катастрофы грандиозного мировосприятия. Хихикающие бабы были первыми в заговоре против него; у всех у них имелись ухажеры, а прямое слово серьезного человека они ни во что не ставили или даже принимали за оскорбление. Он избегал их, пока мог, чтобы не раздражаться; но не всегда это удавалось. Бывают дни, когда у мужчины одна дурь в голове и он ни за что не может взяться, потому что у него от беспокойства потеют руки. И если тогда поддашься, то можешь быть уверен, что и шагу не сделаешь, как вдали уже, словно дозор, высланный вперед врагами, замаячит такая ходячая отрава, обманщица, которая втайне высмеивает мужчину, ослабляя его и ломая перед ним комедию, а то и еще куда хуже обижая его по своей бессовестности!

Вот так и надвинулся конец той ночи, ночи, безучастно проведенной в пьяной компании с великим шумом, чтобы утихомирить внутреннюю тревогу. Даже когда ты не пьян, мир бывает ненадежен. Стены улиц колышутся как кулисы, за которыми кто-то ждет определенной реплики, чтобы выйти на сцену. На краю города, где начинается широкое, освещенное луной поле, становится спокойнее. Там Моосбругеру пришлось повернуть, чтобы найти окольный путь домой, и тут-то, у железного моста, к нему пристала эта девчонка. Она была из тех, что нанимаются к мужчинам внизу, на пойменных лугах,— какая-нибудь служанка без места, коротышка, видны были только два завлекающих мышиных глаза из-под платка. Моосбругер отверг ее и ускорил шаг; но она стала клянчить, чтобы он взял ее к себе домой. Моосбругер продолжал шагать — прямо, за угол, наконец беспомощно взад и вперед; он делал большие шаги, и она бежала с ним рядом; он останавливался, и она стояла, как тень. Он тянул ее за собой, вот в чем была штука. Тогда он сделал еще одну попытку ее прогнать; он повернулся и плюнул ей дважды в лицо. Но это не помогло; она была неуязвима.

Случилось это в отдаленном парке, который им нужно было пересечь в самом узком его месте. Тут Моосбругер и решил, что у девчонки должен быть какой-нибудь защитник поблизости — иначе откуда бы взялась у нее смелость следовать за ним, несмотря на его неудовольствие? Он схватил лежавший у него в кармане штанов нож, потому что его хотели разыграть; или, может быть, опять напасть на него; всегда ведь за бабами стоит другой мужчина, который над тобой насмехается. Да и не показалась ли она ему вообще переодетым мужчиной? Он видел, как движутся тени, и слышал треск в кустах, а эта нахалка с ним рядом упорно, как маятник, повторяла свою просьбу снова и снова; но не было ничего, на что бы могла обрушиться его исполинская сила, и он начал бояться этого жуткого бездействия.

Когда они вошли в первую, еще очень мрачную улицу, лоб у него был в поту и он весь дрожал. Не оглядываясь по сторонам, он направился в кофейню, которая еще была открыта. Он выпил залпом чашку черного кофе и три рюмки коньяку и спокойно посидел, может быть, четверть часа; но когда он расплачивался, опять пришла мысль, что ему делать, если она поджидает его на улице. Есть такие мысли — как бечевки, опутывающие руки и ноги бесконечными петлями. И не успев пройти несколько шагов по темной улице, он почувствовал, что она — рядом. Теперь она держалась совсем не смиренно, а дерзко и уверенно; и она уже не просила, а просто молчала. Тут он понял, что никогда от нее не избавится, потому что это он сам и тянул ее за собой. Слезливое отвращение наполнило ему глотку. Он шел, а это, наполовину позади него, было опять-таки им. В точности так, как всегда при встречах с процессиями. Однажды он сам вырезал у себя из ноги большую занозу, потому что у него

не хватило терпения ждать врача; совершенно так же чувствовал он свой нож и сейчас — длинный и твердый, лежал он у него в кармане.

Но прямо-таки неземным напряжением своего сознания Моосбругер нашел еще один выход. За оградой, вдоль которой проходила теперь его дорога, была спортивная площадка; там тебя никто не увидит, и он свернул туда. Он улегся в тесной будке кассы, уткнувшись головой в угол, где было всего темнее; мягкое проклятое второе «я» улеглось рядом с ним. Он притворился поэтому, что засыпает, чтобы потом улизнуть. Но когда он стал тихо, ногами вперед, выползать, оно опять было здесь и обвило руками его шею. Тут он почувствовал что-то твердое в ее или в своем кармане; он извлек это наружу. Он не знал точно, были ли это ножницы или нож; он пырнул этим. Он утверждал, что это только ножницы, но это был его нож. Она упала головой в будку; он немного оттащил ее оттуда, на мягкую землю, и колол до тех пор, пока совсем не отделил от себя. Потом он постоял рядом с ней еще, может быть, с четверть часа и смотрел на нее, а ночь тем временем опять стала спокойнее и удивительно гладкой. Теперь девчонка уже не могла обидеть мужчину и повиснуть у него на шее. Наконец он перенес труп через улицу и положил у куста, чтобы ее легче было найти и похоронить, как он утверждал, ибо теперь она уже была ни при чем.

При слушании дела Моосбругер уготовлял своему защитнику самые непредвиденные трудности. Он сидел на своей скамье развалясь, как зритель, кричал прокурору «браво», когда тот приводил какое-нибудь доказательство его социальной опасности, казавшееся ему, Моосбругеру, достойным его, и раздавал похвальные оценки свидетелям, которые заявляли, что никогда не замечали у него никаких признаков невменяемости. «Вы забавный субъект»,— льстил ему время от времени руководивший слушанием дела судья и добросовестно стягивал петли, которыми обвиняемый себя опутал. Потом Моосбругер с минуту стоял в удивлении, как затравленный на арене бык, скользил глазами по сторонам и видел по лицам сидевших вокруг то, чего он понять не мог: что он снова вогнал себя в свою вину на пласт глубже.

Ульриха особенно привлекало то, что в основе самозащиты Моосбругера несомненно лежал какой-то смутно вырисовывавшийся план. Ни намерения убивать у него первоначально не было, ни больным он, дорожа своим достоинством, не позволял себе быть; о наслаждении вообще не могло идти речи — речь могла идти только об отвращении и презрении; преступление оказывалось, таким образом, непредумышленным убийством, к которому его побудило подозрительное поведение женщины, «этой карикатуры на женщину», как он выразился. Пожалуй, он требовал даже, чтобы на совершенное им убийство смотрели как на политическое преступление, и порой складывалось такое впечатление, что борется он вовсе не за себя, а за эту юридическую конструкцию. Тактика, применявшаяся против этого судьей, была обычной: видеть во всем только неуклюже хитрые старания убийцы уйти от ответственности. «Почему вы вытерли окровавленные руки?» — «Почему бросили нож?» — «Почему после убийства переменили платье и белье?» — «Потому что было воскресенье? Не потому, что они были в крови?» — «Почему вы отправились развлекаться? Преступление, значит, не помешало вам? Чувствовали ли вы вообще раскаяние?» Ульрих хорошо понимал глубокое смирение, с каким Моосбругер в такие минуты винил свое недостаточное образование, мешавшее ему распутать эту сплетенную из непонимания сеть, а на языке судьи это обозначалось иначе, и притом с уличающей интонацией: «Вы все время умудряетесь свалить вину на других!»

Этот судья сводил все воедино, исходя из полицейских протоколов и бродяжничества, и вменял это Моосбругеру в вину; а для

Моосбругера все это состояло сплошь из отдельных случаев, ничего общего между собой не имевших и вызванных каждый своей причиной, которая находилась вне его, Моосбругера, где-то в самом устройстве мира. В глазах судьи его, Моосбругера, преступления исходили от него, а в его собственных они на него «находили», как налетают вдруг птицы. Для судьи Моосбругер был особым случаем; для себя же он был миром, а сказать что-либо убедительное о мире очень трудно. Было две тактики, которые боролись одна с другой, два единства и две последовательности; но Моосбругер был в невыгодном положении, ибо его странных, смутных мотивов не смог бы выразить и человек более умный. Они шли непосредственно от смятенного одиночества его жизни, и если все другие жизни существуют стократно, если они видятся одинаково и тем, кто их ведет, и всем другим, кто их подтверждает, то его подлинная жизнь существовала лишь для него самого. Это было дуновение, которое непрестанно деформируется и меняет облик. Правда, он мог спросить своих судей: разве их жизнь по сути иная? Но этого у него и в мыслях не было. Все, что было так естественно в своей последовательности, лежало в нем перед правосудием в бессмысленном беспорядке, и он изо всех сил старался внести в это смысл, который ни в чем не уступал бы достоинству его благородных противников. Судья казался чуть ли не добрым в своих стараниях поддержать его в этом и предоставить в его распоряжение какие-то понятия, даже если то были такие понятия, которые оборачивались для Моосбругера самыми ужасными последствиями.

Это было как бой тени со стеной, и под конец тень Моосбругера только мучительно колыхалась. На этом последнем заседании Ульрих присутствовал. Когда председатель прочел заключение экспертизы, признавшее Моосбругера вменяемым, тот поднялся и объявил суду:

— Я удовлетворен и достиг своей цели.

Ответом ему было насмешливое недоверие в глазах окружающих, и он со злостью прибавил:

— В силу того, что я добился обвинения, я удовлетворен порядком представления доказательств и их оценки судом!

Председатель, который стал теперь олицетворением строгости и возмездия, сделал ему за это замечание, сказав, что суд не интересует, удовлетворен он или нет, после чего прочитал ему смертный приговор — прочитал так, как если бы на вздор, который во время всего процесса говорил к удовольствию публики Моосбругер, надо было наконец ответить серьезно. На это Моосбругер ничего не сказал, чтобы не было впечатления, что он испугался. Затем заседание закрыли, и все кончилось. Но тут дух его все-таки дрогнул; он отшатнулся, бессильный перед высокомерием этих бестолковых людей; когда его уже выводили судебные надзиратели, он обернулся, начал искать слова, вытянул руки вверх и крикнул голосом, который стряхивал понуканья его стражей:

— Я этим удовлетворен, хотя и должен признаться вам, что вы осудили сумасшедшего!

Это была непоследовательность; но Ульрих сидел не дыша. Это было явно сумасшествие, и столь же явно это была лишь искаженная связь наших собственных элементов бытия. Оно было разорвано на куски и пронизано мраком; но Ульриху почему-то подумалось: если бы человечество, как некое целое, могло видеть сны, возник бы, наверно, Моосбругер. Он отрезвел лишь тогда, когда «жалкий шут, адвокатишка», как обозвал того однажды в ходе процесса неблагодарный Моосбругер, подал из-за каких-то частностей кассационную жалобу, а великана, его — и Ульриха — подзащитного, уже увели.

19

Увещевание письмом и случай приобрести свойства. Конкуренция двух вступлений на престол

Так проходило время, и однажды Ульрих получил письмо от отца.

«Дорогой мой сын! Минуло уже опять несколько месяцев, а из твоих скупых сообщений по-прежнему не видно, чтобы ты сделал хоть небольшой шаг вперед в своей карьере или готовился таковой сделать.

С радостью признаю, что в течение последних лет мне выпадало удовольствие слышать, как разные уважаемые лица хвалят твои успехи и прочат тебе на их основании большое будущее. Но, с одной стороны, твоя, не от меня, конечно, унаследованная склонность сперва рьяно браться за решение привлекшей тебя задачи, а потом словно бы забывать свой долг перед собой и перед теми, кто возлагает на тебя надежды, с другой стороны, то обстоятельство, что в твоих сообщениях я не нахожу ни малейшего указания на какой-либо план дальнейших действий, наполняют меня тяжкой тревогой.

Мало того, что ты уже в том возрасте, когда другие мужчины успевают создать себе прочное положение в жизни,— я ведь в любой час могу умереть, а состояние, которое я оставлю, разделив его поровну между тобой и сестрой, будет хоть и немалым, но не настолько по нынешним временам и большим, чтобы одно только обладание им обеспечило тебе какое-то общественное положение, которого ты, стало быть, должен добиться наконец сам. Мысль, что с тех пор, как ты стал доктором, ты лишь очень неопределенно говоришь о планах, простирающихся на самые разные области и тобою, вероятно, по твоему обыкновению сильно переоцениваемых, но никогда не пишешь ни об удовлетворении, которое доставила бы тебе преподавательская деятельность, ни о вступлении ради подобных планов в контакт с каким-либо университетом, ни вообще о связях с влиятельными кругами — вот что наполняет меня порою тяжкой тревогой. Меня, человека, который сорок семь лет назад в своем известном тебе и выходящем ныне двенадцатым изданием труде «Учение Самуэля Пуфендорфа о вменяемости и современное правоведение», выявив истинные связи вещей, первый порвал в этом вопросе с предрассудками старой школы уголовного права,— меня вряд ли можно заподозрить в недооценке научной самостоятельности; но в то же время, имея позади опыт большой трудовой жизни, я не могу согласиться с тем, кто рассчитывает лишь на себя самого, пренебрегая научными и светскими связями, которые только и выводят труд одиночки на плодотворную и полезную стезю.

Поэтому я твердо надеюсь услышать о тебе вскорости и найти расходы, сделанные мною для твоего продвижения, вознагражденными тем, что теперь, по возвращении на родину, ты завяжешь такие связи и не будешь ими долее пренебрегать. Я написал в этом же смысле своему многолетнему верному другу и покровителю, бывшему президенту Счетной палаты и нынешнему председателю юридического августейшей фамилии партикуляритета при ведомстве гофмаршала его превосходительству графу Штальбургу и попросил его благосклонно отнестись к просьбе, с которой ты в скором времени обратишься к нему. Мой высокопоставленный друг соблаговолил немедленно мне ответить, и, на твое счастье, он не только примет тебя, но и проявит живой интерес к твоим делам, как я описал их. Тем самым, насколько это в моих силах и насколько я могу судить, твое будущее обеспечено — при условии, что ты сумеешь расположить к себе его превосходительство и одновременно укрепить свою репутацию во влиятельных академических кругах.

Что же касается просьбы, которую ты, конечно, с радостью доложишь его превосходительству, как только узнаешь, о чем идет речь, то суть ее такова.

В 1918 году, приблизительно 15.VI, в Германии должно состояться пышное, способное запечатлеть в памяти мира величие и мощь Германии празднование тридцатилетия правления императора Вильгельма II; хотя впереди еще несколько лет, из надежного источника известно, что готовятся к юбилею — пока, разумеется, совершенно неофициально — уже сегодня. Ты, вероятно, знаешь, что в том же году празднует семидесятилетие вступления на престол наш достопочтенный император и что дата эта приходится на 2 декабря. При чрезмерной скромности, проявляемой нами, австрийцами, во всех вопросах, касающихся нашего собственного отечества, можно опасаться, что мы получим, позволю себе сказать, еще один Кёниггрец, то есть что немцы с их целенаправленной методичностью снова опередят нас, подобно тому как тогда они взяли на вооружение игольчатое ружье, прежде чем мы успели опомниться.

К счастью, опасение, мною только что высказанное, уже предвосхищено другими патриотически настроенными лицами с хорошими связями, и могу сказать тебе по секрету, что в Вене начата акция, имеющая целью помешать оправдаться этому опасению и выставить полновесность богатого успехами и заботами семидесятилетия в более выгодном свете, чем юбилей всего лишь тридцатилетний. Ввиду того, что 2.XII никак, естественно, нельзя поставить впереди 15.VI, возникла счастливая мысль сделать весь 1918 год юбилейным годом нашего императора-миротворца. Я, правда, информирован об этом лишь постольку, поскольку учреждения, к которым я принадлежу, имели возможность высказать свою точку зрения на эту инициативу, подробности ты узнаешь сам, когда явишься к графу Штальбургу, который предназначил для тебя в подготовительном комитете почетное при твоей молодости место.

Настоятельно советую тебе также не избегать долее, как ты до сих пор это делал, к истинному моему огорчению, давно уже рекомендованного мною знакомства с семьей начальника отдела Туцци из Министерства иностранных дел и Императорского дома, а тотчас же засвидетельствовать свое почтение его супруге, доводящейся, как ты знаешь, дочерью двоюродному брату жены моего умершего брата и, стало быть, кузиной тебе, ибо она, по моим сведениям, занимает видное положение в проекте, который я тебе только что описал, а мой досточтимый друг, граф Штальбург, уже с чрезвычайной любезностью предупредил ее о твоем визите, в силу чего ты должен нанести его безотлагательно.

О себе ничего более сообщить не могу; работа над переизданием моей вышеупомянутой книги отнимает помимо лекций все мое время и все силы, какие еще остаются на старости лет. Надо с пользой употреблять свое время, ибо оно коротко.

О твоей сестре знаю только, что она здорова; у нее есть дельный и заботливый муж, хотя она никогда не признается, что довольна своим жребием и чувствует себя счастливой.

Тебя благословляет любящий тебя

о т е ц».

■

Документальная проза

ВИНЬЯ НДАДИ

Разрывая контракт...

Перевод с английского Ю. ГОРБУНОВА

Простые люди в далеких странах — не министры, не писатели, не ученые,— что думают они о жизни, о себе, об окружающем мире? Те, кто не пишет воспоминаний, да нередко и вообще не умеет писать. Не выступает по радио и телевизору. Не дает интервью.

Много ли остальное человечество знает об их помыслах, мечтах, о том, какова их повседневная жизнь и какой представляется она им самим? Как поглядеть на мир их глазами? Как, что называется, влезть в их шкуру?

Вот хотя бы Африка. Много ли мы знаем воспоминаний, дневников, написанных африканцами? Да и то немногое, что известно, принадлежит перу, как правило, государственных деятелей или маститых писателей.

Лежащие перед нами страницы — это воспоминание человека, который родился в самой простой, обычной семье в африканской, как любят теперь писать журналисты, глубинке, вдали от городов и промышленности. Поскольку семья не могла сводить концы с концами из-за больших налогов и высоких цен, он вынужден был покидать дом и уходить на заработки: заключать контракты на работу в городах, на фермах, на рудниках.

Страна, которая проходит перед читателем,— Намибия. Это делает воспоминания особенно важными и интересными. Ведь в Намибии наши соотечественники не бывают. Мы не можем прочитать о ней в путевых заметках московских или ленинградских журналистов, инженеров или артистов как о большинстве других африканских стран.

Намибия для нас — край за железным занавесом. С давних времен она захвачена Южно-Африканской Республикой и на нее распространено существующее в Южно-Африканской Республике расистское законодательство апартхейда. В соответствии с призывом африканских государств, бойкотирующих Южно-Африканскую Республику, Советский Союз не поддерживает с нею дипломатических, деловых, торговых и культурных связей. Поэтому никто из советских людей не бывает и в Намибии.

...Воспоминания Виньа Ндади записаны с его слов. Сейчас он входит в руководство СВАПО — Народной организации Юго-Западной Африки, революционной партии, борющейся за освобождение Намибии от господства ЮАР.

Воспоминания охватывают время с конца 40-х до середины 60-х годов. Намибия была известна тогда под старым колониальным названием — Юго-Западная Африка.

Перед читателем проходит жизнь в родных местах автора — на севере Намибии, в Овамболенде, стране народа овамбо. Колониальные власти когда-то разделили Намибию на две части. Север — это «зона племен», а южные и центральные области — «полицейская зона»: там живет большинство белых колонистов, там сосредоточены промышленность, города. Переезжая «красную границу», делящую эти части, житель севера оказывается под неусыпным контролем полиции, он должен иметь «разрешения» на право жительства, на право работать...

Виньа Ндади рассказывает о жизни и в родном селении, и в «полицейской зоне» — в Виндхуке, главном городе Намибии, в других городах, на заводах, на рудниках, на фермах. О жителях своей страны — не только о черных, но и о цветных, как в Южной Африке называют метисов. О бурах, потомках выходцев из Нидерландов и Франции; сейчас они называют себя африканерами (то есть африканцами), а свой язык — африкаанс.

Рассказывает о том, каково приходилось ему в компаундах — местах, отведенных для африканцев при рудниках, при «белых» фермах. Или в полицейских участках, на допросах офицерами Особого отдела — южноафриканской охранки. О новшествах в колониальной политике и особенно о «бантустанизации», создании так называемых национальных отечеств для овамбо и других бантуязычных народов.

И, наконец, о первых забастовках и рождении той партии СВАПО, которая к нашему времени уже почти четверть века возглавляет борьбу народов Намибии.

Рассказ подводит к выводу, что у соотечественников Виньа Ндади нет другого выхода, как разорвать «контракт» с колониальным режимом. Об этом автор говорит так искренне и просто, что даже на самого недоверчивого читателя его рассказ произведет глубокое впечатление.

АПОЛЛОН ДАВИДСОН

Люди в вагонах для перевозки скота

Меня зовут Виньа Ндади. Я родился в деревне Охонго в Овамболенде 24 октября 1928 года и был вторым сыном в семье после Джэксона — или Хамутеньи. Так его называли мы. После меня родились еще два мальчика и девочка. Отец с матерью обрабатывали клочок земли, и так мы кормились.

Родители пришли в Охонго из Окафимы (в Анголе) в 1917 году, когда португальские колонизаторы вторглись во владения племени кваньяма, королем которого был смелый Мандуме. Его они расстреляли в Онджива и постарались уничтожить всех его родичей с помощью буров. А мой отец был в дальнем родстве с королем, и когда португальцы захватили земли кваньяма, ему пришлось перебраться в Охонго.

Когда отец жил дома, то помогал матери обрабатывать участок. Но он часто заключал контракты и надолго уезжал. Тогда все хозяйство ложилось на плечи матери. А поля в те времена обрабатывали мотыгами.

Матери приходилось тяжело без отца. Она и в поле работала, и по дому управлялась, и за детьми приглядывала, и воду носила. А в Охонго с водой было трудно. Мне не довелось видеть тяжелые засухи, но старики в деревне, да и мои родители рассказывали о том, как в годы, когда выпадало мало дождей, люди умирали от голода. Отец вырыл колодец возле крааля, только воды он давал мало, и каждый день моя мать и другие женщины отправлялись с ведрами и долбленными тыквами за десять километров к источнику.

Еще совсем малышом я не только играл, но и помогал матери по хозяйству, а в пять лет я уже работал в поле и пас скот.

Когда мне исполнилось восемь, меня отдали в миссионерскую школу. Учился я в ней семь лет. Учеников там (главным образом мальчиков) было пятьсот, а занятия вели шесть-семь учителей. Теперь я понимаю, что наши учителя сами были не очень образованны, но тем не менее кое-что мы благодаря им узнали — арифметику, европейскую историю и географию (во всяком случае, мы умели показать на карте Африку).

Учиться мне нравилось, хотя я не все предметы усваивал одинаково. Но самым трудным было добираться до школы в плохую погоду. Каждый день я шагал по двадцать километров туда и обратно. Встанешь в семь утра, наскоро проглотишь свою порцию кукурузной каши и отправляешься с приятелями в школу. Занятия начинались в одиннадцать часов — чтобы на них могли успеть ученики, которые жили от школы даже еще дальше, чем я.

Мало у кого из нас была обувь или теплая одежда. Помнится, зимой ноги у меня распухали и покрывались ссадинами. Несколько раз я простужался и долго болел. Даже когда отец уезжал куда-нибудь, в семье не хватало денег на одежду. Он ведь получал в месяц пять-шесть шиллингов. Этого только-только хватало на еду. А о покупке одежды, коров или еще чего-нибудь для хозяйства и мечтать не приходилось. Вместе с нами учились дети из богатых краалей. Они приходили в школу в обуви и теплой одежде. Нам, детям бедняков, конечно, было обидно, что их одевают хорошо, а мы ходим в лохмотьях.

На уроках мне трудно было сосредоточиться — ведь я всегда приходил в школу голодным и усталым. Завтрака с собой я не получал, а в школе нам даже чаю не давали. Так мы и сидели голодными до пяти часов вечера, когда занятия кончались. Если меня задерживали после уроков за опоздание, то я должен был мчаться домой во весь дух, чтобы успеть до ужина помочь по хозяйству: загнать скот, принести дрова или еще что-нибудь. После ужина я учил уроки с кем-нибудь из товарищей. Денег на учебники у меня не было, вот я и ходил к другим ребятам. Иногда кто-нибудь одал-

живал мне учебник на ночь. Пожалуй, именно это больше всего и мешало мне учиться — либо иди к кому-то, либо обходись без учебника.

Порядки в школе были очень строгие. Задремавшего на уроке на полчаса ставили в угол. На уроках труда мы мастерили корзины, циновки, соломенные шляпы. Тех, кто работал медленно и старательно, обвиняли в лености и заставляли неделю подметать классную комнату. Тех, кто опаздывал, оставляли на час после уроков, и возвращаться домой — чаще бегом — приходилось в одиночку.

На большой перемене мы иногда могли поиграть. Ребята связывали тряпки в узел и гоняли его, точно мяч, а девочки мастерили себе скакалки.

В школе у меня были друзья, но почти все они жили далеко от нашего крааля.

Я закончил школу в 1943 году. Больше учиться мне не пришлось. Шла вторая мировая война, отец служил в армии, и надо было помогать по хозяйству. Отец присылал нам немного денег — около двух фунтов в месяц, иногда меньше. Но мать их не тратила, а копила. И когда отец, прослужив три с лишним года, вернулся домой, мы смогли купить кое-что для семьи: зерна, несколько коров, коз и еще кое-что. Пособия за военную службу отец не получил — его давали только белым.

Продолжить учебу я не мог: у нас не было на это денег. И в настоящее время африканец в Намибии, как правило, не может получить хорошее образование. Слишком дорого оно стоит.

Когда мне исполнилось семнадцать лет, я пришел в бюро СВАНЛА [1], но надо мной только посмеялись и отослали домой, сказав, что я еще слишком молод и слаб. Нанимателям нужны крепкие мужчины для тяжелой работы в шахтах и на фермах, а не мальчишки, которым даже мешка с цементом не поднять. Мне отказывали там четыре раза и только на пятый, наконец, зарегистрировали. Я хотел уехать, потому что другого выхода у меня не было.

После медосмотра меня занесли в категорию «В». Это деление рабочих на категории в зависимости от силы и здоровья существует и по сей день. Агентам по найму больные и слабые не нужны. Самых крепких и здоровых зачисляют в категорию «А», здоровые, но не очень сильные попадают в категорию «Б», а самые молодые оказываются в категории «В». Заработок зависит от категории, мы, рабочие категории «В», получали тогда 8 шиллингов в месяц, категории «Б» платили 10 шиллингов, а те, кто попадал в «А», зарабатывали 15 шиллингов. Осматривали нас, как осматривают скот, а потом я получил с буквой «В» и номер. Я был обязан носить эту бирку на шнуре на шее постоянно.

В тот же день всех зарегистрированных увезли на автобусе в лагерь СВАНЛА под городом Хрутфонтейном. Там нас построили в длинную шеренгу, и служащий бюро сосчитал рабочих каждой категории. Затем нас развели по баракам, где нам вместе со многими другими предстояло ждать, пока мы не получим документов и не будем отправлены на юг. Как я скоро узнал, время пребывания в лагере зависело от того, когда твой баас (хозяин, господин) пришлет деньги на проезд к месту работы. Если деньги не были высланы вместе с заказом на рабочую силу, ждать приходилось чуть не по месяцу. Однако мне повезло — я уехал из Хрутфонтейна через неделю.

Лагерь состоял из конторы и бараков. За высокой оградой из колючей проволоки. Кроватей в бараках не было. Рабочим выдавали пару грязных, кишевших вшами одеял, и, завернувшись в них, мы спали прямо на цементном полу. Грязь, духота и миллионы клопов. Вонь там стояла такая, что в первую ночь я так и не смог сомкнуть глаз: на 20 человек полагалась одна параша. Кормили нас тоже на редкость скверно: одной кашей и раз в неделю — крохотный кусочек мяса. Новичков заставляли месить тесто ногами. Хлеб всегда был черствый и заплесневелый.

Наконец наступал день направления на работу:

— Иоханнес! Поедешь доить коров на такой-то ферме.

— Сэмюэль, поедешь в Цумеб на шахту...

Отказываться нельзя. Сперва я решил, что буду выбирать работу, но, посмотрев, как избили человека, не согласившегося на предназначенный ему контракт, передумал и не стал спорить. На свое счастье, как мне объяснили.

— Винья, будешь слугой у мистера Юсте, фермера в округе Мариенталь.

На юг в Мариенталь я ехал на поезде. Нас втиснули по двадцать с лишним человек в небольшие вагоны, предназначавшиеся для перевозки скота. Навоз застлали бре-

[1] СВАНЛА — Ассоциация труда коренных жителей Юго-Западной Африки. Создана в 1943 г. Только через ее бюро африканцы с севера Намибии могли законтрактоваться на работу в белые районы страны.

зентом, но лечь на него было невозможно. Все пять суток я ехал стоя или сидя. Для отправления естественных надобностей приходилось ждать следующей станции. Не было в вагоне и бачка для воды — скот в дороге обходится без нее. Я грыз выданный нам на дорогу черствый хлеб и мучился от жажды. Она оказалась гораздо страшнее голода.

Мы пересекли «красную границу», и поезд помчал нас по «полицейской зоне», простирающейся от Цумеба до реки Оранжевой вдоль границы с Южной Африкой. На станции в Мариентале мне сказали, что я должен там ждать хозяина, и мне пришлось провести в бараке при станции целую неделю. Мистер Юсте удивился, что я немного говорю на африкаанс, и объявил:

— Будешь не только слугой в доме, а еще и переводить для меня.

Он был богатым буром, и у него на ферме работало много овамбо.

Такой большой фермы, как у Юсте, я еще никогда не видел. Повсюду окруженные высокими деревьями тянулись поля картофеля, капусты, моркови и других овощей, а также фруктовые сады, виноградники, рощи финиковых пальм и пастбища для овец.

Не считая меня, на ферме работали еще одиннадцать овамбо. Звон колокола будил нас в пять часов утра. В шесть мы начинали работу. В сухой сезон пастухи вставали даже еще раньше, потому что стада приходилось гнать на далекие пастбища, где была вода.

Утром я варил и подавал кофе хозяевам — «баасу» и «миссус», как нам было велено их называть. Затем готовил еду, убирал дом, колол дрова, поливал цветы и так далее. Работники возвращались с полей около пяти часов вечера, а пастухи — около шести, но мне приходилось бегать до десяти часов вечера, а то и дольше, особенно когда приезжали гости.

Но тяжелее всего было переводить. Я ведь только повторял слова хозяина, но африканцам порой казалось, что я на его стороне. И если я смягчал их ответы, зная, что за грубость им не избежать побоев, они сердились и даже угрожали мне.

Помню, как во время засухи пастух Хамакали потерял несколько овец. Хозяин пригрозил ему расправой, и пастух ответил, что не позволит себя бить, а если они попробуют, он сам изобьет хозяина. Мне не хотелось переводить такой ответ, но он потребовал, чтобы я перевел все слово в слово. Юсте побагровел:

— Так ты собрался избить бааса, Хамакали?

— Да.

— Ну что ж, посмотрим. Либо ты завтра найдешь потерянных овец, либо мы тебя отправим в Мариенталь в полицию.

Хамакали сказал, что не будет больше работать. Хозяин приказал связать его и отвезти в полицейский участок. Там его зверски избили, не спросив даже, в чем он провинился. Их дело было держать законтрактованных работников в страхе и повиновении хозяину.

Но при этом старик Юсте был даже лучше других фермеров. Белые могли обращаться со своими работниками как им вздумается. Сколько раз мы слышали, как такой-то фермер убил работника только за то, что он посмел ему возразить. Искать защиты у закона не имело смысла — ведь законы пишут сами белые. За любую попытку не то чтобы заспорить, но даже пожаловаться нас избивали или отсылали домой, ничего не заплатив.

Проработав три года на ферме Юсте, я совсем вымотался. Три года на кукурузной каше с щепоткой соли да изредка кусочек мяса, когда издыхала овца. Я варил кашу дважды в день. Но пастухи ели только по вечерам. Завтрак мы получали редко и к ночи так уставали, что спали как убитые.

Срок моего контракта истек в 1950 году, и я решил уехать домой. В кармане у меня было два фунта — весь мой заработок за три года!

В поезде я услышал о том, что разлив реки Хамутони разрушил железнодорожный путь, и решил: чем пережидать наводнение в лагере Хрутфонтейна, сойти раньше в Виндхуке. Когда я сказал об этом своим попутчикам, они начали меня отговаривать. Ведь без пропуска меня сразу арестуют.

— Мне все равно,— сказал я.— Пусть арестуют. Все-таки это лучше, чем сидеть в Хрутфонтейне.

Они поняли, что я имел в виду: мы слышали, что в лагере СВАНЛА люди умирали голодной смертью.

В Виндхуке я отыскал старый немецкий отель, где работал официантом мой школьный товарищ. Сэм мне очень обрадовался, отвел меня в свою комнату и обещал при-

нести мне поесть. Он объяснил, что должен вернуться в ресторан, но потом мы наговоримся вволю.

Вечером я рассказал ему о своей работе на ферме и спросил, как у них тут в Виндхуке. Он ответил, что плохо. Полиция свирепствует.

— Если тебя поймают без пропуска, то изобьют и сгноят в тюрьме. А узнают, что ты работал по контракту, так сразу решат, будто ты удрал самовольно и бродяжничаешь. Ну и отправят к прежнему хозяину, только прежде изобьют.

Я спросил Сэма, а не удастся ли мне устроиться на работу в Виндхуке.

— Это непросто, но попробовать можно. Пойди в управление по делам туземцев и объясни, почему ты не можешь уехать в Овамболенд. Может, тебе и дадут разрешение.

Днем Сэм был свободен и проводил меня в управление. И тут мне повезло: в первом же окошечке я увидел Саймона Нехеми, сына нашего старосты в Охонго. Я объяснил ему свое положение и сказал, что хотел бы устроиться тут на временную работу, месяца так на два, пока не кончится наводнение.

— Может, что-нибудь и получится,— ответил Саймон.— Я поговорю с начальником.

Вернулся он не скоро. Но я увидел, что он улыбается.

— Вот тебе пропуск, Винья. Не забудь, что он действителен только два месяца. Зайди, прежде чем срок истечет, и, может быть, его удастся продлить.

Я, конечно, обрадовался. Но ведь еще оставалось главное — найти работу.

— Тут я тебе помочь ничем не могу. Попробуй обойти промышленные фирмы — «Пупкевич и сыновья», «Льюис»— или поспрашивай в отелях и ресторанах. Может, и повезет.

Я было собрался уходить, но тут вошел белый в черном костюме. Его фамилия была Зандер. Он сказал Саймону, что ему требуется прислуга для его кафе.

Саймон отозвал меня в сторону и шепнул:

— Это владелец большого ресторана. Хочешь поработать у него?

— Еще бы! — сказал я.

Вот как просто все получилось.

Зандер увез меня в свой ресторан. Там все так и кипело: официанты сновали на кухню и обратно, и там черные ребята мыли горы посуды, чистили картошку. Многие африканцы были из Южной Африки.

Зандер увел меня к себе в кабинет и сказал:

— Будешь официантом. Сколько хочешь получать в месяц?

Я уже хотел ответить: «Пять фунтов», но испугался. Такие деньги после восьми шиллингов у Юсте! А вдруг согласится? Я собрался с духом:

— Ну, баас... я бы хотел получать пять фунтов.

— Пять фунтов? Что же...— Он помолчал.— Хорошо. Но только уж веди себя как джентльмен.

Он вызвал метрдотеля, африканца из Малави, и велел ему научить меня, как накрывать на стол, как носить блюда и так далее. Мне выдали белую форму, и я сразу приступил к работе. Она показалась мне легкой.

Я обслуживал свои столики без перерыва до полуночи — до закрытия. Когда мы переодевались в подсобке, метрдотель сказал, что я и дальше буду работать в вечернюю смену с четырех до двенадцати ночи. Так я проработал несколько недель. Потом меня перевели в дневную смену. Днем не так устаешь: посетителей меньше и банкеты бывают редко.

Вскоре я привык к работе и ел вдоволь. Вопрос был только в том, где жить. У Сэма я оставался недели две, но то было нарушение закона, и на меня там начали посматривать с подозрением. Пришлось перебраться к Абсалому, другому моему школьному другу. Он жил у хозяина в лачужке на заднем дворе. Попадаться на глаза хозяевам нельзя было ни в коем случае, но все равно опасности там мне грозило меньше, чем в отеле у Сэма.

Неделю все шло благополучно, а потом как-то утром, когда я выходил из хижины, меня заметила хозяйка, и пришлось искать новое убежище. Пять дней я прожил у товарища, но тут истек срок его контракта, и он сказал, что сразу же уедет в Овамболенд. Я пытался уговорить его остаться, но он стоял на своем:

— Уж лучше торчать в Хрутфонтейне, чем работать на них здесь.

Было воскресенье, и я пошел в компаунд у вокзала, где жили рабочие, законтрак-

тованные железной дорогой и муниципалитетом. Там я нашел много старых друзей. Они слышали, что я приехал в Виндхук, но не смогли меня найти. Я рассказал им о своих мытарствах.

— У нас тут опасно. Полиция каждую ночь устраивает облавы и арестовывает всех, у кого нет нужных документов. Мы, конечно, только рады оставить тебя ночевать, но риск очень велик.

Но что мне оставалось? Риск был повсюду одинаков. Мы потолковали, и они показали мне кое-какие свои тайники, где можно было устроиться на ночь.

Компаунд состоял из двенадцати бараков, окруженных высокой оградой из колючей проволоки. В единственных воротах стоял сторож и проверял пропуска. Задержанных отправляли в городскую полицию. А иногда сообщали о них в южноафриканскую полицию, в железнодорожную полицию или в полицию управления по делам туземцев — полиции в Виндхуке вполне хватало! Но мне везло: меня ни разу не задержали.

Правда, сторожа тоже были из Овамболенда и мало кто из них доносил на земляков. Но некоторые по глупости хотели выслужиться перед своими хозяевами, надеясь, что им будут платить побольше, или еще на какие-нибудь подачки. Но такие были трусами и опасались, что с ними разделаются как с доносчиками. Вот почему овамбо редко попадали в руки полиции.

В ресторане я работал очень старательно и тщательно, избегал конфликтов с посетителями, даже самыми капризными и придирчивыми. Да и что бы мог я сделать? Это же были белые, хозяева и полиции и законов. Тем более что срок действия моего двухмесячного пропуска давно истек. Наводнение уже кончилось, и я знал, что пропуск мне не продлят. А я хотел остаться, так как получал хорошее жалованье да еще чаевые. Теперь я мог купить хорошие подарки родным и приодеться. Тогда я ведь стремился стать таким же, как хорошо одетые городские африканцы. Помню, при первой же возможности я купил себе черный костюм в мелкую полоску.

Но потом полиция устроила проверку документов в ресторане и забрала пятерых овамбо, считая и меня. В участке я показал свой просроченный пропуск. Полицейский заорал на меня:

— Черный дурень! Ты давно должен был уехать. Чего ты тут торчишь!

Он велел мне явиться в управление по делам туземцев и получить дорожный пропуск.

— Если через два дня ты не уедешь, пеняй на себя — тебя изобьют и посадят за решетку.

У меня сохранился старый пропуск СВАНЛА, а потому я просто вернулся в компаунд и собрал свои вещи. Я решил уехать домой, где не был уже четыре года.

Мне не терпелось добраться домой, но в Хрутфонтейне я застрял на две недели. Как было приятно сесть наконец в автобус! Я только жалел, что он тащится так медленно. Мне уже представлялась долгожданная встреча с отцом и матерью. В середине дня мы добрались до Намутони, где предстояла пересадка.

В свое время немецкие колонизаторы построили в Намутони крепость, и она сыграла свою роль в войне против племени ондангва в 1908 году. Теперь СВАНЛА устроила там перевалочную базу для своих рабочих. На кухне нам дали кашу. А потом началось долгое ожидание. Около полуночи я задремал, но тут же меня разбудили странные звуки. Мои соседи всполошились.

— Что это? — крикнул кто-то.

— Львы,— ответили ему.

В этих местах было много львов, а наш неогороженный лагерь стоял у дремучего леса. Несколько человек пошли взглянуть, что там такое, и вернулись бегом.

— Да, это львы!

Мы быстро развели костер и по очереди дежурили у него до утра. Наконец подъехал автобус на Онданґву, и мы забрались в него, невыспавшиеся, но счастливые, что оставляем львов далеко позади.

Около десяти часов утра мы въехали в Онданґву, городишко, расположенный в девяноста километрах от ангольской границы. Оттуда мне предстояло пройти пешком шестьдесят километров до Охонго. Но меня это не пугало — я вернулся в родные края к своим.

На другой день около девяти часов вечера я увидел вдалеке наш крааль, но узнал его с трудом: старые хижины исчезли, а новые были расположены по-новому.

Но затем я поглядел на знакомые купы деревьев среди полей. Да, я вернулся домой. Но навстречу мне выбежал не наш старый пес, а незнакомая собака и залилась свирепым лаем. Я уж думал, что она на меня набросится, когда ее отозвал мой брат Александр.

— Кто тут? — спросил он подозрительно.

— Я, Виньа.

— Виньа? — Он подпрыгнул от радости и кинулся обнимать меня. Мы радостно смеялись. Ну, вы понимаете, как ведет себя человек, вернувшись домой после четырехлетнего отсутствия. Мы вошли в крааль. Из хижин высыпали все их обитатели, окружили меня, засыпали вопросами.

Мы вошли в хижину для гостей. Александр принес дрова, мы развели большой костер и могли теперь рассмотреть друг друга. Сестра приготовила еду, и мы долго сидели у огня, разговаривая и попивая кукурузное пиво.

Я рассказывал о том, как работал и жил на ферме и в Виндхуке, они мне — о домашних делах. Мои братья Хамутенья и Иссашар законтрактовались в Цумеб на медные рудники, Иссашару только что исполнилось шестнадцать. Александр был слугой у начальника станции в Отджо, но не угодил баасу, и тот выгнал его до конца контракта. Сестра Халалия поступила в школу в Энгела.

Утром отец повел меня в поле и показал плуг, за который заплатил в магазине СВАНЛА большие деньги, а также вола и двух ослов. На них он пахал. В засуху 1946—1947 годов у нас погибло много скота. Из десяти коз, считавшихся моими, осталось всего четыре. Одну из них я через четыре дня зарезал для пира в честь моего возвращения, мы сварили пива и приготовили много всяких кушаний. Я уже давно так хорошо не ел.

Несколько месяцев я помогал отцу и брату. Мы построили несколько новых хижин, починили изгороди, трудились в поле. Все время находилось какое-нибудь дело.

В январе 1951 года я решил снова законтрактоваться. Теперь я рассчитывал получить работу получше,— возможно, на алмазных копях в Оранджемунде. Я попрощался с родными и отправился в Ондангва. Там я сразу прошел медосмотр и получил категорию «Б», так как стал выше ростом и крепче. Затем я некоторое время ждал. Наконец по громкоговорителю объявили: «Те, кто хочет работать на алмазных копях, идите к конторе». Там уже вытянулась длинная очередь, но, к большому разочарованию многих и моему в том числе, брали только опытных рабочих с документами, подтверждающими это. Я вернулся в барак.

Неделю спустя меня и еще несколько человек вызвали в контору. Мне там сказали:

— Будешь работать в Виндхуке у мистера Маре, почтмейстера, домашним слугой.

На следующий день я уже ехал в вагоне для скота. Я старался не обращать внимания на грязь и вонь, но три дня пути казались нескончаемо долгими.

Маре, мой новый хозяин, повез меня в машине к себе. Он жил в особняке в самом фешенебельном районе города.

Он сказал мне, что он хороший баас, а его жена — хорошая миссус.

— Если будешь усердно работать, мы дадим тебе прибавку.

По контракту мне полагалось получать фунт пять шиллингов в месяц.

Хозяева показали мне дом и объяснили, что я должен буду делать. Поместили меня в кирпичной будочке на заднем дворе. В единственной тесной комнатушке. Удобства находились в пристройке. Мне дали будильник, чтобы я вставал пораньше и готовил им завтрак и кофе.

Хозяева показались мне неплохими людьми, но работы было очень много. Я поднимался в шесть утра, до трех убирал комнаты и готовил, час отдыхал у себя в каморке, и потом поливал большой цветник. Хозяева очень им гордились, и мне приходилось тратить много времени на уход за цветами. В семь я возвращался в дом, подавал ужин и мыл посуду. Я был единственным слугой, и работа казалась нескончаемой.

Я надеялся, что Маре сдержит свое обещание и скоро прибавит мне жалованье, но через десять месяцев меня начали одолевать сомнения — он больше ни разу не упомянул о прибавке. Наконец я собрался с духом и как-то вечером сказал, что хотел бы получать на пять шиллингов больше. Оба возмутились, особенно хозяйка. Она объявила, что я дерзок и ленив.

— Иногда,— пожаловалась она мужу,— он словно вообще меня не замечает. Я ему что-нибудь говорю, а он притворяется, будто не слышит.

— Ах так! Значит, ты дерзил миссус и плохо работал! В этом случае ни о какой прибавке не может быть и речи.

Я попытался оправдаться, но он оборвал меня на полуслове.

На следующий день миссус начала меня поучать:

— Винья, нельзя быть таким заносчивым и просить у бааса прибавки.

Я слушал, а сердце у меня бешено колотилось, меня душила ярость — ведь накануне она все солгала. И я ответил:

— Ну, я посмотрю, что мне делать.

— Что? — крикнула она.— Да что ты можешь сделать?

— Я человек,— сказал я.— И могу делать что хочу. Ведь я здесь не в тюрьме.

Она сердито ушла, а вечером пожаловалась мужу.

Маре позвал меня, долго ругал и пригрозил отправить меня в полицию, если я и дальше буду грубить. А там меня хорошо проучат.

«Так ничего не добьешься, а только хуже сделаешь,— подумал я.— Надо быть осторожным».

— Баас, я хочу работать. Только работать, и ничего больше.

Мало-помалу хозяин успокоился:

— Ладно. Но только чтобы я больше не слышал ни о каких прибавках.

Через три месяца я снова заговорил, что получаю за свою работу слишком мало.

— Ведь вы же обещали дать мне прибавку, если я буду работать усердно. Один фунт пять шиллингов — это недостаточно за такой труд. Если вы думаете, что я от прибавки разбогатею, то возьмите садовника, а я буду работать в доме за то же жалованье.

Этого он снести не мог. И пригрозил пристрелить меня.

Я промолчал и только посмотрел на него. Скольких африканцев убивали за неповиновение, и это проходило незамеченным.

Мне стало ясно, что оставаться тут нельзя. Я сказал себе: «Что ты тут делаешь, Винья! К черту контракт! Уходи отсюда! Пусть меня поймают и подвергнут наказанию,— думал я.— Хуже, чем здесь, не будет».

Я вымыл посуду после ужина в девять часов вечера, ушел в свою комнатушку, тщательно занавесил окно и начал собираться. Их вещи — будильник и соломенную шляпу для работы в саду я оставил. Часов в одиннадцать, когда совсем стемнело, я осторожно пробрался мимо дома и выскользнул на улицу. Я пошел к своему другу, который жил в лачужке за методистской церковью, где служил сторожем. Я постучал.

— Это я — Винья! Можно у тебя переночевать, Джозеф?

— Конечно. Но что случилось? — прошептал он, отпирая дверь.

— Я ушел от этих буров. Наплевать на контракт. Просто сил не осталось терпеть.

— Тебе приходилось плохо, я знаю. Но что ты будешь делать теперь?

— Сам не знаю. Но что-нибудь подыщу,— ответил я.

На следующий день мой друг посоветовал мне сходить на хлебозавод Кассиме, где срочно требовались рабочие.

— Им так нужны люди, что они не станут спрашивать у тебя документы.

И я рискнул. Действительно, управляющий сказал мне только:

— Ладно, мы тебя возьмем. Старайся — и все будет нормально. Ты уже работал в пекарнях?

— Нет.

— Ничего, скоро набьешь руку,— буркнул он и отвел меня в цех.

Прежде чем подойти к мастеру, я спросил у пекарей, какие тут условия.

— Работа не тяжелая,— сказал один.— Но эти немцы просто самая последняя сволочь.

— Не знаю, сколько времени ты сумеешь терпеть их ругань,— добавил другой.— Нас было куда больше, но все разбежались.

И правда, в цеху трудилось всего двенадцать человек вместо прежних пятидесяти. Это было большое предприятие, снабжавшее весь Виндхук. И не только хлебом, но также сдобой, кексами и всякими булочками.

Тут ко мне подошел мастер и спросил:

— По-немецки говоришь?

— Нет, только на африкаанс.

— Чего стоишь? Работай! — заорал он.— Ты тут добрый час прохлаждаешься!

— Но мне же никто не сказал, что я должен делать.

— Берись за работу, черномазый, и не распускай язык! — Он даже побагровел от злости.

Я подошел к первой попавшейся тестомесилке и начал помогать тем, кто ее обслуживал. Работал я до девяти, пока не пришла вторая смена,— машины не останавливались ни на минуту. Смен было всего две, и однообразная работа в адском грохоте по двенадцать часов в сутки совершенно меня вымотывала.

За месяц я скопил семь фунтов в добавление к восьми фунтам, накопленным прежде, и решил найти работу полегче, пусть даже за нее будут платить меньше. Ушел я без предупреждения — но ведь все равно у меня не было документов — и через несколько дней устроился в бакалейную лавку, принадлежавшую немецкой семье по фамилии Якобсон. Я должен был убирать лавку, раскладывать товар по полкам, готовить заказы и прочее в том же духе.

Мне сказали, что эти старики чуть ли не каждый месяц нанимают нового африканца, и подумал про себя: «Тоже, значит, живоглоты». Во всяком случае, документов у меня они не спросили, и я настолько осмелел, что недели полторы спустя решил навестить вечером друзей.

Мы с моим приятелем Фестесом пошли в отель «Метрополь», но нас вдруг остановил белый полицейский.

— Куда идете?

— На вокзал, баас,— ответил я.— Мы вечером уезжаем в Овамболенд.

— Предъявите пропуска.

— Извините, баас, пропуска на вокзале с нашими вещами,— сказал Фестес.

— Как бы не так! — усмехнулся полицейский, и я понял, что он нас не отпустит.

В участке нам объяснили, что мы арестованы за отсутствие пропусков. У Фестеса, однако, было удостоверение личности, свидетельствовавшее, что он работает по контракту, и его не стали задерживать. А меня начали допрашивать двое полицейских. Я стоял на своем, и наконец они заявили:

— Ладно, пойдем на вокзал и проверим твой пропуск.

Мне стало ясно, что обмануть их не удастся, и когда мы вышли на улицу, я сказал:

— Послушайте, на вокзале у меня вещей нет. Я не думал уезжать сегодня.

Они потащили меня назад в участок и втолкнули в заднюю комнату.

— Хватит с нас твоего вранья! — заорал один, а другой ударил меня в живот.

Я согнулся и рухнул на пол. Первый начал пинать меня, но я обхватил его ногу и оттолкнул к стене. Но я не успел подняться, как они оба накинулись на меня и принялись избивать. Но так, чтобы на лице не осталось никаких следов. На суде это выглядело бы плохо. Они пинали по животу и спине и так, что я скоро потерял сознание.

Я очнулся от того, что мне на голову лилась холодная вода. Боль в животе была страшная. Я помотал головой и увидел, что меня поддерживают под мышки двое полицейских-африканцев. Увидев, что я пришел в себя, они отвели меня назад, и белые начали допрос.

— Фамилия?

— Откуда приехал?

— Как попал в Виндхук?

— Где работал?

Я выдумал себе фамилию и сказал, что приехал из Южной Африки, чтобы немного подработать и вернуться домой.

Но тут вошел еще один полицейский с толстой регистрационной книгой в руках. Он открыл и показал остальным какую-то страницу, а затем книгу положили передо мной. Я увидел свою фотографию, фамилию и номер моего контракта. Я слышал про эту книгу. В ней были собраны сведения обо всех рабочих, законтрактованных в Виндхуке. Я понял, что все пропало. Они проверили списки сбежавших. Маре не преминул сообщить о моем исчезновении.

— Значит, сплошное вранье, сукин ты сын!

Полицейский схватил меня, повалил на пол, и они опять начали бить меня ногами — по животу, спине, почкам, по всему телу. Длилось это, наверное, минут пять, но они показались мне часами.

Потом на меня надели наручники, и два полицейских отвели в тюрьму. Идти пришлось около километра, и каждый шаг был мукой. Меня втолкнули в камеру, где

уже сидело человек двенадцать африканцев. Было около часа ночи. Среди арестованных оказалось несколько моих знакомых. Все мы попали в облаву, устроенную для очищения Виндхука от африканцев без документов. Товарищи заговорили со мной, но я не мог произнести ни слова. Даже дышать было больно.

Эта моя первая ночь в тюрьме была просто ужасной. Тринадцать человек в тесной камере, где не было ничего, кроме жестяного ведра-параши и грязных одеял, кишевших клопами и вшами. Я сел рядом с другими на цементный пол. Некоторые спали, но я до утра не сомкнул глаз. Из-за боли, клопов и вонищи.

Еще до рассвета вспыхнули лампы. (Впрочем, солнечные лучи все равно в камеру не попали бы — единственное крохотное оконце находилось высоко, под самым потолком.) И тут полицейский принялся вертеть выключатель снаружи. Лампы замигали. Быстрая смена мрака и света оказалась мучительной пыткой. Потом дверь с грохотом распахнулась.

— А ну, кончайте дрыхнуть, сукины дети! Все в коридор!

Мы вышли. Я не понял, для чего полицейский нас пересчитал и скомандовал:

— В камеру марш!

Двадцать минут спустя он вернулся, снова принялся гасить и зажигать свет. Потом выгнал нас в коридор, мы построились в ряд, он нас пересчитал.

— А ну, в камеру!

До восьми нас оставили в покое, а за это время из каждой камеры полагалось вынести парашу во двор, куда приезжали цистерны для вывоза нечистот. В камерах существовало правило, что парашу выносят новички, и обязанность эта пала на меня. Ведро было переполнено и выплескивалось на ходу. Но я кое-как дотащил его до цистерны.

На завтрак принесли холодную кашу с застывшим жиром. Я заставил себя проглотить несколько ложек, не зная, когда нам еще дадут есть.

Затем нас вновь выгнали из камеры. Полицейский прочел по списку фамилии тех, кого вызывали в суд. Среди них, к счастью, был и я. На нас надели наручники, отвезли в суд и заперли там в камере. В десять часов нас отвели в зал. Там я увидел Маре.

— Виньа Ндади! — меня вызвали первым.

Обвинительное заключение было кратким: я нарушил контракт и убежал от Маре 13 марта 1951 года.

Судья спросил, признаю ли я себя виновным.

Я ответил, что не признаю.

— Может быть, я и нарушил контракт, но мой баас был очень плохим. Я бы выполнял свои обязанности, если бы баас обходился со мной достойно — как с человеком.

Я вел свою защиту сам. Нарушений контрактов и закона о пропусках было столь много, что таким подсудимым адвокатов не давали.

Разбирательство велось лишь для формы. Приговор все знали заранее. Судья сказал:

— Ты виновен в том, что ушел от хозяина за пять месяцев до истечения контракта.

Затем он спросил у Маре, хочет ли он, чтобы меня вернули ему.

— Нет! Мне он не нужен.

— Твой баас,— объявил судья,— не желает твоего возвращения, а потому тебя отправят под арестом в Ондангву. Кроме того, ты приговариваешься к штрафу в один фунт за то, что находился в Виндхуке без документов.

Я заплатил штраф, и полицейский отвел меня в управление по делам туземцев. Там сидели двенадцать закованных в цепи африканцев. Мне приказали сесть рядом с ними, но почему-то не заковали. Около полудня ко мне пришел один мой друг из «Метрополя» и принес мне еды. Кое-что я успел съесть, но остальное забрали охранники. Пока они ели, я попросил разрешения помыть руки. Они разрешили. Я пошел к крану за углом здания. За мной проскользнул мой друг Эрастес, которого арестовали чуть позже, чем меня. Он тоже был без наручников. Умывшись, я шепнул ему:

— Давай удерем отсюда. Неизвестно, что они с нами сделают, пока довезут до Ондангвы.

Эрастес испугался.

— Они же нас не видят! — сказал я.— Бежим.

Мы обогнули еще один угол, перелезли через забор и помчались по Кайзерштрассе. Вскоре сзади донеслись крики:

— Стой, стой!

Они уже гнались, и я каждую секунду ожидал пули в спину. Однако мы успели повернуть во двор гаража. За ним мы увидели отверстие большой сточной трубы. Эрастес сказал, что она ведет под землей к вокзалу. Мы юркнули в трубу и поползли на четвереньках вперед. У входа раздались голоса, но, по-видимому, полиция сбилась со следа. Во всяком случае, погоня прекратилась.

Мы ползли в кромешной тьме. В трубе было сухо, но очень жарко и душно. Скоро мы совсем выбились из сил, но тут впереди забрезжил свет, и мы немножко ободрились.

Наконец мы выбрались наружу — измученные, исцарапанные, но счастливые, что поблизости не оказалось полицейских.

До восьми вечера мы прятались у моего друга Каулы, а потом осторожно выскользнули на темную улицу и разошлись. Я направился в «Метрополь». Мои товарищи страшно удивились, увидев меня. Они думали, что поезд уже увозит меня на север. Я рассказал им, как мы с Эрастесом сумели сбежать из управления, где людей заковывали в цепи, как животных.

Риск был велик, но во всяком случае я избежал отправки в Ондангва под конвоем. Ведь, конечно, меня там снова судили бы за нарушение контракта, а потом отправили бы к нашему старосте в Охонго. Он был бы обязан меня наказать, а этого я боялся больше всего.

Забастовка

С января по июнь 1959 года я работал на консервном заводе в Уолфиш-Бее, обслуживал автоматические станки, запаивал консервные банки с рыбой.

Рыба трубопроводом перекачивалась с водой на завод прямо из трюмов рыболовных судов.

Работа начиналась, едва первые суда подходили к причалу. Обычно это бывало около двух часов ночи. Тогда в компаунд приходил сторож и кричал:

— Консервщики! Консервщики! Консервщики!

Это означало, что суда подошли и пора браться за работу.

Мы быстро одевались и бежали на завод в цеха, до которых было шагов сто, и работали до тех пор, пока вся рыба не превращалась в консервы. Скажем, если пять судов возвращались с полными трюмами, то мы работали с двух ночи до пяти вечера, а то и до девяти. Причем без единого перерыва! Останавливаться было нельзя, не то «рыба портится». Восемнадцатичасовой рабочий день! Это же свыше всяких человеческих сил!

Кормили нас скверно. Если, как бывало часто, рыба поступала рано, мы не успевали позавтракать. Когда работа затягивалась, нам приносили хлеб и чай. Если мы заканчивали рано, скажем, около четырех дня, то ели в компаунде — кашу, иногда немного мяса и хлеб.

За неделю я зарабатывал фунт пять шиллингов. Неплохо, но выходных мы не знали. В рыболовный сезон мы не выходили с завода. За работу свыше тринадцати часов полагались сверхурочные, но они составляли шесть пенсов в час.

В дополнение ко всему управляющему дела не было ни до техники безопасности, ни до здоровья рабочих. А ведь у нас, тех, кто почти сутками не отходил от машин, пухли ноги, а у упаковщиков руки кровоточили и нарывали от заноз. На заводе медицинская помощь не оказывалась. В серьезных случаях человека отправляли в городскую больницу, но ему полагалось вернуться на работу в тот же день, если это было хоть как-то возможно. Тем, у кого ноги распухали так, что резиновые сапоги на них не налезали, просто выдавались сапоги побольше размером.

Помню случай, который произошел вскоре после моего поступления на завод, в цехе, где испортившаяся рыба, рыбьи головы и плавники перерабатывались в удобрения или муку. Рабочий, который стоял над чаном и оттребал рыбу к винту, подававшему ее на конвейер, поскользнулся и упал в чан. Винт затянул его ногу и мял, пока не остановился насос. Рабочего увезли в больницу, но он умер по дороге от потери крови. Эта трагедия произвела на меня неизгладимое впечатление.

А в январе 1959 года мы устроили забастовку. Наш мастер-бур по фамилии Бакер был последним негодяем — кричал на нас, оскорблял, пуская в ход кулаки. Как-то рабочий-овамбо не выдержал и избил Бакера. Тот вызвал полицию. Рабочего арестова-

ли. Ну, а в Намибии у полицейских с «черномазыми смутьянами» расправа коротка. Они просто их избивают, не разбирая, что произошло. Мы всегда виноваты, а баас всегда прав.

А потому овамбо забрали в участок, избили до полусмерти и после такого «исправления» привезли назад на завод. Я подошел к нему и спросил:

— Что, собственно, произошло?

— Я отказался чистить работающую машину. (Он работал на машине, отрезающей рыбьи головы и хвосты.) Это очень опасно! Чуть зазеваешься, и нет пальца. Многие так покалечились. А Бакер нас заставляет всегда чистить машину, не выключая ее. Ну, а я сказал, что с меня хватит!

— А в участке что было? — Я мог бы и не спрашивать: по его распухшему лицу было видно, как его избили.

— Они забрали меня, вдвоем били и пинали, а потом привезли обратно без всяких разбирательств.

Я задумался, как нам избавиться от Бакера. Это ведь был далеко не первый случай. Хуже его на заводе белых, пожалуй, не было.

И вот я впервые в жизни устроил митинг. В воскресенье, после того как мы проработали всю ночь, нас отпустили сравнительно рано. В центре компаунда собралось человек четыреста. Я произнес речь, напомнил им, в каких условиях мы работаем, и кончил так:

— Мы должны обсудить все эти вопросы. Подумаем, что мы могли бы сделать. И как нам избавиться от Бакера.

Все заговорили наперебой, высказывали свое мнение, предлагали разные планы действия. В заключение я подвел итог:

— Значит, мы все согласны, что Бакер должен уйти. Он не уйдет, уйдем мы. Если Бакера не уберут, мы бросим работу. Но сначала поговорим с управляющим и попросим его перевести или убрать Бакера.

На том и порешили.

Ночью подошли суда с рыбой, и нас вызвали на завод. Мы решили, что пойдем и встанем к машинам, а я схожу за управляющим.

Я вошел в его кабинет и сказал:

— Рабочие хотят с вами встретиться.

Управляющий (его фамилия была Форствалл) совсем растерялся.

— Что? Зачем? — ошеломленно спросил он.

— Не знаю. Лучше поговорите с ними.

— Ну, хорошо, идем.

По дороге он сказал:

— Вызови их во двор, пусть остановят машины.

Когда все вышли, управляющий приказал мне:

— Теперь спроси, что им надо.

Я перевел его слова. Мы уже выбрали своего представителя для переговоров — старика Намуанди. Теперь он выступил вперед и перечислил наши жалобы на условия работы.

Форствалл слушал внимательно. По-видимому, это был первый случай, когда ему пришлось выслушивать претензии. Потом Намуанди заговорил о Бакере.

— Мастер все время издевается над нами: ругает, угрожает и даже бьет. Мы все просим вас сейчас же убрать Бакера с завода. Работать под началом такого человека мы больше не будем!

Намуанди замолчал. Форствалл посмотрел вверх, потом на землю и, наконец, спросил:

— Значит, суть вашей жалобы в этом?

— Да.

— Хорошо. Подождите. Я вызову Бакера и выясню у него, что произошло.

— Нет! — закричали мы.— Мы сами знаем! Скажите нам сразу, уберете его или нет. Обсуждать с ним нечего.

— ...Но... я же не могу уволить служащего просто так, без всяких объяснений. Я отвечу вам, как только поговорю с мистером Бакером.

Мы стояли на своем, но это только взбесило управляющего.

— Предположим, я его не уволю, что вы предпримите?

— Тогда мы не будем работать,— ответил Намуанди.— Если вы не можете без него обойтись, пусть он один и работает. А мы с ним никакого дела иметь не хотим!

Форствалл снова посмотрел вверх и вниз, а затем объявил:

— Ну, увольнять мистера Бакера я не стану. Это мое последнее слово. А теперь идите к машинам.

Рабочие окружили меня, и я сказал:

— Сейчас будем работать, а обсудим, что делать, когда вернемся в компаунд.

К счастью, улов в этот день привезли небольшой и мы кончили рано, около шести утра. Едва вернувшись в компаунд, мы собрались во дворе.

Большинство предлагало немедленно начать забастовку.

— Погодите! — сказал я.— Надо все обдумать. Вы же знаете, как буры расправляются с забастовщиками. Управляющий вызовет полицию, она окружит компаунд, закроет ворота, пустит в ход автоматы и штыки. Многие из нас будут убиты. Защищаться нам нечем: у нас нет ни оружия, нет даже камней и бутылок! Зачем нам так рисковать? Давайте просто работать медленно и допускать побольше брака. А просто остаться в компаунде — слишком опасно.

Рабочие внимательно выслушали меня, обсудили мой план и приняли его. Затем мы обдумали, что именно делать каждому.

Часов в десять явился сторож и закричал:

— Консервщики!

Мы медленно побрели на завод и встали у машин.

Несколько минут спустя контролер крикнул:

— Эй, стоп! Стоп!

Рыба шла в банки с головами и хвостами, а часть банок оставалась пустой.

Машины остановились. Бакер пришел узнать, в чем дело, и заорал:

— Это что же такое? Почему допускаете брак?

Рабочие только молча смотрели на него. Бакер пробежал по цеху — всюду было одно и то же. Потом он кинулся к Россу, старшему мастеру, и вскоре вернулся с ним. Росс, по-видимому, хотел сам посмотреть, что происходит.

Он прошел по цеху и закричал:

— Что с вами такое, мерзавцы? Или работайте как следует, или не получите ни пенса.

Он дал сигнал начать работу, а сам остался наблюдать за нами. Мы продолжали, как и раньше.

— Прекратить работу! Идите в компаунд!

Мы оставались в компаунде весь день, а рыба портилась в трюмах. Весь улов был отправлен в цех, перерабатывающий рыбу на удобрения. Там работа продолжалась. Бастовали только консервные цеха.

В час ночи нас вызвали на работу, и мы опять принялись за свое.

Бакер снова бросился к Россу. Росс снова отправил нас в компаунд. Мы ушли. Вслед за нами в компаунд пришли Росс, Бакер и Форствалл. Росс скомандовал:

— Все во двор. Мы сейчас разберемся, что происходит.

Мы собрались во дворе. Форствалл встал перед нами.

— Я хочу знать, в чем дело?

Намуанди ответил:

— Мы уже говорили вам, баас, что работать под началом Бакера не будем. Вы сказали, что не станете его увольнять, а мы сказали тогда, что не будем работать. Вот мы и работаем так же плохо, как Бакер, ваш мастер.— И Намуанди повысил голос, указывая на Бакера: — Хватит с нас Бакера!

— Верно! Хватит с нас Бакера! — закричали в толпе.— Вон его отсюда.

Форствалл как будто испугался, что мы схватим Бакера и вышвырнем его вон в буквальном смысле слова.

— Подождите, подождите! — крикнул он.— Чем вам мистер Бакер так досадил?

— Мы вам уже говорили! А вы все мимо ушей пропустили! Нам нечего добавить. Пусть Бакер убирается вон!

Бакер явно перетрусил. Ему еще никогда не приходилось стоять перед разъяренной толпой рабочих, он понимал, что находится в большой опасности. У Форствалла не было выбора. Если Бакера не удалить, завод встанет надолго.

— Я вас выслушал,— сказал он наконец.— Если вы завтра будете работать нормально, я удалю мистера Бакера.

Мы посовещались, и Намуанди сказал:

— Да, мистер Форствалл, мы согласны работать, если вы уберете Бакера.

Бакер стоял опустив голову, и казалось, что он вот-вот заплачет. Потом он поглядел на нас с ненавистью и ушел. На следующий день его перевели в цех, где на банки наклеивались этикетки.

Когда мы остались одни, я сказал рабочим:

— Это для нас большая победа! Мы все убедились, как мы сильны, когда действуем вместе.

Все радовались одержанной победе... пусть и маленькой.

Теперь-то я понимаю, какой длинный путь нам еще предстояло пройти. Мы избавились от Бакера так ловко, что администрация не решилась вызвать полицию. Но мы продолжали работать по восемнадцать часов за низкую плату в тех же бесчеловечных условиях. Нам предстояла долгая и упорная борьба, прежде чем мы сумеем добиться освобождения от такой эксплуатации.

Но это все я понял гораздо позже.

Присоединяйтесь к нам

В январе 1959 года я познакомился с Питером Наньямбой. Незадолго до забастовки Питер вместе с еще тридцатью рабочими законтрактовался в «Оушн фишинг компани». Мы работали в одном цеху, и Питер участвовал вместе с нами в забастовке. Мы много говорили о положении рабочих-африканцев, обсуждали более широкие политические вопросы и вскоре стали настоящими друзьями. В наших разговорах принимали участие и другие рабочие.

Особенно часто мы говорили о Германе Тойво-я-Тойво и Народном конгрессе Овамболенда (ОПК) [1], который он создал. Его арестовали и сослали в Овамболенд за то, что он записал письмо в ООН на магнитофонную ленту и тайно послал в Нью-Йорк. Разумеется, это вызвало большую сенсацию, о которой сообщило южноафриканское радио и писали все газеты. Помню, как я был взволнован и горд.

Ведь я был знаком с Тойво, когда он учился в школе.

Потом он уехал работать по контракту в Южную Африку, я потерял его из виду — и вот увидел в газетах его фотографию. Мы горячо обсуждали с Наньямбой заявление Тойво в ООН. Оно стало важным моментом в истории намибийского народа и поворотным пунктом в моей жизни.

Теперь мы внимательно следили за политическими событиями по газетам, которые я покупал в книжной лавке в городе.

В начале июня 1959 года я узнал, что в город приехал один мой друг из Виндхука. Я отыскал его и стал расспрашивать о новостях.

— Знаешь, Винья,— сказал он,— у нас теперь есть собственная партия. Ее основали рабочие-овамбо в Кейптауне. В нее вступило много наших, и всюду только и разговоров что об ОПО — Организации народов Овамболенда.

— А кто ее возглавляет?

— Сэм Нуйома [2].

— Чем занимается ОПО? — спросил я, стараясь разобраться.— Она связана с ОПК Тойво?

— Ну, она организует митинги, вовлекает новых членов, создает местные отделения. Наверно, ее представители скоро приедут и сюда, в Уолфиш-Бей. Они говорят: «Мы не хотим больше работать по контрактам, которые превращают нас в рабов. ОПО будет бороться с южноафриканским правительством и его эксплуататорской системой контрактов!»

От этих новостей у меня просто дух захватило. Я бегом бросился в компаунд, чтобы поскорее поделиться ими с Наньямбо. Просто не верилось! Африканцы создали свою организацию для борьбы с ненавистной системой контрактов.

Теперь мы все чаще и чаще слышали об ОПО. Чуть ли не каждый день газеты

---

[1] Тойво создал ОПК в 1957 г. В 1959 г. на основе ОПК возникла Организация народов Овамболенда (ОПО), а в 1960 г.— Народная организация Юго-Западной Африки (СВАПО). В 1966 г. Тойво был арестован и осужден на 20 лет тюремного заключения. Речь Тойво на суде известна сегодня каждому африканскому школьнику в Намибии.

[2] Сэм Нуйома (род. в 1929 г.) — бессменный президент СВАПО.

печатали сообщения о ее деятельности. Мы жадно ждали их, старались ничего не упустить.

Затем 25 июня в Уолфиш-Бей приехал Сэм Нуйома. Он побывал во всех компаундах города, в том числе и в нашем, выступая перед большими толпами рабочих.

У ворот нашего компаунда он заговорил со сторожем и спросил, слышал ли он об ОПО.

— Слышать-то слышал,— ответил сторож,— но никого из ее членов не встречал.

— Так вот я — член ОПО,— сказал Сэм Нуйома,— а точнее говоря, ее президент. Может, ты соберешь рабочих во дворе, и я расскажу вам о нашей организации?

Собрались почти все рабочие.

Новость мгновенно облетела компаунд, и каждому нетерпелось принять участие в собрании.

Сэм представился и затем спросил:

— Вы слышали об ОПО?

— Да. Мы слышали, что она создана в Виндхуке,— крикнул я.

— Собственно говоря,— ответил он,— создали мы ее в Кейптауне, но теперь стремимся вовлечь в нее все народы Юго-Западной Африки.

Потом он заговорил о том, что надо бороться за свободу и уничтожение системы контрактов.

— Кому, как не вам, знать, сколько страданий они нам всем причиняют. Африканцев вынуждают работать за гроши на рабских условиях, продиктованных баасами-расистами. Семьи разбиваются, нас заставляют жить в грязных компаундах вроде этого. С нами обращаются не как с людьми, а как со скотиной! Но мы верим, что наступит день, когда мы покончим с этой системой и будем работать как свободные люди. Каждый из нас тогда будет выбирать себе работу согласно своим желаниям и потребностям, а не по принуждению.

Затем он спросил:

— А вы присоединитесь к борьбе против принудительных контрактов?

— Да-да! Этого мы и хотим! — дружно кричали мы.

Потом выступило несколько рабочих. Большинство безоговорочно поддерживали ОПО, хотя кое-кто сомневался и не мог скрыть страха.

— Теперь, когда мы знаем цели и задачи ОПО,— сказал один рабочий,— я думаю, мы почти все вступим в нее.

— В таком случае,— ответил Нуйома,— выберите секретаря своего отделения, и мы сможем сразу же начать работу.

— А у нас уже есть готовый секретарь! — крикнул кто-то.— Мы все его знаем. Недавно он руководил забастовкой.

— Правильно! — поддержали остальные.— Пусть секретарем будет Виньа!

— Все согласны? — спросил Нуйома.

Рабочие закричали «да!». Так меня выбрали секретарем.

На этом собрание закончилось, и Сэм пожал мне руку.

— Я сейчас же уезжаю в Виндхук, Виньа. Но мы будем поддерживать с тобой связь. Желаю тебе удачи!

Я от души поблагодарил его.

В тот самый день я занялся организацией нашего отделения ОПО. Начал я с того, что побывал в компаундах, где Нуйома не выступал, и рассказал там о целях и задачах ОПО.

К концу сентября 1959 года наше отделение насчитывало уже несколько тысяч членов, а взносов на укрепление организации было собрано около восьмисот фунтов.

Я продолжал обслуживать рыбоочистительные машины, смазывал их, подкрашивал, очищал ржавчину. Работы было не так много, и у нас оставалось достаточно времени, чтобы собираться в укромных уголках и обсуждать дела нашего отделения. Даже на работе мы нередко умудрялись выкраивать для этого несколько минут. Когда мы говорили серьезно, не смеялись и не шутили, буры подозрительно поглядывали на нас.

Среди рабочих в отношении к нам не было полного единодушия. Мне вспоминается один цветной — человек очень глупый. Он почему-то считал, что цветные находятся в более привилегированном положении, чем черные, и вообще стоят выше их. Вреда от него не было никакого, но сам он не желал иметь с нами ничего общего.

В течение следующих месяцев мы продолжали собирать деньги для ОПО и устраивать собрания в компаундах. Активисты обычно встречались по ночам: обсуждали на-

сущные политические проблемы, практические дела, а также новости из Виндхука, из разных африканских стран и делились мечтами о свободной Намибии.

Тайный побег

Десятого декабря 1959 года в Виндхуке произошел серьезный инцидент, оказавший глубокое воздействие не только на борьбу намибийского народа, но и на мою личную судьбу.

Началось с того, что управляющий известил обитателей старой локации о том, что их дома подлежат сносу, а они должны переселиться в Катутур — новый «туземный пригород». Это вызвало в локации всеобщее возмущение, и многие наотрез отказались ее покинуть. Ведь их семьи жили там из поколения в поколение. Пусть их дома были небольшими и бедными, но они вложили в них много любви и труда. И вот правительство задумало бульдозерами уничтожить их поселок. Все их деньги, весь их труд, вложенные в эти дома, пропадут без всякого смысла и без какой-нибудь компенсации. К тому же они понимали, что переселяют их только потому, что по законам апартхейда африканцы должны жить в отдалении от «белых районов», и жители локации вопреки угрозам управляющего решили бороться. Женщины 9 декабря организовали демонстрацию, чтобы обратиться к администратору, представлявшему в Намибии южноафриканский режим.

Вскоре им путь преградили полицейские и приказали разойтись. Женщины отказались, и полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Но, разбежавшись, женщины вскоре вновь собрались и, твердо решив увидеть администратора, направились к его резиденции по другим улицам. Но резиденция была окружена полицией. Им объявили, что администратор в отъезде и что, если они немедленно не вернутся домой, последствия будут самые «серьезные». Тем не менее женщины заявили свой протест и неторопливо ушли.

Вечером Сэм Нуйома устроил собрание в локации, чтобы определить план дальнейших действий. Оно продолжалось до шести утра. Решили бойкотировать автобусы и муниципальную пивную. Ведь африканцам запрещалось покупать пиво в бутылках или варить его самим. Полиция нередко устраивала по ночам обыски, выискивая тех, кто варил африканское пиво. По закону в локации африканцы могли пить пиво только в муниципальных пивных, доход от которых шел муниципалитету.

В то же утро у автовокзала и пивной собралась толпа молодежи — следить, чтобы никто в локации не нарушил бойкот. Управляющий в ужасе вызвал южноафриканскую полицию и воинские подразделения, дислоцированные под Виндхуком, утверждая в радиограмме, будто начались беспорядки и ему угрожали расправой.

По улицам локации к толпам африканцев медленно двигались бронетранспортеры, ощетинившиеся пулеметами, танки взяли локацию в кольцо, а солдаты окружили здание управления. Без предупреждения полицейские открыли огонь по безоружной толпе. Подростки и женщины начали в ответ кидать камни и бутылки в полицейских, но те были надежно защищены. В тот день было убито тринадцать человек и более шестидесяти ранено. Сколько из них умерло от ран в больницах, я не знаю.

Мы как могли следили за событиями в Виндхуке с помощью связных, а также по сообщениям местных газет и радио. Дня через два после расстрела я созвал общее собрание в компаунде. Мы обсудили, что нам предпринять, если и в Уолфиш-Бее сложится такое же положение. Уже давно ходили слухи, что власти намерены создать новую локацию. Нужно было подготовиться к борьбе. После собрания мы с Питером Наньямбой пошли к нашим друзьям в локацию, чтобы обдумать, какое сопротивление сможем мы оказать бурам, когда они начнут насильственно выселять людей из их домов. Говорили мы долго, нас душил гнев, но ни к какому решению не пришли.

Неделю спустя я получил письмо от Сэма Нуйомы. Он поручал нам направить представителя ОПО в Нью-Йорк с петицией в Организацию Объединенных Наций. У нас был там представитель, но он просил прислать кого-нибудь, кто мог бы рассказать делегатам ООН о кровавых событиях в Виндхуке. Сэм считал, что нашему отделению легче остальных будет тайно устроить человека на судне, направляющемся в Нью-Йорк.

Я срочно собрал всех членов исполкома, прочел им письмо, и мы обсудили его, вполне соглашаясь, что послать кого-нибудь в ООН совершенно необходимо. Но кого и как? В конце концов выбор пал на меня.

— Хорошо. Но как это устроить?

Один из членов исполкома товарищ Максвирили сказал, что знает двух матросов с американского торгового судна.

— Они негры с Ямайки, и я с ними подружился. Мы разговаривали о политике, о положении черных в Америке. Думаю, они нам помогут.

Утром на работе мы при всякой возможности обсуждали необходимые приготовления. Питер обещал приглядеть за швейной машинкой, посудой и другими вещами, которые я приготовил для свадьбы, и при первой возможности увезти их в Охонго. Ведь неизвестно, сколько времени я буду отсутствовать.

На следующий день в девять утра позвонил Максвирили. Он явно нервничал и говорил очень быстро:

— Винья, эти ребята говорят, что ничем помочь не могут. Они боятся. Их судно отплывает через час. Среди грузчиков есть наши, и я сказал, чтобы они устроили для тебя потайное местечко в трюме. Вот все, что мне удалось сделать. Если ты готов рискнуть, будь на пристани в десять.

Я бросился в компаунд, переоделся в синий комбинезон и белую рубашку, сунул кое-какую одежду в чемоданчик и все свои деньги — пять фунтов — спрятал в карман. Питер проводил меня в порт. Максвирили ждал нас, и мы быстро составили план моих действий в Нью-Йорке.

— Сразу телеграфируй нашему представителю. Его предупредят.— Он протянул мне 25 американских долларов.— Они тебе понадобятся, когда сойдешь на берег.

Погрузка заканчивалась. Трюм был заполнен мешками с рыбной мукой. Между мешками мне оставили местечко. Двое грузчиков — наши товарищи — подошли к нам и сказали, что судно отплывает в четверть одиннадцатого. Было почти десять, и вдруг мне стало страшно.

— У меня же нет ни воды, ни еды. Без воды я не обойдусь. И нужен фонарик. Там, наверно, темно.

Кто-то сбегал в ближайший магазин и вернулся с фонариком и флягой. И тут меня позвал еще один грузчик:

— Винья, пора! Иди за мной — так, словно ты тут работаешь.

Я сказал остальным:

— Ну, вот я и уезжаю. Будем надеяться, что все сойдет удачно.

События развивались так стремительно, что я все еще не осознавал, насколько все это серьезно. Я полагался на ОПО и нашего представителя в Нью-Йорке, и во мне жила твердая уверенность, что они меня выручат из любого сложного положения. Неопытность породила во мне излишнюю самоуверенность.

Я пошел за грузчиком. Мы поднялись по трапу и направились к трюму. Я заглянул вниз и увидел сотни мешков.

— Винья! Прыгай вниз и вон там прячься между мешками. Когда люк закроют, тебя никто не найдет. Быстрее! Быстрее!

Я спрыгнул, заполз в приготовленный мне тайник и лег поудобнее. Рыбная мука отчаянно воняла, но пока люк оставался открытым, воздух еще доходил до меня, можно было дышать. Но затем мощный кран положил крышку люка весом в несколько тонн на место. Сразу стало темно. Я поднес ладонь к глазам, но не увидел ее.

Уже через несколько минут стало очень душно. И жарко. Я понял, что не выживу в трюме и несколько суток. Я посветил фонариком на свои часы: прошло всего полчаса. Я не мог разобрать, плывем мы или еще нет, но мной все больше овладевала дурнота. Тут раздался гудок, и я почувствовал, что судно движется.

Но как мне выбраться отсюда? К одиннадцати часам жара и духота стали почти невыносимыми. Я подумал: «Только бы продержаться в этом аду еще пять-шесть часов, и можно будет выбраться из трюма». Я закрыл глаза и попытался уснуть.

Очнулся в шесть часов вечера и решил, что судно, должно быть, уже далеко в открытом море. Тем не менее я подождал до семи и только тогда начал стучать в крышку люка. Никто не отозвался, и меня охватила паника. Мое положение становилось крайне серьезным. «Что, если меня не услышат? Ведь я долго не выдержу!»

Я вновь постучал. Ни звука. Было уже восемь. Я снял туфлю и в отчаянии заколотил ею. Казалось, прошли часы... но тут у меня над головой зазвучали шаги и голоса. Меня услышали!

Сначала они отодвинули брезент, и в щелки вместе со светом просочился свежий воздух.

«Если бы они не закрыли крышку брезентом,— подумал я,— так я бы мог неделю просидеть в этом дурацком трюме!»

— Кто здесь?

— Выпустите меня!

Они, по-видимому, решили, что я — грузчик и заснул между мешков, когда погрузка подходила к концу... Им пришлось немало повозиться, прежде чем они меня вызволили. Без крана крышку поднять невозможно, но они отперли противопожарный люк, вытащили несколько мешков и расчистили ход, по которому можно было выползти наружу. У края люка матросы подхватили меня под мышки, вытащили на палубу и отвели в капитанскую каюту. Его уже предупредили, и я увидел, что он очень рассержен. У него даже губы дергались.

— Какого черта ты спрятался у меня на судне? Нам запрещено брать на борт кого бы то ни было в вашей стране! Зачем тебе понадобилось причинять мне столько хлопот?

— Простите, сэр! — ответил я.— Но мне необходимо попасть в Нью-Йорк, меня там ждут друзья-миссионеры.

— Да мы же идем не в Нью-Йорк, а в Нидерланды!

— Мне сказали, что в Нью-Йорк...

— Нет. И с какой стати ты прячешься на моем судне, даже если у тебя в Нью-Йорке есть друзья?

— Видите ли, они недавно вернулись в Америку, а прежде работали в Юго-Западной Африке. И пригласили меня к себе. И я не знал, как еще мне туда добраться.

— Покажи письмо от своих друзей.

— Я оставил его в Уолфиш-Бее. Ведь мои друзья знают, что они мне его послали.

— Ну, я вынужден вернуться в Уолфиш-Бей и передать тебя полиции.

Мы вернулись в Уолфиш-Бей как-то очень быстро. (Позже я прочел в газетах, что судно находилось всего в 60 милях от берега. Будь ход у него побыстрее, возможно, мы уже подходили бы к берегам Анголы и не стали бы поворачивать назад.) На рейде капитан, четыре матроса и я сели в моторку. В темноте блестели огни города. На пирсе меня ждали шесть полицейских с автоматами и пистолетами. На меня сразу надели наручники. Капитан сообщил офицеру, как все произошло, и отправился назад.

Меня повезли в полицейское управление, где допросили и составили протокол для передачи в суд. Я повторил свою историю о друзьях-миссионерах в Нью-Йорке.

Затем меня отправили в тюрьму. Дежурный — белый сержант, фамилия его была ван Вурен — посмотрел на меня с такой злобой, словно я причинил какой-то вред лично ему.

— И какого черта тебе понадобилось в ООН?

— Я только хотел повидать...

— Я знаю, что ты собирался там делать! Так зачем ты хотел поехать в Нью-Йорк?

— Чтобы повидаться с моими друзьями-миссионерами.

— А тебе известно, что попытка уехать из страны без разрешения— это серьезное преступление черномазый?— спросил он.— Теперь тебе туго придется.

Он обыскал мой чемоданчик, но там не было ничего, кроме двух рубашек, носков, зубной пасты и щетки. Тогда он заставил меня раздеться и тщательно ощупал мою одежду, но ничего не нашел. (Свою членскую карточку я разорвал и выбросил еще на судне, а доллары спрятал в воротничке рубашки.)

— Ты что же, такой дурак, что уехал без гроша? А что бы ты ел?

— Может, это и было глупо. Только денег у меня нет, а спрятаться в трюме я решил в последнюю минуту.

Он покачал головой и приказал черному полицейскому отвести меня в камеру.

— Эти овамбо — все дураки, баас,— сказал полицейский.— От них всем черным одни неприятности.

— Ладно, Габриэль. Запри его. Завтра мы еще раз его допросим.

Он отвел меня в главный тюремный корпус и запер в тесной одиночке — грязной и холодной. На полу лежал тонкий матрас с двумя грязными одеялами. Было четыре часа утра. Я так устал, что уснул сразу же, как только забрался под одеяла. Разбудил меня стук в дверь.

— Эй ты, выходи!

Щелкнул замок, и дверь распахнулась, и я увидел двоих белых полицейских. Они

доставили меня в следственный отдел. В кабинете было несколько человек. Один, видимо начальник отдела, начал допрос.

— Имя?

— Винья Ндади.

— Имя отца, матери? Где родился? Где учился? Где работал? Как и почему приехал в Уолфиш-Бей?

На эти вопросы я отвечал правду, но когда он спросил, состою ли я в какой-нибудь политической организации, я ответил: «Не состою».

— Тебе известно о существовании ОПО?

— Известно.

— Тебе известны Сэм Нуйома и другие лидеры ОПО?

— Известны.

— Ты переписывался или разговаривал с ними? Видел их в Виндхуке или в Уолфиш-Бее?

— Некоторых из них видел. Но не переписывался с ними и не разговаривал.

— Ах так! Кто твои близкие друзья в Уолфиш-Бее?

Я назвал несколько фамилий, умолчав о Наньямбе. Допрос продолжался три часа. (Позднее я узнал, что в кабинете присутствовал корреспондент одной южноафриканской газеты, и после освобождения из тюрьмы прочел его статью о моем допросе в газете «Кейп Аргос».) Наконец начальник приказал сержанту-африканцу:

— Уведи этого ооновца в камеру.

В тот же день полиция арестовала моих друзей и провела обыски в их домах. Максвирили они не застали, а его жена попросила предъявить ордер на обыск. Но они только рявкнули:

— Нам никакие ордера не нужны!

И действительно, южноафриканская полиция творит в Намибии все, что ей заблагорассудится. Они взломали запертые ящики, но ничего не нашли.

То же самое они проделали у Джошуа Хипукилве — товарища, который ездил со мной в Виндхук. Он был на работе. И снова они ничего не нашли, кроме ведра домашнего пива.

— Для чего здесь это пиво? — спросили они.

— Мы думали вечером пригласить друзей.

Они вылили пиво на землю, а жену увезли на завод, чтобы она показала им Джошуа. Его привезли домой и принудили отпереть запертые ящики. В одном из них полицейские обнаружили несколько членских билетов, которые я дал ему для раздачи новым членам среди жителей локации.

— Что это за билеты?

— ОПО.

— Кто их тебе дал?

— Винья Ндади.

(Конечно, он был уверен, что я благополучно плыву в Нью-Йорк.)

— Где Ндади?

— Не знаю.

— Но ты с ним знаком? И эти билеты тебе дал он?

— Да.

— Ну, так мы зададим тебе еще несколько вопросов в управлении.

Я, конечно, ничего обо всем этом не знал. Вдруг ко мне в камеру вошли трое полицейских.

— Эй, сволочь, выходи!

Они отвели меня в следственный отдел. Войдя в кабинет, я не заметил, что в углу стоит Джошуа.

— Ты Винья Ндади?

— Да.

— Ты знаешь этого человека?

Я поглядел, куда он показывал, и увидел испуганного Джошуа.

— Да, я его знаю.

Тогда он повернулся к Джошуа.

— А ты его знаешь?

— Да, это Винья.

— Откуда ты его знаешь?

— Мы вместе работаем.

— Как и когда ты получил от него эти билеты? — Он показал на лежащую передо мной пачку билетов ОПО.

— Он попросил меня раздать их в локации, и я согласился.

— Поскольку я секретарь местного отделения ОПО,— сказал я,— то, может, вам имеет смысл задавать эти вопросы мне?

Убедившись, что Джошуа почти ничего не знает про ОПО, они его отпустили домой, очень довольные, что в их руках оказался секретарь местной организации ОПО. Меня они допрашивали о членских билетах и о том, куда поступают взносы. Я ответил, что деньги отсылаются по почте в Виндхук.

Вечером меня вывели на главный двор, где заключенные ужинали. Двор окружала шестиметровая стена. Меня предупредили, чтобы я ни с кем не разговаривал. Охранник принес мне миску жидкой кукурузной каши. Он оказался моим старым знакомым — мы с ним вместе работали в Виндхуке. Я очень удивился, увидев его тут. Мы быстро переговорили на кваньяма. Он сказал, что узнал про мой арест и хочет мне помочь. Я ответил:

— Сходи к Питеру Наньямбе и объясни, что я в тюрьме и хотел бы увидеть его или Максвирили.

Он обещал и ушел.

На третий день после ареста часов в одиннадцать утра Наньямба попросил разрешить ему свидание со мной. Он назвался вымышленной фамилией.

Я объяснил ему, что мое положение очень серьезно — мне необходим адвокат, и как можно быстрее. Он обещал и передал мне сумку с едой. Как сейчас помню, это были бутерброды с колбасой. Они показались мне необыкновенно вкусными после тюремной каши.

На следующий день Питер снова пришел и сказал, что они были у адвоката, но бур отказался меня защищать, потому что это — политическое дело. Собственно говоря, все, к кому они ни обращались, отказывались наотрез. Значит, я должен сам вести свою защиту...

В суд меня отвезли вместе с другими арестованными. Через полчаса в зал вошел судья. Мы встали. Наши фамилии прочли по списку. Мое дело слушалось первым.

— Винья Ндади. Арестован двадцать четвертого декабря при попытке тайно покинуть Юго-Западную Африку. Признаете ли вы себя виновным?

— Не признаю.

Прокурор вызвал свидетелей обвинения. Первыми были полицейские, арестовавшие меня. Они рассказали об обстоятельствах моего ареста, о том, что им сообщил капитан судна, и о моих объяснениях. Затем судья спросил меня, есть ли у меня защитник.

— Нет,— сказал я.— Но я хотел бы сам вести свою защиту. Видите ли, я не считаю себя виновным. Я не знал, что есть закон, запрещающий мне покидать Юго-Западную Африку без разрешения правительства. Я просто хотел повидать в Нью-Йорке моих знакомых миссионеров. Я был намерен вернуться и, следовательно, не собирался тайно бежать из страны. Значит, никакого преступления я не совершил.

Затем прокурор начал объяснять суть законов, запрещающих выезд из страны.

В заключение судья сказал:

— Согласно закону вы виновны, Винья Ндади. Я приговариваю вас к трем месяцам принудительного труда.

Когда я вернулся в камеру, меня уже ждал Питер. Товарищи собрали двести фунтов на гонорар адвокату или на уплату штрафа. Но они не понадобились. Я сказал Питеру, чтобы он все хорошенько спрятал — документы, счетные книги и прочее. Я полагал, что буры намерены еще раз привлечь меня к суду по политическому делу и медлят только потому, что собирают улики.

Я оказался прав. На следующее утро полиция нагрянула к Питеру, но они ничего не нашли, кроме десятка старых газет и журналов.

Неделю спустя меня отправили в тюрьму. Мы приехали туда часов в пять вечера, и меня отвели в кабинет начальника тюрьмы.

— Устройте этому черномазому хорошую выволочку. Это тот самый, который спрятался в трюме, чтобы добраться до ООН и клеветать там на Южную Африку. Он коммунист, мерзавец эдакий!

Они говорили на африкаанс, думая, что я не понимаю их. Ведь после ареста я сознательно говорил только на своем родном языке и немножко по-английски.

Начальник выслушал их, кивнул и объявил:

— Будьте спокойны, мы им займемся, как он того заслуживает.— Потом он повернулся ко мне.— Так, значит, ты хотел налгать ООН о том, будто мы плохо обращаемся с овамбо, а? Ну, так, может быть, ребята, отбывающие пожизненный срок, вправят тебе мозги.

Надзиратель отвел меня в камеру, где на меня набросилось несколько заключенных. Один держал меня, другие били по лицу и животу. Я упал, и они принялись пинать меня ногами. Потом схватили большие ножницы... Я даже подумал, что они меня заколют, но они только остригли мне волосы, потом раздели и сунули под ледяной душ. Потом мне выдали тюремную одежду: шорты без карманов и пояса, рубаху в красную полоску и все. Обуви не полагалось.

Меня поместили в тесную камеру, где находилось еще семь человек. В камере не было ничего, кроме параши в углу.

Нас поднимали в шесть утра. Мы складывали наши одеяла так, как было указано в тюремных правилах, и завтракали во дворе, сидя на корточках. На завтрак — жидкая холодная каша с сырой морковью и фасолью — нам давалось две минуты (обед был точно таким же). Тех, у кого через две минуты в миске оставалась каша, надзиратели избивали. Особой жестокостью отличался некто Вентер. Однажды у меня на глазах он убил заключенного, у которого нашел щепотку табаку. От первого же удара бедняга, ослабевший от скверного питания, упал на землю. Но это была не единственная форма наказания. За самые мелкие провинности — например, плохо свернутое одеяло — заключенных бросали в темный карцер в глубоком погребе. Кормили там только рисовым отваром, я знал, что надзиратели ждут самого малейшего повода, чтобы отправить меня в карцер, но это им так и не удалось.

Работал я в карьере, где мы взрывали скалы и носили камни к дробильным машинам. Работали с 8 утра до 5 часов вечера без перерыва. К вечеру мы покрывались слоем каменной пыли. Она набивалась в глаза, в рот — всюду. Мы кое-как отмывались под краном в тюремном дворе. Но нередко через две-три минуты охранники кричали: «Хватит! Кончай!»

Иногда нас посылали на пивзавод «Ханза» загружать машины — администрация прибегала к труду заключенных, чтобы не платить сверхурочных своим рабочим.

Еще мы «копали» траншеи в каменных породах! Прежде чем уложить дренажные трубы, мы взрывали скалы динамитом. Это была очень тяжелая и очень опасная работа. Однажды двое заключенных подорвались. Заряды вкладывались в высверленные отверстия, и взрывник должен был точно помнить, сколько их заложено. И вот про это один забыл. Позже эти двое заключенных начали сверлить там и задели заряд. Он взорвался. Зрелище было жуткое: одного разорвало пополам, другому оторвало голову и ноги. Потом я узнал, что все их «преступление» исчерпывалось отсутствием у них пропусков, когда они приехали в Уолфиш-Бей.

Эти три месяца были сплошным адом. Меня ни разу не допрашивали. Зачем? Ведь в руках у полиции были все документы, которые им требовались. Двадцать третьего апреля 1960 года меня освободили. Когда мне выдали мою одежду (доллары, которые я спрятал в воротник рубашки, остались целы!), я увидел в комнате агента Особого отдела Натаниеля Какуамбу. Он понял, что я его узнал, подошел ко мне и сказал:

— Здравствуй, брат.

— Я вам не брат! — ответил я, стараясь понять, зачем он тут.

— Брат, мы не знакомы...— начал он снова.

— Я знаю, кто ты. И я тебе не брат.

— Ты думаешь, раз я работаю у буров, то я на их стороне? Нет, я с вами. Мне приказано сопровождать тебя в Уолфиш-Бей.

В Уолфиш-Бей мы приехали через час. Какуамба сопровождал меня в полицейское управление, сообщил дежурному, что меня надо поместить под надзор на случай, если я еще раз попробую спрятаться в трюме, и доставил в компаунд. Там он спросил, где мои вещи. Я ответил, что давно отправил их в Овамболенд.

Мы с Питером проговорили о делах всю ночь, а утром пришли двое полицейских и объявили, что меня высылают в Овамболенд и на сборы мне даны сутки. Вечером Питер устроил митинг в компаунде. Пришло много народу, и я рассказал о том, что

видел и пережил в тюрьме, и сообщил, что меня высылают. Они были возмущены и поклялись, что будут продолжать борьбу здесь, а меня просили развернуть ее в Овамболенде.

Утром на вокзале было полным-полно полицейских. Я незаметно вошел в спальный вагон, забрался на верхнюю полку и закрылся газетой. Через два часа поезд остановился в Усакосе. Я вышел из вагона, смешавшись с толпой пассажиров. Я увидел полицейских. Они расспрашивали выходящих, а потом пошли по вагонам. Один из них спросил кого-то неподалеку от меня, не знает ли он Винью Ндади. Они потеряли мой след, и я благополучно уехал следующим поездом.

В Хрутфонтейне я пошел в бюро СВАНЛА, где мне отметили мой пропуск, и через два дня я сел на поезд в Овамболенд.

В Ондангве я решил побывать у Германа Тойво-я-Тойво, которого в 1958 году выслали туда из Кейптауна за то, что он послал письмо в ООН. Я объяснил ему, что я — Винья Ндади, секретарь ОПО в Уолфиш-Бее.

— Мы познакомились несколько лет назад в Одибо,— добавил я.

— Рад тебя видеть. Я слышал про твой арест.

Я рассказал ему о моей попытке добраться до Нью-Йорка. Потом он сказал: ..

— А ты знаешь, что ОПО больше не существует? Мы развертываем общенациональное освободительное движение, и его возглавляет Народная организация Юго-Западной Африки — СВАПО.

— А мне никто ни слова не сказал! Но, может быть, они не знали?

— Да, решение принято совсем недавно, и мы только-только начали оповещать о нем. Займись этим. Ты хочешь работать в СВАПО?

— Конечно хочу! И начну организовывать ее отделение в Овамболенде.

И вот я снова в родном краале! Родные очень мне обрадовались. Они знали, что я попал в тюрьму. Отец спросил, каким это образом я оказался замешанным в политическом деле. Я рассказал все, как было. Отец рассердился — он не хотел, чтобы я занимался политикой.

— Ничего хорошего из этого не выйдет. Я заболел, когда узнал, что ты в тюрьме. Мы все очень горевали.

— Отец, я уже взрослый человек и должен делать все, чтобы помочь нашему народу.

Я подробно рассказал им об ОПО, о том, чего мы добиваемся. И одновременно пытался убедить, что способен справляться с трудностями.

Тут я узнал, что все мои братья — даже старший, уже женатый — вступили в ОПО в Цумебе. Отец спросил, намерен ли я продолжать свою политическую деятельность и в Овамболенде.

— Только будь осторожен! Мы не хотим, чтобы тебя вновь арестовали.

— Я тоже не хочу Но тюрьма все равно меня не остановит. Я немало лет работал по контрактам. Если бы мне платили справедливо, я давно бы разбогател... Мы бы все разбогатели. А вместо этого мы страдаем. И наши дети, и дети наших детей будут страдать, если мы не уничтожим систему контрактов. Какая разница — буду я страдать, находясь в тюрьме или работая по контракту?

Они слушали очень внимательно.

— Иди своим путем, сынок. Только будь осторожен.

Нас много

Наступил апрель время жатвы, и я помогал родным в полях. Неделю спустя я отправился в Эндолу повидаться с Каумбой, старым членом ОПО. Он очень обрадовался, узнав, что теперь я буду работать с ним. Ему исполнилось пятьдесят девять лет, и он уже не мог проходить по полсотни километров, чтобы собрать людей на митинг. Я посоветовал ему написать в штаб-квартиру СВАПО и попросить велосипед. Он послушался меня и месяц спустя уже разъезжал между деревнями на велосипеде.

В Уолфиш-Бее я познакомился с Симоном Каукунгвой, тоже членом ОПО. Узнав, что он вернулся домой, я поехал к нему в Охалушу спросить, хочет ли он работать с нами в СВАПО. Он хотел только одного — поскорее взяться за дело. Теперь мы действовали уже втроем.

Мы провели три больших митинга. Первый — в Эндоле, в тени деревьев, возле дома Каумбы. День был очень жаркий, но нас пришло более трехсот человек — мужчин, женщин и детей — из многих окрестных селений. Первым говорил Каумба. Он объяснил, что вместо ОПО теперь создана СВАПО. На это они сказали: «Мы поддержим всех, кто хочет нам помочь, будь то ОПО или СВАПО». Потом Каумба представил им меня. Я рассказал о своей работе в Уолфиш-Бее, об аресте, о тюрьме и своей решимости продолжать борьбу. Я говорил о том, что СВАПО нужны руководители, которые представляли бы все семь племен Овамболенда. Я объяснил, что ОПО была региональной организацией, созданной рабочими-овамбо в Кейптауне для борьбы с системой контрактов. Главная же цель СВАПО — содействовать освобождению всех народов Юго-Западной Африки от угнетения бурами. Цель СВАПО — завоевание независимости.

На нашем втором собрании в Охалушу собралось более пятисот человек. И тут, как всегда, был задан вопрос: «Как? Как мы можем завоевать независимость? Поможет ли нам ООН или СВАПО?» Я ответил:

— Южноафриканское правительство никого не желает слушать и не признает юрисдикции ООН в Юго-Западной Африке. ООН знает, что происходит в нашей стране, и вынесла много резолюций, осуждающих Южную Африку, но ничего не изменилось. Нет, нам нельзя уповать на ООН. Только сами намибийцы способны освободить Намибию!

Один старик спросил, о какой борьбе я говорю — с оружием в руках?

— Конечно. Другого пути нет. Мы должны быть готовы сражаться за свободу — пусть даже луками со стрелами и копьями! Мы не можем допустить, чтобы Южная Африка и дальше угнетала нас!

Старик просиял.

— Только это я и хотел знать! — сказал он.— А то сначала я подумал, что вы думаете вести борьбу только словами!

Он сказал, что в юности сражался против португальцев, и было ясно, что за все эти годы его боевой дух не угас.

Я заговорил о необходимости добиваться единства среди нас:

— Посмотрите на буров. Они объединились для того, чтобы угнетать нас, чтобы присваивать нашу землю и наш труд. Если мы будем едины в нашей борьбе, то победим и преодолеем все наши трудности.

После этих двух собраний число членов нашей организации начало стремительно расти. Мы вербовали сторонников в других районах, что было крайне важно для СВАПО в ее усилиях мобилизовать массы. Они вели разъяснительную работу, раскрывая сущность южноафриканского колониализма, пропагандируя наши цели. Кроме того, они собирали средства и помогали улаживать споры с деревенскими старостами — ставленниками буров. Эти старосты, как правило, были алчными вымогателями и угнетали своих соплеменников не меньше буров. Например, сын должен был выкупать у старосты дом, полученный в наследство от отца! В подобных случаях люди искали совета у местных представителей СВАПО, хорошо знавших различия между традиционным правом и законами буров. Доверие к СВАПО среди простых людей росло, и они все чаще искали у нас помощи и опоры.

Третье собрание мы провели в Омуанди. Иногда между собраниями проходило два-три месяца — устраивались они только в случае прямой необходимости и по конкретным вопросам. Созывали мы их в разных местах, чтобы охватить как можно больше людей, полагаясь на то, что присутствующие расскажут об услышанном своим родственникам и соседям.

В Омуанди нашим организатором был Элиандер. Он неплохо поработал для СВАПО — на собрание пришло более пятисот человек. Большинство горячо принимало все, что мы говорили, но нашлись и противники. По большей части это были старики, оставшиеся под сильным влиянием миссионеров. Во время речи Элиандера они начали кричать:

— Не слушайте этих дьяволов! Это дьяволы! Коммунисты!

Конечно, мы могли бы просто их прогнать, но это было бы только на руку нашим врагам. Впрочем, их никто не слушал, и вскоре они ушли сами.

После собрания все члены СВАПО остались в доме Элиандера на первое совещание нашего отделения. Мы сформировали комиссии для изучения различных вопросов,

разработки проектов решений, планирования собраний, подготовки докладов и улучшения организационной работы в Овамболенде.

Каждой комиссии поручалось готовить предложения для обсуждения на общих собраниях СВАПО.

Каумба, Каукунгва и я возглавили каждый по группе из шести членов.

В последующие месяцы на наши собрания приходило все больше людей. По какой-то причине власти не принимали против нас никаких мер. Вероятно, дело было в том, что именно тогда рассматривалась намибийская проблема Генеральной Ассамблеей ООН. В Юго-Западную Африку для изучения обстановки направлялась особая комиссия. Об этом мне сообщили из Виндхука через Германа Тойво-я-Тойво. Я тут же отправился в Охалуму и рассказал об этом Каукунгве.

— Созовем совещание нашего отделения в Омуанди,— сказал он.

На следующее утро я поехал в Эндолу к Каумбе. Он согласился с нами и добавил, что на этом совещании следует разработать заявление для комиссии ООН. Совещание состоялось через неделю. Приехал даже Тойво, хотя ему было запрещено покидать свою деревню. Но он считал, что дело слишком важно, чтобы считаться с полицейскими запретами.

Я пересказал сообщение из Виндхука: сюда едет комиссия ООН, и наше отделение должно послать кого-нибудь в Цумеб встретиться с ней. Мы точно не знали, куда прежде прибудет комиссия — в Виндхук, затем в Хрутфонтейн и Цумеб или же куда-нибудь еще. Но поскольку ближе всего к Овамболенду находится Цумеб, мы порешили, что поехать следует именно туда. Там работало свое отделение СВАПО, но руководство считало, что нужен еще человек, который бы хорошо знал обстановку в Овамболенде.

Делегатом избрали меня. Но как мне попасть в Цумеб? Нужен был специальный пропуск. Цумеб расположен в «полицейской зоне».

— Мне ведь запрещено выезжать за пределы Овамболенда. И, значит, о получении пропуска не может быть и речи.

— Надо все тщательно обдумать,— сказал Элиандер.— Кому-то надо раздобыть для тебя пропуск.

— Но кому? Подделка пропуска — дело очень опасное.

После обсуждения мой брат Александр вызвался взять это на себя. Он не был активистом СВАПО и просто приехал на совещание вместе со мной. Он как раз вернулся из Цумеба после окончания контракта и мог сослаться на то, что у него там остались вещи и он хочет теперь их забрать. На том и порешили.

Мы также обсудили заявление для комиссии ООН: просить, чтобы ООН взяла на себя управление Намибией и заставила Южную Африку уйти с нашей территории. И еще мы считали необходимым, чтобы ООН внимательно изучила наше положение — систему труда по контрактам, законы о пропусках и другие формы угнетения, от которых страдал каждый намибиец. Товарищи хотели, чтобы об этом я рассказал комиссии особенно подробно.

Два дня спустя Александр поехал в Ошиканго за пропуском и сразу его получил: в управлении знали, что он работал в Цумебе много лет, и даже ни о чем его не спросили.

Я взял у брата велосипед и поехал в Ондангву. По дороге меня нагнал в «лендровере» ван Бюрен, бур, работавший на почте. Он всегда сочувствовал нам, говорил, что поддерживает СВАПО, и даже как-то попросил меня выдать ему членский билет.

— Ндади! — крикнул он, остановив машину.— Куда это ты собрался?

— В Ондангву.

— Далековато! Ну-ка, клади велосипед в кузов. Я тебя подвезу.

Я устал и потому согласился. Мы въехали в Ондангву под вечер.

— А теперь ты куда?

— К Тойво.

— Правда? — сказал он.— Я тоже иногда к нему заглядываю. Ну, желаю удачи!

Тойво был дома и очень мне обрадовался.

— Как дела? Да говори же! Ты достал пропуск?

— Да. Брат взял его для меня. И вот я еду.

— Комиссия ООН сейчас в Солсбери,— сказал он.— Дальше они как будто едут в Бечуаналенд, а оттуда в Рунту. Хрутфонтейн, Цумеб. Так что поторопись.

Я переночевал у Тойво, а утром сел на автобус в Цумеб. На автовокзале я снова встретил ван Бюрена, мы немного поговорили. В Цумеб автобус пришел вечером. Я

увидел на улице Паулуса Хейта, друга моего брата Иссашара. Он предложил мне остановиться у него.

Паулус на редкость хороший человек. Когда я умылся с дороги, он дал мне чистое белье и отвел в отдельную комнатку отдохнуть. Я попросил его съездить к моим братьям в шахтерский поселок и сообщить, что я приехал. Он тут же отправился к ним, хотя час был уже поздний, вернулся с Хамутеньей. Потом пришел и Иссашар. Утром я пошел в город и купил газету. В глаза мне сразу бросился заголовок: «Комиссии ООН въезд в страну не разрешен!» Меня эта новость просто оглушила. Комиссия не приедет!

И тут я опять столкнулся с ван Бюреном.

— Вот те на! — воскликнул он удивленно.

— Привет! — сказал я.— А вы как тут оказались?

— Послали по служебным делам. Ты давно тут?

Я не ответил. Все это выглядело подозрительно. У меня начало складываться убеждение, что он следит за мной.

— А ты слышал, что комиссии ООН запретили въезд к нам? — спросил он.— Говорят, она уже вернулась восвояси. Доехали уже до Солсбери, но тут Эрик Лоу, министр иностранных дел ЮАР, пригрозил, что всю комиссию арестуют, если она попробует приехать в Намибию.

— Да, я как раз об этом прочел в газете. Жаль, конечно.

— Ну да. Комиссии обязательно надо было увидеть, что тут вытворяет Южная Африка.

Я уже почти не сомневался, что ван Бюрен — полицейский агент. Сначала он нагоняет меня на пустынной дороге, потом оказывается на автобусной станции в Ондангве. А теперь здесь... И он всегда распинался в своих симпатиях к намибийцам... Я поторопился проститься с ним, сказав, что меня ждут братья. Позднее мы узнали, что ван Бюрен был осведомителем Особого отдела и ему поручили слежку за мной. Братья отвели меня в укромное место за компаундом, где собрались рабочие, которым нетерпелось расспросить меня о СВАПО. Едва мы начали разговаривать, как явились полицейские — двое белых и трое африканцев. Сержант Эллис из Особого отдела подошел прямо ко мне и потребовал пропуск. Я дал ему пропуск Александра, понимая, что дело плохо.

— Это твой пропуск?

— Да.

Сержант рассмеялся.

— Вот как! Ты-то нам и нужен. Пойдешь с нами. И без фокусов!

Сержант отвез меня в участок. Там нас уже ждали южноафриканский полицейский чин и два черных агента Особого отдела. Мне предъявили обвинение в том, что я самовольно выехал с места ссылки и проник в Цумеб противозаконно.

— Но у меня есть пропуск,— возразил я.

— Не ври! Мы знаем все твои штучки.

Что я мог им сказать? Шутки плохи, когда ты попал в руки этих фашистов.

Меня обыскали и вытряхнули из карманов все — ручку, часы, всякие бумажки. Они написали протокол и заперли меня в камере. В полицейском участке было пять камер: для белых женщин, для африканок, для белых мужчин и две — для африканцев. Моя камера ничем не отличалась от тех, в которых мне довелось побывать. Новым было только одно — я находился в ней один. Грязь и вонь были ужасные. Я сел на цементный пол, чувствуя себя как нельзя хуже.

Вечером мне дали немного холодной кукурузной каши с фасолью. Я к ней почти не притронулся. Была уже зима, и в камере становилось все холоднее — в Намибии в мае, июне и июле дуют пронзительные ветры. На полу валялись только два тонких одеяла, кишевших вшами. Я лег на одно, другим укрылся, но все равно совсем окоченел.

Утром ко мне пришел полицейский-африканец, знакомый моих братьев. Они попросили узнать, какое мне предъявлено обвинение, нужны ли деньги на штраф и нужно ли нанять адвоката. Я сказал, что не знаю, будут ли меня судить или оставят вот так в предварительном заключении на неопределенное время.

— Но почему тебя держат отдельно от остальных? — сказал он с недоумением.

Оказалось, что меня поместили в камеру для женщин, по-видимому для того, чтобы я не мог общаться с другими арестованными.

— А ты член СВАПО? — спросил он.

Я поглядел на него.

— Да.

— А-а! Тогда понятно. Значит, ты политический! — Он повернулся и ушел.

На следующий день меня отвезли в Особый отдел. Допрашивал южноафриканский сержант. Его интересовало, зачем я приехал в Цумеб и не встречался ли я уже с комиссией ООН.

— Кто вам сказал, что я приехал сюда ради этого?

— Нам все известно. Так что брось запираться! Положение у тебя скверное и, если хочешь выйти отсюда, веди себя разумно. Мы тебе объясним, что из твоей затеи ничего не выйдет. Только тебе же будет хуже... И всем другим, кто в ней замешан. А сверх всего ты самовольно бежал из ссылки с пропуском на имя брата!

В кабинет вошел офицер Особого отдела.

— Что тут происходит?

— Это мистер Винья Ндади,— ответил сержант.— Он много болтает и рассылает письма по всему миру, подстрекая овамбо к бунту. А теперь вот тайно приехал в Цумеб по чужому пропуску.

— Я поговорю с ним сам,— сказал офицер и увел меня в свой кабинет.

Сначала он спросил, зачем я приехал в Цумеб.

— Повидаться с братьями.

Он спросил, как зовут моих братьев и где они работают. Я ответил.

— Послушай,— сказал он.— Все это вранье. А приехал ты, чтобы встретиться с комиссией ООН.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Хватит валять дурака! Я знаю о тебе все: и как в Уолфиш-Бее агитировал за ОПО, и как пытался спрятаться в трюме, чтобы добраться до ООН. Потом тебя выслали, и ты начал работать для СВАПО в Овамболенде. А сюда приехал, чтобы встретиться с комиссией ООН. Ну и хватит врать! — Он побагровел и закурил сигарету, а потом продолжал: — Подумай немножко о себе. Если ты расскажешь все как есть, мы тебя выпустим.

— Но я ни в чем не виноват,— ответил я спокойно.

— Ну, ладно, сволочь! Пусть будет по-твоему!

Три месяца меня держали в камере без свиданий и права переписки. Наконец за мной явились двое полицейских и отвезли в Особый отдел. Там мне сказали, что я освобожден,— и тут же меня снова арестовали. Это у них обычная практика, когда они хотят держать человека без решения суда.

В конце концов меня под охраной отправили назад в Овамболенд.

Через неделю после моего возвращения домой состоялось заседание исполкома местного отделения СВАПО. Я рассказал обо всем, что со мной было, а товарищи сообщили мне о том, что произошло за время моего отсутствия. Все больше и больше людей вступало в СВАПО, и на нашем заседании были представлены буквально все области Овамболенда. Мне задавали много вопросов, и мы проговорили далеко за полночь.

В то время я был влюблен в девушку, которую звали Сара. Познакомились мы в 1960 году, когда я вернулся из Уолфиш-Бея. Жила она километрах в двенадцати от нас, и на свидание с ней я или ходил пешком, или ездил на велосипеде, который брал у кого-нибудь из моих братьев. Еще в самом начале нашего знакомства я сказал, что хочу на ней жениться. Она не ответила ни «да», ни «нет», а сказала, что родные не позволят ей выйти замуж, потому что она еще слишком молода. Мы условились, что будем пока встречаться по-прежнему, а мой брат поговорит обо мне с ее семьей.

Вернувшись из Цумеба, я поехал к Саре, чтобы обсудить наши планы. Она была очень напугана: ее родные сказали, что я коммунист, и не хотели, чтобы мы виделись.

— Дорогая Сара,— сказал я.— Я не могу оставить работу в СВАПО, когда-нибудь — и, может быть, очень скоро — Намибия станет независимой, и тогда мы все решим.

Больше мы с ней не встречались. Я старался забыть о ней, но, должен признаться, это мне удалось не скоро.

Было это в сентябре 1961 года, а в следующем году была создана новая комиссия ООН во главе с филиппинским дипломатом Карпио. Я услышал об этом по радио буквально накануне прибытия комиссии в Овамболенд и сразу помчался в Охалушу.

У Симона Каукунгву сидели два товарища из Онганджеры. Мы решили немедленно ехать в Онданґву, куда на другой день должна была приехать комиссия ООН. Мы ехали на велосипедах всю ночь без остановки и в семь утра были у Тойво. В его доме собралось уже много людей отовсюду. Они писали плакаты. Для встречи с Карпио была избрана группа, в которую вошел и я.

В административном центре Овамболенда к нам присоединилась огромная толпа. Люди пели песни свободы, размахивали плакатами. Мы увидели нескольких вождей племен и деревенских старост, которые по приказу властей приехали сюда свидетельствовать в пользу Южной Африки.

Первым к Карпио был приглашен вождь Ушона из Онганджеры. Нам дали копию его заявления. Суть сводилась к тому, что он вполне удовлетворен деятельностью южноафриканской администрации в нашей стране, что законтрактованные в его области как будто всем довольны. Впрочем, как вождь, он не входит в подробности того, как они работают. Но, возвращаясь, они привозят ему подарки и деньги. А в остальном ему ничего не известно. Затем к Карпио вызвали других вождей и старост. Своих заявлений они нам не дали, и я не знаю, что они говорили комиссии.

Наконец, пригласили СВАПО. Буры не возражали, поскольку было достигнуто соглашение, что комиссия может встречаться с кем угодно без каких-либо ограничений.

Первым выступил Тойво. Он рассказал о системе контрактов, о репрессивных законах, о пропусках, о ночных обысках, о ссылках намибийских лидеров, о заключении противников апартхейда в тюрьму без суда и следствия. Карпио обратился к представителю южноафриканского правительства, но тот все отрицал. Члены комиссии попросили сообщить им конкретные факты, а потому я объяснил, как осуществляется система контрактов на деле — описал методы СВАНЛА. Жизнь законтрактованных, их продажу хозяевам. В целом мы говорили не меньше трех часов. В заключение они нас заверили, что вся полученная информация будет передана в ООН, где ее обсудят и опубликуют. Сразу же после этого комиссия отбыла в Виндхук, а мы вернулись к Тойво, чтобы немного отдохнуть. Ведь накануне никто из нас не сомкнул глаз всю ночь.

Через несколько недель членам СВАПО было официально разрешено устраиваться на работу за пределами Овамболенда. Я написал письмо в компанию «Цумеб корпорейшн», предлагая свои услуги, и, к большому своему удивлению, получил в ответ телеграмму, что для меня есть место.

В Онданґве я пришел в бюро СВАНЛА и показал телеграмму. На этот раз мне не пришлось ждать. Меня оформили по категории «А» и сказали, что я могу выехать в Цумеб завтра же.

В Цумебе я прямо пошел к управляющему компаундом, но он не помнил моего письма. Поколебавшись, он сказал:

— Ну, что же, нам нужны люди, но только прежде надо сдать экзамен.

Экзамен оказался очень легким, и мне сказали, что меня вызовут. Прошел день, другой, третий... Потом я узнал, что в управлении компании побывал представитель Особого отдела и предупредил их о моей деятельности. Когда наконец меня вызвали, заведующий кадрами сказал:

— Мы собирались дать вам место здесь, в управлении. Но теперь это невозможно. Смутьяны нам не нужны. Лучше вернитесь домой.

Я остался в компаунде и через две недели нашел работу на лесопилке за фунт десять шиллингов в месяц. Работал я там почти год. Начинали мы в семь утра, кончали в пять без обеденного перерыва. На завтрак мы в компаунде получали кашу, хлеб и черный кофе — брали все это на кухне и уносили к себе в комнаты, где жило по шестнадцать человек, а вся мебель исчерпывалась бетонными нарами и столами. Еда была настолько скверной, что я часто почти к ней не прикасался. У нас был только один свободный день — воскресенье, когда мы были обязаны убирать свои комнаты и мыть их.

Большинство тех, кто жил в компаунде, работало в шахтах. Остальные были уборщиками парков и скверов или прислугой в отелях и в частных домах. В городе все принадлежало (и принадлежит) «Цумеб корпорейшн»— от шахт, электростанции и водопровода до отелей и парков. Так что в одном огромном компаунде жило более четырех тысяч человек. Он был окружен высокой стеной, а у единственных ворот дежурили полицейские.

Вскоре после приезда я был выбран председателем недавно организованного там отделения СВАПО.

Почти сразу после моего избрания я попросил у управляющего локацией разреше-

ния устроить митинг. Мы расклеили объявления на деревьях: одно в компаунде, два-три — в локации. Вечером в субботу собралось более пяти тысяч человек. Явились и агенты Особого отдела во главе с сержантом Боисом, который принес магнитофон.

Как раз тогда международный суд в Гааге рассматривал вопрос о Намибии. Я рассказал об этом. Другие говорили о СВАПО, о необходимости единства всех намибийцев. Митинг прошел без каких-либо инцидентов. Но после его окончания сержант Боис предупредил нас, что он внимательно проверит наши речи и, возможно, нам не миновать обвинения в «подстрекательстве к насильственным действиям». Однако мы прекрасно знали, зачем он приходил, и были осторожны, а собравшиеся прекрасно понимали все, что мы оставляли между строк.

На следующем митинге примерно через месяц перед рабочими выступил один из лидеров СВАПО Джон Отто. Народу собралось даже больше, чем в прошлый раз. Отто говорил о деятельности СВАПО в Виндхуке и о важности единства среди намибийцев, а потом поблагодарил рабочих Цумеба за их вклад в борьбу за свободу и независимость. Он сообщил, что Сэм Нуйома теперь в Нью-Йорке и отстаивает наше дело в ООН. Но надежды на то, что ООН обеспечит Намибии независимость, нет почти никакой.

— И мы должны это понять! — сказал он.— Никто за нас нашу родину не освободит. Только мы сами.

Рабочие громко захлопали. Они, конечно, поняли, что он подразумевал.

К этому времени значительное число людей уже не верило, что усилия ООН могут увенчаться успехом,— мирные средства борьбы против фашистского южноафриканского режима были исчерпаны, и некоторые наши члены уже проходили военную подготовку, но это сохранялось в строжайшей тайне.

Несколько недель спустя я пришел к управляющему и попросил перевести меня на другую работу. Он сказал:

— Прекрасно знаешь, что это зависит не от меня, а от управления по делам туземцев. А оно хотело бы вообще от тебя избавиться, потому что ты ненавидишь буров.

Он приехал в Намибию из Канады и говорил со мной по-английски, хотя знал и африкаанс.

— Я ненавижу вовсе не буров,— возразил я,— а угнетение. Вы же отлично знаете, как угнетает нас южноафриканское правительство. Это правда, и я ее не скрываю. Буров я ненавижу не потому, что они буры, а только потому, что они угнетают нас.

В июле мне сообщили, что Максвирили, который был теперь вице-президентом СВАПО, а также Франк Абрамс и Валентин Катумбе хотели бы выступить на митинге в Цумебе. Я обратился за официальным разрешением, но, в отличие от прежних случаев, получил отказ без всяких объяснений. Я повторил свою просьбу еще дважды, но с тем же успехом. Но Максвирили и его товарищи все равно приехали. Я рассказал им, как обстоит дело.

— Сколько раз вы обращались за разрешением? — спросил Максвирили.

— Три! — Я показал им письменные отказы.— И без объяснения причины.

— По закону,— сказал он,— легальная организация имеет право устраивать собрания, если она подала официальное прошение на его разрешение, пусть оно и отклонено. Мы не можем уехать из Цумеба, не выступив перед рабочими.

Я колебался.

— Это ведь не Уолфиш-Бей,— объяснил я.— Буры тут совсем осатанели. Нас наверняка арестуют.

Но Максвирили стоял на своем:

— Пусть арестуют, но митинг мы устроить обязаны.

Мы вывесили объявление, и в воскресенье в час дня собралась огромная толпа. Микрофонов и усилителей у нас не было: мы просто кричали во весь голос, стоя на столе. Мы еще не успели начать, как подъехали три полицейские машины и к нам подошел сержант Боис с десятком южноафриканских полицейских. Он приказал нам сесть в машину и следовать в участок. Однако толпа возмутилась и окружила маленький полицейский «фольксваген». Кто-то громко стучал кулаками по крыше, кто-то раскачивал машину.

— Вы очень рискуете, сержант Боис,— сказал Максвирили.— Если вы не поостережетесь, могут вспыхнуть беспорядки. Мы не хотим кровопролития, но можем не справиться с разбушевавшейся толпой. Лучше дайте нам провести митинг. Арестовать нас успеете потом.

Боис явно перепугался. Удары по крыше сыпались все чаще, со всех сторон раздавались выкрики:

— Дайте говорить нашим лидерам!

— Если арестуете их, мы разнесем машину!

Боис совсем струсил.

— Ладно, продолжайте свой митинг,— буркнул он.

Воодушевленные победой, мы продолжали проводить митинги, и пока я работал в Цумебе, полиция ни разу не вмешивалась, хотя обязательно присутствовала на них.

Число членов нашего отделения быстро росло, как и женского комитета. Женщины вели активную работу: оповещали о собраниях, организовывали пикники с продажей домашней колбасы, пирогов и лимонада, и вся выручка поступала в кассу СВАПО.

В эмиграции

Срок моего контракта истек 22 июня 1964 года, и в тот же день мы с Иссашаром уехали из Цумеба. А потом пересели на автобус в Ондангву, где я увиделся с Тойо. Он рассказал, что многих сваповцев арестовали и жестоко избивали. А некоторые, чтобы избежать ареста, предпочли бежать в Танганьику. Произошло все так: де Вет Нел, южноафриканский комиссар по делам банту, в марте 1964 года прибыл в Охенгвену, чтобы разъяснить так называемый план бантустанизации. Буры планировали создать в Намибии и ЮАР много таких территорий — каждая отдавалась какому-то одному племени.

На собрании после речи, произнесенной южноафриканским комиссаром, выступили Каукунгва, Каумба и еще несколько деятелей СВАПО, заявив, что они категорически против создания бантустанов в Намибии. Намибийцы не хотят, чтобы их страну поделили на части, они хотят видеть ее единой и независимой. Конечно, такие выступления на таком собрании не могли не произвести ошеломляющее впечатление. Едва Каукунгва закончил свою речь, как деревенский староста Элиа Вейюлу — отпетый прихвостень буров — вскочил и прицелился в него из пистолета и, наверно, выстрелил бы, если бы какие-то женщины не вырвали у него пистолет.

На самом собрании больше ничего не произошло, но вскоре полиция получила приказ взять Каукунгву живым или мертвым. Узнав об этом, он спрятался в лесу, а потом решил уйти за границу. В то время оставаться в стране не имело смысла — всякого рода собрания были запрещены, а к другим формам борьбы мы тогда прибегнуть еще не могли.

И Тойво утратил свой оптимизм.

— Что еще нам делать? Проводить митинги теперь невозможно... или даже просто разговаривать — ведь всюду полно доносчиков. А ты как думаешь поступить, Винья?

Я задумался. В Овамболенде дела нашлось бы много, но не в таких условиях. Мой брат Хамутенья ушел с Каукунгвой. Ушли за границу и многие другие члены СВАПО. Большинство через Ботсвану, в Дар-эс-Салам.

— Пожалуй, и мне лучше скрыться за границу,— сказал я наконец.— Все-таки пользы будет больше, если я буду работать там, а здесь меня пристрелят или сгноят в тюрьме.

Тойво согласился и пожелал мне удачи.

Мы с Иссашаром добрались на грузовике до Омафо, а оттуда — до родного крааля, куда пришли поздно вечером.

Утром отец зарезал козу в честь нашего возвращения. Все родные были очень нам рады и принялись рассказывать, что происходит в Овамболенде. Они умоляли меня быть осторожным; теперь старосты получили разрешение убивать руководителей СВАПО без суда и следствия. Я рассказал им о моем разговоре с Тойво и решении уйти за границу. Им не хотелось расставаться со мной, но, с другой стороны, они боялись за меня, а потому в конце концов согласились.

— Наверно, иначе нельзя,— со вздохом сказал отец.

— Все-таки это лучше, чем получить здесь пулю или попасть за решетку.

Со мной решил уйти Мэтьяс Канана, из Онамбуту, с которым я работал в Цумебе. Недели две я провел дома, собираясь в дорогу и помогая отцу в поле. Дни летели быстро, и скоро настало время прощаться с родителями и братьями. Это было нелег-

ко. Я не знал, что будет дальше, вернусь ли я когда-нибудь, увижу ли их снова. Мать горько плакала...

Мэтьяс уже ждал меня. Он зарезал на дорогу козу. Мы съели мяса сколько смогли, остальное забрали с собой, я взял с собой только две рубашки и два тонких одеяла, так что весь мой багаж уместился в небольшую сумку. Мы пошли на восток через леса в Окаванголенд и через две недели добрались до Рунту, административного центра Окаванголенда. Шли мы каждый день от зари и до зари — ночью пробираться по лесу опасно из-за диких зверей. На пути нам попалось несколько деревушек. Мы покупали там еду, но никому не открывали, что состоим в СВАПО. Полиция уже патрулировала этот район, зная, что через него активисты СВАПО уходят за границу. Если нас спрашивали, куда мы направляемся, мы говорили, что к родственникам.

В Рунту находилось бюро Витватерсрандской ассоциации по найму туземцев на работу (ВНЛА), которая вербовала рабочих на южноафриканские шахты и рудники. Мы рассчитывали добраться до столицы Ботсваны Франсистауна, где находился латерь СВАПО, но для этого надо было завербоваться: ВНЛА везла своих рабочих из Рунту в Франсистаун на грузовиках, а оттуда отправляла в Иоганнесбург. В Франсистауне мы просто спрыгнули бы с грузовика и исчезли.

Мы переночевали в компаунде, а рано утром пошли в бюро ВНЛА. Там уже выстроилась длинная очередь. Вскоре три сотрудника Особого отдела начали проверять документы у тех, кто стоял в очереди. К счастью, они не знали меня в лицо. Тех, у кого не было удостоверения личности, они отсылали в свой «лендровер», где допрашивали. Я не сомневался, что ищут они членов СВАПО, пытающихся бежать из страны.

Они подошли ко мне. Я сказал, что пропуска у меня нет.

— Ладно. Иди к машине.

Я медленно направился к «лендроверу», но когда полицейский открыл дверцу, прыгнул в сторону и помчался что было мочи в лес. Никогда в жизни я не бегал так быстро. Двое полицейских уже почти настигли меня, но лес был совсем близко, и там мне удалось спрятаться от них. Несколько минут я лежал ничком на земле и прислушивался, не донесется ли до меня звук их шагов. Но все было тихо. Вероятно, они решили, что найдут меня позже, и ушли.

Мои башмаки остались в бюро ВНЛА, а сумка с деньгами и другими необходимыми вещами в компаунде. Мне необходимо было вернуться за ней, несмотря на риск.

Уже почти стемнело. У ворот компаунда стоял полицейский, но мне удалось незаметно проскользнуть внутрь. Я кинулся в барак, схватил сумку и побежал к заднему забору, перекинул через него сумку и перелез сам. Он был высокий, с колючей проволокой наверху, и карабкаться на него без башмаков оказалось настоящей пыткой. Но и это было предпочтительней ареста.

Выбравшись из компаунда, я во весь дух припустился к реке, за которой лежала Ангола. Там я пошел вдоль реки, оставаясь в тени берега, и увидел мальчишку в лодке. За шиллинг он перевез меня на тот берег.

Там стояла большая деревня. Жители встретили меня очень приветливо. Угостили домашним пивом и накормили. Потом с того берега приплыли три человека.

— Так, значит, ты спасся! — сказали они.— А тебя все еще ищут в лесу и на берегу. Твоего друга арестовали, такая беда!

Так я остался один.

«Что же,— подумал я.— Надо идти дальше. Пути назад нет!»

У меня не было никакой еды. Я попросил моих собеседников купить мне муки в Рунту. На ангольском берегу лавок не было. Я дал им три фунта. На следующий день они привезли большой мешок муки. Для меня одного ее оказалось слишком много, и, оставив себе сколько требовалось, остальное я продал местным жителям.

Несколько дней спустя в деревню пришли люди, направляющиеся в Катимо-Мулило в Восточном Каприви через Анголу и Замбию. Я решил пойти с ними.

Вышли мы в восемь утра. Мы отправлялись в путь на восходе и останавливались только на ночь. Шли днем. На третий день переправились через реку Кито, а неделю спустя — через Лумуну и еще неделю спустя — через Лянке. Иногда мы шли и по ночам, чтобы обязательно добраться до воды — в этой области погибло от жажды много путников. Однако кое-где идти ночью бывало опасно из-за львов.

На Лянке наши припасы кончились. У меня оставались деньги, толку от них не было никакого. В этих краях денег просто не знают. Если местному жителю дать шиллинг, он скорее всего просверлит в монете отверстие и повесит ее на шею. Там можно

умереть от голода с пачкой денег в кармане. Мне удалось выменять одеяло на корзину зерна. Мы истолкли его в муку, а местные женщины помогли нам ее провеять.

Нас никто, собственно, не возглавлял. Но мало-помалу я стал чем-то вроде руководителя, так как остальные с большим уважением относились к моим советам и мнениям.

Еще через две недели мы добрались до реки Утембо, а две недели спустя вышли на реку Куандо там, где она поворачивает в Замбию. К этому времени мы остались вчетвером. На развилке дороги ангольцы решили свернуть на юг. Я возразил:

— Нет! Нам советовали выбрать северную дорогу.

Но они не стали слушать. Один заявил:

— Идите куда хотите, а мы пойдем по южной дороге.

И вот теперь на Куандо мы узнали, что ангольцы опередили нас на день, но, к сожалению, попались португальскому патрулю, и их доставили к начальнику полиции. Теперь они сидят под замком в католической церкви.

Португальцы считались даже безжалостнее буров, и до темноты мы прятались в лесу. Ночью мы пошли в деревушку, сварили остатки муки и съели пустую похлебку без мяса и приправ. Хозяин дома обещал дать нам утром лодку, и мы проспали до рассвета, а потом опять укрылись в лесу. Часов в десять за нами пришел молодой человек и проводил к лодке. Река там очень широкая, и до Сангомбо мы добрались только через несколько часов. Я просто не мог поверить, что наконец мы в Замбии. Мне казалось, что я больше не смог бы пройти и шагу.

Теперь, вспоминая прошлое, я чувствую, как много времени пробежало с тех пор, как я покинул Намибию. Однако за этот срок мы добились очень многого. СВАПО одержала важные политические победы, и наша борьба за свободу теперь известна всему миру. ООН и ОАЕ признали СВАПО единственным законным представителем намибийского народа, и нам оказывают помощь и поддержку многие страны и прогрессивные движения. Но нам предстоит сделать еще очень много.

Не думаю, чтобы буров удалось уговорить и они сами «дали» бы нам независимость. До сих пор попытки ООН и международного суда были тщетны. Буры просто пытаются выиграть время, чтобы укрепить свои позиции в Намибии.

Освобождение Намибии зависит от борьбы самих намибийцев и СВАПО. В последнее время вооруженное сопротивление все более усиливается. Наши партизанские отряды одержали несколько важных побед. По всей стране бастуют законтрактованные рабочие, ширятся протесты против бантустанизации страны.

Но не стоит обманывать себя. Борьба предстоит долгая и упорная. Но я надеюсь, что еще вернусь домой, в свободную Намибию.

Как член Национального исполкома СВАПО я обязан отдавать все силы, помогая планировать и осуществлять всю военную и политическую деятельность СВАПО, направленную против южноафриканского фашизма.

Хотя я уже не молод, но по-прежнему моя жизнь целиком посвящена делу освобождения моей страны, моего народа.

■

Критика

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОМАНЕ ЕГИПТА И ИНДИИ

25 лет назад в Ташкенте состоялась первая конференция писателей Азии и Африки. Бурный процесс освобождения от колониальной зависимости, становление национальной и политической самостоятельности, социальные преобразования, намечавшиеся и уже происходившие в странах этих континентов, породили и новые, своеобразные тенденции в их литературах, требовавшие анализа и осмысления. «Иностранная литература» на протяжении всех этих лет не раз знакомила своих читателей с произведениями писателей стран Арабского Востока, Тропической, Северной и Южной Африки, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, как тех, которые избрали социалистический путь развития, так и несоциалистических. Нередко появляются на наших страницах работы советских и зарубежных исследователей о значительных явлениях и процессах в этих национальных литературах. Недавно редакция провела встречу критиков, литературоведов и переводчиков — специалистов по литературам стран Юго-Восточной Азии и Арабского Востока,— на которой состоялся интересный обмен мнениями о развитии прозы этих стран за истекшие годы. Два доклада, прочитанные на этой встрече В. Кирпиченко и М. Салганик, легли в основу статей, которые мы предлагаем вниманию читателей. Они, разумеется, не претендуют на полноту географического охвата и не исчерпывают всего диапазона тем, поднимаемых сегодня писателями Азии и Африки, но, по мнению участников встречи, касаются весьма существенных тенденций, при всем национальном своеобразии типичных для литературного процесса многих развивающихся стран.

В. КИРПИЧЕНКО

ПОИСКИ СВОЕГО ЛИЦА

Понятие «арабский роман» возникло сравнительно недавно. Еще четверть века назад нельзя было говорить о нем как об общеарабском литературном явлении. Структура литературных жанров очень разнится от одной арабской страны к другой, и переход от традиционных, существовавших веками жанровых форм к современным происходил в них разновременно. Если в Сирии и Ливане роман в его европейских формах получил развитие уже во второй половине XIX века, то, скажем, в Ливии и Иордании первые произведения романного жанра созданы лишь в начале 70-х годов нашего столетия.

В течение всей первой половины XX века центром арабской культурной жизни, лидером арабской литературы, особенно прозы, оставался Египет, уже в 1922 году получивший формальную независимость, тогда как другие арабские страны продолжали пребывать на положении колоний, протекторатов и подмандатных территорий. В Египте жили в эмиграции, получали образование многие общественно-политические деятели и литераторы из стран Арабского Востока и Магриба. Египетская литература постоянно оказывала влияние на литературное движение в других арабских странах и являлась передатчиком идейных воззрений и эстетического опыта западной культуры.

Примерно с конца 50-х годов, то есть после того как страны арабского мира обрели статус независимых государств, и именно тогда, когда в Западной Европе широко дискутировался вопрос, не изжил ли себя романный жанр, в арабской литературе, как и в других литературах развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, роман стал динамично развиваться и набирать силу. Так что сейчас можно уже говорить о существовании арабского романа как явления регионального. А развитость и зрелость его форм в каждой из арабских стран может служить показателем общего уровня ее национальной литературы. Существует обширная романная литература в Сирии, Ливане, Ираке, Тунисе, Алжире. С некоторыми ее образцами знаком в переводах на русский язык и советский читатель. Но, пожалуй, и до сего дня египетский роман остается и в количественном отношении, и с точки зрения многообразия направлений, форм и писательских индивидуальностей лидером арабского романа.

Впрочем, в скором времени могут появиться и другие претенденты на эту роль.

Эволюция арабского романа шла в направлении все более широкого освоения и переработки наследия европейской культуры и общественной мысли XVIII—XX веков под углом зрения собственных традиционных мировоззренческих ценностей. Реалистическое направление в прозе, зародившееся в Египте в первые десятилетия века, осознавало свою основную задачу как постижение национальной действительности и национального характера. Сферой поисков эстетического идеала стала для него западноевропейская и русская реалистическая традиция. 50-е годы дали зрелые образцы социально-бытового и социально-психологического романа, эпического по содержанию, объективного по стилю повествования, изображающего египетское общество — и человека как порождение этого общества — накануне антифеодальной и антиимпериалистической революции 1952 года.

На рубеже 50—60-х годов, однако, наметился перелом в ходе литературного движения: египетская литература обратилась к новой проблематике, рожденной уже послереволюционной исторической ситуацией. Перед литературой, как и перед всей страной, остро встал вопрос о выборе дальнейшего пути. Те идеологические концепции, буржуазные и социалистические, которые раньше воспринимались как чисто теоретические, теперь стали рассматриваться с точки зрения их практической приложимости к египетским условиям, их соответствия или несоответствия интересам различных социальных сил, борьба между которыми составляла содержание и определяла атмосферу общественно-политической жизни тех лет.

Для египетской творческой интеллигенции это была пора испытания и самоопределения. Происходила ревизия прежних общественных и литературных идеалов, и отказ от них нередко сопровождался острыми формами рефлексии — мотив «больной совести» в литературе тех лет звучит весьма явственно. В годы борьбы за независимость интеллигенция привыкла считать себя выразителем интересов народа, его защитником. Теперь же выяснялось, что боязнь народной «стихии» и «издержек» радикальной революции у той части интеллигенции, которая имеет мелкобуржуазную ориентацию, была значительно сильнее ее стремления к социальной справедливости. Вместе с тем еще жива была вера в возможность «третьего пути», который и вывел бы страну из отсталости, и позволил бы избежать серьезных внутренних потрясений.

Тема нравственного и общественного выбора — одна из ведущих в египетском романе рубежа 50—60-х годов. Он отразил идейные споры, которые кипели вокруг этой злободневной и жизненно важной проблемы. Роман утратил эпическую широту и обстоятельность, объективность повествовательного стиля, заметно сократился в объеме, стал диалогичным, внутренне полемичным, противоречивым. Наиболее значительное явление этого периода — цикл так называемых малых романов Нагиба Махфуза, романиста номер один всего арабского мира. В шести романах цикла Махфуз нащупывает самые болевые точки новой общественной ситуации, определяет собственное отношение к ней и пытается предугадать ее перспективы. В известном советскому читателю романе «Вор и собаки» (1961, русский перевод — в 1968 г.) он решительно высказывает мнение, что революция 1952 года не изменила радикально внутренней структуры египетского общества, что она привела лишь к «смене лиц», в руках которых сосредоточены власть и богатство. Ту же мысль он повторяет в романе «Нищий» (1965), утверждая устами одного из героев, что мечта о социализме, вопреки получившему широкое распространение мнению, еще не осуществлена, «государство миллионов» отнюдь не создано. Махфуз показывает, в каком страхе живет буржуазия, та самая, которая когда-то боролась за независимость и справедливость, в какую дрожь приводят ее слухи о предстоящей национализации крупной собственности.

Однако с той же решительностью Махфуз закрывает перед своими бунтующими против несправедливости героями любые пути активной борьбы, поскольку ни один из них не представляется ему ни гуманным, ни перспективным. Он мечтает о том, чтобы соединить Революцию с Поэзией. Путь к созданию общества справедливости должны обеспечить, по убеждению Махфуза, Разум человека, его Труд и Наука. Такое понимание общественного идеала Махфуз сформулировал в 1959 году в программном философском романе «Дети нашей улицы». В аллегорической форме он изобразил в нем историю трех религий, возникших на Ближнем Востоке,— иудаизма, христианства и ислама — как историю борьбы их пророков за осуществление идеи социальной справедливости. Но, признав, что религия оказалась не в состоянии выполнить эту миссию, Махфуз делает ее преемницей науку. При этом главное условие успеха он видит в том, чтобы достижения науки были поставлены на службу всему народу.

На этой философско-метафизической основе писатель и ищет пути развития египетской революции. В романах «Путь» (1963) и «Болтовня над Нилом» (1966) он с позиций религиозно окрашенного рационализма ведет полемику с получившей широкое распространение среди египетской интеллигенции философией экзистенциализма, с концепциями имманентного отчуждения личности и абсурдности бытия. Махфуз признает существование феномена отчуждения, но справедливо считает его следствием неразумного устройства окружающего общества и его нравственного разложения. Высший нравственный смысл человеческого существования заключается для писателя в общественно полезной деятельности индивидуума. Он осуждает эгоистический уход в себя, безразличие к судьбам общества и народа. Философия абсурда, в глазах Махфуза, не безобидная игра ума, ибо она порождает безответственность, ведущую к преступлению.

Анализируя в романах «Перепела и осень» (1962) и «Пансион «Мирамар» (1967) национальную сущность революции 1952

года, Махфуз дает ей высокую оценку, констатируя, что революция претворила в реальность давнюю мечту египетских патриотов видеть свою родину свободной и независимой. Тут Махфуз целиком на стороне революции. Но, вглядываясь в послереволюционную действительность трезвым взглядом реалиста, он не находит в ней сил, которые могли бы стать подлинной опорой независимого Египта. Вернее, силы такие существуют, но в романе — и это соответствует действительности того времени — они присутствуют лишь на периферии действия, исключены из активной общественной жизни, это коммунисты, находящиеся в тюремном заключении. И юной, волевой, целеустремленной крестьянской девушке Захре, образ которой олицетворяет собой молодой независимый Египет, предстоит самой, опираясь лишь на собственные силы, искать дорогу в будущее. Таков итог наблюдений и размышлений писателя над послереволюционной египетской действительностью, вывод, к которому он пришел как раз накануне арабо-израильской войны 1967 года.

В арабской литературной критике широко дискутировался вопрос о воздействии военного поражения на сознание творческой интеллигенции и судьбы литературы. Многие авторы склонны считать 1967 год рубежным в периодизации литературного процесса в Египте, если не во всем арабском мире. Отрицать силу морального потрясения, вызванного поражением, и приуменьшать степень его воздействия на литературу, разумеется, нельзя. Однако анализ литературного материала убеждает в том, что лицу литературы конца 60-х годов присущи черты, складывавшиеся еще в начале десятилетия под влиянием факторов внутреннего, социально-политического порядка. Если Махфуз в своих малых романах полемизировал с философией абсурда и отчуждения, то это потому, что она уже тогда заняла достаточно прочные позиции в сознании и произведениях многих писателей молодого поколения. В большинстве своем они начинали как новеллисты, а позднее стали авторами так называемых романов новой волны.

Послереволюционные реформы и социальные преобразования постепенно сдвинули общество с его традиционных основ, привели в состояние брожения, движения, представлявшегося хаотическим, поскольку ни цели, ни направление его не были ясны. Возникло ощущение нестабильности, ненадежности, оторванности от привычной почвы, от своих корней. Это и создавало предпосылки для распространения психологии отчуждения, для широкого увлечения экзистенционализмом, эстетикой постмодернистского и авангардистского искусства. Однако волна увлечения различными формами иррационального в искусстве в гораздо большей степени захватила новеллистику — как писателей поколения 50-х годов (в том числе таких признанных реалистов, как Юсуф Идрис), так и литературную молодежь, дебютировавшую в начале 60-х. В поисках решения проблемы личности и ее взаимоотношений с обществом они обращались к экзистенциальной философии, к теории подсознательного Фрейда, к собственному субъективному чувственному опыту. Личный опыт приобретал тем большее значение, что стремление выработать самостоятельный взгляд на мир, не прибегая к помощи готовых схем и заимствованных теорий, превалировало надо всем. Комплексу культурной отсталости и боязни оказаться не на уровне эстетических исканий века противостояло настойчивое желание высвободиться из-под культурной «опеки» Запада, опереться в мировоззренческих и художественных поисках на собственное культурное наследие. Эти разнонаправленные тенденции и определили противоречивый облик романа «новой волны». Основой его поэтической структуры, особенно на первых порах существования, явился, безусловно, субъективный, индивидуальный опыт. Но значительно сузив (по сравнению с романом 50-х годов) пространственно-временные рамки повествования, приглушив его социальное звучание, роман вместе с тем сохранил свою реалистическую субстанцию. Сколь бы враждебным и чуждым ни представлялся молодым романистам окружающий мир, они, за редкими исключениями, не делали вывода о его «врожденной» абсурдности и не отрицали возможности его рационального объяснения.

Примерно из трех десятков романов, созданных молодыми авторами в 60-е годы, не многие можно назвать творческими удачами. Египетская критика, отмечая недостаток мастерства и художественного опыта у романистов, рассматривала их произведения не как «свершения», а как «обещания». В дальнейшем, естественно, далеко не все «обещания» сбылись, но, как бы то ни было, ведущие прозаики сегодняшнего Египта вышли из рядов этой «новой волны».

Основной тип романа 60-х годов — субъективно-психологический роман одного героя. Причем герой этот очень близок автору, иногда полностью с ним идентифицируется. Внешний мир дается исключительно в восприятии этого героя, пропускается через фильтр его чувств, настроений, его сознания и подсознательных, интуитивных ощущений. Сюжет, социальный или нравственный конфликт, служивший ядром романа 50-х годов, уступил место психологической монодраме, истории отчуждения индивидуума от той патриархально-деревенской или буржуазно-чиновничьей среды, к которой он принадлежал по рождению.

В романе «Дурно пахнет» (1966) Сааналы Ибрахима свое полное выпадение из прежнего круга родных и друзей обнаруживает безымянный герой-журналист, как можно понять, коммунист, только что освобожденный из тюремного заключения. Люди, с которыми он когда-то был близок, ведут жизнь обывателей, заняты исключительно устройством своего быта, приобретением мебели, выгодными браками, заботами о карьере. Им нет никакого дела до высоких целей, за которые боролся и попал в тюрьму герой. И сам он ощущает духовное опустошение. У него все в прошлом — борьба, тюрьма, мужественное поведение под пытками, смерть товарищей. В настоящем же нет ничего — он не способен ни работать, ни любить. Все представляется ему пошлым и бессмысленным. На будущее нет ника-

кой надежды. И герою чудится, что все вокруг него пропитано запахом нечистот.

Сельский учитель Хальфалла аль-Бартауи из повести Юсуфа аль-Куайида «Дни засухи» (опубликована в 1973 г., но написана до 1969 г.) родился и вырос в деревне. Будучи назначен директором школы в другую, глухую деревню, ощущает себя абсолютно чуждым ее жителям. Он не может установить с ними контакта и медленно сходит с ума от одиночества и бессмысленности своего существования.

Абд аль-Азиз, сын главы деревенской религиозной общины из романа Абд аль-Хакима Касема «Семь дней жизни человека» (1969), заканчивая школу в городе, вырастая из мальчика в юношу, с горечью и болью чувствует, что отдаляется от дорогих ему людей, что уже не может смотреть на мир их глазами. Да и сам патриархальный уклад жизни постепенно рушится, а приходящая ему на смену новая действительность представляется Абд аль-Азизу грубой, жестокой, лишенной человеческого тепла. Он не находит в ней себе ни места, ни назначения.

Можно было бы упомянуть и другие романы.

При всей их камерности, однако, причины отчуждения персонажей не лежат здесь внутри них самих. Они рождены конкретной общественно-исторической ситуацией, сколь бы узким ни было отражение, которое она находит в романах.

Перемены в общественно-политической жизни страны, произошедшие после смерти президента Гамаля Абдель Насера, послужили внешним толчком к новым переменам в идейной и художественной структуре египетского романа. Потребность осмыслить результаты важнейшего периода истории страны подвигнула писателей преодолеть ограниченность субъективного подхода, найти иные масштабы ви́дения, иные критерии оценок. Их внимание по-прежнему сосредоточено не столько на внешних сторонах действительности и точном воспроизведении событий, сколько на сфере сознания, психологии. Но теперь это уже не сознание отчужденного, смятенного интеллигента, а сознание народа, крестьянства, городских низов, рабочих. Их эпические по охвату жизненного материала произведения строятся по-прежнему в формах внутреннего монолога, потока сознания. Но на скрещении самых противоречивых субъективных восприятий и оценок должна возникать объективная картина действительности.

Такова структура романов «Траур» (1969) и «Зимний сон» (1975) Юсуфа аль-Куайида и «Аз-Зейни Баракят» (1971) Гамаля аль-Гейтани. Романисты обращаются преимущественно к традиционным формам сознания. У персонажей Куайида, крестьян, оно насыщено фольклорно-мифологической образностью. У городских низов из романа Гейтани сохраняет многие черты, идущие от средневековья. Перенося действие в XVI век, стилизуя свой роман под средневековую историческую хронику, Гейтани вскрывает исторические корни сегодняшнего традиционно-религиозного сознания, объясняющие реакцию народных масс на многие социальные преобразования. Кстати, обращение к жанровым формам, традиционным мотивам и образам литературы средних веков — явление, широко распространившееся в последние годы в литературе не только Египта, но и других арабских стран.

Сдвиги, мало-помалу происходящие в народном сознании, расширение его горизонтов, разрушение старых социальных мифов, связанных у народа с верой в непременный приход нового пророка-избавителя, а у интеллигенции — с романтико-утопическими представлениями о роли и возможностях личности,— эти сдвиги служат показателем пусть медленного, но поступательного движения общества.

Испытывая настоятельную потребность в объективных обоснованиях для своих суждений об окружающем мире, романисты охотно обращаются к документализму — путем включения документальных материалов в художественный текст, коллажа документов и других творческих приемов. Как документ, журналистский репортаж построен роман Сааналы Ибрахима «Августовская звезда» (1973), посвященный строительству высотной Асуанской плотины. Писатель запечатлел черты нового сознания, рождающегося как результат участия в огромном деле, значение и важность которого понятны всем. Там, в Асуане, обнаруживает в себе новые духовные силы и автобиографический герой Сааналы Ибрахима, тот самый журналист, который в романе «Дурно пахнет» находился на грани полного отчаяния.

Обращение к изучению жизни различных социальных сфер позволило молодым романистам вернуть египетскому роману общественный пафос, эпическую масштабность. При этом был учтен и опыт создания субъективно-психологического романа.

Последующее развитие общественно-политической обстановки в Египте, связанное с известным курсом президента Садата, привело к быстрому размежеванию и поляризации общественно-политических сил, побудило творческую интеллигенцию решительно определить свою позицию. Все возрастающее осуждение политического курса правительства Садата усилило критическую направленность значительной части литературы. Ее оружием в общественной борьбе стали документализм и сатира. Роман Гамаля аль-Гейтани «Хроника улицы аз-Заафарани» (1976), повести Юсуфа аль-Куайида «Это происходит в Египте в наши дни» (1977) и «Война на земле Египта» (1979), повесть Сааналы Ибрахима «Комиссия» (1980) сочетают в себе документальное и сатирическое, памфлетное начала. На основе документального материала средствами гротеска, шаржа или в прямой публицистической форме в них разоблачаются и осмеиваются социальная и религиозная демагогия, излюбленный стиль садатовской пропаганды, проамериканская и произраильская внешняя политика правительства, отражающая интересы класса миллионеров-нуворишей. С горечью говорится в них о ликвидации социальных достижений революции, прежде всего аграрной реформы, что приводит не только к реставрации прежних экономических отношений в деревне, но и к воскрешению старой общественной морали, со-

гласно которой все общество делилось на «порядочных людей» и на «сукиных детей».

Острокритический дух творчества объединяет писателей очень разной эстетической ориентации. Гамаль аль-Гейтани, как мы видим, ищет пути обновления повествовательных форм в арабском наследии, хотя, конечно, владеет и другими образными средствами современного психологического романа. Саанала Ибрахим использует стилистику и образность западной прозы — от Хемингуэя до Кафки и от Камю до Хейли, что в контексте его сатирической повести образует по-своему органичный сплав. Куайид, который в свое время испытал влияние Фолкнера, сейчас ближе других стоит к традициям египетского социального романа 50-х годов.

Таким образом, египетскую реалистическую прозу сегодня в целом отличают широта тематического диапазона, внимание к различным традициям — зарубежным и национальным, средневековым и «ближним», преломляемым через индивидуальный опыт художника и общественный опыт последних десятилетий. Но одной из важнейших доминант художественного сознания египетских прозаиков являются поиски мировоззренческого самоопределения.

М. САЛГАНИК

АЛОГИЗМ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Роман в сегодняшней Индии фантастически разнообразен по тематике и по стилистике, но стоит вглядеться, и калейдоскоп его обнаруживает четкий рисунок — о чем бы ни писали романисты, тема неизбежно выводит их на исследование традиции в контексте современности.

Критик и литературовед Кришна Крипалани писал в книге «Панорама индийской литературы», что литература — как и цивилизация Индии — есть «явление сложное, отражающее воздействия разных эпох, рас, религий и влияний, гармонично или дисгармонично совмещающее в себе различные уровни культурного сознания и интеллектуального развития».

Роман родился в Индии в середине прошлого столетия как феномен и как доказательство жизнеспособности гибридной культуры, возникшей из колониального столкновения Востока и Запада — побежденного Востока и победоносного Запада, ибо многие особенности ранней фазы развития романа в Индии обусловлены характером взаимоотношений киплинговских близнецов.

Разницу между победителями и побежденными имеет в виду известный критик Р. К. Дасгупта, когда пишет о том, что прогрессивную западную литературу «создавали свободные народы и она несла в Индию идеал личной и национальной свободы». Идеи радикального либерализма, национализма, демократии воплощались в новом жанре новой, светской литературы — в романе, на котором лежал отсвет только что отпылавшего европейского романтизма. Это был «бенгальский ренессанс» с его россыпью блестящих имен: Рам Мохан Рой, Мадхусудан Датт, Банким Чандра, Рабиндранат Тагор.

Рождение романа неотделимо от национального пробуждения Индии, они шли параллельно, их питала единая система кровоснабжения, и радиус действия романа расширялся по мере того, как крепло национальное самосознание.

Соприкосновение с европейской культурой заставило просвещенных индийцев обратиться и к собственной культурной традиции, и, заново открывая ее для себя, они смотрели на нее новыми глазами. Банким Чандра, основоположник индийского романа, говорил: что подходило тем, кто жил три тысячи лет назад, может оказаться неподходящим для нынешнего и будущих поколений... Утверждая национальное достоинство Индии и значимость ее духовных ценностей для современного ему индийца, писатель обнаружил алогизм привычного.

Это отчетливей всего проявилось в подходе к положению женщины в индийском обществе. Женский вопрос стал одной из серьезных политических проблем того времени и чуть ли не доминирующей темой романа, который десятилетиями был «ранен женской долей». Можно дюжинами перечислять книги, в которых ставился вопрос о правах женщины, и чаще всего о праве вдовы на вторичное замужество.

Все помнят слова Маркса о том, что о степени развития общества следует судить по его отношению к прекрасному полу, но чтобы понять, почему женская доля заняла такое большое место в индийской литературе, нужно знать, какое место ей отводила индийская традиция в жизни.

В иерархии сущего женщина есть воплощение явленной, активной творческой формы космической энергии, без которой мужская энергия не может быть приведена в действие и будет оставаться скрытой, пассивной, созерцательной. Эта дуальная концепция чаще всего персонифицируется богом Шивой и его Шакти.

Воздействие Шакти беспредельно и благотворно — до тех пор, пока она чиста. Чистоту женского начала призваны блюсти брачные установления, жесткие и непреложные, так как разнузданная Шакти, вышедшая из-под контроля, обращается разрушительной мощью, способной уничтожить даже самое себя.

Шакти продолжает жизнь, поэтому наивысшее назначение женщины — семья и материнство. Женщина может даже не ходить в храм: ее муж — это ее бог.

Индира Ганди в книге «Моя истина» пишет о двойственном отношении традиционного общества к женщине: «Индийское представление о женщине определялось двумя параллельными тенденциями: на поверхности это женщина в подчиненной роли, abala, бессильная, в глубинном же понимании она — символ энергии, активное начало».

В практическом плане эта концепция вылилась в систему запретов, подчас едва до-

ступных пониманию человека, воспитанного в другой культуре,— в частности, уже упоминавшийся запрет на вторичное замужество вдов: в идеале женщина вообще не смеет пережить мужа, она должна взойти на его погребальный костер и сжечь себя.

Первыми за женское равноправие выступили писатели-мужчины, но их эгалитарные идеи пришли в лобовое столкновение с художественной правдой отражения действительности: да, социальный прогресс не будет возможен без эмансипации женщин; нет, в социальной структуре Индии все настолько плотно пригнано одно к другому, что освободившейся женщине не найдется в ней места.

И писатель вынужден был показывать губительность попыток женщины преступить традиционные предначертания. Он мог лишь сострадать ей, настойчиво спрашивать, имеет ли она право на счастье, или же внушать и себе, и читателю, что протестует только против того, что мешает женщине быть действительно образцовой женой и матерью.

В романе свободной Индии женская тема зазвучала на другой лад — и не только потому, что пришло время самим женщинам рассказать, как они представляют себе свои проблемы. Сколь бы то ни было важно, главное не это. Главное в том, что огромные массы женщин, включая и крестьянок, рядом и наравне с мужчинами принимали участие в национально-освободительном движении и уровень женского самосознания значительно возрос.

Героини романов Амриты Притам — творчество этой писательницы хорошо иллюстрирует эволюцию женской проблемы — уже не задаются вопросом, имеют ли они право на счастье. Для них вопрос в другом — в чем оно, это женское счастье, и как его добиться? Женщины Амриты Притам — горожанки, как она сама. Социальный фон города теперь уже не так жестко ограничивает женщину, у нее есть некая зона свободного поиска, основным же препятствием на ее пути к самореализации становится психология несвободного мужчины. И значит, героини Амриты Притам должны оставить всякую надежду на гармонию и сделать суровый выбор: либо рабство в семье — либо раскрытие своего потенциала вне семьи, ценой женской ущербности.

Можно и не говорить, что счастливых женщин в романах Амриты Притам нет.

Недавно Амрита Притам была удостоена премии Гьянпитх, одной из самых высоких литературных премий Индии. В интервью по этому поводу писательница сказала: «Нельзя их разделять — освобождение женщины и освобождение мужчины, потому что психологически мужчина тоже раб. Он пока и представить себе не может, что способны дать ему равноправные отношения со свободной женщиной... Любовь несвободной женщины всегда окрашена ее ощущением своей зависимости. Экономическая зависимость мешает научиться любить. Вот почему я не верю, что можно добиться эмансипации крикливыми лозунгами. Эмансипация — это полное раскрытие личности, которое и делает ее свободной».

В романах последних лет, женщины ли их написали или мужчины, выход героини за пределы семьи из вопроса превратился в констатацию социо-экономической реальности. Традиция достаточно сильна, особенно в деревне, но экономика делает свое дело, и женщины идут работать, доказывая, что и впрямь материальная самостоятельность — основа решения женской проблемы. Но не само решение. В романах Мохана Ракеша, Кришны Собти, Сунила Гангули, Бхишама Сахни появляется новый типаж: женщина, яростно рвущаяся вон из пут традиционной морали и не желающая (и не умеющая) жить личной, осознанной моралью — эгоистичная Шакти, воплощение психологии внутренней вседозволенности. Одна из героинь Сунила Гангули бросает своему безработному брату:

— А я теперь буду делать что захочу! Я для всех вас уже достаточно сделала!

— Что же это значит? — горестно размышляет ее брат.— Значит, нет никакой ценности в любви, нежности, доброте?..

Бхишам Сахни в романе «Девушка с делийской окраины» раскрывает женскую тему в комплексной связи с другими острыми проблемами сегодняшней Индии.

Все нарастающие темпы индийской урбанизации, как в воронку, втягивают в города сельских жителей. Города растут, окружают себя чистенькими современными микрорайонами. Но Индия есть Индия, и, к досаде муниципалитетов, рядом с умытыми кварталами возникают поселки-наросты, их называют «басти». Обыкновенно в них остаются на жительство строительные рабочие, привезенные из деревень.

В басти живет со своей семьей четырнадцатилетняя Басанти, как бы затерянная меж двух эпох, что делает ее фигурой типической для современной Индии. Ехали в Дели всей деревней и вместе с инструментами и барахлом везли в город еще и традиционные социальные структуры, вне которых не представляли себе жизни. В городе селились кастами, подчинялись решениям панчаята — выборного деревенского совета. И что? Перевезли деревню в город? Нет, не довезли.

Город и деревня вступают в сложнейшую химическую реакцию, и обитатели басти, прежде всего молодежь, испытывают на себе противоречивые и неравноценные по силе влияния: с одной стороны, традиция, с другой — масс-культура.

«...А когда в городе появилось телевидение и в коттеджах Рамеш-нагара загорелись голубые экраны, тайком смотрели телепередачи, пристроившись где-нибудь к щелке между шторами... Не было ни одного фильма, который не посмотрела бы молодежь, не было ни одной песенки, которую не выучила бы наизусть».

Песенки — это не просто песенки, а штрихи к портрету эпохи, никак не меньше! Басанти распевает их с утра до ночи, проникаясь новым мировоззрением, поддерживаемым всем социологическим контекстом большого города. Дитя города, Басанти черпает свои представления о добре и зле, о дозволенном и недопустимом из телевидения и кино, и представления эти корректируются ранним житейским опытом нового поколения. Она убегает из дому с Дину, не зная толком, кто он такой. Дину

бросает ее беременную, она соглашается выйти замуж за старика портного. Старик нежен с ней и с чужим ребенком, но Басанти опять встречается с Дину и не задумываясь бросает мужа. Она может пройти мимо матери, притворившись, будто не узнала, она работает, но и подворовать не против — а что? Басанти шагает через традиционные нормы поведения, кастовые различия, правила приличия: она не скована ни страхом, ни долгом. И вообще она выплачивает лишь те долги, которые добровольно признает. При всем этом она хорошо умеет стоять на собственных ногах, верить в себя и радоваться жизни.

Может быть, именно эти качества помогут юной Басанти развиться со временем в новый тип женщины?

Бхишам Сахни далеко не единственный бытописатель жизни басти. Чаман Нихал в романе «Английские королевы», Рут Правер Джабвала в романе «Готовься к бою»— как и многие другие — показывают, что в басти скрещиваются разные линии напряжения, образующие силовое поле Индии сегодня.

И не только это. Жители басти принципиально отличаются от люмпенов, уже давно заселивших индийский городской роман, зачастую под претенциозным названием «простых людей». Жители басти — это новый тип личности, одновременно живущей в разных социо-культурных мирах, совершающей переход от коллективного сознания общины к индивидуальному сознанию современного человека. Поэтому и жизнь басти — это срез живой ткани, где особенно остро взаимодействуют эти миры.

И что, может быть, особенно важно, писателю ничто не преграждает путь к исследованию этого жизненного среза.

Наверное, здесь нужно пояснение.

С момента возникновения индийский роман, как жанр для Индии тогда совершенно новый, отражал противоречие между эгалитарными, демократическими устремлениями тех, кто его создавал, и их элитарным положением в обществе, стратифицированном кастовой системой.

Роман, впрямую связанный с политическим пробуждением, с национально-освободительным движением, с социальными преобразованиями, должен был стать зеркалом жизни «униженных и оскорбленных», но у писателя не было никакой возможности приблизиться к этой жизни — он мог ее наблюдать только в отдалении и в проекции сверху. «Уйти в народ» писатель не мог — его путь был загорожен не одним, а несколькими барьерами, в том числе барьером культурной отчужденности, оставшимся в наследие от колониализма, и — самым высоким — барьером кастовой психологии.

«Инстинктивная завербованность» писателя требовала от него отображения народной души, а душа оставалась за семью печатями, и роман о народе очень долго оставался умозрительной конструкцией. Вот это и затормозило становление реализма в индийской прозе, особенно реалистического романа. Как отмечал критик-коммунист Намвар Сингх, многие романы середины столетия, объявленные реалистическими критикой того времени, были, по сути, вариантами неоромантизма: либо идеализированной, либо схематизированной мимикрией достоверности.

Реалистический роман — беспощадно критический, как правило, — явление самого последнего времени, прямое следствие глубоких социальных перемен в Индии, политизации массового сознания и, пожалуй, еще такого, тоже немаловажного фактора, как расширение профессионального кругозора писателя: и за счет его включения в мировой литературный процесс, и за счет лучшего знания современной индийской художественной литературы, ибо число переводов внутри индийского многоязычия стремительно растет.

Приближение к реализму позволило индийскому роману всерьез коснуться темы кастовости, кастовой системы и прежде всего положения неприкасаемых, людей, фактом своего рождения практически выведенных за рамки человеческого общежития. Неприкасаемые лишены даже надежд на сострадательное отношение к себе, поскольку по индийским представлениям человек может родиться неприкасаемым только в воздаяние за проступки, совершенные им в прошлых его жизнях.

Неприкасаемость всегда была больной темой и для передовой интеллигенции, и, естественно, для современной литературы. Однако в течение долгого времени неприкасаемый возникал в индийском романе как некая постыдная данность, как немой укор совести просвещенного человека, как позорное пятно на традиции индийского гуманизма — и только. Даже в знаменитом «Кули» Мулк Радж Ананда — первом романе, где неприкасаемый Муну занял место главного героя, писатель сострадательно и пристыженно описывает безрадостную жизнь и безвременную смерть Муну, но дальше этого не идет.

Дело в том, что кастовая система зиждется на поразительно стабильном сосуществовании соисключающих друг друга макрогрупп; без неприкасаемых нет и брахминов; кастовая психология часто оказывается неодолимой, и писатель здесь не исключение...

Только после того как Ганди вовлек неприкасаемых в движение за независимость— Ганди дальновидно придавал чрезвычайно большое значение изменению статуса неприкасаемых,— после того как конституция свободной Индии предоставила им даже не равные с другими, а преимущественные права, после того как социальные перемены коснулись самого донышка индийского общества — только после всего этого смогли появиться первые романы, в которых неприкасаемые не знаменуют собой укор, а живут и совершают поступки.

Правда, даже в таких романах, как «Мусорщиков сын» Шивасанкара Пиллаи Тхакажи или «Барабан Чомы» Шиварама Каранта, жизнь неприкасаемых все равно изображена в проекции сверху, но сюжет строится не на бессловесном смирении неприкасаемых, а на их постепенном осознании чудовищности своего социального статуса и поиске выхода. Точнее, обходного маневра, потому что выхода как такового пока не видно.

Герои романов о неприкасаемых стараются улучшить свое положение в рамках ка-

стовой системы — выучившись, скажем, или разбогатев. При этом всем ясно, что ни образование, ни богатство не снимают стигмат неприкасаемости, равно как и побег из кастовой системы в религию без каст — христианство, ислам или буддизм. В полном соответствии с трагической правдой жизни — достаточно раскрыть любую индийскую газету, чтобы в этом убедиться,— показывают романисты обреченность бунта одиночек, самоубийственную обреченность.

Не предлагает никаких решений и далит-литература — произведения самих неприкасаемых, полные ярости и боли. Писатели-неприкасаемые, на собственной шкуре испытывающие прочность традиции, понимают, сколь иллюзорны все обходные маневры. Но понимают они и то, что нарастающая политическая активность масс — фактор длительного действия, а социальные преобразования будут чем дальше, тем сильней размывать основы кастовости.

Уже сейчас неприкасаемые как община, обладающая политической весомостью, стали непременным компонентом политического романа — явления нового и чрезвычайно интересного.

Собственно, политический роман зарождался еще в период борьбы за независимость, хотя в те времена на первый план литературы вышли более мобильные жанры — поэзия, новелла, театральный скетч. А вот в первые годы после обретения независимости появилось множество романов, которые нужно называть историко-политическими,— обстоятельных и серьезных произведений, таких, как, например, «Ложная правда» Яшпала, посвященных событиям антиколониального движения.

Нынешний политический роман в корне отличен от них. Он постоянно варьирует одну тему — деятельность политических институтов Индии — и носит резко обличительный характер. Если в таком романе и появляется образ политического трибуна и борца за свободу, то образ этот трагичен — это человек не у дел, напрасно силящийся понять, что же произошло с идеалами, во имя которых он жертвовал собой... У дел совсем другие — лихие демагоги, коррумпированные профессионалы политических интриг, этим уже и в голову не приходит, что можно бороться не только за собственную выгоду.

Однако в лучших произведениях этого жанра — к их числу, безусловно, можно отнести новый роман Ману Бхандари «Большие поминки» — речь уже идет о чем-то еще более серьезном, чем разоблачение «хаотической демократии» с ее превращением политики в откровенный бизнес, с беспринципным использованием забитости неприкасаемых, со спекуляцией на популярных лозунгах. Как написала критик А. Сони в статье о «Больших поминках», этот роман знаменует собой следующий логический шаг в художественном постижении политической проблематики — он убеждает читателя в том, что «институты власти, конституционно скопированные с западных форм либерально-демократического правления, но не подкрепленные участием низов... начинают работать не на социальные перемены, а против них, подавляя попытки масс утвердиться в своих законных правах и укрепляя власть традиционно привилегированных имущих классов».

Ману Бхандари и авторы многих других политических романов стремятся исследовать политическое сознание масс, а массы в условиях Индии означают деревню. И весьма знаменательно, что на страницы политического романа уже вышел новый герой — сознательный крестьянин, который пусть неумело, но зато непреклонно отстаивает справедливость.

Ману Бхандари противопоставляет своих крестьян-правдоискателей — ничуть не идеализируя их, не маскируя их невежество под этакую «народную мудрость» — интеллигенции и показывает, что преимущество крестьян в том, что они ощущают алогизм привычного и противятся именно ему, пока интеллигенция ищет решения проблем все-таки в рамках существующей системы ценностей.

Чем реалистичней становится индийский роман, тем он непримиримей к мифологизации действительности, неважно к какой — религиозной, что так легко приживается в Индии, или к политической, отличной от нее скорей по форме, чем по сути.

И все реже решаются романисты предлагать рецепты для лечения болезней роста. Сегодня мыслящая Индия отдает себе отчет в том, что не существует быстрых и безболезненных способов распутывания тугого клубка противоречий, которые и составляют жизнь громадной, пришедшей в движение страны.

Пока что важнее всего понять, что происходит.

Старые слова «не плакать, не смеяться — понимать» могут быть сегодня девизом нового индийского романа.

◆

Заметки писателя

НОРМАН КАЗИНС

ПРАВО ВЫБОРА

Фрагменты книги

Мне доставляет удовольствие предложить вниманию читателей фрагменты новой книги известного американского литератора и общественного деятеля — Нормана Казинса. По своему характеру это собрание выдержек из его статей, публиковавшихся на страницах нью-йоркского журнала «Сатердей ревью», редактором которого автор был на протяжении сорока лет. Написанные в разное время по разным поводам, выступления эти будто не связаны друг с другом,— вместе с тем создают облик человека, гуманистические устремления которого не могут нас не привлекать. В этом убеждались мы и во время двусторонних встреч советских и американских писателей. Хотелось бы напомнить, что проводятся они в СССР и США с 1977 года по инициативе журналов «Сатердей ревью» и «Иностранная литература» [1]. Их американским сопредседателем был Норман Казинс. Нет нужды говорить о том, что советские и американские участники дискуссий вели острую полемику по обсуждавшимся проблемам и высказывали нередко противостоящие друг другу мнения, но они были едины, когда речь шла о необходимости сохранения мира и международной безопасности на земле.

Публикуемые отрывки содержат размышления автора об отдельных американских писателях, о литературе и творческом процессе — как в широком понимании, так и применительно к нынешней ситуации в США. Мы надеемся, что читатель отнесется с пониманием к вере автора в силу слова крупного писателя, его высокое предназначение.

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

Что такое миг торжества для писателя? Это момент возникновения замысла. Зарождения важной идеи, когда в душе писателя неожиданно появляется прекрасное ощущение жизненно важных целей, когда творческие родники переполнены и требуют высвобождения. Это также момент принятия обязательств, ибо писатель знает, что будет одержим возникшей идеей, что она будет неотступно преследовать его до тех пор, пока он не выразит ее словами и тем самым возвратит себе утраченную свободу. Если это и жестокость по отношению к самому себе, то жестокость оправданная.

Беда некоторых современных романов в том, что они изобилуют персонажами, не заслуживающими внимания. Персонажи эти скользят по поверхности сознания, не оставляя ни малейшего следа. Они не запечатлеваются в памяти, не претендуют на связующую силу отождествления с реальной действительностью. Как правило, они так и остаются на поверхности, редко проникая в душу. Когда они страдают, читатель не разделяет их переживаний и остается равнодушным. Это скорее эксперимент над жизнью, чем сама жизнь.

Слишком много современных романов изображают в первую очередь ситуации, а не людей. Создается впечатление, что действующие лица существуют лишь для того, чтобы оснащать сюжет. Таким образом приуменьшаются потенциальные способности индивидуальности, демонстрируются безграничные возможности ее принижения. Это не путь для создания хороших, а тем более выдающихся романов. Читатель здесь ни при чем. Дело не в том, что сама жизнь представляется людям настолько драматичной, что их не волнуют плоды писательского воображения. Дайте людям книгу, кото-

[1] Статьи об этих встречах см. в «ИЛ», 1978, № 2; 1979, № 2; 1980, № 9; 1981, № 11; 1983, № 6.

рая не оставит их равнодушными, и они выстроятся в очередь, чтобы пожать руку автору.

Неспособность некоторых романистов создавать полнокровные образы зачастую вызвана их неспособностью проникнуть во внутренний мир человека. Появляется ощущение, что многие писатели скорее умрут, чем обронят искреннюю слезу. Наш основной упрек обращен к тем писателям,— а их становится все больше,— которые предпочитают скорее держаться возле своих героев, а не исследовать их внутренний мир.

Мы переживаем время, которое историки будущего назовут «бесслезным периодом в американской литературе». Боязнь показаться сентиментальными приводит к отказу от искреннего чувства.

Одна из самых страшных болезней нашего века — преобладание изощренности над здравым смыслом. Слова утрачивают свое изначальное значение и превращаются в понятия весьма растяжимые. Манипуляция идеей приобретает, по-видимому, большее значение, чем сохранение ее.

Откуда берутся идеалы? Каким образом они становятся осязаемыми и долговечными? Истинный защитник и творец идеалов — писатель. Это его подлинное призвание. Отделить идеалы от писателя столь же трудно, сколь отделить историю от историков. Мильтон, Пейн, Гарибальди, Гюго, Монтескье, Джефферсон, Хьюм, Альфьери, Теннисон, Спиноза, Тагор, Икбал, Конфуций, Акутагава, Джон Стюарт Милл — это лишь немногие из писателей, которые так или иначе содействовали развитию идей и идеалов, изменявших ход истории.

Чего мы ожидаем от писателя? Разумеется, отражения нового духа времени, духа, свидетельствующего о слиянии человечества. Мы надеемся, что писатель сократит разрыв между человеком и обществом. Уменьшит дистанцию между способностями личности и потребностями общества.

Действенное общение, устное и письменное, целиком и полностью зависит от ясности цели Цель эта должна быть четко определена. Не следует загромождать путь к ней всяческими экскурсами и пространными комментариями. Идти к цели следует не торопясь, упорно и сосредоточенно, как это делает мастерица, нанизывающая бисер.

Нам нужны писатели, способные возродить могучую литературную традицию лидерства в кризисных ситуациях. Великие испытания в истории человечества нередко порождали великих писателей, наделенных чувством острой ответственности перед своим временем. Они определяли проблемы, осмысливали поставленные на карту ценности, отражали драматизм конфликтов. Основная проблема современности не положение того или иного народа, а положение каждого отдельного человека... Для писателей, признанных ли, начинающих ли, нет задачи более важной и благородной, чем стать глашатаями, защитниками судьбы человека.

Язык — это не только орудие общения, но и среда. Это крайне важная часть философских и политических установлений жизни общества. Слово определяет отношение к предмету, оно способно облагородить или осудить, возвеличить или принизить, восславить или развенчать. Неполноценный язык поражает сознание человека с того момента, как тот начинает говорить. Предрассудки укореняются в обменных процессах и кровеносной системе общества.

Некогда Аристофан осуждал тех, кого он называл изменниками сцене. Он имел в виду писателей, не способных использовать предоставленные им возможности не только развлекать людей, но и перевоспитывать их. Перед писателем неизменно встает проблема, как сделать свое творчество более полезным и доступным.

Недостаточно одного блестящего слога. Писатель должен иметь что сказать. Он обязан пробиться к сердцу читателя. Не существует цивилизации без прогресса, прогресса без идей, идей без книг. Писатель содействует появлению основной энергии, необходимой для прогресса человечества.

Каждый серьезный писатель движим по крайней мере двумя устремлениями. Первое — это неодолимая потребность или решимость излить душу в одной Большой Книге, которая целиком выразит его намерения и достигнет поставленной цели. Второе — страх, вызванный ощущением конца, не только от сознания, что работа над книгой завершена, но и от того, что расстаться с ней трудно. Роман — это эмбрион, властно поглощающий воображение, иссушающий мозг, но одновременно и обогащающий его. Таким образом происходит процесс роста и развития самого писателя. Он не представляет, как расстаться со своим романом, доставившим ему муки и радость творчества; он сознает, что созданное им могло бы быть лучше, но неизменно стремится сохранить свой идеал в недосягаемости.

Искусство писателя измеряется его способностью передавать то, что ему сохранила память. Память — это свидетельство жизни. Ничто из происходящего не сохраняется для человека, если не превращается в воспоминание. Некоторые люди проходят по жизни в состоянии некоего «антисепсиса»: они не прикасаются к жизни, и жизнь не прикасается к ним. Подлинный художник слова проявляет способность вступать в контакт с жизнью, быть заодно с другими людьми, превращать их воспоминания в свои собственные. В этом смысле писатель расширяет сферу подсознательного.

Перед нами возникает вопрос об окончательной форме человеческого общества: будет ли оно и впредь развиваться дезорганизованно и хаотично, что неизбежно приведет его к той же форме самоубийства, которое стало уделом всех хаотических и дезорганизованных группировок прошлого? Или же нам удастся создать единое цельное общество? Труд писателя, пожалуй, са-

мый тяжкий: ему приходится иметь дело с идеалами.

Библиотечная система удобна не только для школьников при подготовке к экзаменам. Она — показатель здоровья нации. Один из наших жизненно важных ресурсов, мощный стимул развития. Она обеспечивает доступ к будущему в большей степени, чем к прошлому. Система эта — естественная питательная среда для активно мыслящего человека. Она представляет собой вершину непрерывного процесса образования и познания, которому формальное школьное обучение, по существу, может лишь дать толчок. Она является центром распространения интеллектуальной энергии, столь важной для активной работы сознания. Здесь зарождаются перемены. Это родильное отделение интеллекта для тех, кто стремится к реализации идей. Она также является или должна служить важной магистралью, где в меру любознательный человек получает возможность общения с интересными и умными историческими личностями, где он может почерпнуть из книг оригинальные мысли и идеи. Несомненно, это центр обмена интеллектуальными ценностями; почему бы ему не стать — как утверждал Дизраэли — и местом утешения радостями воображения?

Некоторые библиотеки перестарались, утверждая достоинства тишины. Созерцание и хаос — понятия взаимоисключающие, но в библиотеках все же слишком много ограничений. Место оживает, когда люди могут громко смеяться, друзья — обсуждать интересующие их вопросы и окружающие — прислушиваться к ним. Пусть читальные залы остаются звуконепроницаемыми. Но остальная часть библиотеки должна при этом оказывать гостеприимство человеческому голосу. Книжные полки не последнее прибежище для печатного слова; они являются или должны стать центрами движения идей, даже если движение это и вызывает шум. Важно избавиться от ощущения, что в соседнем зале идет панихида по дорогому нашему сердцу усопшему.

Я научился не доверять ускоренному чтению и мгновенному приобретению знаний. Немногие интеллектуальные радости могут сравниться с размышлениями над тонким воплощением образа или мастерски написанной страницей. «Некоторые люди,— говорил Александр Поп,— никогда ничему не научатся... они схватывают все слишком быстро».

Культура — это не только диалог между специалистами и критиками. Она включает в себя волшебный процесс, охраняющий и развивающий человеческий опыт.

Поэзия, писал Аристотель, говорит скорее об общем, история — о единичном. Поэзия, кроме того, напоминает нам, что энергию человека, нацеленного на великие свершения, питает не динамо-машина, но его мечты. Представление об истинном предназначении человека, отказ от узости мировосприятия, идея бессмертия, обретаемого через искусство,— все это естественное порождение мечты. Но грезы человека — не что иное, как отражение его подсознания. То, что заложено в человеческом подсознании, в прямом смысле слова основная в мире питательная среда.

Хороший писатель, как и любой другой художник,— призма, где преломляются истина и красота. Человек не может жить насыщенной, счастливой жизнью, если у него не развито чувство прекрасного и он не утверждает его. Суть писательского труда — отражение прекрасного, чтобы дарить людям если не вечную радость, то хотя бы соприкосновение с красотой, которое продлится до тех пор, пока общество сохранит восприимчивость к ней.

Не обязательно, чтобы художник или писатель держался обособленно и презирал общество. Если само общество испытывает уважение к художнику, если оно воспитывает в себе чувство ответственности по отношению к творческой личности, этого оказывается достаточно, чтобы художник стал деятельным членом общества, гордостью его.

Искусство — наилучший способ творческого преображения действительности, порой великолепного, порой ужасающего... Искусство — это способ сосуществования с непредсказуемым. Всякий стремящийся приобщиться к его великим таинствам должен быть готов сразиться с неуловимым противником и найти убежище в области воображения. «Пусть спорят другие, я же буду изумляться»,— говорил Блаженный Августин. Искусство — способ проникновения в сферу человеческого подсознания, позволяющий людям в большей мере, чем какой-либо системный подход, осмыслить свою исключительность, хрупкость и совершенство.

Трудно согласиться с тем, что одна картина стоит тысячи слов. Достаточно лишь нескольких слов — если это слова точные,— чтобы воспламенить воображение, вызвать в сознании картины более красочные и яркие в сравнении с теми, что могут предложить нам электронные устройства.

В определенных кругах бытует странное мнение, будто освобождение следует отождествлять не со свободой творчества или роста, а со свободой эксгибиционизма и самолюбования. Результат — не освобождение, но глубокий кризис. Излияния иссохших и смятенных умов, несомненно, могут отражать события современной жизни, однако мало способствуют духовному совершенствованию человека, что, собственно говоря, и есть суть освобождения.

Трудно вообразить себе нечто более современное, чем книга. Предположим, мы живем в мире без книг — в мире сплошной электроники — и всю информацию получаем при помощи транзисторов либо другой, более изощренной техники. Предположим далее, что некто неожиданно открывает иную систему передачи информации. Новое изобретение способно передавать потомкам знания и опыт предшествующих поколений. Оно обеспечит людям прямой доступ к идеям, рожденным лучшими умами. Озарит че-

ловеческий разум всевозможными удивительными, радостными мыслями. Устройство это — весом менее килограмма — портативно. За сходную цену его можно приобрести в личное пользование. Изобретение это получает название «книга». Его провозглашают величайшим открытием всех времен и народов. И только потому, что книга уже существует, мы забываем о ее поразительных возможностях.

Существует простой, не связанный с медициной способ продления человеческой жизни. Имя ему — «книга». С его помощью мы можем прожить сотни человеческих жизней. Сверх того, нам предоставляется неограниченная свобода выбора. Мы можем жить в том веке, какой изберем. Располагать любым опытом. Внедриться в сознание человека, которого осенила интересная мысль, который поднял новые пласты знания, погрузился в глубины чувств, недоступных простым смертным. Именно об этом идет речь в хороших книгах.

Книга не может заменить опыт. Но и опыт тоже не заменит книгу. Развитие сознания все еще остается захватывающим экспериментом,— возможно, величайшим экспериментом в мире. Ничто так не характеризует это развитие, как передача живой мысли и опыта от человека к человеку, от поколения к поколению.

Писатель осуществляет самое страстное желание человека — жить и жить еще, помимо отпущенной ему короткой жизни. Писатель также дает читателю возможность установить связь как с прошлым, так и с будущим. Писатель предоставляет читателю право выбора, причем свободного выбора: какую жизнь тот хотел бы прожить в придачу к своей собственной?

Пока люди не перестанут ценить мысль, главенствующее место остается за печатным словом. Если писатель не получает признания, это происходит не оттого, что он не использовал нужных средств выражения, а оттого, что у него нет важной идеи.

Человеческий ум жаждет праздника, развлечений, радостей. Для редактора нет задачи проще и труднее, чем открыть писателя, умеющего связывать слова так, чтобы они ласкали или же будоражили творческий ум. Точно так же нет у редактора более высокого стремления, чем потребность помочь читателю преисполниться законной гордости за явный прогресс человечества. Наибольшее же удовлетворение редактор испытывает не тогда, когда читатель благодарит его за открытие, а тогда, когда говорят: журнал наконец сформулировал то, что читатель чувствовал подсознательно.

Редактор должен постоянно пребывать в поисках новых фактов, новых направлений, новых представлений, новых трибун. Он должен заблаговременно распознавать актуальные проблемы, дабы тотчас забить тревогу. Ему не следует дожидаться, чтобы важные события попали в поле зрения общественности, прежде чем он обратит на них внимание. Ему также не следует опасаться вновь и вновь возвращаться к прошлому, ибо немало любопытных исторических фактов остались еще незамеченными; если собрать их воедино, возможно, то или иное событие предстанет перед нами в новом свете или по крайней мере мы лучше поймем его.

Нередко спрашивают: может ли Америка наших дней похвастаться литераторами, которые способны выдержать сравнение с американскими писателями первой половины XX века? Безусловно, может. В отдаленном будущем такие писатели, как Уильям Стайрон, Курт Воннегут, Сол Беллоу, Кэтрин Энн Портер, Джойс Кэрол Оутс, Джозеф Хеллер и Э. Л. Доктороу, нисколько не пострадают от сопоставления с Теодором Драйзером, Джоном Дос Пассосом, Джоном Стейнбеком, Томасом Вулфом, Синклером Льюисом, Эллен Глазгоу и Эдит Уортон. Справедливо ли сравнивать их с Фолкнером и Хемингуэем? Пожалуй, нет; исключения неизбежны. Если же отбросить сравнения, не многие писатели могут так искусно передать время и настроение, как Уильям Стайрон; не многие способны истолковать иррациональное лучше, чем Курт Воннегут. В целом XX век — золотой век американской литературы.

Кто был богом Хемингуэя? Хемингуэй утверждал, что его бог создал изумительные полотна, написал несколько прекрасных книг, отражал действия французского арьергарда при отступлении Наполеона из Москвы, сражался в Америке — на той и на другой стороне — в период Гражданской войны, покончил с желтой лихорадкой, научил Пикассо рисовать, а Джима Торпа — играть в футбол... породил Цитирование и убил Джорджа Армстронга Кастера[1]. Как Хемингуэй относился к богу Скотта Фицджеральда? Монотеистически. Хемингуэй заявлял, что бог Скотта — Ирвинг Талберг, магнат кинобизнеса.

Много говорили о бойцовских склонностях Хемингуэя, его преклонении перед матадорами и боксерами-профессионалами, его пристрастии к оружию, охоте на крупного зверя — пусть так, но не это главное. Главное — его способность смотреть в глубь вещей и ожидать того же от других, его восприимчивость к иронии и парадоксу, его вера во врожденный героизм людей или по крайней мере в потребность в героизме. Он любил не только жизнь, он любил и язык. Он был не в ладах с грамматикой и допускал грубые ошибки, но умел связывать воедино слова так, чтобы они затронули творческое воображение. Несмотря на свою литературную славу, он никогда не был уверен в себе как писатель. Он болезненно переносил похвалы в адрес Ф. Скотта Фицджеральда. Ему нравилось представлять себя наставником Фицджеральда, без которого талант Скотта так бы и не проявился в полной мере. Го-

[1] Дж. А. Кастер — офицер американской армии. Во время Гражданской войны возглавил кампанию против индейского племени сиу и прославился беспримерной жестокостью. Был разгромлен индейцами и погиб вместе со своим подразделением. *(Прим. перев.)*

воря о Фицджеральде, он называл его не иначе как «бедняжка Скотти». Он изводил свою жену Мэри вечными опасениями за шаткость их материального положения, даже когда адвокат уверял, что его авторские гонорары — залог прочной финансовой независимости. Эта тревога никогда не покидала его. В свое время он был одним из трех или четырех величайших писателей мира. А великий писатель, какие бы душевные муки он ни претерпевал,— главное богатство рода человеческого. Предоставить людям возможность прожить еще не одну жизнь помимо собственной — дар, ни с чем не сравнимый.

Уильям Фолкнер не только создал литературный портрет одного из уголков американского Юга, он сделал больше: дал Югу голос, гордость и духовную пищу, хотя многие типажи, ожившие на страницах его романов, не отличаются богатством внутреннего мира. Он был, вероятно, крупнейшим писателем своей эпохи, и его растущее признание пришлось как нельзя кстати для нуждавшегося в кардинальном обновлении Юга. Он ненавидел помпезность. Когда он приехал в Нью-Йорк для работы над рукописями и чтения гранок, то жил отшельником в небольшой комнатке в мансарде старого особняка на Пятьдесят Второй улице; особняк именовался «Рэндом хаус». Посетив Фолкнера, я поразился, до чего же он не вписывается в нью-йоркскую обстановку. За его окном — не магнолии, но мамона и мегалополис. На фоне резких, скрежещущих звуков большого города голос его звучал тихо и неуверенно. Внешне он был неприметным, невысокого роста. Он наполнил свою прозу тончайшими оттенками цвета и стиля, что затруднило восприятие многих его произведений, придавая им порой сюрреалистическое звучание. Он, как никто, сумел пояснить на собственном примере совет Эмили Дикинсон: «Всю правду скажи, но скажи ее — вкось». Считалось, что понять Фолкнера нелегко, однако внимание и уважение к его творчеству росли год от года. За пределами Соединенных Штатов литературные критики, на протяжении долгих лет колебавшиеся в оценке его произведений, в конце концов признали его лучшим американским писателем своего времени. Подобная оценка тем удивительнее, что до той поры критики отдавали предпочтение Хемингуэю, который был полной противоположностью Фолкнеру. Трудно найти более разительный контраст — и стиля, и личности. Арена для боя быков — и едва уловимые ароматы южного сада. Стремительная поступь — и неторопливые, мелкие шажки. Шумная ссора — и затаенная боль. Динамит — и кружево. Некоторые зарубежные критики были немало озадачены всеми этими различиями, но и немало почерпнули в них об обществе, породившем обоих авторов.

Синклер Льюис: высокий, худой, угловатый. Когда он наклонялся вперед — пристальнее рассмотреть собеседника,— то походил на жука-богомола, вставшего на задние конечности. Он был удостоен всех почестей, какие только могли предложить ему литературная критика и жюри по присуждению премий, включая Нобелевскую. Как писатель, он добился всего, но не стал властителем дум. Главные судьи — читатели — так никогда по-настоящему и не признали его. Они раскупали новые рассказы Льюиса, но не испытывали желания перечитывать их. Почему? Его характеры были четко очерчены и зачастую несли важную смысловую нагрузку, но в большинстве своем не убеждали до конца: казалось, они дают неполное, скупое представление о том, что такое настоящий американец. Как ни точны были его описания, общая картина получалась размытой. Книги поистине великих писателей открываются заново, перечитываются, ибо речь в них идет об извечном и общечеловеческом. Возможно, время Синклера Льюиса возвратится. А сейчас он принадлежит прошлому.

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ и Н. КИЯМОВОЙ

◆

М. ЛАНДОР

ПРИСУТСТВИЕ ТУРГЕНЕВА

Недавно стал известен факт истории литературы, неожиданный и важный. Это строки, которые Твен набросал под свежим впечатлением от встреч с Тургеневым: они предназначались для книги очерков «Пешком по Европе», но в нее не вошли. Речь идет о его посещении парижского Салона накануне открытия выставки, 11 мая 1879 года, в день «неофициального просмотра», когда художники приглашают друзей. Твен выпадает тут из шутливого тона, которого держится в книге.

«...Очевидно, художников много, и друзей у них хватает, ибо в просторном здании было в тот день полно народа. Представился случай увидеть любую знаменитость: пришли они все. Больше, чем кто-либо, интересовал меня знаменитый Тургенев — великий в своей прозе и не менее великий как смелый и самоотверженный патриот. Нелегко было рассматривать картины в присутствии этой исполинской фигуры: она притягивала к себе взоры и будоражила воображение»[1].

Зарисовка Твена оборачивается символом. Присутствие Тургенева в литературе, на рубеже 80-х годов прошлого века, закреплено тут как нечто физически ощутимое и властно поворачивающее к себе. Острота этих строк еще больше поражает в наши 80-е, когда мир отмечает столетие со дня смерти Тургенева и 165 лет со дня его рождения. Присутствие писателя живо чувствуется по обе стороны Атлантики, в достаточно далеких по традициям национальных культурах Запада И оно чувствуется, если от географической «горизонтали» перейти к жанровой «вертикали», в продолжающемся развитии рассказа и романа.

Творческим контактам Тургенева с его западными современниками посвящен за последние десятилетия поток исследований и публикаций Литературное прошлое разных стран нередко предстает тут в неожиданном ракурсе: резкий свет падает на значительные, а порою переломные для прозы эпохи, кажется, на само ее движение. Тургенев умел войти в чужую культуру как «свой», улавливая потребности ее развития. А его книги входили в нее прочно и надолго, сохраняя нечто насущное для прозаиков, весьма несхожих по вкусам и складу.

Все это вполне видно по его контактам с писателями Нового Света, которым норвежец П. Сейерстед посвятил интересную статью в журнале «Скандославика». Во всей истории его отношений с литературой США встреча с Твеном была кульминацией.

Уже в первой беседе с писателем-американцем Хьялмаром Бойесеном Тургенев признался, что всегда стремится быть au courant, в курсе литературы Штатов. Он видел в Готорне подлинно национального романиста — и давно освоился в его мире: еще в 1852 году, когда «Современник» напечатал «Дом о семи шпилях», он критически оценил, в письме Некрасову из Спасского, этот наш ранний перевод из Готорна. Одним из первых в России он открыл для себя и Уитмена: «удивительного американского поэта» он захотел перевести сам. И хотя его замысел 1872 года — опубликовать со своим предисловием несколько образцов из «Листьев травы» — не осуществился, мы знаем по сохранившейся рукописи, как упорно бился Тургенев над переводом стихов «Бей, барабан».

А вскоре американские литераторы стали появляться в его парижском доме. Тургенев назвал однажды Америку «землей странностей»; в контакт с ним вступали по преимуществу те янки, что представляли чудаческую, не утилитаристскую ипостась своей страны. Из писателей это был сначала Бойесен, американец норвежского происхождения, знаток Гёте и беллетрист в одном лице. А потом молодой Генри Джеймс, романист с европейским кругозором и чуткий критик, так полюбившийся Тургеневу.

Однако среди парижских знакомых из-за океана ему не хватало подлинных «туземцев» в своей национальной культуре. На привычном уже фоне американцев-европейцев его и поразил Марк Твен.

К Тургеневу американского юмориста привел Бойесен; они, говорится в дневнике Твена от 8.V 1879, пили «чай из самовара» Наконец-то, передает Бойесен реакцию хозяина, он увидел писателя из Штатов «с ароматом своей земли». Тургенев не пропустил среди новинок «Простаков за границей»; но привела его в восторг не эта, а следующая книга Твена — «Закаленные» (в новом переводе — «Налегке»). Тут дело шло о старателях Невады и Калифорнии, о самой американской «границе»: буйный юмор был у себя дома. Полный нарочито жесто-

[1] Mark Twain's Notebooks & Journals, vol. II (1877—1883). Berkeley, Los Angeles, London, Univ. of California Press, 1975, p. 309.

ких, несусветных преувеличений при нарочитой наивности и склонности к недомолвкам рассказчика-простака, он пришелся Тургеневу по вкусу.

И тот даже вступался за него перед друзьями-французами, оставшимися к нему безучастными. Соли в этом юморе хватает, доказывал Тургенев. Он возвращался к эпизодам из «Закаленных». Глава о похоронах головореза, которого на жаргоне Невады расхваливает его приятель, не давая открыть рта священнику-мямле с Востока, была для него литературой высшей пробы. Достаточно «Похорон г-на Феншоу», говорил Тургенев, чтобы обеспечить автору бессмертие.

Как видим, в американской прозе XIX века он смог выделить две стихии, необычайно живые и в прозе XX. Одну олицетворяет Готорн, другую — Твен. У первого Тургенев находил могущественно-своеобразный талант, называя не только его «Алую букву» и другие романы, но и «Дважды рассказанные истории» — эту ключевую книгу в истории американской новеллы. Из пуританских веков и легенд Новой Англии словно вырастали и моральные поиски, и психология, и характеры у этого остросовременного романтика, так критически воспринимавшего общество подавляющих условностей и лицемерия и так проницательно показавшего сердце в конфликте с самим собой. И — раскаты твеновского смеха, сопровождающие в «Закаленных» всю тяжелую, жестокую, а то и отчаянную жизнь на «границе». В XX веке эти стихии соединились в мощной писательской индивидуальности Фолкнера; и у Вулфа, и у Колдуэлла мы находим ощущение пуританского прошлого в настоящем вместе с неумолкшим и дерзким смехом фольклора.

Но что представляла собой великая, по слову Твена, проза самого Тургенева для Америки на рубеже 80-х? Известный наш социолог, друг писателя Максим Ковалевский вспоминал, что если где на Западе он и был популярен, то за океаном (во Франции и Англии его могли ценить очень высоко, но сравнительно немногие).

«В Америке, наоборот, недавнее освобождение негров из неволи как бы породнило общество с тем из русских писателей, который всего громче подымал голос за свободу крестьян: «Записки охотника», как я сам имел случай убедиться в бытность мою в Соединенных Штатах, хорошо известны там читателям не только высшего, но и среднего общества. Тургеневу удалось даже создать нечто вроде маленькой школы в среде американских романистов».

Параллель между двумя эпохами, стремившимися к освобождению невольников, давно стала привычной за океаном: ей соответствовало тоже привычное сравнение «Записок охотника» с «Хижиной дяди Тома». Но у очерков Тургенева была за океаном своя судьба, они вышли далеко за рамки своей эпохи. Еще М. Ковалевский услышал в Новом Орлеане от самобытного «областника» Кейбла такие слова об их авторе: «Почему бы ему не приехать в Америку изучить богатство наших типов и дать нам американские «Записки охотника»!» То есть эти очерки воспринимались как универсальные. И уже Джеймс находил в этой поэтичной прозе о распадающемся, гротескном сельском мире совсем иной род искусства, чем у Бичер-Стоу. Для него «Записки» были уникальным полемическим произведением в приглушенных тонах: оно не затрагивало поверхность, а «всколыхнуло глубины».

Маленькой школы в Америке Тургенев не создал. Но его влияние шагало через десятилетия, сопровождая все развитие и углубление реализма в этой стране.

Товарищеским письмом он поддержал Хоуэллса, найдя в его ранних вещах свежее демократическое чувство, ненавязчивую поэзию и славный юмор. А чтение Тургенева, вспоминал позднее Хоуэллс, настраивало его, американца, на вдумчивое и куда менее радужное восприятие жизни. Критические уроки мастера давались здесь словно на вырост — это относится и к Джеймсу, глубже воспринявшему Тургенева в 80-е, после их встреч. А связь этих уроков с самим движением американского реализма всего заметнее на примере Твена, у которого акцент не зря падает на тургеневский патриотизм, «смелый и самоотверженный».

Эти слова выдают уже близкое размежевание Твена с тем вечно улыбающимся оптимизмом, которого держалось «большинство» его сограждан. Чтение Тургенева разрушало американские иллюзии: возможно, последней из прочитанных Твеном его вещей были «Призраки» (дважды упомянутые им в дневнике) с их жестокими картинами Петропавловской крепости и восстания Разина. Недавно был написан «Том Сойер» (экземпляр этой книги Твен подарил Тургеневу) — а впереди был «Гек Финн», с его горькой и умудренной любовью к родине, с его панорамой заштатной Америки, опрокидывающей национальные мифы и трафареты. На заре империалистической эпохи еще глубже стал разлад Твена с тем «большинством», которое охватил шовинистический угар. И в авторе смелых памфлетов, назвавшем себя «антиимпериалистом», мы узнаем того, кто некогда восхищался Тургеневым: ведь именно в эту пору Твен противопоставляет сознательный патриотизм «средневековому», автоматическому, что внушается гражданам его страны «газетами и политиками».

Но пора перейти к Англии. И там вошел недавно в обиход неожиданный и значительный факт истории литературы. В октябре 1881-го в Лондоне состоялся литературный обед в честь Тургенева. Тот сетовал, что, хотя его приняли с почетом, мало кто из пишущих англичан его читал. Оказалось, однако, что его усердно читал Томас Гарди. Он не мог тогда приехать в Лондон, но прислал письмо пригласившему его Ролстону, переводчику «Дворянского гнезда» и другу автора. Там были такие слова: «У г-на Тургенева меня равно восхищает смелость в выборе темы и сила в ее разработке...»[2]

Сразу замечаешь здесь нечто общее с твеновским отзывом. В викторианской Англии, как и в буржуазной Америке с ее морализаторством и мифами, от русского реалиста исходят свежие и освобождающие

[2] The Collected Letters of Thomas Hardy, vol. I (1840—1892), Oxford, 1978, p. 94.

творческие импульсы. И если впереди у Твена был «Гек», то у Гарди — «Тэсс», вызвавшая замешательство спустя десятилетие и тоже представлявшая собою прорыв в XX век.

Круг английских литераторов, думавших над книгами Тургенева, был и тогда не так уж узок. По опубликованным ныне письмам Карлейля и Джордж Элиот можно видеть, как заинтересованно они его читали и комментировали — томик за томиком. А Уайльд перевел с французского одну из его последних, уже продиктованных вещей — «Пожар на море»: Тургенев был для него, среди великих русских романистов, художником по преимуществу. Живую и нередко острую реакцию современников на прозу нашего классика осветила монография «Тургенев и Англия», которую выпустил славист из Новой Зеландии Патрик Уоддингтон. Он заключает, что еще при жизни Тургенева наиболее проницательные британские умы «нашли в нем сходство с самым первоклассным, что создала Англия, и с самим британским идеалом»[3]. Исследование подводит к достаточно известной эпохе: на рубеже веков Тургенев стал кумиром для поколения Голсуорси и Конрада.

Реже освещалось его присутствие в прозе более близкого нам времени; мы можем только коснуться этой темы.

В середине 20-х Голсуорси с тоской отмечал «смену вкусов» на Британских островах — для него, понятно, тут был упадок вкуса, если Тургенев попал в тень, а Джойса сделали «божеством». Ведь первый воплощал для него манеры и изящество прозы, а второй — давнюю (от «Клариссы» до «Улисса») невыдержанность английского романа, при всем его богатстве.

До чего удивился бы Голсуорси, знай он, что Джойс уж никак не меньше его приверженец «Записок охотника»! Вот только ценит у Тургенева совсем не изящество и хорошие манеры.

««Записки охотника» привели Джойса в восторг еще в пору дебютов: он послал тогда и брата читать их в дублинскую Национальную библиотеку. Эти очерки и «Дым» он знал и в английском, и во французском переводе. В разные годы его задевал абсурдный мир крепостничества, данный у Тургенева то в трагическом, то в фарсовом преломлении: смотрел ли он «Нахлебника» на итальянской сцене или вспоминал со смехом барыню из «Льгова», запрещавшую дворовым жениться («что за баловство!»), Джойс мог и полемически отталкиваться от Тургенева, но неизменно к нему возвращался. Одно из таких возвращений произошло после завершения «Улисса». Он доказывал другу-ирландцу, что нельзя стать интернациональным, минуя национальное. И веско сказал о Тургеневе: «Вспомните его «Записки охотника» — до чего там все привязано к местному — и, однако, из этого зерна вырос великий всемирный писатель»[4]

Горячими почитателями Тургенева заявили себя и ведущие новеллисты периода между войнами. Ирландские, следующего после Джойса поколения: Фрэнк О'Коннор и Шон О'Фаолейн. И английские — Герберт Бейтс и В. С. Притчетт. Все они предлагали современную трактовку его книг, читая Тургенева глазами нашей драматической эпохи. И каждый находил у него живые образцы, позволяющие судить о границах и возможностях малого жанра. Сравнительно недавно, в 1977-м, маститый новеллист В. С. Притчетт посвятил Тургеневу и его искусству целую книгу — «Любезный варвар» (название взято из дневника Гонкуров). К высказанным в ней мыслям мы еще вернемся.

А теперь Франция. Свежих отзывов о Тургеневе писателей-современников напечатано там за последние годы больше всего, и это естественно. Упомянем любопытные письма к нему Жорж Санд, Анатоля Франса и Ипполита Тэна: они приводились в наших журналах, оперативно информировавших о новых публикациях французских славистов. Однако у нас еще мало известно самое, по-видимому, яркое в этом роде, хотя и не такое уж новое. Это письма Флобера к Тургеневу, изданные в 1946-м.

Сразу останавливает письмо о «Вешних водах». «Вот он, наконец, роман о любви, если таковой возможен». И на удивление лирическая нота в письме читателя-профессионала: «Увы, это история каждого из нас! Она заставляет краснеть за себя. Что за человек мой друг Тургенев! Что за человек!»[5]

В свою очередь и автор «Вешних вод» показал себя проницательным читателем Флобера. Еще в 1870-м он уверенно выделил «Воспитание чувств» как книгу художественной правды, неприятной и нежеланной обывателям Второй империи. О значении этого провалившегося романа, шедшего против национальных предрассудков и самообольщений, он говорил и позднее. Французский реализм 70-х годов, от «Эжена Ругона» Золя до «Лексикона прописных истин» Флобера, вполне ответил его давнему «гоголевскому» требованию не бояться говорить соотечественникам «в лицо полной, беззаветной правды, как, например, у нас Гоголь, у англичан Теккерей...». При содействии Тургенева эти реалисты обрели тогда русскую аудиторию. И он успел отметить в 1877-м, что они «пользуются в России едва ли не большей симпатией, чем в собственном отечестве». И то, что «эти писатели находят у нас удобную и уже разработанную почву».

В отзывах самого Тургенева о благополучно-меркантильной Франции Третьей республики немало флоберовской горечи: тут сказывается тесное общение с французскими друзьями. И в то же время их точка зрения включена в свою, более широкую — русского писателя, у которого вековой застой в царской империи глухой поры и буржуазный застой на Западе после Коммуны обостряют жажду перемен. Это отразилось в его письме консервативно настроенному Фету от 9.X.1874: того тревожили везде происходящие «разбои», а Тургенева — повсеместная удручающая рутина. Он не

[3] Patrick Waddington. Turgenev and England. London and Basingstoke. The Macmillan Press, 1980, p. 291.

[4] Richard Ellmann. James Joyce. Oxford Univ. Press, 1966, p. 520.

[5] Gustave Flaubert. Lettres inédites à Tourgueneff. Monaco, 1946, p. 63.

жалеет эпитетов: ему «противна гнусная, безвозвратная, филистерская тишина и мертвая проза, которая водворяется повсюду — особенно во Франции!». Это написано с вызовом; а в 1878-м он живо откликнулся на «босяцкие» стихи Жана Ришпена, вызывающие по отношению к филистерской тишине. Опять эпитеты точны и пережиты: «Тут из каждой строки глядит на вас такой брызжущий сангвинический темперамент, который в наше бледное и рефлективно-немощное время действует положительно благотворно».

Не так давно влиятельный американский критик Эдмунд Уилсон по-новому осветил русского писателя на фоне флоберовской эпохи. «Записки охотника», появившиеся за несколько лет до «Мадам Бовари», сказано в большой статье Уилсона «Тургенев и Капля Жизни», предвосхитили эту эпоху. Их автор «был первым западным прозаиком, усовершенствовавшим современное искусство косвенной социальной критики в повествовании, представленном объективно, организованном экономно и великолепно стилистически отточенном»[6]. И он из всех творцов той, флоберовской эпохи в наибольшей степени остался в литературе, удовлетворяя и современному вкусу. Нет нужды абсолютизировать эту точку зрения. Но она вполне объясняет восхищение Флобера мастером, отвечавшим требованиям его эстетики. Идет ли речь в его письмах о «Вешних водах» с описанием интерьера кондитерской — и утренней встречей Санина и Джеммы в саду на скамейке. Или о «Несчастной», где он выделяет не одну фигуру и не одну сцену — а особенно, конечно, сцену поминок. Весь рассказ он рекомендует как редкий шедевр Мопассану, вполне разделившему это мнение.

Творческие образцы, не всегда самые известные и всегда воспринимаемые по-своему, находят у Тургенева и писатели XX века. Во французской монографии о годах ученичества Мартен дю Гара приведена интересная его заметка. Он хотел первую часть своего романа-дебюта «Становление» сделать оживленной, насыщенной диалогами, а вторую — менее ироничной, проникнутой грустью, вырастающей из самого изложения жизненных фактов, из ощущения «ничтожества прожитой жизни и непредвиденных утрат». И тут помечено карандашом в скобках — «Тургенев». Очевидно, дебютанта вдохновляло то подспудное движение, что неумолимо ведет к финалу «Дворянского гнезда». А в 1968-м Арагон, беседуя о своих романах с Доминик Арбан, заговорил с энтузиазмом об очерке Тургенева «Человек в серых очках». Арагону казалось, что влияние этой острой вещи в его романе «Богатые кварталы», столь ценимом собеседницей, распознать нетрудно.

Задержимся немного на этом примере. Ведь Тургенев в 70-е годы обращался и непосредственно к французской аудитории со своими двумя очерками о революции 1848-го (начав с воспоминания об июньских днях — «Наши послали!»). За мастерски схваченными эпизодами тут были его размышления о французском характере и истории. В переводе, просмотренном Флобером, под названием «Мсье Франсуа» второй очерк появился еще раньше, чем в оригинале. И тем важнее для нас, что он мог так отозваться во французском социальном романе XX века, широко признанном на родине (ему была присуждена премия Ренодо за 1936-й) и широко читаемом ныне также в США (это отметила «Нью-Йорк таймс», откликаясь на кончину Арагона).

Тургенев вывел на сцену загадочного оборванца и остроумца, встреченного им за кофе в Пале-Рояле. Из тьмы своего прошлого этот авантюрист вынес редкое знание изнанки буржуазной политики — и говорит как ясновидец, от имени самых темных, рвущихся к господству ее сил. Пророк бонапартистского переворота еще в феврале, едкий парадоксалист, он бесцеремонно обнажает жестокую реальность истории. Так поступает и персонаж Арагона, оказавшийся на скамейке сада Тюильри рядом с молодым героем романа. Изображенные тут с язвительной иронией буржуазные круги провинции и Парижа живут накануне катастрофы — и меньше всего ждут ее весной 1913-го. Посреди романа и получает голос чуть не столетний нищий в нитяных перчатках, для которого все развалилось с развалом Второй империи. Он помнит агонию Коммуны — и пророчит новые выстрелы в народ. Бессвязно-яркие речи этой Кассандры из «бывших» словно переносят огонь и кровь XIX века в роман XX века.

Тургеневский прозорливец и участвовал в той творческой амальгаме, какой стала эта обобщенная фигура, придающая новое измерение насыщенному роману. Он вызвал естественную для французского автора ассоциацию с героем Дидро — острым диалектиком и знатоком жизненной изнанки. Но кроме литературных источников, был совершенно реальный: старик на одной скамейке с Арагоном в саду Тюильри. «И мой персонаж стал комбинацией «Племянника Рамо», «Мсье Франсуа» и того безымянного, встреченного мною человека, который и рассказал мне о пожаре Лувра»[7]. Этот уникальный пример показывает, как живет ныне Тургенев в открытом и отзывчивом писательском сознании.

Коснемся еще Германии, завершая ею, по необходимости, наш обзор по географической «горизонтали». (Хотя есть интересные работы о Тургеневе в Италии, Испании, Скандинавии, если вообще ограничиваться Западом; а достаточно назвать имена таких его приверженцев, как Лу Синь и Акутагава, чтобы, пусть намеком, предстала богатая его жизнь на Востоке.) В Германии раньше, чем во Франции или в Англии, стали осваиваться с новой поэтикой «Записок охотника», с очерком-рассказом, и захватывающим, и озадачивающим.

«Книга Тургенева нашла здесь очень много обожателей»,— так написал по-русски из Берлина в Петербург 8.XII 1854 о первой части «Записок» ее переводчик Август Видерт. Он начал переводить очерки еще по тексту «Современника», не дожидаясь их

[6] Ivan Turgenev. Literary Reminiscences and Autobiographical Fragments. N. Y., Farrar, Straus a Cudahy, 1958, p. 7.

[7] Aragon parle avec Dominique Arban. P., Seghers, 1968, p. 127.

отдельного издания в оригинале. И немецкая версия книги сразу стала наперебой обсуждаться кружком молодых берлинских литераторов; отстоявшееся мнение кружка представляли до некоторой степени отклики Пауля Гейзе на оба тома «Записок» в переводе: к ним справедливо привлекают внимание немецкие филологи, у нас напечатана статья о них исследовательницы из ГДР Гизелы Йонас[8]. Гейзе увидел у Тургенева неканоническую новеллу с характером на первом плане. И со свободной композицией, продуманной и тем не менее смущающей своей незавершенностью, например, в истории Каратаева. Тут была редкая в XIX веке восприимчивость к поэтике Тургенева, не во всем приемлемой для рецензента. Но он чутко уловил, что скачки в изложении и неполнота этих рассказов предполагают «поэтического читателя» или аудиторию с воображением. В Германии первым из таких читателей был Теодор Шторм, уже известный тогда мастер новеллы из того же берлинского кружка. Он еще по рукописи познакомился с версией Видерта и содействовал ее изданию.

Контакты Тургенева с немецкими писателями — особенно в годы его жизни в Бадене — были интенсивны. Он доброжелательно читал разных авторов, от Гейзе до Фрейтага. Но в отношениях его с современной немецкой прозой был и драматизм. Он не находил в ней и следа того, что давали беспощадные в своей критике Теккерей и Флобер. И в откровенном письме о наиболее творчески близком ему Шторме, новеллисте-поэте, умеющем создать настроение, мы находим энергичные слова о главном грехе немецких авторов — «проклятой идеализации действительности». Поэтому в 70-е он редактирует с таким увлечением, пройдя с переводчиком дважды весь текст, русский перевод «Германии» Гейне: она словно возмещает то, чего не дает тогдашняя немецкая проза.

В известном письме к Юлиану Шмидту, своему другу-литературоведу, от 6.V.1873 Тургенев критикует немецких романистов и как повествователей. Они «слишком любят выставлять напоказ свои сюжеты в начале или во всяком случае дают сильный намек на это». Для него же суть повествования (тут русские, по его словам, унаследовали нечто от «Тысячи и одной ночи») состоит в умении «выдвинуть сразу или по крайней мере наметить мотивы». Это различие стало особенно важным в начавшуюся уже пору психологической прозы.

Тургеневская критика показывает, что он остро чувствовал те потребности немецкой литературы, которым в наибольшей степени ответил Томас Манн. Тот не зря сказал уже на склоне лет: «Особую привязанность чувствовал я к Тургеневу».

А в начале века, полемизируя с теми, кого смутил дух критики в «Будденброках», Т. Манн ссылался на автора «Записок охотника»: и у него находили при желании злостные описания с натуры (статья «Бильзе и я», 1906). Немецкий новеллист говорил о своем творческом долге перед автором «Первой любви» и «Вешних вод»: Тургенев «дал взаймы лирическую точность своей обворожительной формы для первых наших шагов в прозе и первой самопроверки» («Русская антология», 1921). Заметим, что и «Вешние воды» могли смущать своими критическими пассажами (в особенности образ Клюбера и описание театра) даже немецких друзей Тургенева, и тот выговаривал в дружеском письме Л. Пичу не только ему, но и всем «неженкам», не допускающим критики в свой национальный адрес. Дебютант Томас Манн, не чета подобным «неженкам», вполне разделял эту критику.

Две классические новеллы раннего Манна о художнике — «Тонио Крёгер» и «Смерть в Венеции»— были глубоко немецкими по типу и при этом стольким обязанными русскому образцу. В обеих ирония и лирика европейца, по-тургеневски умеющего обжить чужие страны, схватить их атмосферу,— ибо герой новеллы и ее автор могут оказаться своими не только дома. Но на чужбине еще вернее выявляется их национальное лицо: именно там настигает их драма — скрытая, готовящаяся исподволь. Через тему искусства, через душу художника психологическая short story, как называл свой малый жанр Томас Манн, открывает бездушно-прагматическое и иррационально-разрушительное в жизни буржуазной нации, той самой нации бюргерских основ и бюргерской культуры, от которой он сам неотделим, каким бы отщепенцем себе порою ни казался.

В письме Т. Манна к переводчику А. Элиасбергу от 5.VI.1914 мы находим едва ли не самый значительный его отзыв о русском мастере: «Я читаю теперь Тургенева с тем же рвением и не меньшим восторгом, что и двадцать лет назад. И мечтаю о том, чтобы в один прекрасный день взяться за большое эссе о нем — главным образом потому, что ныне его из увлечения Достоевским, как мне сдается, самым неблагодарным и неподобающим образом недооценивают и держат в пренебрежении. Я заранее радуюсь тому, что вступлюсь за него» [9].

К сожалению, этого эссе Манн не написал. Задуманное в таком полемическом роде «защиты», оно было нужно, впрочем, лишь в первые десятилетия века. Тогда этот тон принимали разные приверженцы Тургенева на Западе, от Голсуорси до Андре Моруа, выпустившего книжку о нем в 1931-м. Позднее стало вполне очевидно, что у Тургенева на Западе своя судьба и никто заслонить его не может.

«Одним из совершеннейших произведений мировой литературы» всегда были для Томаса Манна «Отцы и дети». Писатель XX века остро воспринял в нем необычайный для романа идейный поединок. Еще к 1906-му относится его замечание, что поэтическое «я» может найти своеобразное выражение и в фигурах антагонистов: «Гёте в такой же степени жив в Антонио и одновременно в Тассо, как Тургенев — в Базарове и в Павле Петровиче». И в своей «Волшебной горе» Манн вывел не менее внутренне несовместимых, вечно враждующих героев — Сеттембрини и Нафту, чей идей-

[8] «Тургеневский сборник», II. М.— Л., «Наука», 1966.

[9] Thomas Mann. Briefe, 1889—1936. S., Fischer Verlag, 1961, S. 109.

ный спор, не утихая, по-новому осветил эпоху: чешский исследователь Алоиз Гофман справедливо увидел в этом романе структурное родство с «Отцами и детьми». Уже после второй мировой войны Т. Манн говаривал, что в числе шести книг взял бы на необитаемый остров и книгу Тургенева. Он находил в ней кроме точности, с какой изображено тут идейное столкновение, и прозрачность, массу «воздуха и света», поэтому и оставались так заманчивы возвращения к этому европейскому шедевру.

О присутствии Тургенева в истории развивающейся новеллы уже заходила речь. Оно стало в особенности зримым, когда Мопассан посвятил русскому писателю первый сборник новелл «Заведение Телье» (1881). Охарактеризовав в статье о Тургеневе тонкими чертами оригинальность его рассказа, он заявил себя продолжателем этого мастера. Тургеневский лаконизм, весь широчайший диапазон его наследия в малом жанре вдохновлял и Джеймса. Тот записал в 1889-м, после беседы с Ипполитом Тэном о Тургеневе, что и сам все острее чувствует «желание и мечту» оставить побольше завершенных малых вещей, вобравших весь его опыт и при этом обретающих независимую от него жизнь. (Ему понравилось выражение Тэна: Тургенев «искусно обрезал пуповину, соединяющую с ним рассказ».)

Неканоническая новелла русского мастера — от «Записок охотника» до «Старых портретов» — сопровождала все развитие малой формы на Западе в XX веке. И если П. Гейзе смог рано оценить ее новизну — после эпохи немецкого романтизма, то в 80-е, в эпоху торжествующего натурализма, не менее восприимчив оказался к ее новаторскому строю ирландец Джордж Мур. В своем сельском цикле «Невспаханное поле» он выступил непосредственным и оригинальным продолжателем «Записок охотника», которые осветил по-своему.

Мур полемически выделил в малой прозе Тургенева «крутые повороты повествования» и «свободу психологии». Для него это нечто уникально-живое на современном Западе, черты восточной прозы в традиции «Тысячи и одной ночи» (об этом истоке упоминал и сам автор!). При том, что Мур ведет речь о рассказах, раскрывающих характер в рамках реализма. До того искусно отобраны события в «Конце Чертопханова» или «Степном короле Лире», что читателя «они сразу поражают и своей естественностью, и своей неожиданностью». И в этой сравнительно ранней оценке тургеневской новеллы — предвестье ее интенсивной жизни в XX веке.

Особый интерес вызывает ныне Тургенев как мастер сказа. После двух мировых войн тяга к сказу обострилась и на Западе: в новеллу вошел «массовый» человек с его отнюдь не книжной речью. И современные рассказчики говорят свежими словами о давно хрестоматийных вещах — таких, как «Живые мощи», с увлечением пишут и о виртуозной, совсем не хрестоматийной «Собаке».

Нередко в фокусе внимания новеллистов оказываются поздние рассказы-воспоминания Тургенева. Живейший отклик вызывают в них и характеры, и попытка очертить ушедшую эпоху, и сама малая форма, находящаяся в вечной перестройке: автор словно исследует границы и возможности своего жанра.

Уже Флобер горячо поддержал одну из этих поздних «студий» «Стук... стук... стук!..», заинтересованный ее героем-самоубийцей: «...этот образ Теглева, человека фатального, наивного в своем позерстве! (Его письмо! Его изумительный альбом!) И этот туман, в котором его ищут! Холод пробирает тебя насквозь...»

Характер выступает тут из давней уже поры русского романтизма; но это взгляд из одной поры безвременья — на другую, николаевские годы; поэтому прошлое так близко подступает к настоящему — и не только в царской России. Для Флобера и авторская манера подходит в рассказе к натуре героя. А Мур и здесь видел характер, открывающийся в неожиданно натуральных событиях.

Другие поздние рассказы — «Часы» или «Пунин и Бабурин» — могли вызвать на Западе и полемику о природе и границах малого жанра. Настолько непосредственно и заинтересованно они воспринимаются. Вот, например, как столкнулись мнения двух мастеров и теоретиков новеллы, упоминавшихся выше.

«Пунин и Бабурин», настаивает Фрэнк О'Коннор,— вещь малого, а не большого жанра, хотя на тот же сюжет можно писать и роман. Именно новелле подходит ее странная, чуть не гротескная пара героев: изгои, а не представители общества. В особенности Бабурин, с великим искусством очерченный новеллистом: прямой и колючий, вызывающий уважение, а не теплый отклик. Читателю трудно себя с ним идентифицировать; ему, О'Коннору, довелось встретить подобного Бабурину, и тот вызвал у него именно такую реакцию. Протяженность же новеллы его не смущает: краткость вовсе не обязательна для short story. Вот где скрытая полемика с Шоном О'Фаолейном, для которого это тоже «одна из самых очаровательных новелл всех времен». И в то же время, пожалуй, «вовсе не новелла» — по неторопливой экспозиции и размеру.

Тем не менее — включимся и мы в этот спор — она на редкость лаконична и предвещает кино своим монтажным строем. Характер Бабурина открывается в серии и смене данных извне историй-эпизодов, это кадры с датами, побуждающие читателя домысливать и заполнять промежутки. Вводя нового для русской прозы героя, мещанина-республиканца, Тургенев перестраивает и свою малую форму.

Присутствие Тургенева в истории мирового романа еще более живое, побуждающее к спорам, поискам, самостоятельному творчеству, чем даже в истории новеллы.

Любопытно, что романисты разных стран сильнее чувствовали творческие импульсы, исходящие от разных его романов. Джеймсу едва ли не больше всего говорило «Накануне»: американец, привлеченный духовно свободной Еленой, готовился и сам создать галерею независимых героинь — от «Дэзи Миллер» до «Женского портрета». Ирландцев же задевали прежде всего «От-

цы и дети», и Мур написал еще в 1888-м: «Среди множества тех, кто хотел в прозе поведать о бедах Ирландии,— кто же не думал об ирландском Базарове...»

А «Дым» и «Новь» были и остались дискуссионными на Западе. Мериме нашел в «Дыме» самую совершенную прозу Тургенева; Флобер принял «Новь» как долгожданный роман долгого дыхания. Но нередко над этими романами вершили скорый эстетический суд, утверждая, что первый круто поворачивает к мрачному памфлету, а во втором, тоже мрачном, несовершенна архитектоника.

История XX века словно вмешалась в эту дискуссию — с нею прямо связаны свежие эстетические оценки обеих книг. В 1919-м вышел американский перевод «Дыма» с предисловием Джона Рида: в первых шести главах он нашел жалящую сатиру, непревзойденную в литературе. В этих именно главах блестяще очерчены радикальные говоруны, которых часто поминал Ленин (а особенно часто — Ворошилова с его щегольской эрудицией). Вполне возможно, что в предисловии Рида отозвались его недавние беседы с Лениным, который досконально знал и любил «Дым». Жизненность «Нови» отметил в 1957-м американский критик Ирвинг Хау. Он проводил параллель между Неждановым и левыми интеллигентами, «шедшими в народ» на Западе. Две важные сцены романа — попытку героя распропагандировать крестьян в кабаке и его самоубийство — Хау находил глубокими и сильными. И для В. С. Притчетта в 1977-м «Новь» созвучна беспокойному современному миру; роман о революционерах приблизился к западному читателю и остается поныне живым художественным целым.

Особенно интересен для нас острый писательский взгляд из XX века на линию Тургенева-романиста. Два таких взгляда, разделенные четвертью века, принадлежат виднейшим литераторам.

В 1933-м Вирджиния Вулф напечатала, и в Англии и в США, статью «Романы Тургенева». О самых разных вещах, от «Рудина» до «Дыма», перечитанных в год мирового кризиса, писательница замечала: «Они о России 50-х и 60-х годов прошлого века — и, однако, они о нас в настоящий момент» [10]. Причину этого художественного долголетия книг она видела в объективности романиста, стремившегося понять (и понимавшего проницательно) пережитое им и его кругом, не давая воли своим пристрастиям и воздерживаясь от соблазнительных пророчеств.

А в 1958-м Эдмунд Уилсон высказался в сходном духе, хотя и с иным поворотом. Этот автор славил верность Тургенева своим основам, последовательность его реализма, открытый и непредвзятый взгляд на страну, самопознанию которой он служил, умея выдержать давление и нападки. «В этом он был подлинно героичен, и пришло ныне время поблагодарить его за усилия, за которые он в свое время мог порой меньше всего ждать благодарности...» Эти строки и особенно выделенные нами слова значительны и уникальны на Западе. Однако весь их контекст в эссе Уилсона требует уточнений.

Известно, что романиста сопровождали яростные споры и жестокая полемика. И напрасно критик окружает его духовной пустыней. Издания Каткова бесцеремонно чествили его — не за отдельные вещи, а за линию — и после смерти. Но именно эту линию высокого реализма сумели оценить, уже в 80-е, порою преодолевая собственные предубеждения, пересматривая прежние оценки, и Щедрин в некрологе для «Отечественных записок», и П. Лавров в мемуаре-исследовании о Тургеневе для нелегального журнала «Вперед!». Общение с демократами и революционерами в конце жизни, как и прежде, помогало романисту вполне проявить свое творческое «я». В ином смысле это относится и к его душевному контакту с друзьями-иностранцами. По письмам Флобера и воспоминаниям Джеймса мы знаем, что Тургенев мог откровенно говорить с ними и о том, что волновало и тревожило его на родине. Конечно, автору «Отцов и детей» случилось немало перенести, но и благодарности за его линию не пришлось ждать до наших дней.

Художественный язык Тургенева-романиста поныне один из самых влиятельных в XX веке, именно поэтому он не боится взаимодействия с другими и в нем не теряется. Выделим несколько моментов — собственно, выделенных писателями Запада еще до нас.

Начнем «со своих мест», всегда сопровождавших Тургенева и на чужбине, с орловщины «Записок», с которой Джойс вечно соотносил свой Дублин. Одержимость национальным, напряженные раздумья о нем и сделали Тургенева в его глазах интернациональным, всемирным. Здесь перекинут мостик к «Дыму», шокировавшему многих, но не автора «Дублинцев»: тот тоже видел свою Ирландию, к которой был так лирически-горько привержен, на фоне Европы критически-зорко, без обольщений. И за местным тут, не только для Джойса, был национальный характер, складывавшийся за тяжелые века. И Джеймс проницательно написал, что ничего более интересного, чем характер соотечественников, находящийся еще в становлении, для Тургенева не существовало; столкновения с чужеземным помогали его выявить.

Затем это концепция времени в романах Тургенева; созвучного позднейшей прозе тут немало. Вот любопытный пример.

Говоря о том, как писатель может заставить пережить «роковую» полночь, насытить и выделить этот момент, С. Эйзенштейн вспоминал «Милого друга»: там часы бьют двенадцать вразнобой, то вдалеке, то ближе, то вместе, то порознь. Для него это пример монтажного письма: разные планы и удары сливаются в один образ; условленный час оказывается протяженным — и врезается в память. Но нечто подобное было и перед свиданием героев в «Дворянском гнезде»: «В городе пробило полночь; в доме маленькие часики тонко прозвенели двенадцать; сторож дробно поколотил по доске». И тут образ складывается из раз-

[10] Virginia Woolf. Collected Essays. Lnd, The Hogarth Press, 1966, vol. I, p. 248.

ных планов и ударов, и тут час получает тяжесть и протяженность.

Вообще этот роман очень искусно вводит литературное время. «Теперь», которому он посвящен, словно раздвигается, впуская века: история рода Лаврецких не меньше, чем предыстория героя, освещает надвигающуюся драму. А в эпилоге, обычная функция которого — досказывать, происходит неожиданная смена поколений, и, оставляя Лаврецкого и Лизу без досказанной судьбы, внутри незавершенной русской жизни, роман переворачивает страницу истории.

Размышляя над художественным языком Тургенева, в 1933-м, Вирджиния Вулф сделала особенно ощутимым, что его поиски шли в том же направлении, что и в новейшем западном реализме. Тургенев, заметила она в дневнике, переписывал свои романы, очищая правду от несущественного: писатель, на его взгляд, закрепляет основное, а остальное домысливает читатель. «Беда критики, что она остается на поверхности. А писатель забирается вглубь. Тургенев вел дневник от лица Базарова: записывал все с его точки зрения. А перед нами всего 250 коротких страниц. Вот наша критика: с высоты птичьего полета мы видим верхушку айсберга. Остальное под водой» [1].

Об айсберге заговорил как раз тогда Хемингуэй: этот художественный принцип был из самых основных для него. И в сущности, о Старике он поведал нам нечто в этом роде: он знал все о его соседях, о жизни рыбацкой деревушки, но в повесть это не вошло. И в этом пассаже о Базарове и в комментарии Хемингуэя о Сантьяго речь идет о герое, досконально известном автору и открытом читателю так, чтобы возбудить его воображение, сделать его соавтором.

Но, конечно, принцип айсберга налицо и в выборе наблюдений, лаконизме сцен, многозначной сжатости реплик и диалогов. Изощренность наблюдения и в итоге невероятный запас подробностей, из которого автор выбирает еще небывалую черту,— под ударением у новейших писателей Запада, комментирующих Тургенева. Но еще в 1881-м, задолго до новейших, Гарди замечал о художественной ткани романов Тургенева:

«Его мелкие штрихи, рисующие персонажей, особенно пленяют меня, поэтому его книги интересны на любой странице, когда раскроешь их наугад. В простейшем происшествии, что он описывает, всегда найдется то, о чем ты никогда не думал,— и потом ты этого уже никогда не забудешь и непременно вспомнишь, если нечто подобное случится у тебя на глазах».

Томас Гарди имел в виду прежде всего «Дворянское гнездо». И хвалу Тургеневу он начал с его морального мужества. Конечно, тут подразумевалась не только Варвара Павловна, но жена Лаврецкого не могла не поразить писателя викторианской поры: она торжествовала и на родине, и на Сене, порок, привычный дворянскому обществу, отнюдь не приходил к крушению. Хотя «мелкие штрихи», пропитанные разящей иронией, позволяли увидеть насквозь эту «сердечную» героиню.

И наконец, трагические финалы. Чехов перечитывал Тургенева в 1893-м уже зрелым мастером, его критика в известном письме А. С. Суворину коснулась и романов — в особенности «Накануне». Но и в этой вещи он выделил финал, полный трагизма, а о финалах «Дворянского гнезда» и «Отцов и детей» говорит одним словом: они похожи на чудо.

Для него смерть Базарова едва ли не вершина искусства у Тургенева. «Просто хоть караул кричи». Это о том, как сильно сделаны болезнь и конец героя и старички, его родители. Заметим, что «чудом» трагические финалы должны казаться тем больше, что метод романиста так объективен, и стихия повествования — ироническое наблюдение. Она обычна в чеховский и послечеховский век, а такие финалы — редкость.

У В. С. Притчетта (а до него у Ирвинга Хау) смерть Базарова подана крупным планом. О катарсисе «Отцов и детей» в этой английской книге сказано: «Эти страницы — из самых волнующих и прекрасных по наблюдению, какие только написал великий наблюдатель: Чехов восхищался ими как врач и как художник, сам мастерски описывавший скорби человеческие». Не пропустим у Притчетта и признания, что не только финал, самый роман Тургенева стал ближе англичанам, когда зашатались их вековые основы. «До недавних времен дикость столкновения (в «Отцах и детях») казалась непостижимой иностранным читателям».

Как бы то ни было, у поколения с современным историческим опытом вырос интерес к романам Тургенева в целом — ко всем шести, включая и «Новь». И даже тому седьмому, который был автором начат перед смертью и, возможно, вчерне написан.

О нем не раз заходила речь в недавних советских работах. Об этом романе, в котором Тургенев думал сопоставить русский и французский социализм своего времени, выявив более глубокие психологические мотивы, стоящие за первым. И, как у него обычно, русская девушка, с ее отзывчивостью и всем миром ее чувств, делала выбор не только между героями. Тут сопоставлялись разные национальные характеры, политика, мораль, душевный склад. Мы знаем, насколько захватила Тургенева его тема,— один мемуарист записал его слова, что за подобное в романе еще никто не брался. Писатель держал в курсе работы своего друга-переводчика, Ролстон собирался провести с ним лето 1882 в Спасском и работать над английской версией по мере того, как будут готовы страницы оригинала. Из-за болезни Тургенева все это сорвалось.

П. Уоддингтон пишет: «После смерти Тургенева Ролстон открыл основной сюжет романа, который уже был как будто полностью продуман и выношен у автора. Может статься, однажды найдется и черновой его вариант». Кто не разделит этой надежды? Ведь уже сам его дерзкий замысел принадлежит истории и развитию романа.

[1] Virginia Woolf. A Writer's Diary. Lnd, The Hogarth Press, 1954, p. 210.

Культура и современность

Современная культура неотделима от глобальных проблем, решение которых возможно лишь при условии существенного пересмотра представлений человека о своем месте в жизни Земли, во всем многообразном комплексе ее аспектов — политических, социальных, идеологических, биологических. Сегодня, как никогда, очевидна необходимость диалектического синтеза «двух культур» — научно-технической и художественно-гуманитарной.

Развитие человечества и его интеллекта, писал В. И. Вернадский, привело к возникновению в биосфере Земли «новой геологической силы — научной мысли». Наука нашего столетия не только раздвинула горизонты познанной Вселенной, но и раскрыла невиданную картину взаимообусловленности и взаимосвязей явлений материального мира.

Диалог «двух культур» уходит своими корнями в глубокую древность, когда внутри философии как целостного взгляда на мир, включающего познавательное, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к нему, формировалась наука, этика, эстетика. На протяжении всей истории в творческой деятельности выдающихся представителей каждой из «двух культур» неизменно наблюдалась тенденция соединить два способа познания — науку и искусство. Вспомним философа Пифагора, чьи занятия математической основой музыки привели к созданию акустики и эстетической доктрины, соединившей гармонию космоса и души. Его мысли о математике как мериле эстетики развивали Аристотель и Платон. Необычайно плодотворными были естественнонаучные искания Леонардо да Винчи, который сопоставлял пропорции в живописи с музыкальным размером, внес существенный вклад в анатомию — его эскизы до сих пор используются в учебниках, тело человека служило ему образцом симметрии при создании архитектурных проектов. «Все в мире неизменный связует строй»,— писал Данте. Музыка была объектом исследований выдающихся физиков Лейбница и Гельмгольца: первый занимался ее психологическими аспектами, второй разрабатывал физиологию музыки. Универсальность музыки издревле приковывала к себе внимание философов, ученых, людей искусства, стремившихся разгадать тайны ее воздействия на мысли и чувства людей. И естественно, что сегодня перед лицом угрозы гибели жизни на Земле, в эпоху драматических поисков общего языка, человечество обращается к музыке как к общей языковой системе всего живого, как к средству обретения взаимопонимания: вспомним, например, что во время первой прямой телевизионной трансляции СССР — США в прошлом году именно музыка стала средством общения двух великих держав.

Что же отличает музыку, древнейшее из искусств, специфическую разновидность звуковой деятельности людей, от других звуковых языков и явлений — пения птиц или шелеста листьев под ветром?

Качественный скачок предполагает изменение структуры, системы организации элементов. Звучание музыки отличается строгой высотной и временной организованностью. Поясняя студентам разницу между фактом и вымыслом, американский писатель, химик по образованию, Курт Воннегут, вспомнил лекцию по физике, прослушанную им в далекой юности: профессор бросил в шлакобетонную стену аудитории пластину, похожую на штык. «Это — шум»,— сказал он. Потом, взяв еще семь пластинок, он быстро бросил их одну за другой, словно метатель ножей. Стена последовательно пропела первые ноты песенки «У девочки Мэри был белый барашек». «Это — мелодия»,— сказал профессор. «Таким образом,— заключил аналогию Воннегут,— художественная литература — это мелодия, а журналистика, новая или старая,— шум».

Принцип любого искусства — организация, мера, гармонизация. Лев Толстой восхищался определением Брюллова: «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть». Он писал: «Замечание это верно для всех искусств, но справедливость его особенно заметна на исполнении музыки... Никакое обучение не может сделать того, чтобы пляшущий попадал в самый такт музыки и поющий или скрипач брал самую бесконечно малую середину ноты и чтобы рисовальщик проводил единственную из всех возможных нужную линию и поэт находил единственно нужное размещение единственно нужных слов. Все это находит только чувство».

«Абстрактная вражда между чувством и духом,— писал К. Маркс,— необходима до тех пор, пока собственным трудом человека еще не созданы человеческий вкус к природе, человеческое чувство природы, а значит, и **естественное** чувство **человека**».

Публикуемые материалы как аргументы в диалоге «двух культур» помогут яснее увидеть общую перспективу развития искусства и науки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЖАЗ: ПРИЗЫВ К МИРУ В ТРЕХСОТЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ

«Трехсотлетней войной» против Природы — а значит, и против Человека — назвал член Верховного суда США Уильям О. Дуглас ту хищническую эксплуатацию природных богатств Земли, начальный толчок которой дало становление промышленного капитализма, дальнейший ход — колониальная экспансия, а максимальную скорость и планетарный размах — лавинообразный рост технической мощи, грозящей ныне вырваться из-под контроля создавших ее людей. Имея в виду прежде всего Северную Америку, Дуглас писал в одноименной книге 1972 года:

«Трехсотлетняя война началась незаметно еще во времена, когда в распоряжении человека были лишь порох и топор... Она велась с поистине миссионерским усердием, ибо в нашем сознании девственная природа издавна ассоциировалась с опасностью и даже с нечистой силой и, следовательно, должна была быть покорена.

В числе жертв трехсотлетней войны оказались коренные жители континента. Они были «язычниками», чей образ жизни и поведение были непонятны и богопротивны. Однако они с гораздо большим уважением относились к природе и ее удивительным дарам, чем пришельцы, вера и догмы которых позволяли бездумно эксплуатировать леса, озера, реки...»

Необходимость положить конец этому самоубийственному наступлению, давно ведущемуся и за пределами США, осознается сегодня во всех странах как одна из неотложнейших глобальных проблем современности. Свидетельством тому—решение ООН о международном сотрудничестве по охране окружающей среды в рамках специальной экологической программы ООН и связанной с ней программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера», подчеркивающей актуальность этой проблемы в плане не только материальной, но и духовной культуры.

Однако далеко не все и не сразу пришли к пониманию этой реальности. Когда словосочетание «экологический кризис» впервые замелькало в сообщениях средств массовой информации США и других промышленных стран Запада, читатель, слушатель и зритель восприняли его как гром среди ясного неба. Особенно болезненный шок испытали американцы, столкнувшиеся вдруг отнюдь не с увлекающим своей стремительностью будущим, которое как раз в те дни пророчествовал Олвин Тоффлер, а с необходимостью радикально пересмотреть свои представления не только о настоящем, но и о прошлом. Господствующим настроением послевоенного периода была эйфория от поражающих воображение успехов НТР и ее осязаемых плодов, непрерывным и, как думалось, неиссякаемым потоком изливающихся на пиршественный стол «общества всеобщего благоденствия». В книге, не без кокетства взявшей название знаменитого романа ужасов «Дети Франкенштейна», социолог Х. Мюллер писал:

«За всю историю своей деятельности по овладению природой человек никогда не проявлял столько неуважения к ней, как это делают современные американцы...»

Стюарт Юдолл, бессменный член кабинета демократов в администрациях Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, уйдя в отставку после избрания Никсона, компетентно утверждал:

«Наша страна стоит на первом месте по богатству и мощи, но она также занимает лидирующее положение в деградации среды обитания человека».

Неудивительно, что именно в Америке возникло активное движение по защите окружающей среды, получившее название энвайронментализма. При всей расплывчатости своей программы и отсутствии организационного единства движение это оказалось жизнеспособным; дух пацифизма, сближающий его с антивоенными силами, и реабилитация «естественности», столь близкая «молодежной культуре», быстро обеспечили ему широкую популярность и моральный престиж в глазах миллионов. В ряде же западноевропейских стран тамошние энвайронменталисты образовали даже самостоятельные политические партии, приобретающие, как показал внушительный успех «зеленых» на недавних выборах в ФРГ, все более прочную поддержку.

Объединяя людей всех взглядов и профессий и будучи при этом отнюдь не свободным от серьезнейших противоречий, энвайронментализм заявлял о себе в многообразных, подчас неожиданно парадоксальных формах. Выдвигалось множество теорий, предлагающих самые различные трактовки, оценки, прогнозы и рецепты преодоления экологических трудностей. Панацеи, однако, найти не удалось. Природа, являвшаяся ранее человеку живым и многоликим целым, превращалась в отчужденный от него объект абстрактно-логизирующего анализа или в сырой материал, подлежащий переработке в конечный продукт той или иной товарной стоимости. Четко обозначилась поляризация двух подходов ко всему природному: субъективно-личностного, чувственно-непосредственного, художественного и условно-опосредованного, объективно научного, промышленно-утилитарного.

Гибельный для культуры антагонизм этих подходов был поэтически осознан уже романтиками; философское его истолкование дали Маркс и Энгельс, утверждавшие идею диалектического единства природы и общества, но указывавшие на его нарушение капиталистическим производством, которое насильственно пресекает двухсторон-

нюю связь и животворящий обмен между Землей и человечеством. Ясно, что воссоединить их в гармонии удастся не раньше, чем будут устранены препятствующие тому внешние социально-экономические причины и порожденные ими же инерционные внутренние барьеры — те, что мешают увидеть, услышать, почувствовать, эмоционально пережить и предметно выразить подобную гармонию: сперва как некий идеальный образ, как великий замысел, способный перейти в действительность лишь в итоге совместной творческой деятельности всех обитателей нашей планеты. Эта деятельность должна ориентироваться на некие общие эколого-эстетические принципы и ценности, то есть быть художественной, научно-исследовательской и жизненно-практической одновременно. Другое специфическое требование — возможность осуществления такой деятельности, по крайней мере на настоящем ее этапе, в порядке индивидуально-личных инициатив: глобальные проблемы в некоторых аспектах могут решаться, как известно, и локальными усилиями. Пока они, правда, не слишком многочисленны, но тем интереснее познакомиться с одной из таких попыток, принадлежащей Полу Уинтеру, американскому джазовому музыканту и энвайронменталисту, награжденному недавно золотой медалью Общества охраны природы США, присуждаемой ежегодно за «значительный вклад в улучшение жизни и окружающей среды».

Кредо этого не совсем обычного, на первый взгляд курьезно-эксцентричного саксофониста, композитора и проповедника мира в трехсотлетней экологической войне, будучи выражено в словесной форме, выглядит не так уж оригинально:

«Прав Генри Торо, величайшие наши беды — от нас самих. Но не поздно еще вернуться к собственному естеству и спасти природное окружение для всех живых существ, включая человечество».

Что это — запоздало-смягченный рецидив неоруссоистских обличений «тотальной технократии» в духе контркультуры 60-х годов или же сладко-ностальгические медитации на тему «Уолдена»[1], модные в «усталых 70-х»?

Не совсем.

«Довольно перекладывать вину на кого-то другого. Пора наконец осознать личную ответственность за происходящее. Хватит жаловаться на то, что «они» там делают в правительстве или в бизнесе. Да кто «они»-то такие? Мы — вот кто может хоть что-то изменить!»

Это — сравнительно недавняя и качественно иная тема американского энвайронментализма, ее-то и развивает в своих музыкально-экологических импровизациях джазовый саксофонист и композитор, которого журнал «Одюбон» называет «трубадуром нового духа, разливающегося ныне по всей стране».

Напомним, что «старый дух» подчас граничил с паникой, заставляя видеть корень всех зол в индустриализации, массовом производстве и «власти машин», а единственное спасение — в решительном прекращении дальнейшего технико-экономического развития. Средства массовой информации принялись с необычайным аппетитом расписывать ужасы экологического кризиса и наперебой предрекать близкий конец гомо сапиенса, одержимого манией тотально-технократического самоубийства.

Было бы, конечно, преждевременным утверждать, что «новый» энвайронментализм сразу же и решительно восторжествовал над «старым». Однако, судя по ряду пока еще не очень многочисленных, но упорных и неуклонных попыток изменить сложившуюся систему взглядов, можно говорить о наметившейся тенденции сделать движение более демократичным и эффективным.

Так, энвайронменталисты 80-х годов ставят целью не только оградить природу от хищнического уничтожения, но, что для них не менее важно, открыть доступ к ее благам как можно большему количеству людей. Помимо учреждения заповедных зон и принятия строгих мер, регулирующих природопользование, это предполагает освоение «альтернативных» источников энергии (например, солнечной или океанической), возобновляемых ресурсов и «чистых» технологий, не дающих вредных отходов и применяющих ресайклинг, то есть восстановление и многократную утилизацию исходного сырья. Продвигаться к этим целям оказалось куда труднее, чем пророчествовать о грядущем экоапокалипсисе: пресса и телевидение резко охладели к такой тематике, и надлежало каким-то иным образом мобилизовать общественное мнение, способное оказывать давление на политиков, законодателей, администраторов, финансистов и капитанов индустрии. Приходилось обращаться уже не к анонимным «массам», а к отдельным людям, приглашая их не столько протестовать, сколько совместно осуществлять конструктивные акции. Не удавалось обойтись и одним лишь информированием, хотя бы и самым красочным, о целях и задачах движения: необходимо было добиться, чтобы каждый участник внутренне проникся его позитивными нравственными и эстетическими идеалами. Наиболее дальновидные умы понимали это с самого начала. Подлинная охрана природы станет возможной лишь тогда, когда люди откажутся от исконного своего представления о том, что мир предназначен только для использования его исключительно человеком, и более никем, предупреждал скончавшийся в 1971 году Джозеф Вуд Кратч, некогда столичный театральный критик, затем сельский натуралист, автор ряда всемирно известных книг о духовном потенциале природы и один из предтечей нынешнего энвайронментализма.

«Но как можно побудить человека лелеять какие-либо иные идеалы,— писал он,— покуда он не научится находить интерес и удовольствие в наблюдении красоты и многообразия мира самого по себе, покуда он не сможет увидеть «ценность» распускающегося цветка или играющего животного, покуда он не сумеет обнаружить некую «пользу» в вещах, по видимости бесполезных?»

[1] Роман Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) — классический образец руссоистских настроений в американской литературе, вновь обретших популярность в конце 50-х — начале 70-х годов.

Пол Уинтер старается следовать именно этому принципу:

«Наша музыка — это наша политика. Я ищу способ выразить благодарность природе, вот и все. Если мне и удается кое-что сообщить людям о том, сколь чудесны дикие создания и в какой они теперь опасности, то лишь посредством звучаний, им же свойственных».

В звуковой палитре Уинтера — голоса птиц, волков, тюленей, китов и многих других животных, записанных им на магнитофонную ленту во время его эколого-музыкальных экспедиций, география которых охватывает обширные пространства воды и суши, от Арктики до тропиков и от Тихого океана до Атлантического. Эти записи совсем непохожи на те, что делаются учеными, старающимися тайно подслушать природу, оставаясь незамеченными и не вмешиваясь в естественное течение ее жизни. Пол Уинтер — музыкант, притом музыкант д ж а з о в ы й, воспитанный в традициях коллективной импровизации, искусства принципиально диалогического. Он берет свой саксофон и посылает зов, обращенный ко всем, кто слышит и способен так или иначе на него откликнуться. Как правило, отклик не заставляет себя ждать, он приходит незамедлительно, будь то эхо от скал Большого Каньона, клекот орла в вышине, посвист дельфинов, подплывающих прямо к лодке импровизатора, чтобы совершить свой приветственный кульбит, или волчий вой, приводящий на память все соответствующие сюжеты, начиная с мифологических, об Орфее, например, и кончая Маугли.

Ленты с записью подобных дуэтов становятся тематической основой развернутых композиций Уинтера, исполняемых его ансамблем «Пол Уинтер консорт». «Consort» можно понимать здесь и как «сопровождающие спутники», и как «групповое общение» или «гармоническое согласие», и как старинную транскрипцию слова «концерт», тем более что Уинтер специально стремится возродить практику импровизационного музицирования, типичную для эпохи Ренессанса и во многих отношениях весьма близкую джазу. Уинтер выступает перед самой разнообразной аудиторией — в «Карнеги-холл», под сводами кафедральных соборов и средь прибрежных скал штата Мэн в День Солнца — ежегодного праздника в честь животворящего светила, отмечаемого энвайронменталистами 3 мая. Он стремится использовать «органические звуковые сплетения», представляющие собою «вневременной спектр музыки». Джаз, родившийся из фольклорных течений Европы и Африки, встретившихся на земле Нового Света, как и более поздний их отпрыск рок-н-ролл, мирно соседствуют в этом спектре с латиноамериканскими ритмами, индийскими ладами, приемами симфонизма и полифонического письма; арфа, гобой и виолончель прекрасно уживаются с архаическими ударными и щипковыми инструментами, а те — с новейшей электронно-акустической техникой оперативного монтажа, превращающего «натуральные» звуки и голоса животных в один из базовых компонентов музыкального целого.

Путь к обретению подобной целостности был долог, далеко не прямолинеен, полон непредвиденных и на первый взгляд чисто случайных, но в конечном счете совершенно закономерных и внутренне необходимых поворотов. В юности Пол Уинтер не мечтал об артистической карьере и намеревался стать филологом. Он учился на отделении английского языка Северо-Западного университета в Эвансто не и, будучи саксофонистом-любителем, организовал из своих сокурсников джаз-группу, неожиданно занявшую в 1962 году первое место на всеамериканском студенческом фестивале джаза. Это сразу же принесло ему известность, а вскоре — предложение совершить длительное турне по странам Латинской Америки. Последующие непосредственные столкновения с музыкальной практикой многих народов наводят на мысль о художественных экспериментах в области межкультурного синтеза; с этой целью в 1967 году формируется ансамбль «Поль Уинтер консорт». Созданный им ряд произведений, синтезирующих элементы не соприкасавшихся ранее этнических традиций, открывает новое направление джаза; в 70-х годах оно блестяще развивается группой «Орегон», состоящей из четырех бывших членов «Консорта». Сам же руководитель к тому моменту начинает вплотную интересоваться идеями энвайронментализма, услышав запись поразившего его «пения» горбатых китов и подружившись с замечательным ручным волком Джетро, который сопутствовал Уинтеру в концертной поездке по Соединенным Штатам, но затем был отравлен каким-то злобным невеждой.

Первое из этих событий стало поводом к сочинению в 1972 году «дуэта» с дельфином по имени Хэйда. Второе тоже имело далеко идущие последствия не только эстетического, но и этического порядка. Гибель Джетро побудила композитора написать произведение «Первозданностью да сохранится мир», носящее характер программного манифеста. На протяжении пяти лет Уинтер собирает полевой материал к задуманному им «музыкальному роману» о приключениях маленького мальчика, выручаемого из трудного положения обитателями земной, воздушной и водной стихий. Ища прямых звуковых контактов с различными представителями фауны, саксофонист обнаруживает наибольшую готовность к музыкальному сотрудничеству среди волков. В Центре по изучению хищников на склонах Сьерра-Невады он находит старую волчицу по кличке Ида, которая не только отвечает на его импровизационные пассажи, но точно повторяет каждую сыгранную им фразу. Через довольно продолжительное время он проделывает с ней тот же опыт и получает аналогичный результат: «Ида отвечала мне точь-в-точь как прежде, она запомнила музыку». Профессор Эрик Клингхаммер, специалист по зоопсихологии, видит в этом немаловажное научное открытие:

«Четыре ночи подряд после отъезда Уинтера в завываниях Иды звучала отчетливая мелодия, выдававшая влияние слышанной ею музыки. Вероятно, мы впервые наблюдали случай имитационного поведения в звуковой сигнализации волков. Этот факт

мы предполагаем теперь специально исследовать, но если бы не Пол Уинтер, подобная идея никогда не пришла бы нам в голову».

Научные результаты шли рука об руку с художественными. Песня «Глаза волка», посвященная Иде и Джетро, стала одним из главных эпизодов «Увертюры» к пока еще не законченному «роману», первая часть которого вышла в 1978 году на долгоиграющей пластинке «Общая почва».

По мере дальнейшего накопления музыкально-экологического опыта планы Уинтера существенно расширяются и приобретают новые художественные измерения. После «Общей почвы» он выпускает альбом из двух дисков под названием «Зовы», звуковую одиссею мифического существа Силки — полузверя, получеловека, одиноко живущего в глубине океана. Силка тоскует по людям, его влечет к ним, несмотря на смертельную опасность, от них исходящую. Многостраничное эссе, прилагаемое к альбому в виде брошюры, подробно обосновывает тезис о личной ответственности человека за продолжение и совершенствование жизни на Земле — ответственности, предполагающей любовную заботу и сознание нерасторжимой родственной связи всех населяющих нашу планету созданий. Животных, чьи голоса вплетаются в ткань его произведений, композитор именует своими соавторами и соисполнителями. В хоре голосов природы, слитых с виртуозной игрой инструментального ансамбля «Зовов», мы слышим даже «импровизированную» партию настоящей грозы, разразившейся в момент записи сцены морской бури — соответственно в списке участников не забыт и «большой барабанщик на небесах».

В отличие от Природы, охотно идущей ему навстречу, могущественные фирмы грампластинок, как и средства массовой информации, не жалуют Уинтера вниманием и по сути давно окружают его заговором молчания. Не имея доступа в их студии, он записывал «Общую почву» в амбаре своей фермы. Чтобы избавиться от диктата продюсеров, ориентирующихся на чисто коммерческие критерии, композитор основывает небольшую собственную компанию звукозаписи «Ливинг мьюзик рекордс», но попрежнему испытывает трудности с помещением. Помощь пришла с неожиданной стороны: преподобный Джеймс Мортон, настоятель кафедрального собора св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке, симпатизирующий энвайронменталистам и противникам ядерного оружия, предложил ансамблю «Пол Уинтер консорт» проводить репетиции, сеансы записи и концерты под готическими сводами одного из крупнейших храмов Америки. Он же побудил Уинтера приступить к беспрецедентной работе, сочетающей экологическую проблематику с традиционной музыкально-литургической формой: так возникло масштабное полотно «Месса Геи», благодарственное обращение к Матери-Земле. Публичным исполнением этой вещи в июне 1982 года было отмечено торжественное открытие Недели разоружения ООН.

Смысл своей композиторско-исполнительской деятельности Уинтер видит не столько в создании самоценных произведений искусства, сколько в обращении к инстинкту художественной активности, присущему каждому индивиду, но реализуемому в наши дни лишь в ничтожной степени и притом только в речевой форме. Пение и танец — эти фундаментальные способы контакта человека с окружающей его Вселенной — остаются неиспользованными большинством живущих ныне людей.

Главную причину утраты современным человеком творческой инициативы джазмен-энвайронменталист усматривает в его отрыве от коллективно-природных начал человеческого существа, в забвении нашего кровного родства со всеми живущими, дышащими, плавающими, летающими и движущимися по земле существами. Общение с ними, считает он, помогает восстановить связь с нашей собственной сущностью и узнать много нового не только о них, но и о нас самих. Защита окружающей среды оказывается, таким образом, залогом благополучного развития среды внутренней и наоборот.

«Найдя общую почву с естественным окружением и его обитателями, мы сумеем постигнуть и более глубокие ценности».

Слова безусловно правильные, хотя уже неоднократно слышанные из уст проповедников психотренинга, психодрамы, трансцендентальной медитации и прочих «методов», соблазняющих любителей дешевых, быстрых, не требующих особых усилий путей заманчивыми картинами «персонального роста» и «полной самоактуализации».

«Не являются ли данная программа и все ее сторонники пережитками «эпохи нарциссизма», возводившей в культ исключительную заботу о благополучии собственного «я»?»

Журнал «Смитсониэн», задавший этот вопрос, приводит ответ Уинтера, если и не устраняющий до конца высказанные сомнения, то, во всяком случае, свидетельствующий об осознании стоящей за ними реальности и намерения приложить усилия к тому, чтобы изменить ее к лучшему:

«Время безудержной абсолютизации «я» кончается. Ближайшее десятилетие будет проходить под знаком отношения «я — ты».

Что ж, это тоже не очень новая, но куда более высокая и плодотворная идея, хорошо знакомая мировой, особенно русской, философии и литературе, трактующей проблему очеловечивания Природы и натурализации человека. Отрадно, что она продолжает жить и находить не только смелые художественные формы, но и непосредственное, жизненно-действенное претворение в таких неожиданных и уж поистине оригинальных жанрах, как экологический джаз Пола Уинтера и его спутников, число которых, будем надеяться, достигнет со временем немалой величины.

Л. ПЕРЕВЕРЗЕВ

ПЕТЕР СЁКЕ: «СУЩЕСТВОВАЛА ЛИ МУЗЫКА ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ?»

Философы, ученые, музыканты издавна пытались разгадать тайну рождения искусства звуков. Что такое музыка — драгоценный дар богов, подражание звукам природы? Или же музыка возникла из крика возбужденной речи? Может быть, начатки музыки следует искать в ритме трудовых процессов, магических заклинаний? Сколько было выдвинуто гипотез, теорий относительно происхождения, сущности, секретов воздействия этого удивительного искусства! «Птица поет, извлекая звуки из гортани своей, но ощущает ли она, как человек, все страсти, которые он един токмо на земле удобен ощущать при размерном сложении звуков?»— писал А. Н. Радищев в трактате «О человеке, его бессмертии и смертности». А «свист Зефира в пустых стеблях камышовых» (Лукреций)— это тоже музыка? Та музыка, которую определяют как «язык души»?

Венгерский ученый Петер Сёке к решению этих сугубо гуманитарных вопросов пришел через естественные науки. Он — доктор биологии, заведующий фонотекой голосов животных, созданной при Венгерской академии наук, кроме того, Сёке — кандидат музыковедческих наук, автор ряда исследований о народной музыке, о Бартоке-фольклористе. Но главная сфера приложения его научных знаний — орнитомузыковедение, в котором сопряглись две далекие и в то же время тесно связанные между собой дисциплины. Свои первые шаги орнитомузыковедение сделало в Венгрии. Петеру Сёке удалось открыть в птичьем голосе музыкальные формы, напоминающие по структуре и звучанию народные мелодии. Вот как он сам об этом говорит в одной из своих работ:

«Если записать голоса разных птиц в природных условиях (или в специальных) с учетом всех необходимых акустических требований, а затем объединить два магнитофона и замедлять записи в 2, 4, 8 и так далее до 64 раз, можно услышать неожиданные звуки. Одни из них подобны реву, другие визгу, вою, но немало записей в таком замедленном исполнении напоминают звуки знакомых нам с детства любимых народных инструментов и народные мелодии. Музыкант легко обнаружит в этих звуках музыкальные интервалы и музыкальную структуру».

Метод, который разработал и применил на практике венгерский ученый, назван им микроскопией звука. Птицы «поют» со скоростью до 100 — 300 звуков в секунду, человеческое ухо не способно уловить все составные элементы птичьего голоса. Наличие музыкальных интервалов, отчетливо заметных при замедленном воспроизведении, позволило переложить птичий голос на ноты, то есть применить те способы графического изображения звука, которым пользуются музыканты.

Многие работы Петера Сёке по орнитомузыковедению переведены на иностранные языки. Он выступал с научными докладами чуть ли не во всех странах Европы, на международных конференциях орнитологов в Оксфорде — в 1966 году, в Гааге — в 1970 году. Британская энциклопедия в ежегоднике за 1967 год оценила его открытия в орнитологии как выдающиеся. В 1971 году на проходившем в Японии международном конкурсе научно-популярных передач первая премия была присуждена передаче венгерского радио. Она называлась «Открытие птичьего голоса», ее автором был Сёке.

В 1970 году венгерский ученый был приглашен читать курс лекций по исследованию птичьего голоса в университеты Москвы и Ленинграда. В «Вестнике Московского университета», в журнале «Природа» публиковались его статьи.

...И вот в точно назначенное время мы с Юдит Пор, редактором будапештского издательства «Европа», звоним в дверь квартиры Петера Сёке на улице Томпа. Нас встречает стройный, подтянутый человек, у него темные волосы, темные усы, хотя «сёке» по-венгерски — блондин.

Кабинет Петера Сёке — одновременно и его лаборатория, и архив птичьих голосов. До самого потолка — полки с книгами, здесь множество книг по музыке, орнитологии, есть и русские издания, а на невысоких полках, тех, что пониже, разместилось птичье разноголосье, записанное на магнитофонную пленку — щебет, клекот, трели, цвирканье. В фонотеке — голоса птиц, что поют в клетках, и тех, что на воле, птиц, обитающих в средней Европе и живущих в Северной, Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии. Пластинки, пленки с голосами живой природы Сёке получает из научных институтов, от ученых разных стран.

Первый вопрос к Петеру Сёке:

— Как вам удалось открыть биологическую музыку?

— *Настоящий первооткрыватель биологической музыки не я, а моя жена, Эка. Это случилось в июле 1956 года, мы тогда отдыхали на Балатоне, в доме отдыха. Как-то после полудня Эка. взволнованная, прибежала ко мне в комнату: «Иди скорей, там кто-то так замечательно свистит, просто поет». На сосне, на сломанном суку неподвижно сидела старая черная птица, и только желтый клюв ее двигался. Она старательно, неторопливо вела мелодию, очень музыкально интонируя,*

голос ее чуть-чуть вибрировал. Никогда прежде я не слышал, чтобы птица так пела. Я сразу же сделал нотную запись ее песни. Этот случай и послужил первым толчком, первым импульсом, всколыхнувшим дремавшие во мне теоретические догадки, предположения, он положил начало всем моим работам по биомузыке.

Сёке предлагает послушать пение американского пестрого дрозда, сначала так, как мы его обычно воспринимаем в природе, потом этот же щебет в замедленном — в 32 раза — воспроизведении. Мы вдруг явственно слышим «человеческую» мелодию, красивый и как будто бы даже знакомый напев. Сёке еще раз нажимает кнопку магнитофона — та же, птичья, мелодия звучит теперь в исполнении венгерского певца Яноша Тота. Человеческий голос выявил, подчеркнул ее красоту.

— Птичий щебет воспринимается человеком как сплошной, неразделенный голос,— говорит Сёке.— Метод звукозамедления выявляет в нем мельчайшие элементы и показывает нам, как звучат эти голоса для птичьего слуха, обнаруживает внутреннюю структуру, позволяет рассматривать голоса птиц как бы под микроскопом, под большим увеличением. Вот послушайте пение большой синицы — так, как ее воспринимает человеческое ухо, потом в 2, 4, 8 и 16-кратном замедлении.

Микропесня большой синицы в 16-кратном замедлении — обычная гамма, только без первого, нижнего «до».

— В голосе птенца синицы на фоне немузыкальных форм отчетливо слышится вкрапленный участок с характерной музыкальной структурой.

Сёке снова нажимает кнопку магнитофона, теперь мы слушаем песню лесного жаворонка.

— Его песня построена по «каскадному» принципу, как нередко строятся народные мелодии индейской музыки. В коллекциях американских собирателей фольклора много похожих мелодий. По-своему музыкальны и журавль, и белая цапля, но все же самые музыкальные птицы — из отряда воробьиных. В голосе птиц других видов при том же замедлении различаются лишь начальные музыкальные элементы, иные же птицы совершенно немузыкальны. Пение — обычно привилегия самца, песней самец как бы закрепляет за собой территорию вокруг своего гнезда, его пение имеет информационно-биологическое значение, которое включает и психико-эмоциональные жизненные проявления — радость, любопытство, агрессивность, страх и т. д. Хотя «птичья музыка», конечно, не искусство, а средство акустической коммуникации, это явление крайне интересно с точки зрения биологической и музыковедческой.

Всех птиц, с чьим песенным репертуаром мы знакомимся, Петер Сёке называет по-русски, произносит отчетливо, без акцента: американский пестрый дрозд, садовая овсянка, большая синица, африканский сорокопут, зяблик. А пока мы прослушиваем одну мелодию за другой, на карниз за окном садится голубь и начинает важно расхаживать вдоль широкого окна.

— Он здесь частый гость,— говорит Эка Сёке.

— Наверно, его привлекают птичьи голоса, которые он нигде больше не слышит? — спрашиваю я.

— Нет, просто я подкармливаю его каждое утро,— отвечает Эка.

Голуби мало занимают Петера Сёке, они — птицы немузыкальные.

— Самая музыкальная птица в мире,— продолжает он,— это живущий в Северной Америке пестрый дрозд, его еще называют дроздом-отшельником, певцом мексиканских горных лесов. В его песнях (продолжительность каждой из них — 1—1,5 секунды) звучит «человеческая» музыка, музыка, достигшая невероятно высокого для животного мира развития. В песнях дрозда — двухстрочные, четырехстрочные «строфы», иногда дрозд по-человечески повторяет вторую половину этой «строфы», иногда ее варьирует. К тому же пестрый дрозд умеет «сочинять» к своим песням гармоническое сопровождение, как бы вторую партию. Одна и та же птица поет сразу на два голоса, да так, как будто бы знает—и это немалая музыкальная и биологическая сенсация,— как будто бы ей знакомы (что, конечно, невозможно) элементарные законы классических созвучий в «человеческой» европейской музыке. Один пестрый дрозд исполняет, как правило, десять — пятнадцать различных песен. Песенный репертуар у каждой птицы свой, особый, хотя всегда ощущается характерный, сложившийся внутри вида стиль. И поет дрозд чаще всего циклами. Споет десять песен, делает паузу и снова — десять песен, в основном в той же последовательности. В его памяти четко запечатлелся слышанный от родителей (однажды или несколько раз) порядок песен.

Более четырехсот микропесен пестрого дрозда собрал канадский орнитолог Уильям Ганн. На основе его коллекции Сёке, Ганн и чехословацкий ученый Мирослав Филип опубликовали работу «Музыкальный микрокосм дрозда-отшельника», в ней представлена двадцать одна песня пестрого дрозда в 32-кратном замедлении, в нотной записи.

Петер Сёке рассказывает о научном эксперименте, который был сделан в их лаборатории.

— Нам хотелось узнать, может ли один вид и насколько успешно выучить только по слуху, с магнитофонной ленты природный щебет другого вида. Мы задались целью обучить с магнитофона трех гибридных птенцов щелканью зябликов — так называют птицеловы пение зябликов. Отец гибридных птенцов — щегол, мать — канарейка. Песни родителей не похожи друг на друга ни по стилю, ни по внутренней мелодике и очень отличаются от песен зябликов. Выбор на зябликов пал потому, что в международной биоакустической литературе они — признанные вокалисты. Птенцов обучали отдельно, одному проигрывали на магнитофоне пять зябликовых песен, другому — восемь, третьему — десять. И все они за полгода освоили зябликовое щел-

канье, то есть пение чужого вида. Результаты нашего опыта могли быть обнаружены только благодаря методу звукомикроскопии — «невооруженное» человеческое ухо один щебет от другого отличить не может.

Эксперимент другого характера, но тоже очень любопытный, был проведен Сёке в 1964 году. Группа фольклористов-музыковедов, приехавших в Будапешт на международный конгресс фольклорной музыки (он проходил под председательством Золтана Кодая), разыскала в Академии наук Петера Сёке и попросила показать им «замедленные» птичьи песни, они хотели убедиться, действительно ли то, что поют птицы, музыка в научном понимании слова. И тогда Петер Сёке решился на маленький эксперимент. Он сказал, что с удовольствием познакомит их с птичьей продукцией, но сначала для того, чтобы они имели возможность сравнить (темп, тембр, динамика и т. д.), он просит их послушать, как поет шаман одного из племен Черной Африки (голос его в регистре флейты), а сам поставил на магнитофон ленту с записью голоса американского пестрого дрозда в 32-кратном замедлении. Узнает ли в результате импровизированного эксперимента «могучая кучка» музыковедов, что это не «человеческая» музыка, и вообще признают ли они в ней музыку как таковую?

Гости прослушали пленку до конца. Они нашли, что это красивые мелодии, даже чем-то знакомые, и в то же время они испытывали некоторое замешательство, так как никто из музыковедов (а среди них были всемирно известные фольклористы) не знал (да и не мог знать), какому народу принадлежат эти мелодии. Гости были единодушны только в одном: они сомневались, действительно ли это была песня шамана из Черной Африки. По их мнению (Сёке придерживался точно такого же мнения), подобная многострочная строфическая структура характерна для народной музыки более развитых общественных формаций, той музыки, которая знает повторение мотивов, цепные песенные формы. И тогда Сёке признался: это и в самом деле не было музыкой Черной Африки, это была биологическая музыка, музыкальное средство коммуникации внутри вида, и извинился за маленький розыгрыш, сделанный во имя научного эксперимента.

Эта «не очень серьезная», как Сёке сам ее назвал, встреча вызвала у музыковедов очень серьезные вопросы. Чем объяснить, что у музыки на биологическом уровне только биорегуляционная роль, а у «человеческой»— преимущественно эстетическо-художественные функции? Какова связь формы, содержания, условий среды в музыке птиц и человеческой музыке? Биологическая и человеческая музыка развиваются независимо друг от друга, но как объяснить, что в них столько сходного?

— Знаменитый французский композитор Оливье Мессиан,— говорит Сёке,— голоса птиц, интонации птичьего пения положил в основу многих своих произведений.

Уже в Москве, заинтересовавшись этим, я узнала, что Мессиан более сорока лет записывал голоса птиц, он создал целую систему переложения птичьих посвистов, призывов, клекотов, юбиляций для различных музыкальных инструментов. Он создал два «Каталога птиц» для фортепиано, «Пробуждение птиц», «Экзотические птицы»— для фортепиано с оркестром. И в архиве знаменитого чешского композитора-фольклориста Леоша Яначека найдено множество записей голосов птиц, сделанных им в лесах Моравии, Словакии, в полях Чехии. Голоса живой природы звучат и в его произведениях.

На подаренном мне экземпляре «Вестника Московского университета», где напечатана статья Петера Сёке о биологической музыкальности голоса птиц, автор написал: «Тогда еще в моей голове не вполне сложилась теория трех сфер (трех миров) музыки, которую я изложил в книге, вышедшей в 1982 году».

— Эти три мира...

— Мир физической, мир биологической и мир человеческой музыки.

— Открытию физической музыки тоже помог случай?

— Конечно. Как-то в мае 1969 года с рассвета до вечера охотился я на одном из будайских холмов за птичьими голосами. Вооружен я был по последнему слову науки и техники — зеркальным звукоулавливателем, четырехскоростным магнитофоном. За день мне удалось записать на магнитофон довольно много певчих птиц, и я собирался было уже идти домой, как вдруг на дороге откуда-то появилась старая телега с лошадью. Она отвратительно скрипела, лохматый пес бежал за ней и заливался яростным лаем. «Запечатлею-ка я на пленке этот лай»,— решил я, и магнитофонная лента крутилась довольно долго. Когда на следующий день я стал прослушивать в лаборатории собачий лай — сначала так, как я его слышал, без замедления, потом с замедлением в 32 раза, на несколько октав ниже, я с удивлением обнаружил, что никакой какофонии на пленке не было, собачий лай исчез, а тот скрип, который нестерпимо резал ухо, в этом замедленном воспроизведении превратился в долгие, чистые, мелодичные звуки, гармонические трезвучия, с четкими музыкальными интервалами. Звук, растянутый во времени, позволил увидеть его музыкальную структуру.

Разумеется, меня охватила жажда дальнейших экспериментов. Пользуясь методом звукомикроскопии, я прослушал многие шумы. Но не все шумы, зафиксированные на магнитофонной ленте, соответствовали гармоническому звучанию человеческой музыки. Очень часто шум и под звукомикроскопом оставался только шумом. Но иногда, как в скрипе телеги, шуме трамвайных колес, скрипе дверной ручки, проглядывала музыкальная структура.

Удивительную запись прислал мне Мирослав Филип, доцент братиславского университета имени Коменского (с М. Филипом мы сотрудничали в течение многих лет). Порывы ветра заставляют «музицировать», достаточно чисто интонируя, узкую металлическую пластинку, встроенную в раму окна, ее мелодия звучит, как фригийский каданс.

Этот пример физической музыки мы можем услышать в естественном темпе, не прибегая к методу замедления.

Подобные явления нельзя назвать иначе как физическая музыка. Мертвая, безжизненная материя порождает не только физические, но и обертоновые колебания, гармонические или близкие к гармоническим акустические явления. У физической музыки нет никакого назначения, само понятие не функциональное, а структурное, и тем не менее слушание физической музыки может доставить эстетическое наслаждение.

Порывы ветра, проникающие в дырки, в сухой тростник, в проеденные насекомыми наросты на стволе акации (такую акацию, растущую в тропиках, называют поющая или играющая на флейте). Эта физическая музыка существовала и в те далекие времена, когда еще не было жизни на планете. Человек существует на земле 2—3 миллиона лет, птицы (и следовательно, птичья музыка)— 150 миллионов, а физической музыке уже несколько миллиардов лет.

Книга П. Сёке «Происхождение музыки и три ее мира», вышедшая в конце 1982 года в будапештском издательстве «Магвётё», знакомит нас с выводами, к которым пришел ученый в результате исследований, проводимых им четверть века. Посвящена книга столетию со дня рождения Золтана Кодая и столетию со дня смерти Чарльза Дарвина. «Это двойное посвящение,— писал венгерский музыковед Иштван Райч,— прекрасно символизирует до сих пор еще недостаточно исследованную связь музыки и жизни». Сам автор свое открытие называет музыкальным подтверждением учения Дарвина об эволюции, происхождении видов, происхождении человека и в то же время вкладом в познание музыки.

В этой книге много иллюстраций. В сонограммах, нотах представлены голоса почти ста птиц, многие явления физической музыки. «Мне хотелось, чтобы фактические данные были бы не только визуальными доказательствами тезисов моих исследований, но, собранные вместе, дали бы возможность читателям — студентам, преподавателям, ученым, всем, кого интересуют неразгаданные тайны Природы, самим пережить радость первооткрывателей»,— пишет Сёке.

В своей книге он делится интересными наблюдениями и как исследователь фольклорной музыки. Задача музыковедов, считает автор,— выделить в пестроте народной музыки то, что объединяет, найти характерные черты, отражающие сложное взаимодействие, взаимосвязь различных культур. Автор приводит примеры поразительного сходства в музыкальной структуре народных песен тех народов, у которых нет ничего общего ни в происхождении, ни в языке, ни в истории, народов, предельно удаленных друг от друга географически, таких, например, как венгры и жители Соломоновых островов, венгры и папуасы, индейцы — мансийцы — арабы, венгры — китайцы — сорбы, чуваши — американские негры. В структуре, звуковом строе, в тональности, даже в ритмике и конкретных мелодиях — удивительное сходство.

Венгерский музыкант Ласло Эрдег, побывав в Перу, записал немало старых индейских песен. Древние поселения инков — это так отъединено от остального мира,— и вдруг выясняется, что Ласло Эрдег нашел близнеца, копию той песни (она начинается словами «Свинопаса узнаю по его походке...»), которую Золтан Кодай записал в селе Карад на юге Венгрии. И это не единственный пример, продолжает Сёке, таких «мадьярских» южноамериканских, индейских песенных находок немало, хотя бы в перуанской коллекции Л. Эрдега. Разгадка этого поразительного совпадения, считает автор,— в происхождении от общих предков, так же как объяснение похожести человеческой и биологической музыки следует искать не где-нибудь, а в филогенетическом происхождении птиц и человека.

«С некоторыми моими утверждениями можно и нужно спорить,— пишет Сёке в заключительной главе своей книги, — не все камни в фундамент моего здания я мог положить с одинаковой уверенностью, но, по-моему, основа дома и система укладки достаточно надежны и факт обнаружения скрытой прежде музыкальности птиц и теоретическое осмысление этого явления уже нельзя оставить без внимания в дальнейших исследованиях, обсуждениях, спорах».

«Выводы, предложенные П. Сёке,— писал чехословацкий ученый Иржи Фукач,— я не могу опровергнуть с помощью аргументов, базирующихся на прежних теоретических положениях. Музыкальная эстетика до сегодняшнего дня утверждала, что музыка помимо человека существовать не может, и она утверждала это потому, что до сих пор никто не обнаружил в природе акустических явлений музыкальной структуры. Но сейчас уже невозможно утверждать, что только музыка, возникшая в человеческом обществе, может доставить эстетическое наслаждение, и невозможно утверждать, что физические акустические явления существуют вне музыки».

...В качестве сувенира я уношу с собой два листочка с нотными записями — полуторасекундную песню американского пестрого дрозда (при 32-кратном замедлении) и мелодию, которую при дуновении ветра поет металлическая пластинка, ту мелодию, что была прислана Сёке словацким музыкантом Мирославом Филипом. Жаль, что у журнала нет традиции печатать ноты.

Л. ВАСИЛЬЕВА

◆

Публицистика

Э. БАТАЛОВ

МНОГОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА

«Что происходит с Америкой? Куда она идет? Что ждет ее впереди?» Сегодня эти вопросы задают себе не только профессиональные оракулы, но и миллионы граждан США, с волнением и озабоченностью вглядывающихся в завтрашний день.

Многие американцы не на шутку встревожены угрозой ядерной войны, ибо им теперь ясно — она может стать для человечества его последним, «судным» днем. Но даже в те времена, когда жители Нового Света с пристальным вниманием следят за ходом международных событий, их не покидают заботы и думы о собственном доме, о внутренних проблемах Америки. Вот об этих заботах и думах, о настроениях, чувствах, исканиях американцев и пойдет разговор в наших заметках.

Бесконечно далекими, бесследно ушедшими в небытие кажутся ныне иным наблюдателям годы «зеленеющей Америки» с их новыми левыми, контркультурой, коммунами, многотысячными маршами протеста, антивоенными демонстрациями, громовыми речами Мартина Лютера Кинга... Как уверяют некоторые социологи и журналисты, ситуация в Соединенных Штатах изменилась радикальным образом: вступив в полосу «тощих лет», страна-де стала более спокойной и — более консервативной; медленно, но верно очищается она от либеральной и леворадикальной «ереси 60-х», «обретает духовное, нравственное и политическое единство», «возвращается к традиционным ценностям».

«Не поворачивает ли Америка вправо?» — вопрошал журнал «Ньюсуик» в ноябре 1977 года. Три года спустя писатель и критик Л. Дэвис уже без колебаний констатировал: «Стало модным говорить о консервативной волне в нашей стране» [1]. Представление о чуть ли не тотальном «сдвиге вправо» еще более укрепилось, когда в ноябре 1980 года Рональд Рейган выиграл выборы, а конгресс США пополнился консервативно мыслящими республиканцами.

Публицист Бэртон Пайнс вспоминает, как вскоре после вступления в должность новый президент, встретившись со своими единомышленниками, обратился к ним с речью. «Соотечественники, братья консерваторы,— начал Рейган,—пришло наше время. Наш час настал...» «В нынешней Америке,— уверяет Пайнс, сам откровенный консерватор,— небесный мандат перешел от нерешительной династии либералов к сильной, возрождающейся династии традиционалистов» [2].

Перешел ли? Вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Что значит, в самом деле, «сдвиг вправо» и кто такие правые в Америке? Попробуйте потолковать с американскими газетчиками — теми, что «продают» политические новости. Одни скажут вам, что правые — это те, кого их соотечественники-политологи именуют консерваторами: люди, настаивающие на ослаблении контроля буржуазного государства над рыночной стихией, ограничении помощи безработным, старикам, инвалидам, словом, всем тем, для кого «американская мечта» так и осталась мечтой. И что, стало быть, «сдвиг вправо» — это усиление консервативных тенденций и настроений. Другие будут уверять, что правыми следует называть тех, кто норовит обратить историю вспять и вернуть страну в мифический «золотой век». Третьи идут дальше. В их сознании правые ассоциируются с противниками буржуазной демократии, готовыми принести ее в жертву тоталитарной диктатуре и установить в стране режим фашистского типа.

Но дело не только в политическом разноязычии и разных взглядах на одни и те же вещи. Не менее существенно то, что Америка всегда была внутренне неоднородной, «сегментизированной», как назвал

[1] L. J. Davis. Conservatism in America, «Harper's», Oct., 1980, p. 21.

[2] B. Y. Pines. Back to Basics. The Traditionalist Movement That is Sweeping Grass-Roots America. N. Y., 1982, p. 14—15.

ее один социолог, страной. Чем-то вроде гигантского небоскреба: на каждом из его этажей идет своя жизнь, и то, что делается «внизу», скажем на уровне массового сознания, порою совсем не похоже на то, что происходит «наверху», на уровне официальной политики: иные тенденции, ориентации, оценки.

Так что, если мы хотим составить себе представление о том, что же все-таки делается сегодня в американском доме, нам следует побывать на разных его этажах, сопоставить то, что совершается демонстративно, перед фасадом, с тем, что творится за его стенами. А для лучшей ориентации — взять в гиды американских социологов и публицистов, чьи статьи и книги яснее других отражают происходящие процессы и становятся пищей для дискуссий и размышлений.

«Ностальгия по прошлому»

«Не успели Рональда Рейгана провозгласить в 1981 году президентом США, как заклинаниями советников Белого дома, восхищавшихся экономической политикой Эндрю Мелона[3] или аплодировавших Калвину Кулиджу[4] за его отказ терпеть забастовки государственных служащих, эпоха Скотта Фицджеральда снова вошла в моду. Годы Великого Гэтсби были десятилетиями, когда политики и проповедники, оказавшись перед лицом революции, вызванной появлением радио, трансатлантических перелетов и предоставлением женщинам права голоса, расхваливали преимущества ушедших в прошлое керосиновых ламп. Ностальгия, проявившаяся в 80-е годы еще сильнее, чем в те давние времена»[5].

Кэвин Филлипс, известный американский публицист и комментатор, автор недавно вышедшего политического бестселлера «Постконсервативная Америка», строки из которого мы только что процитировали, ставит в общем верный диагноз: в официальном Вашингтоне воцарился дух ностальгии. Но тоскуют политики, конечно же, не по керосиновым лампам, не по душещипательным голливудским лентам 30-х годов или старым шлягерам в исполнении Фрэнка Синатры, личного друга Рейгана. Тоскуют по временам, рождающим в национальной памяти воспоминания об экономических успехах, социальной стабильности, твердом долларе и твердой вере большинства в традиционные институты, ценности и в «великую миссию» Америки... И не просто тоскуют, а и действуют, пытаясь вернуться в прошлое, точнее — вернуть кое-что из прошлого в настоящее. «Рональд Рейган и его сторонники, придя к власти... в сущности и не пытались придерживаться статус-кво. Напротив, на некоторых важных направлениях они стремились восстановить прежний статус-кво пятнадцати-, двадцатипяти- или даже шестидесятилетней давности...»[6].

В международной политике это «восстановление» вылилось, как мы теперь видим, в маниакальные попытки возобновить «холодную войну» с Советским Союзом, вернуть Америке былое военное превосходство, возродить любыми способами «американский век». Так довольно часто именуют на Западе первые послевоенные десятилетия, когда Соединенные Штаты, будучи сильнее других в экономическом и техническом отношениях, беззастенчиво пользовались этой силой, навязывая европейским и прочим друзьям свои товары, взгляды, вкусы и, разумеется, выгодный для американского капитала экономический и политический курс.

Что касается самих американцев, то для них — во всяком случае для многих — «восстановление» оборачивается новыми житейскими проблемами и материальными потерями. В Америке мрачно шутят: «Рейган — «калифорнийский Робин Гуд». Единственное его отличие от настоящего в том, что он отнимает деньги у бедных и отдает их богатым»[7].

Законы рекламы выработали у американцев страсть клеить броские ярлыки не только на товары ширпотреба, но и на иные события повседневной жизни, исторические эпохи, политических деятелей и проводимый ими курс. Помнится, Джимми Картера, в бытность его президентом США, называли и «умеренным консерватором», и «консервативным либералом», и «популистом-консерватором», и бог еще знает как. Не будем гадать, какой ярлык пристанет к нынешнему хозяину Белого дома. Но, думается, не так уж далек от истины Кэвин Филлипс (кстати, большой мастер по части ярлыков), когда он характеризует курс нынешней администрации как «радикальный консерватизм» и связывает его возникновение с появлением в стране новых интеллектуальных и политических сил.

В самом деле, для тех, кто внимательно следил за развитием событий в Америке в 70-е годы, нынешняя «радикально-консервативная» политика официального Вашингтона не была такой уж неожиданностью. Спад либеральных настроений в стране наметился еще до прихода Рейгана к власти, когда на политической арене появились так называемые неоконсерваторы.

Заметим по ходу дела, что консервативная традиция, сложившаяся в США, давала о себе знать даже в те времена, когда буржуазные реформаторы из либерального лагеря находились, что называется, на коне. Так было в конце XIX — начале XX века, когда им приходилось вести борьбу с противниками реформ, выступавшими под лозунгом защиты морально-религиозных основ. Так было во времена Франклина Рузвельта, когда против политики «нового курса» ополчились апологеты свободного рынка, видевшие в нем эффективный механизм регулирования социальных процессов и всячески противившиеся усилению роли государства.

И вот теперь полку консерваторов прибыло. И пришли не какие-нибудь писаки-поденщики, в силу жестокой необходимости меняющие свои «убеждения» по семь

[3] Один из основателей финансовой группы Меллонов, в 20—30-е годы — министр финансов США.

[4] Президент США в 1923—1929 годах.

[5] K. Phillips. Postconservative America N. Y. 1982, p. 3.

[6] K. Phillips. Op. cit., p. 13.

[7] М. М. Петровская. США: политика сквозь призму опросов. М., 1982, с. 254.

раз на день. Среди неоконсерваторов немало известных политиков и интеллектуалов, людей давно разрекламированных прессой и пользующихся немалым влиянием не только в Америке, но и в Европе,— Дэниел Белл, Ирвинг Кристол, Сеймур Липсет, Дэниел Мойнихен, Норман Подгоретц...

Неоконсерваторы, в недавнем прошлом сами либералы, бросали в лицо своим бывшим единомышленникам резкие и нередко справедливые упреки и обвинения: проект «великого общества», обещавшего «расовую справедливость», полную ликвидацию бедности, уничтожение трущоб и множество иных благ, провалился; разбухшие бюрократические системы, рождавшиеся вместе с «государством благосостояния», становятся чем больше, тем малоэффективнее; казенные деньги разворовываются; авторитет Америки в мире падает...

А почему? Да потому, уверяли неоконсерваторы, что либералы зашли чересчур далеко в своем реформаторском рвении: слишком ограничили стихию свободного рынка; слишком большие уступки сделали рабочим, этническим меньшинствам, престарелым, безработным, больным; слишком мягкую линию стали проводить на международной арене. Вот если, к примеру, резко ослабить государственный контроль за деятельностью корпораций, урезать бюджетные ассигнования на социальные нужды, укрепить сильно пошатнувшееся в народе доверие к существующим политическим институтам, сделать ставку на жесткий внешнеполитический курс,— тогда можно «снова вернуть Америке импульс движения». Так говорили неоконсерваторы в своих лекциях. Так писали они в многочисленных статьях и книгах. При этом аудитория, на которую распространялось их влияние, была хотя и невелика, но, как отмечает Пайнс, чрезвычайно могущественна, ибо охватывала «большинство людей, формирующих национальное общественное мнение и политику».

Почти одновременно с неоконсерваторами на политической арене Америки появились «новые правые». Так стали именовать членов светских и религиозных «популистско-консервативных» групп, набравших силу как раз ко времени приспевших президентских выборов. Это была уже иная публика. В отличие от неоконсерваторов, представлявших в основном интеллектуальную элиту, «новые правые» — со средних и нижних «этажей» американского общества. Выходцы из среды мелкой буржуазии, «голубых и белых воротничков», они выражали массовое, родившееся на уровне «корней травы» (grass-roots, как говорят в этой стране), недовольство положением дел в Америке. То была непосредственная, неистово искавшая выхода реакция людей, «сначала,— как пишет Пайнс,— озадаченных, потом раздраженных, потом встревоженных, а потом разъяренных тем, что происходило — у них на глазах — с социальными и коммунитарными институтами, которые они ценили превыше всего»: «семьей, церковью, школой, округой и нацией» [8].

Таких надо было только подогреть, направить опытной рукой, дать им лозунг, катехизис и цель, сказать, что они — соль земли, а все либералы — мерзавцы и предатели, и тогда с ними можно было делать все что угодно. Словом, дело было за пастырями, владевшими популистским жаргоном. И они пришли. Пришел Пол Вигери, большой мастер организации переписки с частными лицами (сегодня в его картотеке 19 миллионов адресов) и выколачивания денег на нужды «правого дела». Пришел Говард Филлипс, лидер одной из ведущих организаций «новых правых» («Консервативный кокус»). Пришел (точнее — привели, убедили, уговорили) прогремевший на всю страну религиозный телепроповедник Джерри Фоллуэлл, ставший (вернее — поставленный) во главе массовой праворадикальной организации «Моральное большинство». Пришли Вайрич, Долан и другие...

«Новые правые» не любят, когда их ставят в один ряд с «параноиками из общества Джона Берча», как они сами их презрительно именуют, «антисемитами из «Лобби свободы» и прочими «крайне правыми»: разве люди Вайрича или Вигери жгут по ночам кресты, разве устраивают они погромы или призывают к созданию тоталитарного государства?! Нас, уверяют они, волнует прежде всего нравственное состояние американского общества, ибо «проблемы, стоящие перед нацией, это, как учит Говард Филлипс, в основе своей проблемы моральные» [9].

И в самом деле. Если обратиться к основополагающим документам «новых правых» — ну, скажем, к сочинению Джерри Фоллуэлла «Девяносто пять тезисов на 80-е годы», то нетрудно увидеть, сколь тревожат их сознание проблемы морали.

Они хотели бы вернуться к тем благословенным временам, когда традиционная семья казалась незыблемой основой американской жизни, вера в национальные политические институты выглядела прочной и непоколебимой, а женщина твердо знала, что ее место — на кухне, в церкви и в детской.

Они хотели бы положить конец наркомании, алкоголизму, порнографии, разводам, добрачному сексу, абортам, а попутно — упрятать куда-нибудь подальше поправку к конституции о равных правах женщин.

Они хотели бы, чтобы чистые души американских детей с младых лет тянулись к богу, чтобы их не совращали и не развращали «паршивые либералы», только для блезира называющие себя христианами...

Словом, «новые правые» — моралисты, то есть люди, готовые на все ради защиты своих идеалов. Во всяком случае, история дает великое множество примеров того, как «защита моральных принципов» оборачивалась подлостью, варварством, попранием человеческого в человеке. Особенно когда подобного рода «защитой» занимались реакционные полковники и политики. А в том, что «новые правые» — политики, сомневаться тоже не приходится. Достаточно познакомиться с речами, проповедями, брошюрами их лидеров, а еще луч-

[8] B. Y. Pines. Op. cit., p. 274.

[9] B. Y. Pines. Op. cit., p. 278.

ше — побывать на так называемых практических занятиях, где официанты, зубные техники и автомеханики за какие-нибудь тридцать пять долларов постигают в спешном порядке тактические премудрости политической борьбы и узнают, «как выдвинуть реалистические цели, чтобы выиграть выборы», «как сколотить коалицию», или, скажем, «как и когда путем переписки заставить избирателей проголосовать нужным образом».

Конечно, «новых правых» не следует путать с берчистами и куклуксклановцами — разные люди, разные типы сознания, разные стратегические цели. Но нельзя закрывать глаза и на то, что у них есть общие и притом крайне опасные — ибо крайние! — черты.

Идейные и духовные наследники небезызвестного Джорджа Уоллеса, «новые правые» чувствуют себя патриотами из патриотов. А патриот уоллесовского пошиба — это не только твердолобый националист. Это еще и рьяный, прямо-таки беззаветный антикоммунист, готовый, не щадя сил, бороться с «красными» дома и за океаном. Сегодня люди Вигери и Филлипса похваляются тем, что помогли торпедировать договор ОСВ-2. Сделаем скидку на саморекламу — без нее в Америке не прожить даже таким «честным моралистам», как «новые правые».

Но вот несколько цифр. «Консервативный кокус», например, разослал 4 500 000 писем, направленных против договора, собрал 300 000 подписей под воззванием, требующим отказа от его ратификации, ежемесячно обзванивал 25 000 противников договора, побуждая их продолжить борьбу против него. И это лишь одна организация, а всего их в 1982 году было свыше сорока...

Итак, мы видим, что определенный сдвиг вправо в Соединенных Штатах действительно произошел — и на уровне официальной политики, и на уровне общественного сознания. Но можем ли мы, следуя за теми журналистами и политиками, которые толкуют о «возвращении к «традиционным ценностям», сделать отсюда вывод, что этот «сдвиг» принял тотальный и устойчивый характер и охватил все слои населения? Что каждый голосовавший за республиканцев испытывал острую политическую ностальгию по прошлому и что Рейган действительно получил народный мандат на проведение политики в духе «радикального консерватизма»?

Тайна «амбивалентного сознания»

11 января нынешнего года газета «Лос-Анджелес таймс» опубликовала заявление «одного высокопоставленного лица Белого дома», пожелавшего остаться неизвестным. «Наша сила,— призналось «высокопоставленное лицо»,— никогда не соответствовала тому впечатлению, которое нам удавалось создавать. Мы делали вид, что наш мандат намного шире, чем он был на самом деле. Очень многие избиратели голосовали против Джимми Картера, а не за рейганомику. Однако мы принялись насаждать по всей стране мнение, что Рейган просто выполняет некий наказ... Теперь мы говорим, что этот наказ сведен на нет, но, по сути дела, у нас такого далеко идущего мандата никогда не было».

«Домашний» секрет, выболтанный «высокопоставленным лицом», был, впрочем, не более чем секретом полишинеля. Уже вскоре после выборов многие наблюдатели по обе стороны Атлантики заговорили о том, что масштабы «сдвига вправо» сознательно преувеличиваются сторонниками нового президента США. А искушенные политологи намекали на то, что результаты голосования, как и данные опросов общественного мнения, всегда заключают в себе некую тайну. И приподнять над ней завесу, расшифровать безликие статистические данные можно, только принимая в расчет особенности национального массового сознания и специфику американских политических механизмов.

Как в мощном крещендо многотысячного хора тонут голоса отдельных исполнителей и целых вокальных групп, так в общих итогах голосования становятся неразличимыми мотивы, побуждающие те или иные сектора электората — столь непохожие друг на друга — делать ставку на одного и того же кандидата. Сегодня мы знаем, сколько мужчин и женщин, черных и белых, северян и южан голосовало за Рейгана. Но почему они — такие разные — предпочли кандидата республиканской партии? Попробуем разобраться в этом вопросе, ибо он крайне важен для понимания сути происходящих процессов.

Нет нужды доказывать, что среди отдавших свои голоса Рейгану было немало убежденных, сознательных его сторонников и единомышленников, включая неоконсерваторов и «новых правых». Людей, рассчитывавших заставить нового президента обратить однодневную предвыборную риторику в долгосрочную политическую программу. Эти не просто голосовали за своего избранника. В период предвыборной кампании они развили бурную пропагандистскую деятельность, рассылая миллионы писем с призывом оказать ему поддержку. Они выколачивали из избирателей деньги (здесь счет тоже шел на миллионы) в фонд республиканского кандидата — короче, помогали ему словом и делом.

Но были и другие. Не консерваторы и не радикалы, они поддались обаянию актера-политика и политика-актера. Поверили ему на слово. Увидели в его программе ответы на реальные вопросы времени и объективные потребности эпохи.

Была, наконец, среди тех, кто голосовал за Рейгана, большая группа людей, которой порою приписывают решающую роль в исходе выборов 1980 года. Это — недовольные, разочарованные американцы. Не столько проконсерваторы и сторонники Рейгана, сколько антилибералы и противники Картера. Люди, уставшие от официальной либеральной трескотни, хозяйственных неурядиц, разгула преступности, беспорядка, коррупции, бюрократической волокиты. Люди, мечтавшие о законности и порядке, об эффективной экономике, но при этом вовсе не связы-

вавшие решение наболевших проблем с последовательным осуществлением консервативного кредо. Многие из них были искренне убеждены, что испытания, выпавшие на долю Соединенных Штатов,— это следствие либеральной стратегии, результат воплощения либеральных идей. Надо, полагали они, преградить либералам путь к власти, надо дать шанс республиканцам консервативного направления — возможно, у них дела пойдут получше...

Наивная логика, скажет читатель. И тем не менее так рассуждали многие в Америке. Не будем забывать, что средний американец, или, как его называют в Соединенных Штатах, «человек с улицы»,— прагматик. Он руководствуется не какими-то там идеологическими императивами, а требованиями здравого смысла, житейским интересом. Сегодня, недовольный политикой демократов, он голосует за республиканцев, давая им шанс попробовать себя на государственном поприще. А завтра, разочаровавшись в них, отдает голос кандидату демократической партии. Изрядно перепуганный россказнями о «советской военной угрозе», он может поддержать увеличение военного бюджета. Но это не помешает ему тут же — вопреки всякой логике — высказаться в пользу сокращения налогов и увеличения ассигнований на социальные программы, словом — выдвинуть требования, идущие явно вразрез с консервативной политикой.

Так было даже в самые, казалось бы, звездные для американского консерватизма часы. 9 февраля 1981 года, всего три месяца спустя после выборов, газета «Ньюсдей» сообщала: «Несмотря на избрание консервативного республиканца Рональда Рейгана и поражение, которое многие видные либералы потерпели на выборах в сенат и палату представителей, состоявшихся прошлой осенью, национальный опрос, проведенный нашей газетой, не подтвердил сдвига вправо по ключевым вопросам внутренней политики. Хотя большинство опрошенных американцев заявили о поддержке сокращения федеральных расходов за счет свертывания социальных программ, это оказалось не более чем общим «консервативным ощущением»(!). Когда дело дошло до конкретных вопросов, они высказались за продолжение или даже увеличение финансовой помощи почти всем группам населения».

Выходит, что не так уж однозвучен и един был хор, пропевший победный гимн республиканскому кандидату в 1980 году. Что тотальный и последовательный сдвиг в сторону консерватизма, а тем более правого радикализма существовал лишь в воображении тех, кто мечтал об этом. Что будь это не в Америке, а где-нибудь в Западной Европе — там, где сильны социалистические и социал-демократические традиции,— поражение либералов и демократов могло бы при благоприятном стечении обстоятельств обернуться победой левых сил. В Соединенных же Штатах массовому избирателю, все еще с опаской поглядывающему на коммунистов, труднее выразить свое разочарование в буржуазной партии: поневоле приходится выбирать между демократическим «ослом» и республиканским «слоном» (если оперировать партийной символикой).

Три года «эры Рейгана» достаточно убедительно подтверждают, что эпоха Великого Гэтсби ушла в прошлое и ее не вернуть ни заклинаниями, ни угрозами, ни силой. Проблемы, доставшиеся в наследство Рейгану и К°, так и остаются нерешенными: государственный долг не только не уменьшается, но растет, безработица держится на высоком уровне, чего не скажешь о международном авторитете США, инфляция хотя и приутихла, однако по-прежнему тревожит американцев.

Рейганисты могут, конечно, и дальше упрямо гнуть свою линию — дома и за границей. Но это рискованный курс. За три истекших года они заронили сомнение в своей компетентности во многие американские души и, сами того не желая, способствовали в какой-то мере эрозии консервативного сознания. Свидетельство тому — и результаты промежуточных выборов в конгресс и местные органы власти, и падение ниже обычного для этого времени уровня популярности президента в глазах избирателей. Шестого января нынешнего года газета «Нью-Йорк таймс» писала (со ссылкой на опросную службу Гэллапа): если бы президентские выборы проходили сейчас, то Рейган проиграл бы их — тому же Джону Гленну, сенатору от Огайо, или Уолтеру Мондейлу, бывшему вице-президенту США. Разумеется, настоящая предвыборная игра, когда претенденты на Белый дом выбрасывают на стол все свои политические козыри, впереди, и положение может измениться. Так что не будем спешить с окончательными выводами. Но чем бы ни обернулись последующие электоральные шоу, можно достаточно определенно сказать, что Рейгану пока не удалось сплотить большинство американцев под знаменами «радикального консерватизма», что он не смог «очистить» их сознание от тех идей, настроений, ценностей, которые явились результатом исторического опыта 60-х — начала 70-х годов.

Несколько лет назад американские социологи консервативного направления Э. Лэдд и С. Липсет, оценивая итоги 70-х годов, вынуждены были констатировать: «Это десятилетие не только не смогло опровергнуть 60-е годы, но даже инкорпорировало в общество многие из его ценностей... Нет недостатка в примерах, говорящих о глубокой амбивалентности, характеризующей ныне общественное мнение и ценности в Соединенных Штатах» [1]. Исследования глубинных процессов, происходящих в сфере американского общественного сознания и культуры, проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что при всех лежащих на поверхности «сдвигах» эта амбивалентность не только сохраняется, но усиливается. За фасадом американского дома происходят удивительные изменения.

В поисках «альтернативных ценностей»

«В 60-х годах, когда в центре внимания средств информации находились бурные события американской жизни... подавляю-

[10] Public Opinion, Jan., 1980, p. 2—3.

щее большинство наших граждан... невозмутимо продолжало заниматься своими повседневными делами, а их взгляды на жизнь едва ли испытывали воздействие со стороны столь значительных событий. Однако в последние годы, когда средства информации твердят нам, что мы вернулись к нормальному стилю 50-х годов — умиротворенным кампусам с хорошо одетыми молодыми людьми, более озабоченными поисками работы, нежели стремлением поставить истеблишмент на колени, когда мы постоянно слышим об отказе от либеральных социальных позиций послевоенного периода и возвращении к более консервативным ценностям,— наши исследования свидетельствуют о поразительных изменениях в сфере культуры...

Спектр этих изменений столь широк, что каждый раз, когда я сталкиваюсь с ними, мне приходит на ум один и тот же образ— образ геологических пластов, перемещающихся глубоко под поверхностью планеты и столь разительно меняющих ее ландшафт, что он становится просто неузнаваемым... В последние годы «гигантские пласты» американской культуры, скрытые под поверхностью, находятся в состоянии непрерывных изменений».

Так пишет в своей последней книге «Новые правила. Поиски самоосуществления в мире, перевернутом вверх дном» Дэниел Янкелович [11] известный американский социолог, исследователь общественного мнения, человек, не склонный, как правило, преувеличивать и драматизировать происходящие события, но обычно чутко и четко фиксирующий динамику общественных настроений и ориентаций.

На наших глазах, утверждает автор «Новых правил», происходит процесс постепенного вытеснения старой «философии жизни» новой «философией жизни», старой «этики самоотречения» — новой «этикой самоосуществления». Именно здесь, по этим рубежам, пролегает линия разлома, определяющая фронт грядущих битв в американской культуре.

Как, скажем, понимал «философию жизни» рядовой американец 50-х годов? Упорно трудись, будь лояльным по отношению к фирме, в которой работаешь, к семье и к обществу. Гордись своей страной — «самой лучшей в мире». Умей молча глотать обиды и подавлять в себе стремление следовать велениям души — делай, что приказывают. Не выставляйся и не высовывайся. Взамен будешь иметь работу, все возрастающий жизненный уровень (прежде всего отдельный дом и машину), уважение соседей и сослуживцев, семью с преданной супругой и прелестными ребятишками... Таков был массовый идеал, основанный на «этике самоотречения» и подкреплявшийся на протяжении многих лет практикой повседневной жизни.

Но вот наступили 60-е годы, и над Америкой повеяли иные ветры. Начались стихийные поиски новой «философии жизни», пробивались первые зеленые ростки нового сознания. Порвать со старыми нормами и ценностями, наделить свою жизнь подлинным смыслом, сделать ее чем-то большим, нежели запрограммированное повседневное существование — вот к чему стремились многие молодые американцы — участники массовых социальных и политических движений, создатели городских и сельских коммун, приверженцы контркультуры.

Сегодня, уверяет Янкелович, эта тенденция не только сохраняется, но даже принимает массовый характер. «Выборочные обследования различных групп американского общества неопровержимо свидетельствуют о том, что поиски самоосуществления являются выражением народных чувств и исканий, подлинно массовым феноменом, касающимся в той или иной форме не менее 80% взрослых американцев» [12].

Перед читателем «Новых правил» проходят десятки мужчин и женщин, не похожих друг на друга, но объединенных общими попытками придать своей жизни некий «подлинный смысл», сделать ее более интересной и хотя бы в какой-то мере отвечающей внутренним — обычно скрываемым и подавляемым — побуждениям. И как мозаика складывается в целостную, видимую только на расстоянии картину, так причудливые изломы частных судеб образуют единую линию, воспринимаемую социологическим сознанием как выражение общих ориентаций и тенденций.

Вслед за Тоффлером и некоторыми другими западными авторами Янкелович с тревогой отмечает изменение отношения американцев к труду. Поддерживавшийся протестантской этикой на протяжении многих лет идеал упорного, но щедро вознаграждаемого труда утратил некогда сопутствовавший ему ореол. Люди не хотят работать с прежней отдачей и упорством: добывание долларов перестает для многих быть самоцелью — и это несмотря на то, что инфляция пожирает деньги все быстрее и быстрее.

Впрочем, дело, кажется, не только в нежелании работать. Людей, особенно молодых, отмечает автор «Новых правил», «возмущают острые социально-классовые различия между работодателями и наемными рабочими. Они не желают автоматически принимать авторитет босса. Они хотят участвовать в выработке решений, влияющих на их работу. Они предпочитают разнообразие рутине и неформальность — формализму. Они хотят, чтобы их работа была интересной и вместе с тем хорошо оплачиваемой, а вдобавок к этому оставляла простор для творчества» [13].

Еще одна примечательная черта новой «философии жизни» — «стремление найти человеческие цели более широкие, нежели те, которые измеряются исключительно ежегодным увеличением валового национального продукта. Это не значит,— спешит оговориться наш социолог,— что новая философия жизни отрицает материаль-

[11] D. Yankelovich. New Rules. Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down. N. Y., 1981. p. XIV (Говоря о поисках «самоосуществления», Янкелович имеет в виду поиски путей реализации человеком своего внутреннего потенциала, своего «я». — Э. Б.)

[12] D. Yankelovich. Op. cit., p. 3.

[13] D. Yankelovich. Op. cit., p. 44.

ные ценности: американцы слишком практичный народ, чтобы это могло произойти. Но она заставляет их шире взглянуть на вещи и охватить более широкий спектр человеческого опыта» [14].

Оговорка не случайная: американцы действительно практичный народ. Если для буржуазного общества вообще характерна фетишизация вещей и денег, то для Соединенных Штатов (где капитализм развивался более беспрепятственно, чем где бы то ни было) такая фетишизация характерна вдвойне. И коль скоро в представлении американца, как утверждает автор «Новых правил», деньги находятся в столь же двусмысленном отношении к личному успеху, как секс к любви, то есть все основания говорить о чуть ли не эротическом отношении американского буржуазного сознания к денежному мешку. Доллар, культ которого поддерживался на протяжении всей истории Соединенных Штатов, воспринимался не только как пропуск в мир вещей и услуг. Он был общепризнанным символом власти, успеха, престижа. Деньги могли все и потому были всем.

Сегодня доллар уже не имеет прежней власти. Правда, его магическая сила ослабевает медленнее, чем падает покупательная способность. И все же приверженцы «самоосуществления» — пусть даже их будет не 80%, как объявляет автор «Новых правил», а вдвое меньше, это тоже сила— уже не смотрят на деньги как на главный критерий оценки социального положения своих сограждан или символ жизненного успеха. Да и само представление об успехе тоже меняется. У многих нет уже прежнего стремления хоть из кожи вылезти, но непременно перещеголять Джонсов и «утереть нос» Браунам. Собственный рост перестает измеряться общезначимыми вещественными стандартами. И потому даже риск выглядеть неудачником в глазах соседей или сослуживцев сегодня уже не так, как вчера, роняет американца в собственных глазах.

А взять сферу семейных отношений. Метаморфоза, которую претерпевает «традиционная американская семья», поразительна.

Муж — кормилец, жена — домохозяйка, двое-трое детей — таков был массовый эталон, еще совсем недавно владевший воображением среднего американца. Ныне традиционная семья составляет, если верить Янкеловичу, лишь 15% по сравнению с более чем 70% в 50-х годах общего числа семей.

Эти и многие другие данные позволяют Янкеловичу сделать вывод, что изменения в ценностях жизни и культуры, происходящие в Америке, идут совсем не в том направлении, в котором их хотели бы повернуть консерваторы.

Нарисованную Янкеловичем картину изменений можно было бы дополнить еще не одним красочным фрагментом. Например, рассказать о движении за так называемое добровольное опрощение, распространившееся в последние годы не только в Америке, но и в Европе. При всех своих внутренних различиях «опрощенцы» хотят жизни «внешне простой, но внутренне богатой», то есть совсем не такой, какая изображается в качестве эталона на глянцевитых страницах иллюстрированных журналов, пропагандирующих «американский образ жизни».

Можно было бы поведать и о продолжающихся — пусть без прежнего размаха — опытах по созданию городских и сельских «альтернативных коммун», ориентирующих на разрыв не только с ценностями потребительского общества, но и с традиционалистской моралью.

Одним словом, на фоне консервативных сдвигов в сфере официальной политики происходят социо-культурные изменения, которые никак не втиснешь в консервативное русло.

Не так давно Питер Клисак, известный своими работами по истории американского левого радикализма, опубликовал статью, в которой утверждал, что поиски самоосуществления представляют не что иное, как дальнейшее развитие тенденций, заложенных в леворадикальном движении 60—70-х годов. «...Культурное наследие движения,— пишет Клисак,— пережило 70-е годы. Поиск личного самоосуществления— во имя спасения и элементарной социальной справедливости,— хотя он часто игнорировался или приглушался, с самого начала имел центральное значение для многих участников движения».

Иной точки зрения придерживаются более умеренные аналитики. Например, Олвин Тоффлер, впервые поднявший в «Третьей волне» многие из проблем, к которым обратился Янкелович на страницах своей книги, оценивает происходящие изменения как предвестие рождения «нового социального характера», а в перспективе — новой цивилизации, которая лишь отчасти интегрирует в себя ценности и нормы, провозглашавшиеся в 60-х годах «новыми левыми».

Что касается самого Янкеловича, то «новые правила» не слишком вдохновляют его, а «самоосуществление» не кажется ему той стартовой полосой, которая позволит Америке набрать в скором времени новую высоту. В ближайшие годы, полагает он, стране предстоят нелегкие испытания. «Нам придется вести более трезвую жизнь и обращать большее внимание на насущные экономические проблемы — занятость, жилищный вопрос, оплату расходов на продовольствие, личную безопасность. Дело идет к усилению борьбы между имущими и неимущими, ибо вследствие существующей несправедливости одна часть общества защищена от инфляции, а другая нет.

Мы должны также ожидать возникновения конфликтов нового типа... Еще более острые и уродливые формы могут принять взрывы расизма и фанатизма».

«В конечном счете,— предрекает Янкелович,— мы столкнемся с фактом разложения наших институтов и инфраструктуры: неспособностью наших школ осуществлять процесс обучения, падением стандартов эффективности и точности, ухудшением состояния нашего железнодорожного транспорта, мостов, портов и дорог, уста-

[14] D. Yankelovich. Op. cit., p. XIX—XX.

реванием наших промышленных предприятий, распространением сутяжничества в нашем переполненном юристами обществе, закатом наших политических партий, иронической надменностью средств массовой коммуникации, отставанием от требований времени наших трудовых союзов, близорукостью руководителей нашей индустрии и очевидной неспособностью правительства делать что-либо эффективно и хорошо» [15].

Впрочем, американский социолог тут же пытается убедить читателя, что выход из положения есть, привычный хэппи-энд возможен. Надо только... чтобы на смену «этике самоосуществления» пришла, как он ее называет, «этика приверженности», которая, как полагает Янкелович, может вырасти как синтез старых и новых ценностей — прочной семьи и автономии личности; опоры на собственные силы и озабоченности судьбами окружающего мира и т. п.

Как бы, однако, ни повернулась в дальнейшем жизнь Америки, ясно одно: новые ориентации и ценности не имеют общего социального или политического знаменателя. Их потенциал многообразен. Они могут питать — и питают — широкий спектр тенденций и способствовать движению страны сразу в нескольких направлениях. Иными словами, в чем-то они работают на консерваторов (стремление принять на себя всю полноту ответственности за собственную судьбу), в чем-то — на либералов (бóльшая нравственная терпимость), в чем-то — на левых радикалов (реализация влечений души).

Таким образом, не только в сфере политической, но и в нравственной, социальной и культурной сферах мы обнаруживаем у американской публики отсутствие единства взглядов и ориентаций. И потому представлять себе Америку неким единым, сплоченным, устремленным в прошлое обществом, как это делают восторженные и туповатые консервативные публицисты типа Пайнса,— значит принимать желаемое за действительное. Скорее уж прав Янкелович: Соединенные Штаты начала 80-х годов — это дом, «перевернутый вверх дном», где многое еще не определилось, не устоялось, не обрело четких форм и пропорций. Со временем — как это не раз случалось в прошлом — что-то прояснится, что-то выпадет в твердый осадок, сольется в историческом синтезе. Только вряд ли он будет похож на тот кабинетный синтез, о котором как о панацее мечтает Янкелович...

Семь цветов завтрашнего дня

А пока американцы строят предположения о том, какие новые повороты ожидают их страну в ближайшие месяцы и годы. Гадают, как обернется дело с инфляцией и безработицей и удастся ли правительству уменьшить в конце концов государственный долг. Прикидывают, сумеют ли демократы отыскать подходящего кандидата в президенты и решится ли Рейган баллотироваться на второй срок... Как всегда в подобных случаях, нет недостатка в прогнозах — от розовых и голубых до черных и коричневых.

Недавно группа сотрудников Стэнфордского исследовательского института опубликовала книгу «Семь завтрашних дней. Семь сценариев на восьмидесятые и девяностые годы», в которой среди прочих поместила сценарий, как она его назвала, «официального будущего».

«При благоприятном стечении обстоятельств, утверждают авторы книги, Америка может оказаться в 80—90-х годах именно такой, какой ее хотели бы видеть стоящие ныне у власти консерваторы. Будут сокращены налоги и свернуты социальные программы, уменьшатся правительственные расходы, частный сектор станет играть бóльшую роль. Возрастет экономическая мощь Соединенных Штатов, а вместе с ней и доходы населения. Вернется к американцам и былая самоуверенность. Стремление к достижению успеха в его традиционном денежном выражении проявится с новой силой. Число миллионеров (почему бы не сдобрить сухой футурологический сценарий доброй шуткой!) достигнет к 1990 году... 10 миллионов. Укрепится военно-политическая мощь США, возрастет их способность влиять на международную жизнь. Развивающиеся страны, прежде всего из числа самых бедных, положение которых «заметно улучшится благодаря лидерству Соединенных Штатов», потянутся к капитализму, а «распространение советской идеологии натолкнется на преграды»...

Словом, не сценарий, а мечта для радикал-консерватора! Беда только в том, что, по мнению самих же его авторов, осуществление «официального будущего» требует благоприятного, весьма благоприятного стечения исторических обстоятельств. А его-то, признаются они, может как раз и не произойти. И потому надо быть готовыми к самым неожиданным поворотам судьбы. Есть среди американцев, надо сказать, и сегодня оптимисты, которые верят, что, возможно, уже в ближайшее время либералам удастся преодолеть внутренний кризис, вернуть себе власть и в конце концов повести страну по пути, который являл бы альтернативу и «государственно-бюрократической диктатуры» и диктатуры монополий. Недовольство политикой Рейгана, полагают они, может оказаться мощным катализатором массовых демократических движений и вызвать новый взрыв протеста.

Еще отчетливее звучат в общем хоре голоса пессимистов, призывающих готовиться к черным дням. Ход их рассуждений прост. Вчера на волне широкого недовольства политикой либералов Рейган въехал в Белый дом. Если сегодня, в крайнем случае завтра, стоящие перед страной проблемы — в первую очередь экономические — не будут решены, волна недовольства поднимется еще выше. А поскольку в либерально-демократическом стане все еще царит разброд, она может вознести на вершину власти — в полном соответствии с буквой закона — политика, стоящего еще правее, чем нынешний президент.

Нельзя сказать, что такого рода опасения вовсе лишены резона. Критика по ад-

[15] D. Yankelovich. Op. cit., p. 261.

ресу Рейгана раздается не только слева. Реприманды слышатся и со стороны правых — прежде всего «новых правых»,— которые связывали с приходом в Белый дом нынешнего президента немалые надежды. Сегодня, когда многие их «наказы» так и остаются невыполненными, они чувствуют себя чуть ли не обманутыми и грозят выдвинуть на предстоящих президентских выборах собственного кандидата.

Однако подавляющее большинство американцев придерживается той точки зрения, что при всех внутренних противоречиях, при всем драматизме политической борьбы Соединенные Штаты остаются обществом, в котором «тотальный сдвиг» влево или вправо—это пока не более чем сильная метафора. Как писал недавно один из видных идеологов и лидеров леворадикальных движений 60-х годов Том Хейден, «наша система весьма консервативна и устроена таким образом, чтобы воспрепятствовать возрождению монархии или господству воинственных фракций.., кризисы, возникающие в истории (Америки. — Э. Б.), разрешаются главным образом через посредство существующих институтов (президентских праймериз, судебных слушаний, критики со стороны средств массовой коммуникации), без правых военных переворотов, которые служат ответом на вызов со стороны народа в других странах. Требования серьезных изменений со стороны миллионов людей в конечном счете вводятся в русло существующей системы» [16].

Так выглядят в глазах самих американцев некоторые перспективы развития Соединенных Штатов в 80—90-е годы. Какой окажется реальная судьба Америки, покажет только будущее. С уверенностью можно сказать пока одно: как бы ни старались консерваторы, «американский век» им не вернуть. Соединенные Штаты вступили в новую полосу развития, и облик грядущей Америки будет не в последнюю очередь зависеть от самих американцев — реального осознания ими, что мир, частью которого являются США, сегодня уже не тот, что вчера, а завтра будет не тот, что сегодня. Что рождается новое международное сообщество, в котором каждая нация должна решать свои проблемы — и «домашние», и международные — не иначе как с учетом интересов и возможностей других стран и народов, на пути сотрудничества и мира.

---

[16] Tom Hayden. The American Future. N. Y., 1980, pp. 286, 288.

◆

ЛЕСТЕР КОУЛ

ГОЛЛИВУДСКИЙ КРАСНЫЙ

По страницам книги

В октябре 1947 года комиссия конгресса по расследованию антиамериканской деятельности обвинила десять голливудских сценаристов и режиссеров в неуважении к конгрессу. В первые дни ведущие газеты резко критиковали цели и методы комиссии, и те из нас, кому было предъявлено обвинение, черпали ободрение и уверенность в такой широкой общественной поддержке.

Но примерно через неделю конгресс, стоявший на позициях «холодной войны», подавляющим числом голосов поддержал это обвинение. И тон газет начал стремительно меняться. Недавние негодующие защитники первой поправки к конституции уже не посвящали случившемуся редакционных статей, ограничиваясь «объективным репортажем».

За годы, протекшие с тех пор, о «голливудской десятке», как нас называли, было написано без малого два десятка книг. В первых из них мы чаще фигурировали в качестве эдакой помеси злодеев и дураков или — в лучшем случае — выглядели чудаками, людьми, не сумевшими найти свое место в обществе. Позднее, для ученых нового поколения, мы стали предметом более серьезных исследований. Но и у них были свои политические предубеждения и пристрастия, определявшие — порой завуалированно, иногда — с полной очевидностью — трактовку материала. И хотя некоторые из этих книг были написаны умело и правдиво, представляли они взгляд со стороны. Эти историки и журналисты не могли знать доподлинно, что думали и чувствовали те, кто последовательно боролся против обвинений комиссии вплоть до верховного суда и после трех лет борьбы подвергся тюремному заключению. Они, сторонние, были не способны приобщить читателя к конфликтам, которые нам довелось пережить,— конфликтам с друзьями, с близкими, с самими собой,— пока мы отстаивали свои принципы и убеждения, еще не вполне сознавая, какие страдания, унижения, душевные муки и кары ждут нас впереди.

В «Голливудском красном» рассказывается о том, как следовал своим принципам и убеждениям автор этих строк. При взгляде со стороны невозможно по-настоящему оценить радость побед в такой борьбе, дружбу и верность, которые она помогает узнать — равно как и сопряженные с ней неудачи, предательства, разочарования в былых товарищах, подчас и в самом себе. Я старался рассказать обо всем этом откровенно, останавливаясь не только на победах, но и на поражениях.

1

Март 1932 года. В полном разгаре невиданная депрессия, сковавшая экономическую жизнь страны. Десять миллионов людей внезапно оказались без работы. Во всех больших и малых городах страны измученные голодом мужчины, женщины, дети стоят в бесконечных очередях за миской благотворительного супа, сотни тысяч людей выброшены на улицы, потому что им нечем было платить за квартиру. Сам я еще не провалился в эту черную пропасть, но оказался уже на самом ее краю, когда мне неожиданно улыбнулась удача. Моя вторая пьеса наделала такого шума, что три голливудские кинокомпании предложили мне работу по контракту. Я выбрал «Парамаунт» — двести пятьдесят долларов в неделю в течение пяти лет с прибавкой в пятьдесят долларов каждые полгода. Правда, в контракте была статья, дававшая им — но не мне! — право его расторгнуть, но тогда я еще

© 1981 by Lester Cole.

не знал, чем может обернуться подобное неравенство.

На Центральном вокзале в Нью-Йорке мои друзья обнимали меня на прощание, а я заверял их, что презираю кино. Театр — моя единственная любовь, я вернусь на премьеру своей пьесы, а потом напишу еще одну, и еще одну, и еще...

Утром я проснулся в Чикаго, где мне предстояла пересадка на трансконтинентальный экспресс. И вот я стою на перроне перед составом из двенадцати сверкающих вагонов. До отправления остается пятнадцать минут, а кругом — ни души. Это меня смутило. Может быть, я ошибся? Однако проводник заверил меня, что все в полном порядке.

— Но где же пассажиры? — спросил я с недоумением.

— Уже в своих купе. Оба,— ответил он и добавил: — А вы — все остальные пассажиры.

Знаменитый экспресс повезет на запад страны только троих пассажиров! Но я знал, что отправляемся туда не только мы трое. Сотни тысяч людей с жалкими узелками на спине брели из никуда в никуда по дорогам и железнодорожным путям, надеясь найти хоть какую-то работу. Бездомные мужчины, женщины, дети просили милостыню или крали, чтобы не умереть с голоду. А я мчусь в купе люкс. И вдруг я словно услышал голос своего отца, шестнадцатилетним пареньком эмигрировавшего в Америку из маленького местечка под Варшавой. Казалось, он и поздравляет и предостерегает меня: «Знай, сынок, удача выпадает, может быть, один раз на миллион, но не на долю рабочих. А потому помни: сколько бы тебе ни платили за твой труд, это всегда будет меньше, чем ты заработал. Разница и есть прибыль — та часть твоего труда, которую присваивает хозяин».

Словно и не прошли эти двадцать лет, и я слушаю, как он объясняет своим друзьям на скамейке в парке, что такое марксизм, или же, стоя на ящике из-под мыла у станции надземки, агитирует выходящих из поезда рабочих, призывает их объединяться, организовывать профсоюзы, быть людьми, а не рабами. А для этого на выборах нью-йоркского мэра надо голосовать за кандидата социалистов. Меня особенно поражало, что он продолжал говорить, даже если возле его ящика останавливались двое-трое, а то и один человек.

2

В киностудии любезный редактор сценарного отдела показал мне мой кабинет в «сценарном корпусе» и посоветовал освоиться с обстановкой, пока мне не подберут задание. Оно оказалось очень легким: один эпизод в фильме о чудаковатом миллионере, который перед смертью решает раздать все свои деньги — по миллиону — самым разным, наугад выбранным людям. Мне был поручен эпизод с персонажем, обвиненным в убийстве. Чек на миллион долларов он получает накануне казни. Уж не помню, что произошло дальше.

Эпизод был одобрен и снова потянулось ожидание. Но вот удача, в которую трудно было поверить. Меня пригласил режиссер Барни Глейзер и сказал, что ему предстоит снимать самый престижный фильм студии в этом году и он убежден, что сценарий следует поручить мне. Он видел ленту с моим эпизодом и почувствовал в нем то «нечто», что привлекает его в авторе нового сценария. И с улыбкой протянул мне книгу, которую предстояло экранизировать. «Прощай, оружие!» Хемингуэя! Я онемел, а он ободряюще улыбнулся.

— Но только, Коул, пусть это будет между нами. Ни слова никому. Наверное, вы уже заметили, что сценаристы — народ своеобразный. Зависть, интриги, подножки — ну, вы понимаете. Такое задание — и новичку! Так что никому ни слова, даже близким друзьям.

Я обещал. И поблагодарил его за доверие. А потом побежал к себе и принялся перечитывать книгу. Почти сразу же позвонил Глейзер:

— Я забыл вас предупредить. Сначала представьте мне развернутый проспект страниц на пятьдесят — шестьдесят. Основные эпизоды и прикидка диалога. Ну, вы понимаете.

Я не понимал, но отправился в библиотеку, взял несколько развернутых проспектов и прочел их. Технически несложно, но как претворить литературную прозу в зрительные образы? Работал круглые сутки, целиком поглощенный этой задачей. Когда страниц двадцать было готово, в самый разгар творческой лихорадки ко мне постучали. Вошел высокий худой человек, которого я не раз видел в столовой,— сдержанный, замкнутый, редко улыбающийся.

— Лестер Коул? — Я кивнул, и он протянул мне руку.— Я Джо Марч.

Джозеф Монкер Марч! Теперь он, возможно, забыт, но в двадцатые годы его иронические стихи пользовались большой известностью. Неужели он зашел ко мне просто познакомиться? Я был польщен, но вскоре выяснилось, что привела его сюда другая причина.

— А я знаю, над чем вы работаете!

Растерявшись, я пробормотал что-то невнятное. Как он мог узнать?

— И Глейзер просил вас свято хранить все в тайне, верно?

— Откуда вы знаете? — выпалил я, растерявшись.

— А он и меня просил о том же самом.— Марч усмехнулся.— Да, мне дано то же задание. И учтите, это вовсе не конкурс между нами на лучший вариант. Что бы мы с вами ни написали, он наши проспекты даже читать не станет. Вам знакомо слово «бизнес»? Глейзер не хуже и не лучше остальных. Честных продюсеров в кинопромышленности можно пересчитать по пальцам одной руки. А подоплека нашей с вами ситуации такова: на главную роль приглашен Гарри Купер, деньги ему уже выплачивают, а он простаивает, и контора требует от Глейзера рабочий сце-

нарий. Чтобы продемонстрировать свое рвение, он привлек не одного, а сразу двух сценаристов и заставляет их потеть день и ночь. На самом же деле — тянет время, пока не освободится тот, кому он действительно намерен поручить сценарий. А тогда и вы и я будем сразу же от этой работы отстранены.

— Так зачем же мы сейчас надрываемся? — растерянно спросил я.

— Ну, я-то отнюдь не надрываюсь, а работаю над собственной книгой. Советую и вам заняться чем-нибудь своим.— Он улыбнулся и ушел.

Я не знал, что делать. Обличить Глейзера? Но он отопрется. И еще жаловался на подножки, интриги! Подлость и подлость. Вся кинопромышленность прогнила насквозь. Я тяжело переживал свое унизительное положение. Но вскоре мне пришлось узнать, каким унижениям подвергается большинство сценаристов. То, что проделали со мной, было по сравнению с этим сущими пустяками.

3

Не следует забывать, что тогда в Голливуде был только один большой профсоюз — Международная ассоциация рабочих сцены. Возник он, разумеется, в театрах Нью-Йорка, но затем соприкоснулся и с кинопромышленностью, принимая в свои члены киномехаников. Это был влиятельный профсоюз, но его руководство, затем попавшее в руки мафии, уже давно продалось предпринимателям, соглашаясь на кабальные контракты для своих членов и получая за это солидный куртаж.

В январе 1933 года кинокомпании объявили о значительном понижении заработной платы всех своих служащих. Тут члены Ассоциации впервые пошли против своего руководства и проголосовали против понижения. Победа осталась за ними. Тогда же во всех студиях были созваны совещания сценаристов, актеров и режиссеров. Перед нами выступил представитель администрации и, взяв доверительный тон, сразу воззвал к нашим лучшим чувствам. Кинопромышленность, которую мы все так любим, находится в тяжелейшем положении, депрессия углубляется, и, хотя кассовые сборы пока катастрофически не понизились, надо, чтобы мы все, творцы и художники, были к этому готовы. Американский народ ждет от своих художников жертвы. Но жертва эта была бы не столь велика, если бы не чужеродный элемент в киностудиях — если бы не Ассоциация. Поскольку ее члены навязали администрации свой контракт, у администрации нет иного выхода, и она просит нас, своих творческих работников, в интересах страны согласиться на немедленное пятидесятипроцентное сокращение сумм, обозначенных в наших контрактах.

Мы расходились ошеломленные, негодующие. Брайен Марлоу, еще один сценарист из Нью-Йорка, с которым я подружился, поглядел на меня с улыбкой.

— Ну и дурак! Он же сам подсказал нам, что делать, правда?

— Разжевал и в рот положил,— кивнул я и вспомнил отца: настал мой черед влезть на ящик из-под мыла — здесь, в Голливуде!

До конца вечера и добрую часть ночи мы обзванивали всех, кого могли, и зачитывали им предварительное заявление. В конце концов его подписали десять сценаристов. На другой день мы встретились, окончательно отредактировали текст, размножили его на мимеографе и разослали по студиям. В нем мы предлагали организовать Гильдию кинодраматургов и категорически отвергали «рекомендованное» администрацией сокращение нашего жалованья на пятьдесят процентов.

Наш документ произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Такой протест потряс администрацию, и его инициаторов, конечно, тут же объявили коммунистами, большевиками, которые стремятся подорвать кинопромышленность.

Однако настроение подавляющего большинства сценаристов было таким, что эти ярлычки никого не испугали — во всяком случае тогда. «Преступления» нашей первой «голливудской десятки» были именно теми, которые инкриминировались второй «десятке» четырнадцать лет спустя. Мы организовали творческий профсоюз — акция поистине «революционная», а позднее некоторые из нас принимали активное участие в деятельности антифашистских организаций и проводили по всей стране сбор средств для Интернациональной бригады, в помощь испанскому народу, сражавшемуся против Франко, Гитлера и Муссолини. Но среди членов этой первой десятки не было ни одного коммуниста, как не было их тогда среди наших знакомых. Председателем Гильдии мы единодушно выбрали Джона Говарда Лоусона. Это произошло в 1933 году, а в коммунистическую партию он вступил только в 1936 году.

На первом собрании нашей Гильдии присутствовало около трехсот человек, и в Гильдию вступили сто два из них. Десять месяцев спустя в ней состояло уже 343 члена.

А на исходе 1934 года, когда моя активная деятельность в Гильдии принесла мне некоторую известность, меня навестили два члена коммунистической партии и пригласили принять участие в занятиях кружка по изучению марксизма, считая, что, познакомившись с философией Маркса и Энгельса, я обязательно захочу вступить в партию.

Это было время прихода Гитлера к власти, время пожара рейхстага и позорного суда над Димитровым по сфабрикованным обвинениям. Призыв Димитрова к организации всемирного фронта борьбы с фашизмом вызвал у меня глубочайшее сочувствие.

4

Происходили перемены и внутри страны. Некоторые продюсеры обнаружили, что доходными могут быть не только глупые сказочки, уводящие от

действительности. Как ни пугали их идеи и социальная реальность, заложенные в новой кинотематике, соблазн завоевания новой сферы получения прибылей был настолько велик, что превозмогал все опасения. Однако показ нищеты, безработицы, голода и бездомности не только привлекал миллионы зрителей, видевших на экране самих себя, но — как и боялись кинопромышленники — будил в них сознательность, воспитывал чувство собственного достоинства, учил простых людей мужеству и борьбе.

В 1937 году вышел подлинно революционный фильм — «Жизнь Золя» с Полем Мюни в главной роли. Власти и военная элита разоблачались в нем с полной беспощадностью как преступные тираны, не останавливающиеся ни перед чем, лишь бы сохранить привилегии правящего класса, обрисованного столь же беспощадно. Затем последовали снятый по сценарию Лоусона фильм «Блокада» — о войне испанского народа против Франко и «Хуарес», с глубоким реализмом изображавший революцию, покончившую в прошлом веке с европейским колониальным господством в Мексике.

Однако было бы большим заблуждением полагать, будто такие разоблачения власть имущих как-либо влияли на людей, выпускавших эти фильмы!

Были и другие признаки того, что действительно наступило «наше время». На выборах калифорнийского губернатора в 1938 году мы были в числе тех, кто поддерживал Калберта Олсена, либерального кандидата, заручившись его обещанием освободить Тома Муни и Уоррена Биллингса, двух активных профсоюзных деятелей в Сан-Франциско, которые в 1917 году были приговорены к пожизненному заключению по сфабрикованному обвинению.

Двадцать два года безвинно в тюрьме — это такая вопиющая несправедливость, такой возмутительный произвол, что дело Тома Муни давно стало для нас в один ряд с юридическим убийством Сакко и Ванцетти и расправой над восемью черными юношами в Скотсборо.

В тот день, когда Олсен был приведен к присяге, как губернатор, он исполнил свое обещание, и на следующее утро мы — все те, кто принимал активное участие в работе «комитета по освобождению Муни и Биллингса»,— поехали в тюрьму Сан Квентин. Нас впустили во двор, и мы столпились у двери, из которой должен был выйти Муни. Минуты напряженного ожидания, и вот на пороге появился Том Муни и раздались оглушительные радостные крики приветствий. Десятки людей кинулись обнимать его и пожимать ему руку. Но к ощущению победы примешивалась грусть — таким постаревшим и больным он выглядел. (Действительно, через несколько месяцев он умер, не дождавшись освобождения своего товарища Биллингса.) И все же он не утратил способности улыбаться, принимать и дарить дружеское тепло и даже смеяться — после двадцати двух лет тюрьмы за преступление, которого он не совершал! Это производило необычайное впечатление, укрепляло мою решимость не прекращать борьбы за изменение системы, столь преступно нарушающей самые священные принципы правосудия.

Тогда же, в 1938 году, обострившееся положение в автопромышленности, беспорядки, сидячие забастовки и экономические трудности — более десяти миллионов безработных — привели к победе республиканцев в конгрессе и к созданию комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, председателем которой стал честолюбивый техасец Мартин Дайс, заклятый реакционер. Объектом для первого своего нападения он избрал Голливуд — ему нужны были аршинные газетные заголовки. Многим наиболее влиятельным людям в сфере кино с самого начала стало ясно, что Дайс, хотя ему полагалось расследовать любую «антиамериканскую деятельность», не намерен заниматься растущими фашистскими организациями вроде ку-клукс-клана или «американского христианского крестового похода», а потому в кинопромышленности он столкнулся с таким единодушным отпором, что не нашел поддержки даже у продюсеров, несмотря на действия зарождающихся правых группок, которые в недалеком будущем образовали голливудский «Союз защиты американских идеалов».

5

День двадцать второго июня 1941 года был великим праздником для всех американских профашистских правых. Наконец-то господь внял их молитвам и Гитлер бросил свои орды на Советский Союз. Тут же многие западные генералы и государственные мужи с плохо скрытым злорадством принялись предсказывать, что эти русские крестьяне и двух месяцев не продержатся против могучей машины вермахта, а после такой достославной победы у нас можно будет вышвырнуть вон президентскую прокоммунистическую шайку и всерьез взяться за полное очищение страны от всяких нежелательных лиц.

Но, непонятно каким образом, эти «тупые мужики» не сдались, а шесть месяцев спустя бомбы обрушились на Пёрл-Харбор, и мы вступили в войну, причем — господи помилуй! — как союзники этих самых безбожных коммунистов!

Теперь руководители кинопромышленности вдруг обнаружили, что русские героически сражаются против гитлеровских полчищ. Надо спешно браться за работу, надо показать истинную природу общего врага. А кому поручить это, как не антифашистам, которые, пусть «преждевременно», но хорошо изучили его природу?

Мы, еще недавно лишенные работы, были теперь нарасхват — ведь патриотизм вновь сулил киноворотилам прибыль.

На протяжении следующего года было снято по меньшей мере полдесятка первых просоветских военных фильмов. В «Метро-Голдвин-Мейер», специализировавшейся прежде на антисоветской стряпне вроде «Ниночки», шла работа над сценарием «Песни о России», Джек Уорнер по просьбе президента Рузвельта с удовольствием взялся за экранизацию нашумевшей книги американского посла в СССР «Миссия в Москву», и даже «Парамаунт», заразившись этим новым духом, приобрела права на экранизацию сборника рассказов немецкого писателя-эмигранта о борьбе чешского Сопротивления против нацистских оккупантов.

Сценарий пригласили писать меня — это был первый из трех моих киносценариев о войне. Когда я приехал в студию, продюсер Бадди Де Сильва встретил меня очень приветливо. Он сказал, что режиссером будет Фрэнк Татл, ставивший в «Парамаунт» комедии и мелодрамы еще с дней немого кино. Я знал, что Фрэнк Татл был членом компартии, и решил, что найду в нем союзника, если у меня с Де Сильвой возникнут разногласия по каким-нибудь политическим проблемам. В помощники мне дали Фрэнка Батлера, одного из опытнейших сценаристов студии, очень милого человека, но абсолютно далекого от политики.

Мы взялись за работу. Опыт Батлера, бесспорно, сыграл большую роль при разрешении сложной задачи, которую ставила компоновка стройного сюжета и разработка характеров действующих лиц при объединении восьми рассказов в единое целое. Месяца через два мы подготовили черновой вариант сценария и передали его Де Сильве.

На следующий же день он пригласил нас к себе и рассыпался в похвалах и поздравлениях. Сценарий просто великолепен, сказал он, и не требует никаких доработок, кроме одной второстепенной детали — ну, сущей мелочи, с которой мы, конечно, без малейших затруднений справимся при окончательной шлифовке. Сигел, помощник Де Сильвы, энергично закивал, но Татл отвел глаза, и я почувствовал, что дело неладно.

Де Сильва поспешил сообщить нам приятную новость — на главную женскую роль приглашена Луиза Райнер. Она только что получила «Оскара», и кассовый успех обеспечен. Затем он перешел к распределению остальных ролей, а я сидел как на иголках, гадая, в чем заключается подвох. Но только под самый конец, словно вдруг вспомнив о каком-то вылетевшем из головы пустяке, Де Сильва сказал:

— Ах да. Маленькая переделка. Значит, так. Луиза Райнер у вас — дочка богатого чешского промышленника, который сотрудничает с нацистами, верно?

Я выжидательно кивнул.

— Ну, папаша ее устраивает у вас званый вечер для нацистской сволочи. По-вашему, она их ненавидит. Для нее они убийцы, негодяи, последние преступники. Ей даже говорить с ними противно. Так?

— Так,— хором ответили Татл, Батлер и Сигел, а я кивнул, полный самых дурных предчувствий.

— Поэтому на следующий день она у вас тайно нащупывает связи с подпольем. Сперва ей не доверяют, но она доказывает свою верность. И, сотрудничая с ними, влюбляется в одного из подпольщиков. Верно?

Вновь дружное подтверждение, а у меня защемило сердце.

— Так вот, ребята, что надо переделать. Совсем простенько. На этот званый вечер — мы его, конечно, сохраним — является красавец, сукин сын, коллаборационист, как ее папаша, то есть нам так кажется. А она в политике не разбирается, плевать ей на политику, и он для нее просто мужчина. Да такой, что у нее коленки подкашиваются. Она тут же прыгает с ним в постель, ну и он совсем ее покоряет. И только тогда мы узнаем, что он притворяется коллаборационистом, а сам работает в подполье. Здорово? Ей на политику плевать, но она в него врезалась. Понятно? Тут вам все — и любовь, и секс, и политика. В подполье она пошла из-за любви, а не из-за этой интеллигентской политической чепухи. Вот и все. Единственная поправочка. А все остальное — прекрасно. Ну как?

— Вполне приемлемо,— сказал Фрэнк Батлер. Для него так оно и было.

Я посмотрел на Татла. Он выжидательно глядел на меня. Черт, подумал я, неужели он боится рот раскрыть? А ведь он у них больше двадцати лет числится в ведущих режиссерах!

— Бадди! — сказал я, стараясь выглядеть спокойно. (Думаю, мне это удалось.) — Фильма это не испортит, но, извините меня, полностью его перечеркнет. Видите ли, я пытаюсь показать, что не только мужчины, но и женщины способны найти в себе силы, чтобы восстать против жестокости и несправедливости. И у нас будет такая героиня, Бадди, а не просто еще одна похотливая бабенка.

Де Сильва сказал терпеливым тоном:

— Спустились бы вы с облаков на землю, малыш. Бабы — они все такие. У бабы — и принципы! Даже разговаривать об этом не стоит.

Я знал, что теряю эту работу, но слишком уж непристойной, слишком гнусной была такая «поправочка».

— Нет. Я категорически не согласен.

Он искренне удивился.

— Неужто вы все бросите из-за такого пустяка?

— Да, Бадди. Вы превращаете сценарий в избитую ремесленную поделку.

Татл смотрел в сторону, и я пошел к двери, но Де Сильва меня остановил.

— Погодите. Я знаю, вы в этот текст душу вложили, малыш. Договоримся так: может, я неправ, может, неправы вы — давайте подумаем до завтра и уж тогда решим.

Я ушам своим не поверил. И был даже тронут.

— Спасибо, Бадди. Это разумно. Давайте оба подумаем.

— Отлично! — Он встал и протянул мне руку.

Мы ушли все втроем, и Батлер объявил, что ничего подобного еще ни разу не слышал, а Татл поздравил меня и сказал, что теперь будет поддерживать меня до конца.

Телефон на следующий день позвонил только после обеда. Я нервно снял трубку. Это был Де Сильва.

— Ну, решили? Впрочем, не отвечайте. Мы сделаем по-вашему. Так что беритесь с Фрэнком Батлером за дело и недельки через две представьте мне рабочий сценарий.

— Спасибо, Бадди! Сто раз спасибо. Это чудесно.

Татл и Батлер меня поздравили, а Татл сказал:

— Извините меня, Фрэнк, но тут Лестер в своей стихии, и Бадди это знает.

— И я знаю,— великодушно ответил Батлер.

Работая буквально круглые сутки, мы сдали сценарий через три недели. Из студии я летел домой прямо как по воздуху. Победа, говорил я себе. Вот пример, чего можно добиться, если занять твердую, принципиальную позицию, невзирая на риск потерять работу!

Несколько недель спустя я встретил Фрэнка Татла на каком-то собрании. Он явно смутился, торопливо поздоровался со мной и поспешил отойти.

Поняв, что совесть у него нечиста, я пошел за ним:

— В чем дело?

Он что-то забормотал, но я сказал, уже догадываясь, что произошло:

— Не виляйте! Что вы сделали со сценарием?

— Не я, Лестер! Я тут ни при чем, честное слово! Это Де Сильва. Он вас обвел вокруг пальца, но я тогда ничего не знал. Ему было нужно, чтобы вы докончили сценарий, а потом он просто велел Батлеру переписать эти два эпизода на его лад.

— И вы позволили?

— Но что я мог сделать? — искренне взмолился он.

— Я сказал, что лучше откажусь от работы. И вы могли бы...

— Да, конечно! — Он пренсполнился праведного негодования.— Вы-то пришли со стороны, и вам это обошлось бы в трехнедельный заработок. А у меня контракт! Есть маленькая разница!

Не такая уж она была маленькая. Я по опыту знал, насколько денежные соображения управляют всеми нами. Но время показало, что для одних из нас существовал какой-то предел, зато другие готовы были пасть как угодно низко, лишь бы не поступиться материальным благополучием.

— Но ведь контракт,— сказал я,— предоставляет вам право, как любому режиссеру или сценаристу, отказаться от задания, если вы считаете, что оно для вас не подходит.

В ответ он пробормотал что-то нечленораздельное:

— Да... однако... только... может быть...

— Только, может быть,— не выдержал я,— вы трус и лизоблюд?

Как и следовало ожидать, несколько лет спустя Фрэнк Татл, хотя он был вполне обеспечен и почти уже ушел на покой, при самом легком нажиме включился в хор птичек, усердствовавших перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, и я был одним из главных мотивов его песенки.

6

Ленинградцы выдержали нацистскую блокаду с несравненным мужеством, вызвавшим восхищение во всем мире. Блистательно завершилась битва за Сталинград. В конце концов последовала высадка союзников в Нормандии. Все сильнее росло ощущение, что победа близка. Повсюду восхищались русскими — подавляющее число американцев считало их доблестными союзниками, и кое-какие продюсеры уже предвкушали прибыли от наших «победных» фильмов.

Но мини-война против нас в Голливуде не утихала. Нашими врагами были не только продюсеры, но и Международная ассоциация рабочих сцены, приобретшая в кинопромышленности большое влияние. Ее руководители завоевали любовь правых листков, пообещав вести «беспощадную борьбу с коммунизмом и подрывными элементами в Голливуде». Однако газеты обходили молчанием историю о том, как эти руководители принимали взятки от продюсеров. Началась она еще в 1932 году в Чикаго, когда двое владельцев местных кинотеатров испугались возможности забастовки и откупились двадцатью тысячами долларов, вручив их руководству профсоюза киномехаников, который входил в Ассоциацию. Два года спустя этот профсоюз прибрал к рукам Аль Капоне, знаменитый чикагский гангстер.

Газетам следовало бы кричать о коррупции и засилии гангстеров в кинопромышленности, но они не сочли эту историю достойной расследования, а сосредоточились на усилиях «по борьбе с подрывной деятельностью в Голливуде». Активистов в нашей Гильдии мазали дегтем, и «Голливуд рипортер» начал печатать личные выпады против людей, известных своими прогрессивными взглядами. Херстовские газеты присоединились к этой травле, как только надежда на быструю победу нацистов над Советским Союзом рассеялась.

Весной 1945 года умер Рузвельт, и политические ветры быстро превратились в холодные, а вскоре и в леденящие. Под давлением реакционных сил, чье влияние в конгрессе становилось все ощутимее, Трумэн подписал распоряжение о «клятве в лояльности», которое формально касалось только государственных служащих, но вскоре было

распространено на промышленность и на все учебные заведения.

Двадцать третьего сентября 1947 года, когда я зашел постричься в парикмахерскую студии, мне позвонил туда Эдди Мэнникс, администратор фильма, над сценарием которого я как раз начал работать. Его явно что-то очень развеселило.

— Лестер? У меня в кабинете судебный исполнитель с повесткой для тебя.— Он засмеялся.— Если хочешь улизнуть, я его задержу!

Хотя я из года в год ждал, что комиссия по расследованию антиамериканской деятельности наконец доберется и до меня, все равно к этому сообщению я не был готов.

— Улизнуть? Куда? — Я не сдержал истерического смешка.— Скажи ему, что я в парикмахерской, в третьем кресле от двери. Веди его сюда.

— Ты в своем уме? Надо сохранить это в тайне. Он подождет тебя здесь.

Внешне все прошло очень по-деловому: я назвал себя, и исполнитель вручил мне повестку. Я вернулся к себе в кабинет и позвонил Джеку Лоусону. Ему принесли повестку домой час назад.

— Кому еще? — спросил я.

— Не знаю.

К вечеру в стране не нашлось бы газеты, которая так или иначе не оповестила бы своих читателей о случившемся. Заголовки варьировались — от злобных воплей «Красные вовремя обезоружены: им не дали захватить Голливуд!» до более спокойных, оповещавших только о начинающихся слушаниях и называвших фамилии девятнадцати «враждебных» свидетелей, вызванных для дачи показаний перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. (Среди этих девятнадцати были Альва Бесси, Бертольт Брехт, Ринг Ларднер-младший, Альберт Мальц и Далтон Трамбо.)

Трудно описать страх, хаос, растерянность, охватившие нас. Моя жена была возмущена и очень боялась за меня. Майкла и Джеффри, моих сыновей, перепугали сообщения по радио. Думаю, то же самое происходило в семьях остальных девятнадцати. Я отчаянно пытался представить все в розовом свете и уверял своих домашних, что все это просто газетная шумиха, но, видимо, голос выдавал мою тревогу. Яростные нападки радиокомментаторов, жуткие намеки на сенсационные преступления, предсказания длительных сроков тюремного заключения... Мне становилось нехорошо при мысли о том, что на следующий день придется перенести мальчикам в школе!

В семь часов вечера мы собрались в доме режиссера Льюиса Майлстоуна, тоже получившего повестку. Надо было встретиться с адвокатами, согласившимися представлять нас и выработать линию поведения. Но какую? По сути, речь шла о продолжении репрессий, начатых в 1940 году «законом Смита», запрещавшим деятельность коммунистической партии как «агента иностранной державы». Партия тогда ушла в подполье — вплоть до того момента, когда СССР стал нашим военным союзником. Теперь же реакционное отребье вроде ку-клукс-клана и правые элементы среди и демократов и республиканцев узрели возможность пробиться к власти на выборах 1948 года, сделав ставку на антикоммунизм — выигрышную карту в своей игре.

Я тихонько поглядывал на товарищей. Знаком я был со всеми, с некоторыми меня связывала давняя дружба. Многие из них были членами компартии, с другими я встречался только в студиях. По меньшей мере трое в партии никогда не состояли.

Размышлять о том, почему и они угодили в сеть, времени не было. Адвокаты рекомендовали, чтобы мы отказывались отвечать на вопросы, ссылаясь на конституцию и, в частности, на первую поправку к ней. Свобода слова подразумевает и свободу молчать, сказали они и объяснили подоплеку одного из правил, введенных комиссией: если, подтвердив свою личность (от чего уклоняться не следовало), свидетель затем ответит хотя бы еще на один вопрос, это накладывает на него обязательство отвечать на все остальные. Отказ в таком случае рассматривается как неуважение к конгрессу со всеми проистекающими отсюда последствиями. Но имеется даже худшая возможность: какой-нибудь член комиссии спросит, состояли ли вы когда-нибудь членом коммунистической партии, и вы честно ответите «нет», вас затем спросят, знакомы ли вы с людьми, в ней состоящими, вы опять ответите «нет», а они тогда предъявят свидетеля, который покажет, что вы были знакомы с членами компартии, после чего вас привлекут к ответственности за дачу ложных показаний. А допрашивать этого свидетеля вашим адвокатам не разрешат. Совершенно в духе средневековой инквизиции!

Затем почти внезапно выяснилось, что нас не оставили в беде. Чуть ли не сразу в нашу поддержку был организован Комитет в защиту первой поправки к конституции, в который вошли многие самые знаменитые актеры, режиссеры и сценаристы. А также некоторые сенаторы, газетные издатели и известные общественные деятели. Они выступали с резкими протестами и собрали достаточные суммы для организации двух радиопередач на всю страну. Легко понять, насколько нас ободрило, что у нас нашлись такие единомышленники. Радуясь, я как-то не заметил, что среди них блистают своим отсутствием кое-какие левые либералы на словах — и в частности, Рональд Рейган (или Риган, как он тогда произносил свою фамилию).

Уж не помню почему, меня попросили заехать к Ронни Рейгану домой и пригласить его на заседание «Комитета в защиту первой поправки». Было еще рано, но мне открыла его тогдашняя жена Джейн Уаймен и явно смутилась,

когда я объяснил цель моего визита. Она сказала, что Рейган прихворнул и сейчас прилег, но она его спросит. Через минуту-другую она вернулась и еще более смущенно попросила меня передать комитету, что он нездоров, но серьезно думает о том, чтобы присоединиться к ним. Свой ответ он сообщит на следующий день.

Ответа от него так и не последовало. С этого времени он начал стремительно праветь, развелся с Джейн Уаймен, женился на богатой Нэнси Дэвис, стал председателем Гильдии киноактеров и начал свое восхождение по политической лестнице. Его прошлое как либерала с левыми симпатиями было надежно погребено и забыто.

Сейчас, в 1981 году, несколько месяцев спустя после того, как он стал президентом США, Голливуд уже посмеивается (сардонически?) над его недавним заявлением, будто в Голливуде никогда никаких черных списков не существовало. Сразу же появилось много статей, написанных теми, кто «был тогда там», с разоблачением этой фальшивки и перечислением эпизодов, в которых он принимал личное участие. В «Лос-Анджелес таймс» Фил Керби, член редколлегии, рассказал, в частности, как к Рейгану в те дни, когда он был председателем Гильдии киноактеров, пришла молоденькая актриса по имени Нэнси Дэвис и попросила о помощи: ее занесли в черный список, потому что ее фамилия значится в списке «красных». Но есть другая Нэнси Дэвис, и красная — это та, другая. Так, может быть, Ронни поможет покончить с этим недоразумением? Он помог, между ними начался роман, и они поженились. И вот теперь, почти тридцать лет спустя, Керби задает вопрос, а где же «красная» Нэнси Дэвис? Никаких ее следов обнаружить не удалось. Существовала ли она на самом деле? Если же нет, и супруга президента — та самая Нэнси, то, с тревогой осведомляется Керби, не находится ли внутренняя безопасность нашей страны даже под еще большей угрозой, чем прежде?

7

Слушания должны были начаться 20 октября с опроса «дружественных» свидетелей, «добровольцев», тщательно отобранных комиссией. Но мы не собирались допустить, чтобы предубеждения этих «свидетелей», а может быть, и просто корыстолюбие, безнаказанно сошли им с рук. Гордон Кан, один из нас, опубликовавший год спустя «Голливуд под судом» — единственную книгу, в которой верно излагалось, что происходило на слушаниях, побывал на самом первом из них и поделился с нами своими впечатлениями о председателе комиссии Парнелле Томасе, который был очень невысок ростом, но зато весьма широк. Когда он занял свое место на предназначенном для комиссии возвышении, то почти исчез из виду — над столом маячила только розовая лысина. Пришлось прибегнуть к двум телефонным книгам и подушке, чтобы кроме лысины зал мог созерцать и круглое багровое лицо. Забавная сцена — но почему-то никому из нас не было смешно.

Затем наши адвокаты сообщили нам о своих переговорах с Эриком Джонсоном, председателем Ассоциации кинопродюсеров, который на пресс-конференции дал понять журналистам, что продюсеры согласились создать черные списки, охватывающие всю кинопромышленность. Джонсон негодующе заявил:

— Абсолютная чушь! Пока я жив, я никогда не окажусь причастным ни к чему столь антиамериканскому, как черные списки, и любой намек, будто я согласился на введение черных списков,— это клевета на меня как на истинного американца! А ребятам передайте, чтобы они не беспокоились,— заверил он адвокатов,— мы не станем разыгрывать деспотов, чтобы угодить комиссии!

Слушания начались на следующее утро 20 октября. Нас и наших адвокатов, как «приглашенных гостей», посадили в первых рядах неподалеку от других «приглашенных гостей» — «дружественных свидетелей». Среди них я узнал киномагната Джека Уорнера, кинозвезду Роберта Тейлора, самозваную экспертшу по «советскому коммунизму» Эйн Рэнд и еще многих других. Незнакомая пожилая дама оказалась матерью кинозвезды Джинджер Роджерс.

Комиссия решила начать с Джека Уорнера. В мае они провели с ним предварительную беседу в Голливуде и, по-видимому, считали, что он может задать нужный тон. Вначале Уорнер, явно посоветовавшийся с компетентными людьми, попробовал пойти на попятный, но ему этого не позволили, и он повторил ложь, будто Говард Кок (один из «враждебных девятнадцати») пытался ввести подрывной материал в сценарий «Миссии в Москву». При этом Уорнер опускал все, что полностью опровергло бы это утверждение, если бы его могли допросить наши адвокаты. Ведь не только Уорнер экранизировал эту книгу по просьбе президента Рузвельта, но ее автор, бывший американский посол в Советском Союзе, постоянно бывал в студии, санкционируя буквально каждую строчку сценария! Затем Джек разохотился и, назвав пять-шесть предполагаемых коммунистов, заговорил о пьесе Артура Миллера «Все мои сыновья», которую видел на Бродвее. По его мнению, Миллер был явно коммунистическим писателем, а уж режиссер, Элиа Казан, и подавно коммунист! Он так разошелся, что комиссии лишь с трудом удалось предоставить слово следующему свидетелю.

Эйн Рэнд показала, что фильм «Метро-Голдвин-Мейер» «Песнь о России» был явной коммунистической пропагандой. Один из доводов: актеры, игравшие в нем русских, часто улыбались.

— В России же,— заявила она, сияя своей улыбкой,— никто не улыбается.

Настал черед маменьки Джинджер Роджерс.

— Я знаю, что Далтон Трамбо — коммунист, потому что в сценарии, который он написал, моей дочери пришлось произнести фразу: «Делись, и делись поровну — это и есть демократия».

Действительно, каких еще доказательств им было нужно?

Л. Б. Мейер выступил в защиту своей студии. Да, они сняли «Песнь о России», но ведь Россия была военным союзником! И он поспешил сослаться на довоенные антисоветские фильмы «Ниночка» и «Товарищ Икс». Он признал, что двое сценаристов, работающие для него по контракту — Лестер Коул и Далтон Трамбо,— являются коммунистами, а может быть, и Дональд Огден Стюарт.

Затем давал показания Роберт Тейлор. Ему явно не хотелось касаться «Песни о России», в которой он играл главную роль. По-видимому, на секретной беседе весной он объяснил, будто его принудили играть в этом фильме, но теперь смягчил свое утверждение: он возражал, но его убедили, что это часть «военных усилий». На вопрос, будет ли он работать с коммунистами, он ответил категорическим «нет!». (А ведь Тейлор совсем недавно сказал Мейеру, что роль в сценарии «Высокая стена», соавтором которого был я, лучшая, какую ему предлагали за последние десять лет!) Но Томас тут же спросил его, знает ли он каких-нибудь коммунистов, и, помявшись, он признался, что, кажется, сценарист Далтон Трамбо — коммунист, а также еще один сценарист — Лестер Коул.

«Высокая стена» вышла на экраны в декабре 1947 года и имела большой успех. В рецензии на нее одна из нью-йоркских газет писала: «Это лучший фильм, в котором выпало счастье играть Роберту Тейлору, и самый интересный из всех, какие «Метро-Голдвин-Мейер» выпускала за последние годы,— прекрасный сценарий, прекрасная режиссура и прекрасная постановка. Из глубочайшей лояльности по отношению к комиссии конгресса по расследованию антиамериканской деятельности «Метро» решила забыть свои запечатленные в контракте обязательства по отношению к Лестеру Коулу, соавтору сценария, и в одностороннем порядке расторгнуть контракт».

Рецензент не знал, что Тейлор не только был вполне согласен с ним в оценке сценария, но, едва прочитав его, потребовал у Л. Б. Мейера, чтобы сценарии всех его дальнейших фильмов обязательно писал я!

Четыре дня усердствующие «патриоты» чернили нас, как могли. Но ни единого слова не было сказано в подтверждение первоначального обвинения в том, что на экране появлялся «подрывной материал». Не было сказано потому, что сказать было нечего. Это обвинение тут же оказалось забытым: совершенно явно целью слушаний являлось вовсе не оно.

Наконец вызвали Эрика Джонсона. После его заверений нас преисполнил оптимизм. Он начал с декларации:

— Большинство нас, американцев,— маленькие люди, а беспочвенные обвинения наносят маленьким людям тяжкий вред. Они могут отнять у человека все — его заработок и его достоинство!

Прекрасные слова! Но они не устроили Парнелла Томаса. Нет, не своей красивостью — он и сам пускал в ход такой стиль. К полному нашему ошеломлению быстро выяснилось, что подоплека была совсем иной. Под нажимом Томаса Джонсон, этот защитник маленького человека, назвавший черные списки антиамериканскими по духу, вынужден был признать, что прошлой весной он согласился с Томасом по поводу необходимости введения черных списков. И даже обещал убедить в этом продюсеров!

Вот Томаса и возмутило, что мистер Джонсон подвел его! Сдержи он свое обещание, в нынешних слушаниях отпала бы всякая надобность! Тут разъярился мистер Джонсон. Он не лгал Томасу и не подводил его! Он убеждал продюсеров «в необходимости черных списков», как и обещал, но они сочли это слишком рискованным.

Мистер Томас не мог более сомневаться в искренности мистера Джонсона, который даже вспотел от негодования, и удовлетворенно закивал, словно учитель, одобряющий ответ прилежного ученика.

На следующее утро Парнелл Томас на своем насесте громко ударил молотком. Настал наш черед давать показания. Первым вызвали Джона Лоусона, но прежде наши адвокаты вновь потребовали права допросить ранее выступавших свидетелей. Им вновь было отказано.

— Здесь не суд,— сказал Парнелл Томас.

— Еще бы! — крикнул кто-то из зала.— Конечно, не суд, а чистейшая инквизиция!

Кричавшего вывели, а Лоусон попросил разрешения огласить приготовленное им заявление. Его передали Томасу, и он сказал:

— Я прочел первую фразу. В просьбе отказано.

Лоусон вышел из себя, хотя ничего другого ждать не приходилось: его заявление было красноречивым и исчерпывающим разоблачением комиссии и ее целей. Он ответил, повысив голос:

— Жаль, что мне пришлось проделать такой путь, чтобы научить вас, что значит быть настоящим американцем.

Тут же под удар председательского молотка Лоусону предложили покинуть трибуну. Члены комиссии переглянулись, закивали, и Лоусон был обвинен в неуважении к конгрессу.

Для некоторого разнообразия Томас разрешил Альберту Мальцу, который был вызван пятым, огласить свое заявление, но члены комиссии его попросту

не слушали. Когда он кончил, ему задали все тот же вопрос: «Состоите ли вы теперь или состояли когда-либо в коммунистической партии?» Он попытался ответить на него по-своему, указав, что вопрос этот и не относится к делу, и незаконен. Тогда его, как и остальных, попросили покинуть трибуну. Неуважение к конгрессу. Так оно и шло: нам не разрешили оглашать наши заявления, задавался навязший в зубах вопрос, мы, ссылаясь на первую поправку к конституции, отказывались отвечать только «да» или «нет» и тут же обвинялись в неуважении к конгрессу.

С радостью вспоминаю, как Томас Манн, один из крупнейших писателей XX века, публично выступил в поддержку наших принципов. Вот текст его незабываемого заявления, переданного по радио на всю страну.

«Имею честь представить себя как враждебного свидетеля.

Свидетельствую, что очень интересуюсь киноискусством и что со времени своего приезда в Соединенные Штаты девять лет назад я посмотрел много голливудских фильмов. Если в каких-либо из них была тайком вставлена коммунистическая пропаганда, то скрыта она самым недоступным образом. Я, например, ни разу ничего хоть отдаленно на нее похожего не заметил.

Далее я свидетельствую, что, на мой взгляд, невежественное, суеверное преследование тех, кто верит в политическую и экономическую доктрину, созданную великими умами великих мыслителей, не только унижает преследователей, но и наносит большой вред культурной репутации этой страны. Как американский гражданин немецкого происхождения, я, в-третьих, свидетельствую, что на собственном горьком опыте познакомился с определенными политическими тенденциями и тем, к чему они ведут. Духовная нетерпимость, политическая инквизиция, пренебрежение законами, охраняющими права личности,— все во имя так называемого «особого положения»... вот как это начиналось в Германии. Затем пришел фашизм, а за фашизмом последовала война».

Парнелл Томас все глубже и глубже проваливался в им же выкопанную яму, так ничего и не достигнув, а потому для завершения слушаний ему требовалась бомба всецело в духе «холодной войны». И вот, после того как нас кончили допрашивать и мы покинули зал, он вызвал своего последнего свидетеля, некоего Луиса Рассела, бывшего агента ФБР, чьи показания были направлены против Роберта Оппенгеймера, бывшего в годы войны директором атомного центра в Лос-Аламосе. Нас же десятерых приплели сюда просто с помощью газетных заголовков вроде: «Допрос кинокрасных раскрывает шпионский заговор вокруг атомной бомбы!»

Вслед за этим победоносным «изобличением» Томас объявил о временном прекращении слушаний. Он утверждал, будто не только доказал, что мы протаскивали пропаганду в фильмы, но и что мы были сообщниками шпионов.

Вечером перед отъездом из Вашингтона домой мы поужинали вместе в ресторане. О том, сколь неусыпно за нами следили, свидетельствует следующее небольшое происшествие. За ужином Герберт Бибермен отпустил саркастическое замечание по адресу Эдгара Гувера, директора ФБР. Несколько недель спустя к нему домой явились два агента ФБР и предупредили его, что еще одна такая шуточка — и сверх года за неуважение к конгрессу он получит еще десять за клевету.

Неделю спустя продюсеры встретились в Нью-Йорке с финансировавшими их банкирами. Присутствовали все главы киностудий, в том числе Эрик Джонсон, который заверял нас, что, пока он жив, никаких черных списков не будет. Однако он, вполне живой и здоровый, способствовал превращению поражения Томаса в победу, поставив свою подпись под следующим документом:

«Заявление в «Уолдорф-Астории».

Члены Ассоциации кинопродюсеров крайне сожалеют о действиях десяти голливудцев, которые навлекли на себя обвинение в неуважении к конгрессу. Мы не желаем нанести какой-либо ущерб их юридическим правам, но их действия наносили ущерб их нанимателям и свели на нет их собственную ценность для кинопромышленности.

Мы немедленно уволим или отстраним без компенсации тех из этих десятерых, кто работает у нас, и не возьмем обратно ни одного, если он не будет оправдан судом или не очистит себя от обвинений и не заявит под присягой, что он не коммунист.

Наши члены готовы принять более широкие меры против тех в Голливуде, кто заподозрен в подрывной деятельности.

Мы готовы откровенно признать, что подобная позиция сопряжена с различными опасностями и риском. Есть опасность, что пострадают ни в чем не повинные люди, есть риск, что возникнет атмосфера страха. Творческая работа не может давать наилучшие плоды в атмосфере страха. Вот почему мы будем просить все голливудские гильдии сотрудничать с нами в деле отстранения подрывных элементов, защиты невиновных, ограждения свободы речи и свободы экрана при любом на них покушении...»

Под этим документом, переданным радиостанциями и напечатанным по всей стране, стояли фамилии глав всех киностудий — но не фамилии нью-йоркских и бостонских финансистов, которые настояли на нем.

На следующий же день Далтон Трамбо, Дональд Огден Стюарт и я были уволены компаниями «Метро-Голдвин-Мейер», а Ринг Ларднер — «XX век — Фокс». В тот момент только мы трое из всех десятерых непосредственно работали для киностудий.

В начале 1948 года мы вернулись в Вашингтон, явились в окружной суд и безо всякой процедуры, автоматически были признаны виновными и приговорены к уплате штрафа в тысячу долларов и году тюрьмы — максимальное наказание, предусмотренное за такого рода нарушение закона.

В тюрьму нас с Рингом Ларднером везли на поезде под стражей, сковав наручниками. Сопровождавший нас полицейский любезно посоветовал нам бросить на цепь пиджак, чтобы она не так бросалась в глаза. Правда, казалось, будто мы держимся за руки, точно дети, но мы все-таки решили последовать его совету.

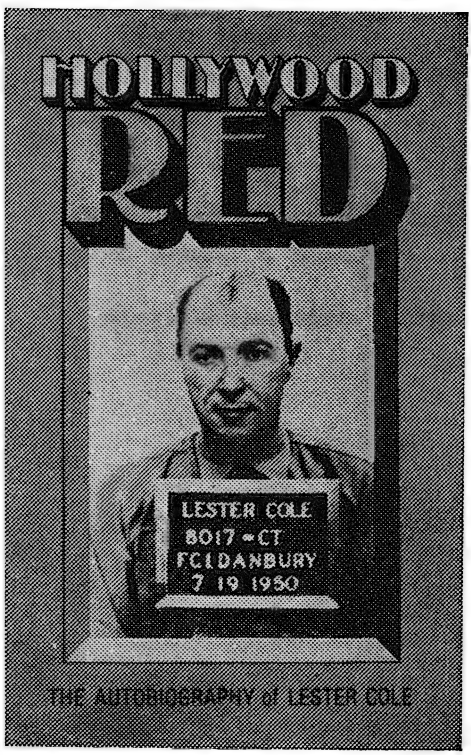
В тюрьму мы прибыли под вечер. С нас сняли наручники, раздели, поставили под душ, подвергли обязательной процедуре «обезвшивливания», выдали тюремное белье и одежду, сняли отпечатки пальцев, повесили нам на грудь номера и сфотографировали. Ринг стал номером 8016, а я — 8017.

Затем нас с Рингом развели по разным комнатам, и скучающий тюремный чин объяснил мне тюремные правила.

8

Выйдя на свободу, я начал работать официантом и продолжал писать пьесу, задуманную в тюрьме. Потом меня повысили в повара закусочной.

Однажды мне позвонил Алан Макс, в то время редактор «Дейли уоркер». Он пытался написать пьесу, но был недоволен тем, что у него получалось, и попросил меня прочесть ее. Мои советы так ему понравились, что он пригласил меня в соавторы. Я знал, что эту пьесу, направленную против расистских бесчинств на Юге, может поставить только левый театр, но в 1951 году левые театры ушли в область воспоминаний о менее неразумных временах. Тогда у меня возникла идея послать ее Бертольту Брехту. Он ответил, что она ему понравилась, и, к нашему восторгу, пьеса была поставлена в его театре и отлично принята прессой и зрителями ГДР.



Другой писатель, который покинул Голливуд до того, как комиссия по антиамериканской деятельности возобновила охоту на ведьм, и работал на телевидении редактором, раза два давал мне работу — переделку рассказов в короткометражные сценарии (под псевдонимом). Но потом он тоже стал жертвой травли и был сам уволен.

Навеки врезался в мою память сорок девятый день моего рождения — 19 июня 1952 года. Это был день, когда на закате предстояла казнь супругов Розенберг. Я бродил в одиночестве по пустынному берегу Кейп-Код и смотрел туда, где за спокойными водами бухты лежала нью-йоркская тюрьма Синг-Синг. У меня сжималось сердце: вот сейчас солнце закатится за горизонт здесь, закатится за горизонт там и будет включен электрический ток... Мысль об их твердости преисполняла меня горем и гордостью. Их отказ признать себя виновными, хотя любая малодушная просьба о помиловании могла бы спасти жизнь одному из них или им обоим, заставляла меня остро осознавать, как по сравнению с этим ничтожны испытания, доставшиеся на мою долю.

Сомкнулся мрак, а с ним перестали существовать Юлиус и Этель Розенберги. Их мужество было столь же велико, как справедливость их дела, и я поклялся себе, что тоже никогда не предам его.

Еще один друг пришел мне на помощь, устроив меня на склад итальянской фирмы, импортировавшей мраморные крышки для столиков. Восемьдесят пять долларов в неделю, восьмичасовой рабочий день — и время по вечерам, чтобы писать.

А в Голливуде лился и лился поток помоев. Более шестидесяти усердствовавших осведомителей выступило перед комиссией, прежде чем он иссяк четыре года спустя.

Наша Гильдия стала теперь называться Гильдией писателей Америки — но, меняя ее название, руководство с большими основаниями могло бы наречь ее «Гильдией писателей комиссии по расследованию антиамериканской деятельности». В черные списки мы попали не только по милости кинопромышленности — теперь мы были занесены в них нашей собственной Гильдией, которую многие из нас активно помогали создавать.

Честность, принципиальность, совесть — все было забыто или глубоко запрятано. Жалкие людишки, стоявшие теперь во главе, явно боялись, что и их

зачислят в коммунисты или попутчики, если они откажутся целовать сенатору Маккарти... ну, скажем, руку.

Огромное впечатление на меня произвело в те дни выступление перед комиссией Поля Робсона. На вопрос, является ли он членом коммунистической партии, Робсон ответил вопросом: «Что вы имеете в виду, говоря о коммунистической партии? Насколько известно мне, это не менее законная партия, чем республиканская или демократическая. Вы имеете в виду... партию людей, жертвовавших всем ради моего народа, всех простых американцев, всех рабочих, чтобы они могли жить достойно? Вы имеете в виду эту партию?»

В полную силу своего великолепного голоса он гневно объявил, что сама комиссия состоит из «неамериканцев» и «непатриотов».

Это была не только его личная большая победа. Его выступление вдохнуло мужество в тех, кого вызывали после,— среди них больше не нашлось ни одного «дружественного» свидетеля.

Теперь, когда я был вынужден работать под чужими именами, перемены в Гильдии имели для меня особое значение: вслед за антикоммунистической поправкой к конституции ее руководство в 1954 году ввело хитрую систему, препятствовавшую авторам, работавшим под псевдонимами, становиться ее членами. Продюсер, нанимавший такого сценариста, ставил под угрозу собственную карьеру, если бы об этом пронюхали сторожевые псы Гильдии. Экономически для автора, попавшего в черный список, это означало катастрофу: поскольку его псевдоним официально не признавался, он не мог получать гонорары за фильмы, показывающиеся по телевидению, и не мог платить взносы по социальному обеспечению. В результате между шестьюдесятью и шестьюдесятью пятью годами — наиболее важными для получения пенсии — я был лишен возможности делать эти взносы, а в результате позднее пенсия мне была начислена самая минимальная.

В начале пятидесятых годов мне неожиданно позвонил Боб Кемпнер, с которым я подружился в Нью-Йорке. Из Чехословакии приехала знакомая его жены, ее интересуют новые пьесы, которые подошли бы для чешских театров. Он читал мою пьесу «Цветы и корни» и советует немедленно прислать ее: если Мирославе Грегоровой она понравится так же, как ему, она переведет ее и предложит для постановки. Несколько месяцев спустя Мирослава написала, что пьеса пойдет летом по меньшей мере в двух театрах. Была весна 1959 года.

Меня и мою жену пригласили присутствовать на премьере в качестве почетных гостей. И тут же кто-то посоветовал, чтобы мы обязательно постарались попасть из Праги в Москву на Первый международный кинофестиваль. «Стараться» нам не пришлось: к тому времени мы как раз получили приглашение на фестиваль от советского консульства в Вашингтоне. В Москве нас встретила действительность, непрерывно нас поражавшая. Более приветливых и гостеприимных людей, чем я увидел там, трудно и представить себе...

Домой я вернулся буквально переполненный чувствами восхищения и радости от встречи с новым миром.

Сейчас, на пороге семьдесят седьмого года моей жизни, мне кажется, я не просто копчу небо. У меня еще хватает душевных и физических сил не оставаться в стороне от борьбы. Повторяю, на своем веку я видел примеры героического самопожертвования и рассчитанного коварства, мне улыбалась удача, меня преследовали беды, я наблюдал неколебимую стойкость и предательства, приобретал друзей, которых нельзя забыть, и врагов, которым нельзя простить.

Когда оглядываешься на свое прошлое, к самым счастливым воспоминаниям неизбежно примешиваются сожаления — некоторые очень горькие и редко свободные от сознания собственных ошибок. Но ведь не зря писал Фридрих Энгельс о том, что до утверждения повсеместно социализма человечество будет пребывать на стадии предыстории.

Дух мой укрепляет сознание, что я всегда оставался верным среде тружеников, из которой вышел. Верность их делу и идеалам я сохраню до конца дней.

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

О «времени негодяев», о себе...

Без малого четыре десятилетия минули с той позорной поры в истории США, которая прочно ассоциируется в нашем сознании с понятиями «маккартизм» и «охота за ведьмами». Сегодня, когда администрация Рейгана, безрассудно подхлестывая гонку вооружений, готова спалить нашу планету в огне ядерного апокалипсиса, когда ярый антикоммунизм и антисоветизм вновь стали официальной политической доктриной Вашингтона, а президент лично возглавляет «крестовый поход» против СССР, объявив эту страну «средоточием зла» в мире, события того постыдного времени вновь обретают зловещую актуальность.

Ото дня ко дню множатся факты преследований инакомыслящих: инспирируется травля священнослужителей, которые осмелились выступать против агрессивного милитаристского курса администрации Рейгана — неугодных руководителей Национального совета христианских церквей по указке Белого дома даже обвинили в «антиамериканизме»; подвергают гонениям бизнесменов, осмеливающихся «незаконно» торговать с Советским Союзом; развертывают кампанию клеветы на движение за ядерное замораживание в США, возрождая, по словам сенатора Эдварда Кеннеди, тактику времен маккартизма, когда всех инакомыслящих клеймили как врагов Америки. Даже Джон Леннон, недавно погибший кумир любителей поп-музыки, один из основателей группы «Битлз», и тот попал под наблюдение ищеек ФБР за свою поддержку движения против войны!

Некоторое время тому назад, когда были рассекречены кое-какие архивные документы ФБР, начали выплывать наружу факты, наглядно свидетельствующие о масштабах, целях и методах тайной слежки, которую осуществляло ФБР. Так обнаружилось — об этом писала, в частности, газета «Интернэшнл геральд трибюн» 16 марта 1983 года,— что ФБР двадцать с лишним лет вело слежку за Эрнестом Хемингуэем, пытаясь дискредитировать одного из крупнейших писателей мира[1]. Директор ФБР Гувер санкционировал эту акцию в те времена, когда Хемингуэй открыто встал на сторону испанских республиканцев, сражавшихся против фашизма, добывал для них санитарные машины и медикаменты. В полицейском досье на Хемингуэя собраны доносы платных осведомителей и кляузы тайных «доброжелателей», сфабрикованные американской охранкой поклепы на прославленного писателя и отчеты шпиков, ходивших за ним по пятам.

В предисловии к своей автобиографической книге, с которой в монтаже познакомился читатель, Лестер Коул красочно описывает, как произошла его встреча с досье, составленным на него в недрах ФБР.

«Я понимал,— пишет он,— что не смогу завершить свои воспоминания без некоторых документов, являвшихся неотъемлемой частью «официальной истории» моей жизни и моего времени. Прождав два года, я совсем было отчаялся получить затребованные бумаги и написал черновой вариант книги без них.

И вот 11 февраля 1980 года по почте наконец-то пришел материал, официально запрошенный и оплаченный мною. Сгорая от нетерпения, я втащил по лестнице к себе на второй этаж увесистую картонную коробку и торопливо распаковал ее. Поверх пяти грубо переплетенных томов лежали два письма, вежливость которых граничила с сердечностью. Одно было от Дэвида Фландерса, начальника соответствующего отдела ФБР, другое — от Кларенса Келли, директора. Послание г-на Келли оказалось циркулярным письмом, в котором разъяснялось значение шифров. Г-н Фландерс любезно уведомлял меня, что к письму приложено 856 страниц копий документов, хранящихся в архивах в таком же порядке. Далее он ставил меня в известность, что в отношении меня производилось расследование по категории дел «государственная безопасность», начатое в 1940 году и продолжавшееся до 27 октября 1972 года. Кроме того, в течение трех месяцев, начиная с сентября 1949 года, я был объектом расследования по категории дел «обман государственной власти». И, наконец, в июле 1972 года подвергся еще одному расследованию — на сей раз по категории «специальный вопрос государственной безопасности», одновременно продолжая оставаться объектом расследования, начатого в 1940 году. Сто с лишним страниц более чем тысячестраничного досье были сплошь замазаны черной тушью».

«На одном листе,— рассказывает Л. Коул,— тушью был залит весь текст, кроме одной-единственной строчки: «ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: никаких. Сообщается для Вашего сведения».

«Сыщики следовали за мной по пятам повсюду, от Голливуда до Нью-Йорка, а когда я уезжал за границу, меня препоручали бдительным заботам ЦРУ,— пишет он.— Вся моя зарубежная переписка перехватывалась и проверялась на почте. Какой-то анонимный агент списывал с конвертов фамилии всех моих корреспондентов. Прочитывались ли сами письма? Не знаю. Возможно, что ответ на этот вопрос отыскался бы на тех ста с лишним полностью замазанных страницах».

Материалы досье пестрели многочисленными отчетами сыщиков, которые вели за писателем неусыпное наблюдение. Коул насчитал более сотни стереотипных донесений, в которых сообщалось, что «темно-зеленый «бьюик» (или желтовато-коричневый «крайслер») с таким-то и таким-то номерным знаком, зарегистрированный, как было затем установлено, на имя Лестера Коула, стоял возле дома Альберта Мальца (или Ринга Ларднера, или Джона Говарда Лоусона)». А сам «объект расследования»

---

[1] См. «Литературную газету», № 15 от 13 апреля 1983 г.

даже не подозревал о пристальном интересе ФБР к его особе, покуда в феврале 1961 года его не посетили два франтоватых господина в костюмах-тройках и соломенных шляпах и не выразили желание побеседовать с ним и с его женой.

Последние документы досье датировались октябрем 1972 года. «А может быть, слежка не прекратилась и мне просто не выслали материалы за последние восемь лет?» — спросил себя Коул и отправил соответствующий запрос на имя начальника отдела ФБР. Через две недели пришел ответ: «Расследование в отношении Вас закрыто 27 октября 1972 года, поскольку было сочтено, что Вы больше не представляете ни фактической, ни потенциальной угрозы для государственной безопасности Соединенных Штатов».

«Тридцать два года! — насмешливо восклицает Лестер Коул. — Столько времени следить, наблюдать, шпионить за мной и мне подобными! Заплатить сотни тысяч кровных долларов налогоплательщиков агентам и осведомителям — и все впустую! Каким же разочарованием это, наверное, было для них!»

По понятным причинам коммерческая пресса старается предать забвению маккартистскую главу нашей истории, но совесть Америки не позволяет забывать о ней — слишком это было бы опасно для нас самих и для всего мира!

«Временем негодяев» назвала свою книгу воспоминаний, опубликованную в 1976 году, Лиллиан Хелман. Ее меткое заглавие «намертво» срослось в сознании людей с оргией маккартизма, стало общеупотребительным образным определением-метафорой той эпохи. В горьких, глубоко выстраданных мемуарах Лиллиан Хелман, по праву занимающей одно из первых мест в современной американской драматургии, бесславное «время негодяев» увидено глазами честного и мужественного человека либеральных левых убеждений.

Книга Лестера Коула «Голливудский красный» вышла в свет в 1981 году. Писатель-коммунист Лестер Коул, кинодраматург, чьи сценарии легли в основу ряда выдающихся американских фильмов,— один из знаменитой «голливудской десятки», которой суждено было оказаться в числе первых жертв антикоммунистической травли в США.

При всем различии в мировоззрении и подходе к изображаемому авторов названных двух книг обе они с достоверностью подлинных документов, с огромной обличительной силой рисуют живую картину «времени негодяев», воссоздают самый его дух.

Книгу Л. Хелман, исповедально личную, мучительно искреннюю, нельзя читать без боли. То, о чем в ней рассказано,— истинно Американская трагедия. Трагедия, пережитая многими людьми моего поколения. Сам я, как и многие мои товарищи, вынужден был покинуть родной дом, жену и троих малышей и в течение четырех лет работать подпольно. Я вспоминаю своих друзей, подвергшихся преследованиям ФБР, разлученных с семьями, брошенных в тюрьмы. Вспоминаю Генри Уинстона, который заявил, выйдя из тюремной камеры после шестилетнего заключения: «Я потерял зрение, но остался верен своим взглядам и убеждениям». Вспоминаю Гэса Холла, осунувшегося, изможденного, но не утратившего твердости после шестилетнего пребывания в тюрьме. Вижу лица Этель и Юлиуса Розенбергов, которые смертью своей бросили вызов подлому времени негодяев.

Страна превратилась в подобие охотничьего угодья, где велась облава на прогрессивных деятелей. Представители творческой интеллигенции оказались перед выбором: быть охотниками или преследуемой дичью. К несчастью, немало оказалось и тех, кто присоединился к травле, покрыв себя несмываемым позором.

Разумеется, «охота за ведьмами» и маккартистская истерия были бы невозможны без усердной поддержки нашей «свободной прессы». Средства массовой информации, принадлежащие крупному капиталу, подняли неистовую антикоммунистическую свистопляску, еще до суда объявив Розенбергов «советскими шпионами». Каждое обвинение, выдвигавшееся сенатором Маккарти, подавалось как очередная сенсация. Газеты и журналы сообщали имена и адреса коммунистов, открыто подстрекая к расправе над ними. Больше чем какая-либо другая сила «свободная печать» США способствовала созданию атмосферы истерии и страха.

Была, впрочем, и определенная система в этом маккартистском безумии. Гарри Уилс, автор предисловия к книге Лиллиан Хелман, вспоминает о том, как небезызвестный сенатор Артур Вандерберг, в ту пору лидер республиканцев в сенате, сказал президенту Трумэну, что, если тот хочет провести в жизнь свою внешнеполитическую программу, он должен будет «запугать страну до потери сознания». Ведь «холодную войну» нельзя было вести, не позаботившись предварительно о том, чтобы вытеснить из сердец миллионов американцев теплые чувства к советскому союзнику, заменить их страхом перед «советской угрозой».

Прогрессивная общественность США, и в особенности писатели, актеры, работники кино, стали одной из главных мишеней «охоты за ведьмами». Начатое в 1947 году комиссией по расследованию антиамериканской деятельности преследование так называемых «красных» в Голливуде развязало кампанию травли, логическим завершением которой и явилась маккартистская вакханалия 50-х годов. Преследовали не за поступки, а за убеждения, за то, что не желали становиться предателями, отстаивали свое человеческое и гражданское достоинство.

Лиллиан Хелман характеризует руководителей кичкомпаний как «миллионеров-лакеев», со всех ног бросившихся угождать «охотникам за ведьмами». Сама она, не

в пример этим богатым угодникам, отказалась сообщить комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, куда она была вызвана для дачи свидетельских показаний в 1950 году, какие бы то ни было «компрометирующие» сведения о прогрессивных деятелях кино и театра. Мужество и стойкость дорого обошлись писательнице. Она была тоже занесена в «черные списки», тоже подверглась слежке со стороны ФБР и ЦРУ. В 1952 году Л. Хелман обратилась в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности с письмом, в котором бросала ей открытый вызов. Это ставшее знаменитым письмо прозвучало как призыв к борьбе за достоинство личности, за соблюдение принципов демократии. Отповедь мракобесам, учинившим «охоту за ведьмами», подобно вспышке молнии осветила тьму «негодяйских времен». «Я не могу и не желаю перекраивать мою совесть по моде нынешнего года»,— заявила Л. Хелман. Это было сказано в пору, когда, повторяю, иные левые деятели культуры поступались своей совестью. Видный американский режиссер и писатель Элиа Казан не только назвал по требованию комиссии имена, но даже поместил в «Нью-Йорк таймс» пресмыкательское объявление о своей «лояльности». Драматург Клиффорд Одетс, автор прогрессивных пьес «В ожидании Лефти», «Проснись и пой» и «Золотой мальчик», запятнал свою репутацию, предал героев собственных произведений, дав показания перед комиссией маккартистских расследователей в качестве «дружественного свидетеля», назвавшего имена старых друзей и сотрудников. А известный актер Чарлз Лоутон, который был близким другом Бертольта Брехта, получив телеграмму от правительства ГДР с приглашением на похороны друга, немедленно позвонил шефу ФБР Эдгару Гуверу. Уведомляя его о получении телеграммы, он указывал, что за это приглашение не отвечает и что оно не должно ставиться ему в вину.

Постыдные эти факты не могут быть просто преданы забвению. Многим из тех, кто сегодня прислушивается сочувственно к рассуждениям «правозащитников», печалящихся о горстке советских «диссидентов», а в прошлом ради спасения собственной шкуры предававших своих друзей и коллег, они должны послужить уроком.

Лиллиан Хелман ищет ответа на мучающий ее вопрос: как могли ее либерально мыслящие соотечественники малодушно отказаться от своих принципов, заглушить в себе голос совести? «До конца 40-х годов я полагала, что образованные, интеллигентные люди никогда не изменят своей вере в свободу мысли и слова, в право каждого человека иметь свои собственные убеждения, а следовательно, и в то, что каждому, кто мог бы подвергнуться преследованиям за свои убеждения, необходимо протянуть руку помощи. Однако почти никто пальцем не пошевелил, когда явился Маккарти со своими подручными. Почти все — кто делом, кто, наоборот, бездействием — способствовали разгулу маккартизма...»

Жаль только, что, избавляясь от иллюзий, писательница явно сгустила краски, что не нашлось в ее книге места, чтобы отдать должное роли прогрессивной американской интеллигенции в истории мужественной борьбы за демократические принципы: достаточно вспомнить хотя бы имена Тома Пейна, Томаса Джефферсона, Фредерика Дугласа, Генри Торо, Марка Твена, Джона Рида, Линкольна Стеффенса. Больше можно было бы сказать и о тех ее коллегах-современниках, кто, следуя их славным традициям, не спасовал перед маккартистами. Разве не возвышается, к примеру, над «людишками негодяйских времен» пророческая фигура Поля Робсона? Мужество и честность, проявленные в конце 40-х — начале 50-х годов такими неустрашимыми деятелями культуры, как Робсон, вдохновили и продолжают вдохновлять сегодняшних борцов за мир и свободу. И все же горькая и честная книга воспоминаний Лиллиан Хелман о многом говорит современникам, учит их зоркости, а тем, кто в строю, помогает выстоять в нелегкой борьбе сегодняшних дней.

С суперобложки книги «Голливудский красный» смотрит на читателя заключенный № 8017 федерального исправительного (!) заведения (тюрьмы) в городе Данбери, штат Коннектикут. Заключенный № 8017 — Лестер Коул, писатель, драматург, автор 35 сценариев (в том числе и сценария такого популярного фильма, как «Рожденная свободной»), критик, один из основателей Гильдии сценаристов. Вместе с другими членами знаменитой «голливудской десятки» Лестер Коул оказался за решеткой: после безуспешной трехлетней юридической борьбы во всех судебных инстанциях, вплоть до верховного суда, 19 июля 1950 года стал узником тюрьмы в Данбери и вышел оттуда лишь год спустя.

Мало того, что писателя несправедливо лишили свободы,— в течение трех с лишним десятилетий у него была отнята возможность творить и зарабатывать себе на жизнь трудом профессионального киносценариста. Имя его до сих пор значится в «черных списках» Голливуда. В течение тридцати двух лет за ним велась полицейская слежка!

«Голливудский красный»! Только по-настоящему мужественный человек мог взять на себя смелость превратить уничижительную кличку — клише антикоммунистической прессы — в гордо звучащий заголовок — присягу в верности своей партии и ее принципам, подтвержденную всей жизнью, более чем шестидесятилетней героической борьбой за гуманный образ жизни, социализм.

Камня на камне не оставляет Коул от карикатурного стереотипа представлений о коммунисте, долго и усердно насаждавшихся в сознании американцев официальной пропагандой. Его главное оружие — правдивость и искренность, с которыми он поведал читателю историю своей честной жизни. Со страниц его книги встает не благолепный портрет праведника, а живой, полнокровный образ американского коммуниста.

Сейчас, на пороге своего восьмидесятилетия, Лестер Коул с юношеской энергией и верой в высокие идеалы выступает борцом за самое важное дело на свете — спасение человечества от ядерной катастрофы. Коула можно встретить сегодня на улицах Сан-Франциско среди участников маршей мира, в рядах антирасистских демонстраций, демонстраций протеста против агрессивных действий США в других странах, среди демонстрантов в защиту права на труд для 12 миллионов американских безработных. Вы найдете его также за письменным столом в редакции газеты «Пиплз уорлд», боевого органа коммунистов Тихоокеанского побережья США. Его острый аналитический ум и талант критика отданы неустанным поискам прогрессивного на сцене и на экране, принципиальной борьбе против всего, что калечит и убивает человеческое в людях.

Лестер Коул нарисовал, пожалуй, наиболее подробную и правдивую картину позорной «эры». Завершая свое предисловие, он пишет:

«В памяти большинства американцев сохранилось мало воспоминаний о мрачных десятилетиях, отмеченных деятельностью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. С 1938 по 1975 год она, подобно зловещему шутовскому карнавалу, прошла по нашей стране, разбивая семьи, превращая друзей во врагов, губя репутации, ломая людям жизнь. Отвращение широкой общественности к тому постыдному периоду в истории нашей страны было столь велико, что в конце концов привело к ликвидации комиссии в 1975 году. Но правые идеологи нынешней администрации уже возродили к жизни подкомиссию сената по внутренней безопасности и прилагают все усилия к тому чтобы создать новую комиссию по расследованию антиамериканской деятельности при палате представителей».

Не менее важно и другое: мужественные, честные книги Лиллиан Хелман и Лестера Коула должны послужить всем американцам серьезным напоминанием о том, что под аккомпанемент антисоветской и антикоммунистической истерии приходят только «времена негодяев» — времена, против возвращения которых они выступают с такой силой и страстью.

МАЙК ДЭВИДОВ

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

◆

Антирубрика

ЖАРГАЛЫН БАРАМСАЙ (МНР)

Жду ответа...

Здравствуйте, уважаемый учитель! Я всегда буду помнить, что именно Вы воспитали во мне художественный вкус, не только привили любовь к книгам, но и зародили в моей душе неистребимое желание писать самому.

Шлю Вам привет из деревни и желаю больших творческих успехов. С большим удовольствием прочел Вашу новую повесть. Мне очень нужен Ваш совет. Дело вот в чем.

Передо мной лежит рассказ, он весь изрисован разноцветными пометками и вопросительными знаками. Рассказ называется «Тень». Помните, я показывал Вам его несколько месяцев тому назад? Там идет речь об одном сбившемся с пути парне. Я отнес его в аймачную [1] газету, но товарищи из редакции потребовали внести в рассказ исправления. У меня голова кругом пошла — столько было замечаний...

Напомню вам содержание рассказа. Он начинается соревнованиями по борьбе, в которых участвуют Намжил и Хулгар. Хулгар, более опытный борец, подставляет подножку Намжилу и ловко кладет его на лопатки. Литработник из газеты посоветовал переделать эпизод, и вместо борьбы в «красном уголке» я организовал танцы. Но поскольку парни не могут танцевать друг с другом, то мне ничего не оставалось, как превратить одного из героев в женщину. К счастью, это оказалось просто — я прибавил к имени Намжил слог «ма», и получилось женское имя Намжилма. Если в первоначальном варианте Намжил женится и потом идет в армию, то после превращения в женщину его судьбу пришлось круто изменить. Я исправил также то место в рассказе, где Хулгар валяется пьяным на улице. Теперь он сидит в саду на скамейке с книгой и думает над новым рационализаторским предложением. Если раньше ему объявляли строгий выговор и понижали зарплату, то в новом варианте его награждают и товарищи по работе выражают ему благодарность за ударный труд. Пришлось также вычеркнуть эпизод, где Хулгар спорит с начальством.

Редактор настоял на том, чтобы Хулгар не разводился с женой, а, напротив, был образцовым семьянином. Поэтому в рассказе я заставил Намжилму полюбить Хулгара, а потом поженил их. Появился ребенок, но я не решил еще кто — мальчик или девочка. Интересно, кто больше подойдет редакции? А вы мне что посоветуете?

Возьмем второстепенного героя. Его зовут Бор. В первом варианте он отлынивал от учебы, шатался и в городе и в деревне. Теперь же парень становится рекордсменом республики — самым первым среди животноводов — и уезжает за границу учиться в аспирантуре. Не удивляйтесь, что я воскресил из мертвых человека, который погиб в автомобильной катастрофе. Я воскресил Бора, чтобы показать, на какие чудеса способна современная медицина.

Мне сказали, что рассказ слишком велик для газеты, и я сократил целый кусок о спекулянтах. Да, еще вот что. В старом рассказе молоко на маслозавод возили на телегах, а теперь его переправляют на вертолете. Имена героев: Хулгар — сурок и Бор — серый — звучат как-то не эстетично, поэтому я заменил их на Мэргэн — мудрый и Цагаан — белый.

Хочу спросить Вас. Ведь пока в медицине еще не было случая воскрешения из мертвых? Значит, мой рассказ будет считаться фантастическим? Или каким? Срочно ответьте!

С уважением Ваш ученик.

P. S. В новой редакции рассказ называется «Свет».

[1] Аймак — административно-территориальная единица Монголии, примерно равная области.

Сила воображения

Уважаемый начальник!

Нет у меня больше терпенья и сил. Вынужден написать Вам это письмо. Позавчера вечером со мной поспорил мастер Дамба. В присутствии Наран, которая хорошо ко мне относится, он обозвал меня свиньей. Из-за этого я теперь не могу работать, две ночи подряд не сплю.

Свинья известна своей неряшливостью и нечистоплотностью. Выходит, что я грязное животное? И жена моя — свинья, и дети мои, такие милые крошки,— поросята? Если вдуматься в это оскорбление, то получается, что он очернил и прекрасный дом, построенный для нас государством, назвав его свинарником, а пища, которую мы употребляем,— это, значит, пища для свиней? Пусть бы это оскорбление касалось только меня: я человек маленький. Но ведь оно распространяется— страшно подумать — и на Вас, начальник. Поскольку Вы мой начальник, то Вы превращаетесь в свинопаса?! Точно! Нет никакого в том сомнения!

По свежим следам Вы должны вывести мастера Дамбу на чистую воду. Давайте обсудим этот вопрос вдвоем, разработаем его и представим на рассмотрение руководству треста. Я надеюсь, Вы хорошенько разберетесь в этой ситуации и поймете, что я Ваш доброжелатель.

С уважением Чойжинпил.

Перевод с монгольского ЛИДИИ СКОРОДУМОВОЙ

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС (США)

Пространство потрогать рукой

Спою я про племя бродяг,
пока что не мертвых:
вон юные ведьмы летят
на утренних метлах,

и голод скрывать не впервой
задирам мальчишкам.
Их много, но им повезло,
признаться, не слишком.

В зеленое сердце листка
вхожу неизменно;
есть в мире мой собственный мир —
моя мизансцена.

Я вовсе не прочь описать,
как мается демов
по истому зову небес...
Ответьте мне, где он?

Мы лучше, читатель, с тобой
пониже поищем:
здесь каждый предстанет, поверь,
гонимым и нищим.

Я просто хочу рассказать,
как пасмурным днем
я их на дорогах встречал,
палимых огнем.

Девчонка увидела мир,
узнав много бед.
Мальчишка ослеп, но узрел
тот, внутренний свет...

Везде, в каждой точке земли,
за каждой строкой
пространство стремятся они
потрогать рукой!

Мелодия карусели

Поворот за поворотом, снова поворот.
Словно лилипуты в цирке, катится народ.

Мы всего лишь кривая ухмылка творца,
и зовется звезда «Верь-не-верь» в нашу честь...
Каждый видит, как пьяный, что сосед очень странный,
каждый прав, безусловно: ведь все так и есть.

Поворот за поворотом, снова поворот.
Словно лилипуты в цирке, катится народ.

Мы потеем и пыжимся ради любви.
Что же это такое — любовь, наконец?
Просто не без усилий глупый маленький Билли
испытает все то же, что прежде — отец.

Поворот за поворотом, снова поворот.
Словно лилипуты в цирке, катится народ.

Мы можем скакать лошадкам под стать
или встать, как часы, но внезапно.
Нет для грусти резона: ведь начало сезона,
будет новая ярмарка завтра!

Поворот за поворотом, снова поворот.
Словно лилипуты в цирке, катится народ.

Блюз кухонной двери

От простуды старуха моя померла.
Все сигары курила и дряхлой была.
Ребра как у скелета, морщинистый нос.
Ее ветер из кухонной двери унес.

Но и я не моложе ничуть, чем она.
Все сигары курю да сижу у окна.
Вот и выгляжу что-то неважно теперь...
Запирайте покрепче проклятую дверь!

Старые люди любят

Старые люди любят
некоторые условности:
почта должна прибывать
ровно в три сорок пять,
разгадка кроссворда должна находиться
в левом верхнем углу
двадцать третьей страницы.

Вес ребенка
и обуви точный размер,
сумма счета
и когда он придет, например...

Укажите место, где это случилось,
не причину, но время точно.

Старые люди
любят все, что прочно,
и не хотят переступать
через некоторые условности.

Их не тянет бродить среди гама и грома
в будущем, где все незнакомо,
так далеко от дома.

Они вовсе не хотят переступать
через то, что им самим под стать.
Через эти условности
(перечислим их вновь):
имя, дата и место,
вес ребенка, любовь.

Правда, свойственно это лишь старым людям...
Но в конце концов мы все там будем.

Перевод с английского ЕЛЕНЫ ПЕЧЕРСКОЙ

Среди книг

Издано в СССР

«ВО ВСЕ ВРЕМЕНА И НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ...»

Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Москва, «Наука», 1982.

В VII веке в поисках высшей истины китайский монах, преодолевая горы и реки, шел на Запад. В XX веке, одержимый стремлением к познанию высшей мудрости, немецкий писатель ищет ее на Востоке. Этих людей разделяют века и расстояния, а роднит их общая цель, сближает место притяжения — Индия. Для китайца эта страна была Западом, для немца — Востоком.

Понятия Восток и Запад — условные, неопределенные, и все же они существуют, и временами считалось, что они никогда не сойдутся и тем более не смогут понять друг друга. А они встречались давно, и «связи Запада с Востоком,— как справедливо пишет С. Ф. Ольденбург,— старинные». Взаимоузнавание и взаимодействие восточной и западной культур началось во времена седой древности, оно продолжается до сих пор, и законченным этот процесс признать нельзя. Уже давно похоронена легенда о несовместимости культур, в основе которой лежали разные философские и религиозные учения.

Итальянские купцы XIV века, совершая паломничество к святым местам, удивлялись и поражались странным и чудным для них верованиям и обычаям и в то же время сталкивались с вещами, знакомыми и понятными. Вера и боги в землях через которые они двигались были иными, а разбойники и чиновники такими же как в родной Италии.

Преодолеваются ложные представления, отбрасываются поверхностные оценки (такие скажем как Восток — символ неизменного покоя и пассивной созерцательности а Запад — образ динамизма и активного стремления к переменам). И все же общее сходство не снимает проблемы их различия, осознать и осмыслить которое и пытаются на протяжении веков любознательные люди — одни, чтобы, узнав, отвергнуть, другие, чтобы, поняв, принять.

Выпущенный издательством «Наука» сборник «Восток — Запад» разнообразен по составу. Читатель найдет в нем и записи итальянских паломников, и заметки об индийской и китайской культуре Германа Гессе, интересное исследование В. Н. Зайцева о персидском поэте Омаре Хайяме и его талантливом английском собрате — переводчике Э. Фитцджеральде, статью В. В. Малявина о влиянии китайской поэзии на творчество американца Эзры Паунда.

Материалы разные и по содержанию, и по форме, и по стилю, но все они пронизаны одной благородной целью — сделать недоступное доступным, открыть то, что для многих было скрыто за семью печатями, сделать еще один шаг в деле понимания Востока, о чем и говорится в предваряющей сборник прекрасной статье С. Ф. Ольденбурга, который, говоря о культуре Востока, писал, что «мудрость и красота его нужны нашей жизни, которая станет беднее без них».

Эта мудрость и красота очаровали и заворожили англичанина, который, прочитав четверостишия средневекового персидского поэта, не мог не увлечься ими и, увлекшись, посвятил свою жизнь переводу его стихотворений на английский язык, чем обогатил и мировую литературу. В. Н. Зайцев, досконально изучивший историю встречи представителей двух различных цивилизаций, показывает, как, открыв Омара Хайяма, Эдвард Фитцджеральд открыл и себя, от чего выиграли и тот и другой, а в целом — и общечеловеческая культура. Тонко разбирая и сопоставляя оригинал с его переводом, В. Н. Зайцев показывает и сходство и различие в жизненных позициях английского и персидского поэтов, их философского мировоззрения, их отношения к добру и злу, правде и неправде. Анализ В. Н. Зайцевым поэмы Фитцджеральда и четверостиший Омара Хайяма вызывает большое уважение к исследовательской работе, проделанной автором, и вряд ли оставит равнодушным читателя.

Значительное место занимают в сборнике эссе, заметки, выдержки из писем Германа Гессе; его мотивы влечения к восточной культуре хорошо объяснены в статье Р. Г. Каралашвили, которому мы и благодарны за возможность ознакомиться с мыслями

немецкого писателя. Герман Гессе обнаружил в индийской и китайской философии те идеи, которые он находил и в европейском мире. Он сам признается, что вначале его влекло стремление освободиться от Европы и европейского мышления, найти другие пути осмысления жизни, оценки ее смысла, но по мере проникновения в глубины индийской и китайской культур для него стало существенным и значительным не столько осознание различия между Европой и Азией, между Востоком и Западом, сколько постижение истины самой по себе. Гессе объясняет своим друзьям, читателям, почему он был пленен, покорен восточным миросозерцанием, и его исповедальные высказывания позволяют нам понять не только мотивы увлечения Гессе Востоком, но и глубже вглядеться в те черты традиционной самобытной культуры Китая и Индии, которые и сегодня определяют жизнь народов этих стран. Читая заметки Германа Гессе, невольно задаешься вопросом, почему немецкий писатель-гуманист восторженно воспринимает и оценивает, как магическое средство духовного возрождения и обновления, способное освежить пыльную атмосферу западной жизни, ту философию, то отношение к миру и человеку, которые на Востоке всеми силами пытаются отбросить как барьер на пути преодоления социальной и культурной отсталости. Ведь многие представители интеллигенции стран Востока духовную самобытность ассоциируют с отсталостью и стремятся от нее избавиться, чтобы скорее и увереннее пойти по пути прогресса и догнать в своем развитии страны Запада. Но Герман Гессе — не политический деятель и не экономист, его волновало другое. Будучи неудовлетворенным в своих поисках смысла жизни, правды и мудрости, он находит в Индии высокий аскетизм, отречение от мира, а в китайских классических канонах находит «близость к жизни, гармонию благородной, высоконравственной духовности с игрой и очарованием чувственной повседневности — широкий диапазон от высокой одухотворенности до наивного наслаждения жизнью». Сравнивая философские основы культур двух великих азиатских народов, Гессе замечает: «Если аскетическая индийская мудрость с радикальностью ее требований была юношески-пуританской, то мудрость Китая была мудростью опытного, успевшего поумнеть, не чуждого юмора мужа, которого опыт не разочаровал, а знание не сделало легкомысленным».

Возможно, не все согласятся с мнениями и суждениями немецкого писателя о духовной сущности индийской и китайской культуры. Читая сочинения древних мыслителей Востока, Гессе искал в них ответы на мучившие его сомнения, и, естественно, плоды собственных раздумий и размышлений соединялись, сплетались в его сознании с мыслями, почерпнутыми в классических книгах Востока. И все же открытия, сделанные Гессе для себя, небезынтересны и для нас. Его мнение о близости и родстве человеческих душ, критика предрассудков о жестокости, присущей якобы жителям восточных стран, осуждение им попыток обратить их в христианскую веру свидетельствуют о широте подхода немецкого писателя, который, будучи гуманистом, видел в мудрости Востока и Запада «не враждебные, борющиеся силы, но полюса, между которыми раскачивается жизнь». Из заметок и писем Гессе хочется привести одно высказывание, которое хорошо передает его стремление видеть мир единым при сохранении многообразия: «Будь я музыкантом, я без труда написал бы двухголосную мелодию, состоящую из двух линий, из двух тональностей и двух рядов, которые соответствовали бы друг другу, дополняли бы друг друга, друг с другом боролись, друг друга обуславливали, во всяком случае, в каждый миг, в каждой точке ряда находились бы в теснейшем и живейшем взаимодействии и взаимосвязи».

Изучение восточной мудрости привело Германа Гессе к выводу о целостности и единстве человечества и созданной им в разных землях, на разных языках, но общей по своему глубинному духу культуры. Одно и то же толкование человеческого бытия писатель обнаруживал у индийцев, китайцев и христиан, и он приходит к заключению, что «человек — всюду один и тот же, что во все времена и на всей земле нужды и стремления людей едины», добавляя, что «для человека, стремящегося к истине, не будет ничего более важного и утешительного, нежели знание, что различие рас, цвета кожи, языков и культур зиждется на Единстве, что не существует разных людей и духовностей, но есть лишь одно Человечество, одна Духовность».

О том, что встреча представителей западной культуры с духовным миром Востока может принять различные формы, рассказывает статья В. В. Малявина. Автор — прекрасный знаток китайской литературы — исследует творчество американского поэта Эзры Паунда с точки зрения влияния на него классической поэзии Китая. В. В. Малявин раскрывает особенности этого влияния, глубоко анализирует, казалось бы, такое парадоксальное явление, когда поэт-модернист, бунтующий против традиций и сложившихся канонов, обращается к традиционной поэтической культуре китайского народа, проникнутой духом конфуцианства. И тем не менее, как отмечает В. В. Малявин, американский модернист в поисках новых средств и форм выражения нашел в поэтической традиции Китая «изысканное сочетание конкретной, экспрессивной образности и целомудренно-невысказанной духовности». У поэтов средневекового Китая американец, живший в XX веке, обнаружил то, что, по его мнению, недоставало европейской эстетике, а именно — «глубинное сродство человеческого духа и естественного мира». Знакомство с китайской, а также с японской поэзией оставило заметный и значительный след в творчестве Эзры Паунда.

Оценивая сборник «Восток — Запад» в целом, можно сказать, что содержащиеся в нем материалы раскрывают перед нами сложный процесс и различные формы соприкосновения, развитие связей и взаимопонимания восточной и западной культур. В XIV веке жители Востока казались европейским путешественникам дикими, а обычаи их нечестивыми, в XX веке культура Востока —

предмет почитания, подчас благоговейного, и учебы. Восток с каждым днем становится все ближе и понятнее Западу, и дело не только в том, что конные повозки сменились реактивными самолетами, дело в том, что культурный обмен и духовное общение приобрели огромные масштабы, и все же многие особенности восточной культуры остаются нераскрытыми, недопонятыми; и не случайно поэтому каждая новая книга, посвященная этой проблеме, встречается с неостывающим интересом. Надо надеяться, что редколлегия сборника продолжит начатое ею полезное и благородное дело и познакомит советского читателя с новыми публикациями, переводами и исследованиями и выполнит тем самым пожелание С. Ф. Ольденбурга «поставить Восток ближе к широким кругам русских сознательных людей».

Л. ДЕЛЮСИН

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОЭЗИЯ...

Современная вьетнамская поэзия. Библиотека вьетнамской литературы. Составители И. Зимонина, М. Ткачев. Москва, «Прогресс», 1981.
Стихи молодых поэтов Вьетнама. Библиотека вьетнамской литературы. Составитель Н. Никулин. Москва, «Молодая гвардия», 1982.

Наканун давнего Нового года советского гостя, обитателя ханойской гостиницы, окликнула при входе дежурная:

— Вам письмо!

— Кто же успел написать мне? Я только что приехал!

— Президент нашей республики! — сверкнула улыбкой девушка.

В конверте оказалась карточка из плотной бумаги с отпечатанными на ней стихами президента Хо Ши Мина: восемь изящных, музыкальных строк. Шла война, и в своем новогоднем стихотворном послании президент-поэт выражал уверенность в скорой победе. Подобные письма получили в тот день и другие гости вьетнамской столицы.

Отправившись вскоре в поездку по стране, советский гость оказался через несколько дней на электростанции у знаменитого моста Хамжонг, подвергавшейся, как и сам мост, почти непрерывным бомбардировкам, но не прекращавшей работы. Его внимание привлекла стенгазета в проходе, а в стенгазете — строки, явно стихотворные.

— Это стихи нашего рабочего,— пояснили гостеприимные хозяева.— Хотите взять их на память? — И парторг стал отклеивать листок со стихотворением от стенгазетного полотнища.— Ничего, не волнуйтесь, наш товарищ непременно напишет нам новые стихи, и мы прикрепим их сюда же!..

С глубокой древности во Вьетнаме слагали стихи государственные деятели и полководцы, простые труженики и рядовые воины. И сегодня написать стихотворение может почти любой вьетнамец. Так что умением составлять ритмически организованные строки здесь никого не удивишь. И нужны особые данные, чтобы стать признанным поэтом в стране, где даже малые дети, едва научившиеся говорить, нередко лепечут стихотворные строки, и лучшие из них регулярно печатаются в серьезных газетах. И когда в середине 60-х годов в стране получили известность стихи семилетнего мальчика по имени Чан Данг Кхоа, это не было для Вьетнама чем-то из ряда вон выходящим. Юный поэт писал о том, что его окружает — о своем маленьком дворике и огромном небе над ним, с которого так ласково смотрит по вечерам «бабушка луна», о снующих под дождем цыплятах, о том, как он сам укачивает в гамаке младшую сестренку Зянг:

Гамак поет средь тишины.
Цветет июль вокруг.
Спит птица на одной ноге.
Вот-вот уснет бамбук...
Гамак поет, и сладок звук
в полдневной тишине.
Малышка Зянг из гамака
сквозь сон смеется мне.

(«Песня гамака», *перевод В. Вебера*)

С такой же непосредственностью писал он и о бойцах-зенитчиках, мимо огневой позиции которых он ходил в школу и из школы — страна сражалась:

...бойцы хлопочут, суетятся — вдруг
все замерли... В кустах какой-то звук...
Прислушался настороженно взвод...
А это птица в зарослях поет!

(«Пение птицы», *перевод М. Павловой*)

В восемнадцать лет, будучи автором уже двух книжек стихов, Чан Данг Кхоа был принят в Союз писателей Вьетнама. Сейчас он — один из широко известных поэтов своей страны. Его стихи вошли в книгу «Стихи молодых поэтов Вьетнама», выпущенную издательством «Молодая гвардия» в серии «Библиотека вьетнамской литературы». Несколько раньше издательство «Прогресс» опубликовало в той же серии том «Современной вьетнамской поэзии». Сходно оформление, книги эти взаимно дополняют друг друга, составляя вместе некий поэтический двухтомник.

«Я очень люблю писать, сидя за столом у окна, выходящего на тихое озеро и фруктовый сад. Но я больше доверяю написанному в трудных условиях»,— эти слова поэта старшего поколения Те Лан Вьена, обращенные к молодому собрату, приводит в предисловии к «Стихам молодых поэтов Вьетнама» известный журналист М. Ильинский. В трудных условиях написано подавляющее большинство стихов, вошедших в обе книги. Начиная с произведений старейшего (ныне покойного) поэта Ту Мо — сатирика и автора стихов для детей, открывающих «Современную поэзию Вьетнама» Датированные еще 30-ми годами, они обличают колониальные порядки, зовут к борьбе А в разгар вооруженной борьбы, уже в 50-е годы, Ту Мо пишет яркие саркастические стихи о солдатах противника — «Искусство сдаваться в плен»:

Раньше они сражались упорно.
Но им надоела война.
Теперь они осознали всё,
свое получив сполна.
Ну что же! Мы можем только
одобрить

приход таких перемен.
Мы их готовы учить и впредь,
как надо сдаваться в плен.

Надо отметить, что переводчику В. Швыряеву удалось найти верный ключ к стихам Ту Мо, сохранив их разговорную, ироническую интонацию.

Отнюдь не «у окна, выходящего на тихое озеро», слагали свои стихи и другие ведущие поэты современного Вьетнама: в прошлом революционер-подпольщик, а ныне видный общественный и государственный деятель, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама То Хыу, руководитель Союза писателей республики Нгуен Динь Тхи (он известен и как выдающийся прозаик), проникновенный лирик Суан Зиеу — один из тех, кто еще в 30—40-х годах возглавил движение «Новой поэзии», отвергавшее устарелые каноны, Хюи Кан, Те Хань, поэтесса Ань Тхо, этот список можно было бы продолжить.

Помню я, как под ногами
щебень еще трепетал
Там, где минувшею ночью
весь разбомбили квартал.
Помню, был дом престарелых —
только руины видны,
В гневе стоял я и в горе
возле обломков стены.
Помню, толпа прокаженных
из Куиньлапа брела.
Шли эти ноги больные,
как по осколкам стекла...—

пишет Суан Зиеу в своем стихотворении «Ночные марши» (перевод А. Ревича). «Отомстим за детей из Тхюизана» — призывал в одноименном стихотворении Хюи Кан:

Однако и в самые тяжелые дни не только об огне и крови писали поэты Вьетнама. И, что особенно важно отметить, никогда культура сражающейся страны не была изолирована от культуры всего человечества, от ее высших и непреходящих ценностей. И в поэзии То Хыу рядом со стихами о фронтовых дорогах, о военных шоферах и бесстрашных артиллеристах так естественно звучит стихотворение «Рим, закат», посвященное «Ренато Гуттузо и всем итальянским друзьям»:

Я люблю Микеланджело. Под потолком
Десять лет рисовал он изгнанье из рая.
Завершить эту повесть о горе земном
Не успел он, но кистью водил, умирая...
Был я в древней Равенне. Там колокол
бил
На закате. К могиле великого Данте
Подошел я и тихо страдальца спросил:
Сколько мучиться будут на свете
таланты?..

(Перевод Е. Долматовского)

И для любви, и для нежности, и для тихого созерцания, без которого немыслима на Востоке поэзия, всегда, вопреки всему находились минуты. Именно минуты, что вольно или невольно отразилось даже в форме стихов: этим вечным мотивам посвящаются, как правило, стихотворения «малых» жанров, поэтические миниатюры. И вот в стихах поэта Лыу Чонг Лы мы видим, как «две лодки целуются на берегу», как стоят, укрывшись одной накидкой, влюбленные:

Солнце было, и дождь потом.
Парень с девушкой за мостом
Под накидкой стоят вдвоем.

Было солнце вслед за дождем.
Парень с девушкой за мостом
Под накидкой стоят вдвоем.

Пряди спутаны ветерком.
С прядью прядь, как с рекой приток,—
Знаю, будет их путь далек...

(«Волосы». *перевод Л. Шараповой*)

Это написано, правда, в 1962 году, через восемь лет после Женевских соглашений, положивших конец войне с французскими колонизаторами, и за два года до начала новых боев, то есть в относительно мирное, спокойное время. Но таким ли спокойным оно было? Разделенная пополам страна, разделенные семьи, разделенные судьбы... На протяжении многих десятилетий не знала покоя земля Индокитая, но люди всегда оставались людьми, умеющими трепетно и нежно любить, радоваться жизни и ценить прекрасное. Так свидетельствует поэзия. При этом подчас и в мимолетной изящной зарисовке чувствуется горячее дыхание времени — как в миниатюре Те Лан Вьена «Актрисе»:

Цветы, которые дарят тебе,— горные
цветы шим,
Суп, который ты ешь,— из лесных
плодов, не из риса.
Пудришься, наклонясь над зеркалом
самым большим —
Над чистым горным ручьем, влюбленным в тебя, актриса.

(Перевод Р. Казаковой)

Ни слова о выстрелах, о войне — и все-таки ясно, что речь идет об актрисе одной из фронтовых бригад...

И, конечно, нам, советским читателям, дороги и близки строки, обращенные к нашей стране: стихи То Хыу и Те Ханя, молодых Нгуен Дык Мау и Банг Вьета — блестящего знатока русской культуры, переводчика «Евгения Онегина»,— посвященные В. И. Ленину, «Площадь Маяковского» и «У могилы Льва Толстого» Хоанг Чунг Тхонга:

Пусть все переменится —
этому не измениться,
И свежие будут цветы на могилу
ложиться.
Как будто весь мир тут сошелся.
стоит и читает,—
И жизнь узнает, и себя понимать
начинает.

(Перевод Г. Кружкова)

Обо всем не сказать: в книге «Современная вьетнамская поэзия» напечатано шестнадцать авторов, в сборнике «Стихи молодых поэтов Вьетнама» — двадцать пять, причем большинство представлено обширно, целой «книгой в книге». Переводчиками и составителями проделана огромная работа. Но и при всем уважении к ней нельзя не посетовать на крайнюю неровность качества переводов, на явную поспешность исполнения некоторых из них. Попробуйте понять такое четверостишие Хюи Кана в переводе Н. Панченко:

Я люблю тебя, вонзая
Луч луны в нон синий неба.
Год луна лицо роняет.
О тебе тоскуя немо.

(«Я люблю тебя...»)

Даже если знать, что «нон» — это традиционная вьетнамская коническая шляпа, невозможно разобраться, что к чему. В од-

ном из переводов Р. Казаковой герои встречаются «у Мечи в полумраке предутреннем сада». Неосведомленный читатель может подумать, что во Вьетнаме имеется какая-то Мечá (очевидно, река — вроде Красивой Мечи в России). Между тем, очевидно, речь идет об озере Возвращенного меча (родительный падеж от слова «меч»), в центре Ханоя. Увы, даже крупное поэтическое имя не гарантирует порой от явных неточностей и небрежностей в переводе. «Я встретил тебя там, где ветер, средь гор. Красные листья бушующий сбрасывал бор»,— читаем в одном из стихотворений Нгуен Динь Тхи, переведенных Е. Винокуровым. Это во Вьетнаме-то — бор? Да еще сбрасывающий красные листья? Неравноценны и переводы Е. Долматовского, в целом сделавшего немало для перевода вьетнамской поэзии, написавшего об этой стране книгу оригинальных стихов. Но едва ли в своих собственных стихах известный поэт позволил бы себе строфу, подобную нижеследующей — из «Песни ночного шофера» То Хыу:

Мы сталь везем и семена,
Лекарства и бензин;
Чтоб горы бились, коль война,
При помощи долин

У всех названных переводчиков есть и удачные образцы — некоторые из них цитировались. Тем досаднее отмеченные срывы. Вместе с тем заслуживает внимания работа целой плеяды молодых переводчиков, постаравшихся не только воспроизвести содержание подстрочников хорошими русскими стихами, но и в ряде случаев передать некоторые особенности стиха вьетнамского. Вообще говоря, мы имеем об этом стихе довольно слабое представление, и статья «Вьетнамское стихосложение» Т. Филимоновой, напечатанная в качестве приложения к сборнику «Стихи молодых поэтов Вьетнама», мало помогает делу: она суха и академична.

Мы пытаемся при переводе «укладывать» эти стихи в добротные ямбы и хорей, «примеряем» к ним длинную «киплинговскую» строку, пробуем дольник и тактовик — все это допустимо, но... это примерно то же, что передавать гомеровский гекзаметр александрийским стихом, как поступал первый переводчик «Илиады» Ермил Костров. Тем интереснее попытки А. Чернова, В. Михановского и некоторых других переводчиков сохранить частности, особенности вьетнамской рифмовки, далеко не всегда приходящейся на конец строки:

Ты мал, как рисовый росток,
Едва заметный огонек
Уселись мы вокруг.
Друзья-соратники! Я вдруг
Представил твердость ваших рук...
Нам джунгли нынче — дом.

Костер горит, и тьма кругом,
Мы мирно возимся с огнем,
И клонит в сон костер...

(«Колыбельная огню» Чан Мань Хао в переводе В. Михановского)

Ныне поэзия Вьетнама вступила в новый этап своей жизни. Темы мирного созидания не всегда легко даются поэтам: слишком долго поэзия находилась в окопах. Многие и поэтами стали там, на войне,— как молодые Чан Мань Хао, Хоанг Нюан Кам, Нгуен Зюй и другие.

Многое изменилось. Много воды утекло.
Гляжу сквозь стекло вагонное. Страна
проплывает за ним.
И мелькают вокзалы, поднявшиеся из
руин.
Стучат колеса на стыках. И сердце
стучит им в такт.—

пишет известный поэт Зианг Нам («Поезда и вокзалы», перевод А. Чернова). Мы еще будем встречаться с вьетнамской поэзией. Будем запоминать новые, непривычные для слуха имена ее творцов. Будем искать пути для наилучшего «перевоплощения» ее на русском языке. Но два тома, которым посвящены настоящие заметки, навсегда останутся важной вехой на этом пути.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ЗВУКИ И КРАСКИ

Жасминовая песнь. Из тамильской поэзии эпохи Сангама (III—IV вв.). Составление и перевод с тамильского Алева Ибрагимова. Предисловие И. Серебрякова. Москва, «Художественная литература», 1982.

Если хочешь почувствовать и понять Индию, нужно научиться видеть звуки и слышать краски.

Вспомним пещерное зодчество и скульптуры Элефанты, Эллоры, монолитные скальные храмы Тамилнада. Их пластика, гармония и ритм складываются в зримую музыку немого камня. В этой связи невольно приходит на ум начало второй строфы «Оды греческой вазе» Китса (сложная метафора, олицетворяющая искусство). На вазе изображен юноша, прижавший к устам свирель: «Напев звучащий услаждает ухо,/Но сладостней неслышимая трель./Играй, но не для чувственного слуха,—/Душе играй, беззвучная свирель».

Итальянский художник Пьетро Гонзаго (XVIII—XIX вв.) свои архитектурно-перспективные театральные декорации считал «музыкой для глаз». Что до настенных росписей Аджанты, чье богатство сюжетов делает их энциклопедией народной жизни, то они созданы поистине звучащими красками...

Каким воображением должен обладать поэт-переводчик, чтобы поднять из пучины времен, с ее непрестанно набегающими волнами, неведомый мир, затонувший в ней много столетий тому назад, населенный живыми людьми, с их чувствами, поступками, характерами, бытом, с их трудом, с их погребенной в веках человечностью. Этот мир не придуман! Он сохранен волшебством поэтического слова. Сохранен, как храм Шивы в древнейшем индийском городе Мадуре, в штате Тамилнад, где некогда возник легендарный третий Сангам, общество поэтов. И, как в другой галактике, этот мир существует поныне в тамильской лирике Сангама III—IV веков.

Но величайшее чудо поэзии заключается в ее переводимости. Чтобы воссоздать стихи древних тамильских поэтов средствами другого языка, советскому переводчику

нужно было всей силой своего внутреннего зрения увидеть незнакомый мир, бесконечно удаленный во времени и пространстве, в котором жили и творили стихотворцы древнего Тамилнада. Не переводить семантически строку за строкой, в необоснованной надежде на то, что они «склеятся» в некую идею стихотворения, а иметь свое истолкование вещи. И, самое главное, как писала Марина Цветаева: «Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он».

Переводы тамильской лирики осуществлены Алевом Ибрагимовым с той бережностью и значительностью, которой заслуживает великий подлинник. Его поэзия, доселе почти неизвестная советскому читателю, по существу лишь теперь начинает открываться нам в неповторимом обаянии звуков и красок вечно живой древности.

О первых двух Сангамах нам известно только из преданий. Так, первый Сангам, покровительствуемый царями династии Пандья, согласно легенде, собрался в Мадуре, и возглавлял его не кто иной, как Шива! Немногим достовернее и сведения о втором. Что же касается тамильской поэзии эпохи III—IV веков, то она является историко-литературным фактом, и связывают ее с третьим Сангамом. Существовало ли такое общество в действительности — доподлинно неизвестно. Важно, однако, то, что до наших дней сохранилась обильная, развитая поэзия, непреходящее очарование которой не подлежит сомнению. Разделяющее нас время и расстояние, своеобразие авторских «псевдонимов» и «адресов» сообщают этой поэзии некоторую странность, почти загадочность.

Первые полностью непроницаемы, как, например: «Тот, кто написал о пальцах, возложенных на тетиву» (Вилляха Виралинар) и т. п. Эти «псевдонимы» как бы возвращают нас к содержанию стихотворения. Что касается авторских «адресов», то они определяются местным ландшафтом и сами по себе необыкновенно поэтичны: край цветов куринджи, пустынный край, жасминовый край, край белых лилий... В таком своеобразном «обрамлении» подкупающая народность, искренность и простодушие особенно трогают читателя. Может быть, потому, что в русском издании «Жасминовой песни» начисто отсутствует стилизация, которую Б. Пастернак называет «литературным притворством». В своих «Замечаниях к переводам из Шекспира» он пишет: «Как сходство изображения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка».

Здесь уместно будет вспомнить стихотворение Аниляду Мундриляр «Пустынный край. Девушка — подруге»:

Я счастлива, когда любимый рядом:
Так, в упоенье праздничным обрядом,
Ликуя, пляшут жители деревни.
Но лишь уйдет — и нет судьбы
плачевней:
Подкатывают слезы, в горле — ком.
Я похожу на опустелый дом,
Где ни души, и только на заре
Резвится стая белок во дворе.

Любовная лирика эпохи Сангама, сложившаяся на языке сен-дамиж, то есть на чистом тамильском языке, не только отмечена печатью изящества. Она глубоко правдива — и в реалиях, и в подробностях народного быта.

Лирика Сангама, как и любовная поэзия других народов Индии, тесно переплетается с тематикой Времен года. Богатство и свежесть мировосприятия особенно присущи индийцам, перед глазами которых постоянно происходит величественная смена картин природы во всем их ошеломляющем великолепии.

Емкость любовной поэзии Сангама чрезвычайна! Возьмем стихотворение Перунгадунго «Подруга девушки — молодому человеку»:

Ну что, господин, ты заладил:
мол, тягостен путь нетореный
В пустыне, похожей на город,
набегами разоренный?
Там — рощи тенистых манго
и бродят торговцы солью.
А дома одной оставаться
легко ли, терзаясь болью?

Каждое такое стихотворение, по сути, маленькая новелла. Здесь, в частности, подруга возлюбленной упрекает ее трусливого любовника. Монолог построен так, что он как бы выполняет роль диалога. Сохранен при этом и прекрасный образ пустыни, похожей на город, разоренный набегами, и детали индийского пейзажа — рощи тенистых манго, и бытовая подробность — бродячие торговцы солью, и — самое главное — лаконизм упрека: «А дома одной оставаться легко ли, терзаясь болью?»

Переводчик умело справляется с речевыми характеристиками действующих лиц, проявляя богатство лексики и гибкость синтаксиса.

И все же у автора переводов встречаются особенности лексического отбора, кажущиеся мне спорными. Просторечие, прекрасно передающее обаяние и непосредственность древней поэзии, тем не менее требует великой осторожности в обращении. В этом смысле чувство меры порой изменяет переводчику и получается некоторый «пережим».

Поэзия Сангама (III—IV вв.) представлена в книге не только лирикой. В нее входят и три поэмы. Одна из них — «Жасминовая песнь» Наппутанара — дала название сборнику. Думается, что наиболее богата красками замечательная поэма Капилара «Песнь о любви». Так или иначе, во всех трех эпических произведениях сказывается свойственная тамильской поэзии могучая лирическая струя. Примечательно, что в лирику Сангама столь же органично вплетается проза жизни с ее бесценными подробностями, дающими представление о быте и занятиях простых людей Тамилнада в III—IV веках нашей эры. Такого рода сведения можно почерпнуть из любовного стихотворения Калладанара («Край белых лилий»), в котором девушка попутно сообщает подруге об отце, укушенном акулой, и о матери, добывающей «как и все солевары соль для обмена на рис и другие товары»

Мы не ошибемся, если скажем, что «Жасминовая песнь», живая, сочная поэзия действительности, полна реалий. Рыбацкий поселок, где сушат и чинят продырявленные акулами сети. Лодки-долбленки «на привязи, словно кони в конюшне». Танцы на пропахшем рыбой песке. Девушки, гоняющие попугаев трещотками с просяного поля.

Пересохшие от зноя лунки — поилки для скота. Охотник, «пробующий острия стрел подушечкой пальца». Снизка тигриных клыков на детской шейке, дабы отгонять злых духов. Наевшийся проса кролик, что, «раскосо шныряя глазами», пьет воду на деревенских задворках...

Нельзя не обратить внимания на некую особенность лирики Сангама. В ней преобладают стихи от первого лица: «Молодой человек — своему сердцу» или «Молодая женщина — обращаясь к ночи». Последнее написано и переведено с большим чувством. Поэтический темперамент и эмоциональность перевода делают книгу привлекательной и усиливают современность звучания.

Алев Ибрагимов давно занимается поэзией Тамилнада. Его перу принадлежит также перевод «Тирукурала», «священных двустиший» тамильского народа[1]. Они представляют собрание афоризмов, относящихся к VII веку.

Примечательно, что великий гуманист Альберт Швейцер в своей работе «Индийская мысль и ее развитие» весьма высоко оценивает эту жемчужину тамильской нравственно-этической поэзии. Автором «Тирукурала» традиция именует славного носителя мудрости тамильского народа Тируваллювара, или Валлювара. Индийское литературоведение полагает, что он принадлежал к касте неприкасаемых. По сложности истолкования «Тирукурал» не только не уступает поэзии Сангама, но даже превосходит ее. Тем не менее «Священные двустишия» вызывают у русского читателя значительный интерес и воспринимаются без натяжки. Великий автор «Курала» не впадает в дидактику. Он, как бы непринужденно беседуя, делится с читателем своими жизненными наблюдениями, притом в отточенной афористической форме. Можно сказать, что афористичный и доходчивый стих, воссозданный средствами русского языка, сохраняет глубину содержания и остроту авторской мысли. Перед нами русский «Курал» во всей его первозданной мудрости и непосредственности. Избранные переводчиком главы — Праведность, Мудрость, Любовь — дают, мне думается, достаточно целостное представление о великом памятнике.

Разумеется, конкретность деталей в «Жасминовой песни» создает неотразимый «эффект присутствия». Но нельзя забывать и о том, что философская поэзия «Тирукурала» отнюдь не абстракция. Ее мудрые, глубоко человечные обобщения коренятся в той же народной жизни древнего Тамилнада, чью поэтическую летопись открыл нам Алев Ибрагимов.

ВЕРА ПОТАПОВА

[1] **Тирукурал.** Праведность. Мудрость. Любовь. Избранные афоризмы. М., «Художественная литература». 1974.

Издано за рубежом

В ТРУДНОМ ПОИСКЕ ИСТОКОВ

Xavier Orville. L'homme aux cept noms et des poussieres. Paris, Grasset, 1981.
Ксавье Орвиль. Человек с семью именами и мелочи. 1981.

Автор повести «Человек с семью именами и мелочи», писатель с антильского острова Мартиника Ксавье Орвиль, предпринял воображаемое путешествие. Он отправился на поиски истоков своей культуры, своего самосознания.

Мир, который открыл на этом пути К. Орвиль,— особый. Миф переплетается там с суровой, временами жестокой реальностью, поэзия — с бесчеловечным, грязным бытом. Но описывая будни, автор широко использует язык метафоры. В стране, где жил герой книги, дорогу можно изрезать на куски и раздать набежавшим собакам, а у человека могут украсть имя. Конечно, эта сказка — лишь мираж, окутывающий жизнь. На самом деле там царили несправедливость, унижения, человека душила анонимная, безликая власть коллективных предубеждений.

Такое двойственное восприятие действительности было свойственно авторам древних африканских сказаний, эхо которых еще слышно в народной культуре Антильских островов. Но в творчестве Орвиля явственно ощутимы и более современные влияния. Трудно, в частности, уйти от впечатления, что его видение мира сложилось под воздействием сюрреализма с его культом зыбкого, стремительно изменяющегося образа-символа.

Центральная тема К. Орвиля — тема имени, названия, иначе говоря, тема самоопределения личности. В народных африканских культурах было широко распространено представление о том, что неназванная вещь выключена из мироздания, не существует. Согласно этим представлениям, название — это плоть от плоти того, что оно обозначает. Но такого обозначения — имени лишен герой повести. И вот его мысли о самом себе: «До сих пор я был ничем. Я ничего не знал. Люди дали мне множество имен: во времени я поднялся от самого дна жизни, но, как и прежде, ждал, что достигну самого себя, найду самого себя, что, наконец, сам назову себя именем, которое будет мозгом моих костей. Мне давали лишь прозвища, которые не обрастали мясом, и моя сущность оставалась зерном, ждущим земли, в которую бы она пустила корни, чтобы в конце концов принести урожай и слиться со светом».

Поиск человеком собственного имени — это и процесс самоутверждения подавленной, порабощенной личности. Писатель, наделяя героя семью именами, не

случайно лишает его единственно истинного. Ведь его участь — это, по-видимому, и символ исторических судеб антильских народов, утративших в колониальном мраке собственную индивидуальность.

В двух планах — в воображении и в действительности — происходят жизненные странствия героя книги. В двух планах — реальном и символическом — работает и мысль автора. К. Орвиль — увлекательный, наделенный живым чувством юмора рассказчик, и в его повествовании сатира занимает немалое место. В ее фокусе то, что уродует человека, мешает ему раскрыться во всем красочном богатстве своего таланта. Семь имен — это семь ипостасей, а одновременно и семь испытаний. Юмор, с которым антильский писатель говорит об этих испытаниях, придает остроту его сатире — всегда социальной и имеющей ясный адрес.

Сатирический эффект создается несколькими приемами. Главный из них — это противопоставление униженного и презираемого героя могущественным персонажам: инспектору школ, директору цирка, жандарму, мэру, причем столкновения обнаруживают, насколько тот духовно богаче и в конечном счете сильнее своих наделенных властью, а на деле пустых и беспомощных противников. Он может осуждать их безудержно весело, как в описании школьного урока, зло — как в рассказе о глупце мэре, с горечью — как при повествовании о тюремных злоключениях Человека с семью именами.

И все же, как ни ярки вспышки фантазии Орвиля, все время сохраняется ощущение, что писатель не использует до конца свои творческие возможности. А потому и книга оставляет впечатление скорее изящной законченности, чем волнующей силы.

Пожалуй, это наиболее досадно там, где описывается любовь Человека с семью именами к женщине с поэтическим прозвищем Открытая Луна. В характерном для всей повести ключе Орвиль пишет о ней и как о несчастной из солдатского борделя, и как о возвышенном символе женственности вообще. Может быть, Открытая Луна — это и символ прекрасной, но порабощенной родины писателя Мартиники. Образы повести поддаются множественному толкованию, и отождествление Открытой Луны с Мартиникой вполне правдоподобно. Ведь увидел же один из критиков книги — литературовед Пол Коджо в бесконечном преследовании Открытой Луны Человеком с семью именами «Голгофу его предков — рабов». И это отнюдь не надуманное понимание авторской идеи.

Впрочем, не менее важна и другая писательская мысль. Вечно ускользающая красота Открытой Луны нужна Человеку с семью именами, чтобы обрести себя, чтобы найти свой путь становления. «Приди,— взывает он к ней,— будь на конце моей руки свечой, с которой я движусь по натянутому канату сердца, освещающей мою ночь, мои закоулки, складки отчаяния и желания».

Поиск женственности и поиск любви стали в одном из планов повести условием формирования человеческой личности, которая, отбрасывая имя за именем как случайные, навязываемые внешним миром маски, приходит к самоутверждению. А вместе с тем в другом, как бы зашифрованном плане закабаленный народ осознает неповторимое своеобразие собственной культуры, собственной индивидуальности и таким способом обретает национальное самосознание.

С чем же вышел на жизненную дорогу Человек с семью именами? Это прежде всего традиции, голос прошлого. «Я не знал своей бабушки,— печалится он.— Однако я все еще слышу, как ее голос, приглушенный, но отчетливый, звучит в мозгу моих костей... Как и все бабушки, моя бабушка пела. Бабушки — это органные трубы, которые разносят поговорки и считалки, а в их голосе трепещет урок времени».

Только ли богатство народной культуры получил Человек с семью именами в наследство перед началом своих странствий? Нет. Над ним со времен праотцев тяготело проклятие. Когда в луже воды он впервые увидел самого себя, то ужаснулся: «Я никогда не считал себя очень привлекательным, но честно говоря, когда я оказался лицом к лицу с рахитичным сосунком, который смотрел на меня, я ощупал себя со всех сторон, чтобы удостовериться, я ли это. Должно быть, я собрал все морщины, которые валяются по дорогам мира с той поры, как змеи и старухи приобрели дурную привычку повсюду раскидывать свою кожу. К тому же я был весь в синяках, царапинах и пятнах. Не знаю, что натворили мои родители, есть вещи, которых лучше не касаться. Позднее я часто думал, что они завещали мне несчастья и проклятья, которыми сами были придавлены».

В плане историческом мысль о некоем извечном проклятье, нависшем над людьми черной расы, возникла из сознания трагической исключительности судеб Африки, которой в течение веков пришлось нести крест рабства, а затем и колониального угнетения. И именно ей писатель противопоставил идею солнца, идею света, в потоке которого преобразился Человек с семью именами. Как всегда, Орвиль вложил в свою метафору множественный смысл. Этот свет вспыхивает в то мгновение, когда герой повести как бы сливается с прошлым, с историей родного народа, ощущает неразрывную связь с ним.

В странствиях зреет бунтарский дух Человека с семью именами. То уличный нищий, то школьник-двоечник, то солдат, то цирковой акробат, то муниципальный «барометр», он видит окружающий его мир под самыми различными углами, и его филиппики против этого мира обычно попадают в точку. С яростью обличает он лицемерие болтунов о правах человека: «Они повсюду пишут «свобода». Они произносят длинные речи о праве людей и народов на самоопределение. Есть даже такие, что собираются вместе, чтобы читать заклинания об эмансипации человека и общества. Но как только им приглянется какой-нибудь уголок зеленеющей новизны, они огораживают его железной проволокой с табличками: «Вход воспрещен». Если на свою беду трава или ветви разрастутся за отведенные им границы, они их подрезают, чтобы не выступали из шеренги. Они это называют наведением порядка».

Вместе с тем автор повести, как и его ге-

рой, весьма далек от каких-либо идей общественной перестройки. Не в борьбе за новое, более справедливое общество, а в процессе самоуглубления ощутил Человек с семью именами свою связь с народом: «В тишине и одиночестве передо мной открылся путь. Я был неподвижен, и, однако, я продвигался. Я опускался в глубины самого себя...».

И там, на самом дне, опускаясь к которому он одну за другой сбрасывал с собственного лица скрывавшие его маски, он узнал «глаза тех, кто некогда пересек море в рабовладельческом мраке, тех, кого сломили, раскидали, распылили в тысячах прозвищ».

Орвиль, несомненно, говорит о себе: «Я был их пеной на гребне волны; они донесли меня на горьких бурунах до меня самого, до этого проясненного сердца, которое отныне пело в моей груди. На ладонях своих рук я обнаруживал маршрут мрачного путешествия, мозоли страдания. Огромные перья их вздохов обмахивали мои плечи».

Так заканчивается долгое странствие героя повести. Много было в ней волнующего. Нельзя, однако, не заметить и некоторых присущих ее создателю противоречий.

Почему народную жизнь, народные страдания и радости К. Орвиль воссоздал в манере художника-сюрреалиста, воспринимая действительность как цепочку произвольно сменяющихся, зыбких образов-символов? Почему, признавая в народе источник собственной культуры, он избрал столь усложненную, столь эстетизированную манеру повествования? Ведь в результате смысл многих сцен и эпизодов оказывается туманным, а содержащееся в повести послание оказывается обращенным к узкому кружку элиты.

Из-за этих барьеров с трудом пробиваются на свободу и мысль писателя, и его страсть, и его жизненный опыт.

В. ИОРДАНСКИЙ

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ

Ат-Тахир Ваттар. Урс Багл. Бейрут, «Дар Ибн Рушд», 1978.

Ат-Тахир Ваттар. Ал-Ишк Ва-л-Маут Фи-з-Заман Ал-Хараши. Бейрут, «Дар Ибн Рушд», 1980.

Ат-Тахир Ваттар. Свадьба мула, 1978.

Ат-Тахир Ваттар. Любовь и смерть в смутное время, 1980.

Каждое новое произведение Ат-Тахира Ваттара — крупнейшего алжирского прозаика, пишущего на арабском языке, видного деятеля Фронта национального освобождения — представляет собой событие в литературной жизни Алжира и всего арабского мира. Это в полной мере относится и к двум последним романам Ваттара — «Свадьба мула» и «Любовь и смерть в смутное время».

Почти все произведения Ваттара — романы, рассказы и пьесы — так или иначе затрагивают тему алжирской революции в ее различных аспектах, составляя вместе эпопею, которую можно было бы назвать «Алжирская революция и народ»[1]. Не составляют исключения и два рассматриваемых здесь романа. В романе «Свадьба мула» Ваттар, прибегая к тонкой художественной аллегории, показывает мучительно сложный и противоречивый процесс пробуждения сознания мелкой буржуазии и ее переход к активной политической борьбе.

Главный герой романа «Свадьба мула» — пожилой алжирец, бывший студент мусульманского университета «Аз-Зейтуна», которого все зовут Абу-Кайян, или Хадж Кайян, то есть «человек, совершивший паломничество в Кайенну» — город во Французской Гвиане, бывший местом каторги во времена колониального господства Франции в Северной Африке. Когда-то, еще студентом, юный богослов под влиянием одного из своих преподавателей примкнул к тайной экстремистской мусульманской организации, ставившей своей целью создать теократическое «государство Аллаха», основанное на заветах корана и вероучителей времен раннего ислама. (Под этой организацией подразумеваются, по-видимому, «Братья-мусульмане», имеющие приверженцев во многих арабских странах.) Воодушевленный этими идеями, экзальтированный юноша с благословения своего преподавателя решил проповедовать «божье слово» среди проституток одного из тунисских публичных домов, однако потерпел фиаско — обитательницы «дома любви» высмеяли непрошеного агитатора. А одна из них—красавица-алжирка—соблазнила его. Юный богослов влюбляется в эту женщину по прозвищу Аннабийка (то есть уроженка г. Аннабы) и убивает вставших на его пути трех бандитов, после чего его отправляют на каторгу.

Спустя двадцать лет бывший студент, отбыв наказание, возвращается к себе на родину в Алжир и отыскивает там свою прежнюю возлюбленную, которая стала к тому времени хозяйкой дома терпимости. Здесь в заведении Аннабийки Абу-Кайян и находит прибежище. Это уже не тот восторженный юноша, каким он был в начале романа. Однако он не позабыл полученных в богословском университете знаний и продолжает интересоваться раннеисламскими реформаторскими движениями и сектами. Из этих сект Абу-Кайяна более всего привлекают карматы, боровшиеся в IX—XI веках с суннитской мусульманской верхушкой Багдадского халифата за переустройство общества на основах равенства.

Каждую субботу Абу-Кайян уединяется на заброшенном кладбище. Он жует одурманивающие снадобья и курит гашиш, погружаясь в состояние эйфории и «отправляясь в путешествие». Во время своих «путешествий» шейх переносится в минувшие века, перевоплощаясь то в древнего поэта аль-Мутанабби, то в вождя карматов Хамдана, то в багдадского халифа.

Публичный дом, где пребывает Абу-Кайян, напоминает алжирские и тунисские «дома любви», которые почти сто лет назад описал Мопассан в своих колоритных пу-

[1] На русском языке опубликованы кроме отдельных рассказов Ваттара его романы «Землетрясение» (первоначально в «ИЛ», 1979, № 3) и «Туз». Оба эти романа изданы также на украинском языке.

тевых очерках «Бродячая жизнь» и «Под солнцем». Это маленький душный мирок, в котором царят свои страсти и драмы.

Заведение Аннабийки живет привычной, размеренной жизнью, пока там не появляется молодой сутенер по имени Хатем. Он входит в доверие к сорокапятилетней хозяйке публичного дома, притворившись в нее влюбленным. Аннабийка отвечает ему пылким чувством. В конце концов она объявляет о своем решении выйти замуж за Хатема и готовится устроить пышную свадьбу. Организацией этой бесплодной «свадьбы мула» (у мулов, как известно, не бывает потомства) должен заниматься Абу-Кайян. Свадебный праздник нужен Хатему лишь для того, чтобы ограбить «невесту» и ее богатых гостей. В решающий момент, когда Хатем с дружками уже готовился привести в исполнение свои замыслы, Абу-Кайян появляется на свадьбе с верными ему людьми и предотвращает преступление.

Примечательно, что ранее, в романе «Землетрясение», Ваттар в качестве главного персонажа тоже вывел мусульманского шейха. Однако если шейх Абуль-Арвах из «Землетрясения» олицетворяет лишь небольшую часть деятелей религии — коррумпированных отступников, поддерживавших феодально-колониальные порядки, то Абу-Кайян представляет рядовых служителей ислама, близких народу, которые сыграли положительную роль во время алжирской революции. Но Абу-Кайян — это не только олицетворение честного служителя ислама. Он, по замыслу Ваттара, представляет носителей традиционной арабской культуры, связанных ранее с богословскими мусульманскими университетами «Аз-Зейтуной» в Тунисе и «Аль-Азхаром» в Каире, но под влиянием вооруженной борьбы народа выросших в прогрессивных политических деятелей. Ваттару удалось создать незаурядное, яркое произведение, которое по художественным достоинствам и идейной значимости можно поставить в ряд с лучшими книгами современных арабских прозаиков.

Следующий роман Ат-Тахира Ваттара — «Любовь и смерть в смутное время» — был задуман как вторая часть романа «Туз». Обе эти книги составляют дилогию. Действие второй части развертывается десять — двенадцать лет спустя после событий, описанных в «Тузе»,— в период «аграрной революции», как в Алжире называют массовую кампанию по осуществлению антифеодальной аграрной реформы и созданию сельскохозяйственных кооперативов, получившую наибольший размах к середине 70-х годов.

В этой книге Ваттар, бичуя врагов алжирской революции, рисует в то же время новые отношения, складывающиеся между людьми в ходе социальных преобразований создает запоминающиеся образы представителей нового, молодого Алжира. В романе показана преемственность поколений алжирских революционеров: участники освободительного движения в колониальный период национально-освободительной войны передают эстафету борьбы нынешнему поколению молодежи, участникам национально-демократического этапа алжирской революции.

В книге «Любовь и смерть в смутное время» читатель встретит некоторых персонажей, знакомых ему по роману «Туз». Однако большинство героев нового произведения — представители молодого поколения алжирцев, активно участвующие в осуществлении аграрной реформы.

Главная героиня — студентка-коммунистка Джамиля — олицетворяет все прекрасное и передовое в алжирском обществе, саму алжирскую революцию. Вместе с другими студентами и студентками она отправляется в деревню, чтобы помочь молодому сельскохозяйственному кооперативу. Однако среди членов добровольческого отряда затесалась небольшая кучка отщепенцев — противников аграрной реформы и народной власти. Свою враждебность к новому демократическому строю они маскируют религиозными исламскими лозунгами. У этих людей, возглавляемых неким Мустафой, есть сторонники и покровители в местных административных и партийных органах. Благодаря бдительности и находчивости Джамили, ее подруг и сельских активистов ФНО планы врагов революции терпят крах. Не удается и план мести, который замыслил против Джамили оставленный своими сообщниками Мустафа.

Во второй части дилогии дальнейшее развитие получил образ Туза — бывшего партизана, участника национально-освободительной войны. Крестьяне, особенно женщины, чуть ли не обожествляют этого несчастного человека, лишившегося во время войны рассудка из-за перенесенных потрясений, почитая его как «святого». Впоследствии к Тузу возвращается рассудок, однако простые люди не верят в его исцеление. Они думают, что «настоящий» Туз — их защитник и покровитель — отправился в дальние страны и непременно вернется. В новом произведении Ваттара Туз символизирует алжирский народ, не без трудностей обретающий новое сознание.

Роман «Любовь и смерть в смутное время», написанный по горячим следам событий, откровенно публицистичен. Стремясь поделиться с читателем своими мыслями, автор часто отступает от основной сюжетной линии. В романе большое место занимают воспоминания Джамили, ее воображаемые беседы с «Брахмой»— загадочным персонажем, своего рода двойником автора, выражающим его взгляды, а также различные литературные реминисценции. Арабские критики справедливо отмечали излишнюю прямолинейность и дидактичность романа. Сам Ваттар, признавая отчасти недостатки своего произведения, объясняет их тем, что в нем, в отличие от его прежних книг, речь идет о еще незавершившемся периоде истории страны, о «смутном времени», что не могло не отразиться на стиле повествования.

Однако в целом арабская прогрессивная критика положительно встретила этот роман Ваттара, и в арабских странах он выдержал несколько изданий.

«Свадьба мула» и «Любовь и смерть в смутное время» — чрезвычайно различные по стилю и художественной манере произведения. Но оба эти романа посвящены актуальным, насущным проблемам, оба они написаны талантливым художником.

Л. СТЕПАНОВ

Из месяца в месяц

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МАСТЕР «МАЛОЙ ПРОЗЫ»

В своем предисловии к объемистому тому, в котором собраны все рассказы ветерана английской прозы Элизабет Боуэн, ее коллега и искренний поклонник ее таланта Энгус Уилсон пишет, что когда в далеком будущем наши потомки захотят восстановить историю Англии, они должны будут обратиться к книгам Элизабет Боуэн. Со страниц ее романов и рассказов встает самое страшное для Англии испытание — бомбежка Лондона во время второй мировой войны. «Это куда более значительное испытание, чем сама война, хотя бомбежка Лондона была лишь малой частью этой войны, куда более значительное, чем все социальные и политические передряги послевоенных лет...»

Элизабет Боуэн сочетает, по мнению Энгуса Уилсона, удивительные качества — реалистическое видение правды жизни и умение услышать тончайшие звуки души человеческой, верность классической традиции Чарльза Диккенса и Джейн Остин и активное освоение достижений новой прозы Генри Джеймса и Вирджинии Вулф.

Особенно внимательно исследует Энгус Уилсон рассказы, посвященные детям. Он останавливается на рассказе «Гость» — о том, как детишки играли со своим маленьким знакомцем, развлекали его, а в эти минуты его мать расставалась с жизнью. «Писательница не считает, что мир ребенка — это нечто обособленное и не вторгающееся в мир взрослых». О том, как точно и вместе с тем по-своему дети видят мир взрослых, повествуется в рассказах «Мария» и «Комната малышки».

Первые рассказы Боуэн были опубликованы шестьдесят лет тому назад. И вот теперь английский читатель получил возможность познакомиться с каноническим сборником, в котором представлено творчество одной из старейших писательниц.

ВЕНГРИЯ

«ВЕНГЕРСКИЕ РАРИТЕТЫ»

Так называется серия издательства «Сепиродалми» («Художественная литература»).

На сей раз издательство обратилось к корням и истокам венгерской литературы — к эпохе средневековья, когда происходило формирование венгерского феодального королевства. Именно к этому периоду относится возникновение церковной литературы на латинском языке, оставившей много замечательных произведений рифмованной и ритмической прозы. По жанру это в основном хроники или деяния.

О первых книгах этой серии, изданных впервые на венгерском языке, рассказал на страницах газеты «Мадьяр немзет» литературовед Карой Кишш.

Серия открывается книгой монаха, писателя-гуманиста XV века Гергея Дёндешши «Портреты лиц эпохи средневековья», представляющей собой художественные описания выдающихся деятелей ранней венгерской истории.

В эту книгу входят и «Биографии братьев ордена анахорета Святого Павла». Материалы к ним собраны были Дёндешши в венгерских, словенских и немецких монастырях. По мнению специалистов, этот труд является одним из ценнейших памятников венгерской гуманистической литературы.

Вторая книга этой серии, также впервые издаваемая на венгерском языке,— это «Путешествие в Иерусалим» писателя второй половины XV века, основоположника эпистолярного жанра в Венгрии Габора Печваради.

Литературовед Бела Холл, который перевел и подготовил к изданию эту книгу, отмечает в предисловии, что приводимые в ней данные, историческая топография Иерусалима, изображение своих современников, гравюры — все это говорит о блестящих способностях автора.

Две первые книги новой серии «Венгерские раритеты» вызвали огромный интерес читателей, отмечает Карой Кишш.

В дальнейших планах издательства — «Письма короля Матяша», кстати, первым в истории Венгрии установившего в XV веке дипломатические связи с русским государством, книги писателя-гуманиста XV века Яноша Витезя, ученого XVII века Матяша Белы, историка литературы XVIII века Петера Бода, выдающегося ориенталиста XIX века Шандора Кёреши Чома и много других интересных произведений.

ФИЛЬМ О МИХАЕ И КАТАЛИН КАРОЙИ

Венгерский режиссер Андраш Ковач — его фильмы «Трудные люди», «Стены», «Погонщик табуна» получили широкую известность в стране и за рубежом — приступил к созданию новой картины: о Михае и Каталин Каройи.

«Прошло уже несколько десятилетий, но та роль, которую сыграли в истории страны супруги Каройи, их романтическая привязанность друг к другу и сегодня волнуют людей, вызывают живой интерес,— рассказывает А. Ковач в интервью, опубликованном в журнале «Фильм, синхаз, мюжика». — Переписка, дневники, воспоминания многое приоткрывают в жизни этой необыкновенной супружеской четы, и все-таки мы знаем о них еще недостаточно».

Когда в ноябре 1918 года в Венгрии была провозглашена республика, Михай Каройи был избран ее президентом. Представитель самых высоких кругов венгерской аристократии, граф М. Каройи отличался прогрессивными взглядами. Почти все свои владения — десять тысяч хольдов земли,

Председатель Президиума ВНР Пал Лошонци вручает Каталин Каройи награду в связи с ее 90-летием.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

замки, движимое и недвижимое имущество — он отдал крестьянам. Сохранился хроникальный фильм, множество фотографий, запечатлевших тот знаменательный день — 23 февраля 1919 года, когда Каройи выступал на торжественном митинге в селе Каполна, подписывал дарственные малоземельным крестьянам, забивал межевые столбы.

Двадцатые — тридцатые годы Каройи провел в эмиграции. За границей Михай и Каталин Каройи выступали против диктаторского режима Хорти, принимали участие в антифашистском движении. В 1946 году М. Каройи вернулся на родину, был венгерским послом во Франции. В 1949 году ушел в отставку, умер в Париже.

Прах М. Каройи в 1962 году был перевезен на родину. Здесь издаются его книги. В Будапеште у здания парламента воздвигнут памятник М. Каройи по проекту выдающегося скульптора Имре Варги (см. «ИЛ». 1980, № 11).

Не так давно в Венгрии вышли две книги Каталин Каройи — «Вместе в революции» и «Вместе в изгнании». Они изданы также на французском языке отдельным томом под общим названием «Меня называли красной графиней».

В основу фильма А. Ковача «По страницам воспоминаний» положены дневники, письма, мемуары супругов Каройи, предполагается использовать и материалы кинохроники. И все же фильм не строго документальный. «Он не только о том, что было,— поясняет режиссер,— но и о том, что могло быть. Мы хотели бы показать на экране жизненный путь Михая и Каталин Каройи, понять мотивы их поступков».

Это будет шестисерийный телевизионный фильм, для кинопроката — двухсерийный. Первая серия—о молодых Каройи, до падения Венгерской советской республики, вторая серия — годы эмиграции. Заканчивается фильм 1962 годом.

Каталин Каройи принимает активное участие в создании фильма.

ГАНА

СТРЕМЛЕНИЕ ОТРАЗИТЬ ЖИЗНЬ

Генеральный директор студии «Гана филм индастри» Абдул-Рахман Атта в одном из интервью сказал: «Раньше, при колонизаторах и вскоре после обретения Ганой независимости, ганского кино как такового не было. На экранах страны шли западные фильмы, в том числе и фильмы об Африке. В этих киноподелках грубо искажалась жизнь африканских народов, она была лишь экзотическим фоном. Если такой фильм смотрел европейский обыватель, то неизбежно приходил к выводу, что мы, африканцы, только бьем в тамтамы и танцуем, а любую работу, требующую хотя бы минимальных интеллектуальных усилий, без вмешательства белых не сможем выполнить. И уж ни в коем случае ни колонизаторы, ни их марионетки, стоявшие у власти в стране после государственного переворота 1966 года, не допускали демонстрации советских фильмов. Они как огня боялись правды о первом в мире социалистическом государстве, об исторических свершениях его народа.

Политика кинопроката в корне изменилась после революции 31 декабря 1981 года. Сейчас мы отдаем предпочтение советским фильмам, а не растлевающему души ширпотребу западных фирм. Ганские зрители проявляют живейший интерес к советским фильмам. Такие ленты, как, скажем, «О спорт, ты — мир» и «Блокада», произвели на ганцев очень большое впечатление.

Исключительный по психологическому накалу фильм «Блокада», повествующий о мужественной борьбе советского народа за свободу и независимость, за свое будущее, не может оставить зрителей равнодушными».

А.-Р. Атта отметил прежде всего самоотверженную работу самого опытного ганского кинематографиста Квау Анса. Снятый им в 1979 году фильм «Любовь, какой она бывает в Африке» уже получил несколько международных наград. Важную тему о преодолении предрассудков, унаследованных от колониального прошлого, К. Анса развивает и в близкой к завершению ленте «Колониальный сюжет». В своей очередной работе он хочет поделиться с ганскими зрителями размышлениями о судьбах страны, о том, что надо бережно относиться к историческому прошлому Ганы, которым можно гордиться: ведь на территории нынешней республики задолго до прихода колонизаторов существовало высокоразвитое государство.

Большие надежды подает и другой ганский кинематографист — Ато Ярней. Он завершает работу над фильмом «Сержант Его Величества». В нем речь идет о скитаниях ганца — сержанта британских колониальных войск. «В фильме,— сказал А.-Р. Атта,— бичуется расизм, процветавший в этих войсках в годы второй мировой войны, несмотря на то что у англичан, ганцев, индийцев и многих других народов был общий враг — немецкий фашизм и японский милитаризм. Это актуально и сейчас. Ведь и в наше время расизм и фашизм сопутствуют друг другу и представляют серьезную опасность для общества».

ГДР

ПАМЯТИ АННЫ ЗЕГЕРС

Пресса Германской Демократической Республики продолжает посвящать памяти недавно скончавшейся Анны Зегерс статьи о ее жизни и творчестве, печатать воспоминания современников, отрывки из ее выступлений, фотографии. «Коммунистка, закаленная в боях, и писательница мирового значения»,— так говорилось об Анне Зегерс в некрологе Центрального Комитета СЕД, Государственного совета и

Совета министров ГДР. Авторы статей отмечают большую роль писательницы в борьбе за дело мира, ее плодотворную общественную деятельность, ее работу в Союзе писателей ГДР, почетным президентом которого Анна Зегерс оставалась до конца своих дней.

В Академии искусств с речами выступили Курт Хагер и Герман Кант. Подробно остановившись на творчестве Анны Зегерс, Курт Хагер сказал: «Она всегда рассказывала о простых людях... Во времена фашизма она писала о том, как этих людей преследовали, бросали в тюрьмы и лагеря и как они боролись. Ее знаменитый роман «Седьмой крест», созданный в эмиграции и переведенный на многие языки, до сих пор потрясает достоверным изображением борьбы и мужества... После победы над фашизмом Анна Зегерс писала о строительстве новой жизни, и героями ее книг снова были те же простые люди... Она по праву занимает место в гуманистической литературе нашего столетия».

«Анна Зегерс была нашим учителем,— сказал Герман Кант.— Она была настоящим борцом и вселяла в нас мужество и силу. Она помогала нам своими мудрыми советами и своим талантом. Она оставила большой след в нашей истории...»

Многие писатели и общественные деятели выступили на страницах газет и журналов:

«Нас связывали друг с другом борьба за мир и поиски назначения и смысла искусства. Ее дружба была для меня нерушимой, я опирался на эту дружбу в самые тяжелые времена» (Стефан Хермлин).

«Она не любила пустых фраз при жизни. Я не хочу и сейчас говорить фразы. Ее кончина—для меня большое личное горе» (Эрвин Штриттматтер).

«Она останется образцом для целого поколения писателей» (Ежи Путрамент).

«Она была очень большой писательницей. Я всегда буду ее помнить» (Халдор Лакснесс).

«Свой известный роман Анна Зегерс назвала «Мертвые остаются молодыми». Она и сама относится к тем ушедшим от нас людям, которые навсегда останутся молодыми» (Андре Вюрмсер).

«Больше всего меня восхищает в ее книгах непосредственность, честность и умение сочувствовать людям и понимать их... Я потеряла друга, с которым меня связывали долгие годы» (Марта Фейхтвангер).

Анна Зегерс многому нас научила. Она была великолепной писательницей и большим человеком» (Джеймс Олдридж).

«Каким огромным мужеством и какой силой духа обладала эта хрупкая женщина, писавшая трудные книги о трудных судьбах ее поколения. Она останется жить для всех нас, кто узнает в ее книгах нашу эпоху и нас самих» (Чингиз Айтматов).

«Ее книги учили нас тому, что безысходных ситуаций нет. Пример этому — роман «Седьмой крест»... Я буду ее помнить еще и потому, что она поддержала меня, когда я делал только первые шаги в поэзии» (Евгений Евтушенко).

Телевидение Германской Демократической Республики показало фильм в семи сериях «Истории за садовой изгородью». Авторы сценария — Урсула Дамм-Вендлер и Ганс Ульрих Вендлер, режиссер — Хорт Цеске. Главная героиня фильма, медицинская сестра Клаудиа Гофман, воспитывает одна четверых детей. Сложно складывается ее жизнь, сложно складываются отношения с детьми. О трудном пути Клаудии и рассказывает фильм, который рецензенты называют романтическим, отмечая, что в немалой степени этому способствуют прекрасно снятые картины природы.
На снимке: исполнители главных ролей — Моника Войтович, Манфред Рихтер и Герберт Кёфер.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ЕГИПЕТ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА РАЗГОВОРНОМ ДИАЛЕКТЕ

В Египте большой популярностью пользуются произведения поэтов и драматургов на разговорном диалекте, который здесь завоевывает все более прочные позиции, вытесняя кое-где арабский литературный язык. Хотя подавляющее большинство книг попрежнему издается на литературном арабском — письменном языке, принятом во всех арабских странах,— поэты и драматурги Египта все чаще прибегают к родному для них диалекту.

Среди поэтических сборников, вышедших в последнее время на египетском разговорном диалекте, пресса называет «Маввали» поэта Фуада Кауда («Мавваль» — особый жанр народной поэзии.— Прим. ред.). Сборник «Маввали» открывается вступительным словом литературоведа Фарука Абд аль-Кадера, в котором рассказывается о жанрах народной поэзии.

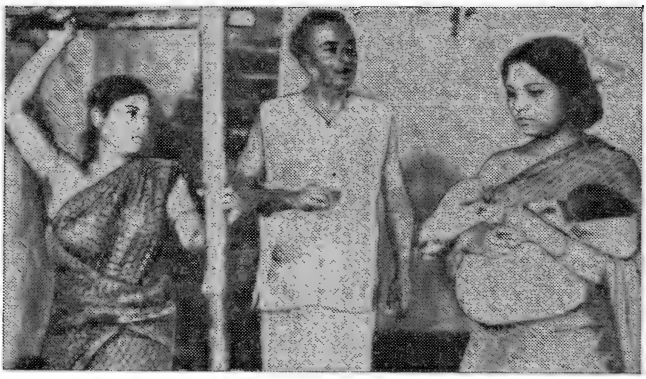
Немалый интерес, по отзывам прессы, представляет сборник пьес драматурга Суфи Абдаллаха «Четыре комедии» — две комедии в нем написаны на египетском разговорном диалекте, а две других — на арабском литературном языке.

ИНДИЯ

ДВЕ ПОВЕСТИ

С каждым годом индийская литература пополняется новыми именами. Одни, мелькнув на литературном горизонте, уходят в небытие. Иные же авторы, совершенствуя мастерство, утверждают свое право называться писателями. И в том, какой путь изберет для себя начинающий прозаик или поэт, немалая роль принадлежит литературной критике — ее доброжелательности и объективности. Много внимания и сил уделяет работе с писательской молодежью коммунистическая пресса Индии, в частности ее центральный орган — ежедневная газета «Джанюг», выходящая в Дели на языке хинди.

На страницах газеты регулярно печатаются стихи и рассказы молодых авторов, публикуются рецензии на первые их сборники, повести и романы. Произведения молодых авторов оцениваются строго, но доброжелательно. Примером такого взыскательного и в то же время отечески доброго подхода может служить появившаяся на страницах газеты рецензия на две повести Шрикришны Маюса —



Большое внимание зрителей привлек делийский кинофестиваль «Индийская панорама», где были показаны лучшие фильмы, созданные на различных языках страны. Один из них, «Дулия» режиссера Бхаттачарья, повествующий о тяжелом положении бенгальской женщины, прошел с большим успехом.
На снимке: кадр из фильма «Дулия».

(Журнал «Нью эйдж»)

«Когда заговорили развалины» и «Еще одна Радха».

Герои повестей — представители так называемых «средних классов» индийского города, в сознании и социальной психологии которых причудливо переплетаются древняя традиция и современность.

Хотя повести разительно отличаются стилевой манерой, их объединяет то, что в них показаны социальные болезни общества, такие как власть денег, безработица, приниженное положение женщины. «События и герои, изображенные автором,— это не плод его воображения, они взяты им из окружающей действительности,— пишет рецензент,— его задача заключалась лишь в том, чтобы дать обобщенный образ представителя среднего класса, и с этой задачей в обеих своих повестях он справился блестяще».

ИНДОНЕЗИЯ

ФИЛЬМ О РАДЕН АДЖЕНГ КАРТИНИ

Шуман Джайя, выпускник ВГИКа, давно уже снискал славу одного из самых серьезных — если не самого серьезного — из индонезийских кинорежиссеров. Последний его фильм посвящен поборнице женской эмансипации в Индонезии Раден Адженг Картини, день рождения которой — 21 апреля — уже много лет отмечается как Национальный женский день независимой Индонезии.

Фильм Шуман Джайи (он выступает в нем и как сценарист и как режиссер) представляет собой художественную биографию молодой яванской аристократки, короткая жизнь которой (Картини умерла в возрасте двадцати пяти лет) прошла в напряженной работе над своим самообразованием, в литературной и просветительской деятельности, изобиловала волнениями, разочарованиями, неосуществившимися надеждами. В роли Картини выступила известная индонезийская киноактриса Дженни Рахман.

На снимке: Дженни Рахман в роли Картини.

(«Кинобюллетень»)

ИТАЛИЯ

РОМАН-ПАРАБОЛА РАФФАЭЛЕ КРОВИ

«Антропологической сказкой» называет Раффаэле Крови свой новый роман «За пределами рая». Сладостный Эдем покидают трое: Мужчина, Женщина и Птица — бывший страж Рая. Их «исход» — это своего рода парабола тягостного пути от природной гармонии по тернистым дорогам Истории — к новой Гармонии. Покидая свой Эдем, созданные Крови Адам и Ева сознательно отказываются от замкнутого, «прочного», надежного обиталища в поисках бесконечного, неопределенного, хранящего так много загадок бытия.

Птица же воплощает здесь идеал самодовольного существования в маленьком мирке замкнутого Рая, однако, покинутая всеми, она не выдерживает одиночества и тоже устремляется в темноту неизвестности. Но ищет она лишь тот хорошо знакомый ей надежный мирок, тот рай, из которого ушла, и, не способная к развитию, к восприятию ничего иного, она обречена на «загнивание», а затем и на смерть.

Иначе складываются судьбы Мужчины и Женщины. Развитие чувств, постижение собственного тела, постепенное открытие пространства и времени, формы и размера — все эти важнейшие этапы исторического опыта человечества становятся в романе своеобразными идейно-художественными приемами, параболами бытия, исканий, противоречий, неудовлетворенности, преодоления и познания. Мужчина пытается овладеть реальностью, Женщина — понять ее, он учится действовать — охотиться, добывать огонь, она — рисовать, петь, танцевать; во взаимном дополнении этого опыта: рационального и эмоционального, действенного и образного — создается новое бытие и исчезает «память о Рае».

Почти с математической точностью чередуются в романе Крови главы о трех главных персонажах, пока в конце не исчезает Птица, а Мужчина и Женщина не появляются вместе в одной главе, повествующей о новой — высшей форме их бытия: сосуществовании, содружестве двух существ и гармонии двух начал, олицетворенных в этих персонажах.

Высоко оценивая новый роман Раффаэле Крови, рецензент теоретического еженедельника итальянских коммунистов «Ринашита»

особо отмечает мастерство языка писателя, композиционную и стилистическую четкость, романа и вместе с тем сплав логических построений со стихией сказочности.

КАНАДА

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК

Оказывается, существует и такой вариант английского языка, как ньюфаундлендский, на нем говорят жители канадского острова Ньюфаундленд, расположенного в Атлантическом океане. Попытки создать его словарь предпринимались и раньше, но, по мнению газеты «Глоб энд мейл», осуществить это удалось лишь группе ученых из города Торонто. Такой словарь, создававшийся в течение более чем 20 лет, недавно вышел в издательстве Торонтского университета.

Сначала ученые обратились к письменным источникам, древнейший из которых датирован XV веком, но их сохранилось немного, и самый ценный материал был собран во время экспедиций преподавателей и студентов университета на остров. Собранный ими богатый материал и положен в основу издания. Но главное отличие нового словаря от прежних — не в его большом объеме (хотя он включает тысячи слов), а в том, что авторы не только указывают значение слова, но и стараются передать его эмоциональную окраску. Так, большое значение в жизни жителей острова, у берегов которого проходит холодное Лабрадорское течение, имеет лед. И описание различных его названий и видов занимает в словаре три полных страницы. А основное занятие населения Ньюфаундленда — рыболовство, и поэтому неудивительно, что комментарий к слову «рыба» занял почти десять страниц, из которых четыре посвящены треске — основной промысловой рыбе этих мест. «Лучшие статьи словаря читаются как мини-эссе,— пишет «Глоб энд мейл».— Каждый, кто любит слово, откроет для себя в этом издании новый удивительный язык».

КНР

«КАРМЕН» В ПЕКИНЕ

В Пекине впервые прозвучала «Кармен». Опера Бизе была поставлена его соотечественниками — режиссерами Рене Террассоном и Элизабет Тюрк. За пультом стоял известный французский дирижер Жан Периссон.

Спектакль имел большой успех, путь к которому был нелегок. Во французском

На снимке: Мяо Кинь в роли Кармен.

(Журнал «Аван-сен опера»)

журнале «Аван-сен опера» участники постановки подробно рассказывают о своей работе с труппой пекинского музыкального театра Небесного Моста. Кроме режиссеров и дирижера с артистами работала также педагог-вокалист Жаклин Брюмэр, и результаты ее работы позволили Жану Периссону сказать после премьеры: «Я не замечал даже того, что поют по-китайски. Это была истинная «Кармен». Работа над спектаклем явилась прекрасной школой для китайских певцов и музыкантов. Во время репетиций зал был обычно полон: артисты, не занятые в спектакле, с партитурами в руках внимательно следили за ходом репетиции, делали заметки. Они учились».

Сам факт постановки «Кармен» в Китае достаточно красноречив — он свидетельствует о возрождении интереса к европейскому искусству.

ЛИВАН

КНИГА О СОВРЕМЕННОМ АРАБСКОМ РОМАНЕ

По сообщениям арабской прессы, ливанское издательство «Дар Ибн Хальдун» выпустило недавно новую книгу критика Исама Махфуза «Современный арабский роман».

По свидетельству обозревателя журнала «Аль-Джадид», в своей книге И. Махфуз прослеживает наиболее яркие вехи на пути развития современного арабского романа, для которого характерно не только революционное содержание, но и революционная форма. Критик рассматривает те из произведений арабских прозаиков, которые определяют лицо современного романа в арабских странах и предвосхищают его будущее.

Книге предпослано предисловие автора, озаглавленное «Арабский культурный авангардизм: откуда и куда?».

МАЛЬТА

ПЕСНИ МАЛЬТИЙСКИХ ЖЕНЩИН

Журнал «ИБЛА» (Тунис) сообщает об уникальном сборнике, выпущенном Джозефом Кассаром-Пулличино, известным мальтийским ученым-фольклористом, совместно с Мишлин Далле, французской исследовательницей фольклора стран Средиземноморья.

В книге «Женщины Мальты в традиционных песнях» собран богатый и уникальный песенный материал. Многие песни возникли очень давно, другие появились уже в наше время. Тексты песен приводятся на мальтийском языке с параллельным французским переводом.

МАРОККО

НОВАЯ АНТОЛОГИЯ

В Мадриде вышла антология «Литература и идеология современного Марокко». В антологии широко представлены — полностью или в отрывках — произведения современных марокканских поэтов, писателей, критиков и публицистов, создающих свои произведения как на арабском, так и на французском и испанском языках. Специальный раздел посвящен драматургии. Переводы на испанский язык выполнены группой марокканских и испанских литераторов и ученых.

Это третья «национальная» антология современной арабской литературы, изданная в Испании. До этого там вышли антологии иракской и тунисской литературы.

МЕКСИКА

НОВАЯ ЖИЗНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В Мехико возобновило свою деятельность издательство «Марча», в течение многих лет выпускавшее в Уругвае литературно-критический популярный еженедельник под тем же названием. После реакционного переворота 1973 года еженедельник, как и другие оппозиционные органы пе-

чати, был закрыт военными властями. Издатель, Карлос Кихано, с группой сотрудников обосновался в Мексике. Здесь после длительной подготовительной работы они опубликовали в 1982 году три сборника.

Первый — антология современной латиноамериканской прозы периода 1964—1980 гг. Среди двадцати авторов в ней представлены такие известные писатели, как аргентинцы Мануэль Пуиг и Освальдо Сориано, уругваец Эдуардо Галеано, чилиец Антонио Скармета, мексиканцы Фернандо дель Пасо и Густаво Сайнс, перуанец Альфредо Брисе, венесуэлец Луис Британо Гарсиа и другие. В предисловии, написанном уругвайским критиком Анхелем Рама, предпринята попытка найти общие черты в творчестве латиноамериканских прозаиков одного исторического периода, рассмотреть их как единое «литературное поколение».

Второй — «Поэты в общении» — воспроизводит интервью выдающегося уругвайского прозаика и поэта Марио Бенедетти, взятые им у десяти поэтов в 1971 году и опубликованные тогда же в еженедельнике «Марча», а в 1972 году выпущенные отдельной книгой. Переиздание этих интервью, по мнению издательства, дает возможность вновь вернуться к актуальной проблеме поэтической коммуникабельности, взглянув на высказанные ранее соображения с позиций нового исторического опыта — с учетом тех событий, которые произошли в Латинской Америке за минувшее десятилетие и непосредственно затронули самих участников интервью.

Третий сборник — «Что стоит за книжным бумом: литература и рынок» — составлен из материалов международного коллоквиума на эту тему.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

«ПАЛЕСТИНСКАЯ ПРОБЛЕМА В ПОЭЗИИ ЭМИРАТОВ»

Журнал «Аль-Фикр» опубликовал рецензию на книгу Васыфа Бакы «Палестинская проблема в поэзии эмиратов». Как пишет автор рецензии известный тунисский поэт и критик Нуреддин Самуд, это сравнительно небольшое, но важное исследование.

Книге предпослано введение, написанное ученым-филологом Надимом Маръашли. В нем он представляет читателям автора исследования Васыфа Бакы — литератора из сирийского города Халеба (Алеппо), опубликовавшего до этого «многочисленные книги по различным областям знания»,— и рассказывает о поэтах ОАЭ.

Основная часть книги посвящена истории палестинской проблемы и ее отражению в современной арабской поэзии, в частности поэзии Объединенных Арабских Эмиратов. В ней рассказывается о жизни и творчестве поэтов ОАЭ, приводятся их стихотворения, посвященные борьбе народа Палестины. Больше всего места в исследовании уделяется четырем крупным современным поэтам страны. Это Ахмад Амин аль-Мадани, Мухаммед Шариф аш-Шейбани, Хашим аль-Мусави и Хабиб Юсуф ас-Саиг.

ПОЛЬША

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЛЮДВИКА ВАРЫНЬСКОГО

Премия имени Людвика Варыньского, создателя польской рабочей партии «Пролетариат», учрежденная недавно, предназначена для произведений литературных и научных, служащих пропаганде идей марксизма-ленинизма и формированию коммунистического сознания в обществе.

Премии были удостоены писательница Янина Дзярновская за историко-биографический роман о Бруно Ясенском (см. «ИЛ», 1979, № 12), ветеран рабочего движения Жанна Корманова за книгу воспоминаний «Люди и жизнь», профессор Казимир Собчак за книгу «Ленино — Варшава — Берлин» о действиях Войска Польского во второй мировой войне и о польско-советском воинском братстве, профессор Людвик Базылов за «Всеобщую историю периода 1789—1918 гг.», которая представляет собой широкое исследование событий определенного исторического периода.

Среди награжденных — профессор Ирена Кобердова, профессор Чеслав Козловский, доцент Ян Собчак, профессора Ян Голицкий, Ежи Топольский. Все они награждены за труды по истории развития рабочего и коммунистического движения и за пропаганду марксистского учения в Польше.

СИРИЯ

«ГЛУБОКИЙ СТОН, ИРОНИЧЕСКИЙ СМЕХ»

Под таким названием журнал «Аль-Марифа», издаваемый министерством культуры и национальной ориентации Сирии, поместил в одном из последних своих номеров специальный большой раздел, посвященный жизни и творчеству А. П. Чехова.

Этот раздел подготовлен сирийским литературоведом Абдаллахом Саххи по материалам советской прессы, в частности журнала «Советская литература», печатавшимся в связи со 120-летием со дня рождения великого писателя. Он включает статью литературоведа Г. Бердникова «Чехов и эпоха», эссе американского писателя У. Сарояна «Моя история с Чеховым», рассказ «Душечка», письма Чехова во время его пребывания в Берлине в 1904 году, отрывки из воспоминаний А. М. Горького, высказывания о Чехове крупнейших представителей мировой литературы.

США

ЯНКИ В ТЭТЧЕРОВСКОЙ АНГЛИИ

В нью-йоркском издательстве «Хоутон Миффлин» вышел сборник рассказов известного американского прозаика Пола Теру (см. «ИЛ», 1982, № 7). Заглавие сборнику дал один из восемнадцати вошедших в него рассказов — «Посольство в Лондоне». Живущий уже много лет в Англии, П. Теру предпринял попытку, пишет еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», повторить литературный опыт Генри Джеймса, посвятившего несколько своих романов и повестей изображению жизни американцев в Англии.

В романе П. Теру «Семейный арсенал» (1976) можно было узнать мотивы романа Джеймса «Княгиня Казамассима», где рассказывалось об анархистском подполье в Лондоне последней трети прошлого века. В новой книге П. Теру, по мнению еженедельника, переклички с Г. Джеймсом более очевидны. Основная тема «Посольства в Лондоне», этого своеобразного «романа в новеллах»,— сложность взаимоотношений англичан и американцев, их психологическая и духовная несовместимость, а также и «двусмысленное восприятие американцами Англии — страны, которую многие из них все еще почитают как «старую родину», и восприятие англичанами Америки — бывшей британской колонии, ныне ставшей крупнейшей империалистической державой.

Все рассказы сборника объединены фигурой рассказчика Спенсера Сэвиджа (по словам рецензента, имеющего сходство с самим П. Теру) — сотрудника американского посольства, недавно переведенного в Лондон из Юго-Восточной Азии. В центре внимания П. Теру находятся два аспекта американо-английских взаимоотношений — «бытовой» и политический. Группа «бы-

Элизабет Тейлор, знакомая советским зрителям по фильмам «Клеопатра» и «Комедианты», снялась вместе с Ричардом Бартоном в новом фильме по пьесе английского драматурга Ноэля Кауарда «Личная жизнь».
На снимке: Элизабет Тейлор.

(Газета «Юманите»)

«За этим загадочным названием скрывается оригинальное произведение»,— замечает критик «Юманите-диманш» Мишель Буэ. Действие книги разворачивается в 1497 году во Флоренции. Город попал в руки Савонаролы. На улицах бесчинствуют банды юнцов, сторонников фанатичного монаха. Упиваясь своей безнаказанностью, громят они лавки, избивают прохожих. В костер летит все, что в глазах Савонаролы олицетворяет «грех»: от предметов роскоши до произведений искусства, музыкальных инструментов и детских игрушек. В огне гибнут старинные книги и рукописи.

В толпе, собравшейся на центральной площади города, за «сожжением суеты» наблюдает византийский переписчик Теофил Орданес. Объездивший полсвета, человек широкой культуры, гуманист, он не находит себе места в проклятом Савонаролой городе. Теофил бросает вызов «республике монахов». Герой романа решается на невиданную мистификацию: в течение долгих лет будет он с увлечением восстанавливать, вернее создавать заново, сожженные труды Софокла, Платона, Гераклита. Никто в дальнейшем не подвергнет сомнению подлинность рукописей, подделанных флорентийским эрудитом...

Отмечая виртуозность стиля 34-летнего писателя, свежесть его мысли, критики единодушны в том, что «Волчья пляска» Сержа Брамли не только блестящее и увлекательное воссоздание Флоренции конца XV века. Автор заставляет читателя задуматься над современным ему обществом, которое, как пишет «Кензен литтерэр», не так уж далеко ушло от эпохи фанатичного Савонаролы.

ФРГ

ПЕРВАЯ ПЬЕСА ЛЮДВИГА ФЕЛЬЗА

Людвиг Фельз, в прошлом подсобный рабочий, уже выпустил несколько книг стихов и прозы. Недавно режиссер Ульрих Веллер поставил в гамбургском театре «Шаушпильхауз» его первую пьесу «Леммерман».

Рецензенты сравнивают главного героя Фельза с Бекманом из знаменитой пьесы Вольфганга Борхерта «На улице, за дверью». Бекман, вернувшись с войны, не может найти себе места в обществе, озабоченном лишь собственным благополучием. Леммерман пытается вырваться из «высококалорийного убожества» современной немецкой жизни, как выразился когда-то Людвиг Фельз в книге «Моя страна». Он протестует против отчуждения, он ищет теплоты человеческого общения, но, как и Бекман, не «находит себе места в сытом обществе благосостояния... где пьют пиво, чтобы не думать»,— пишет Хельмут Каразек в журнале «Шпигель».

Он не находит понимания ни у подруги, которую раздражают его мечты и фантазии о лучшей жизни, ни у родителей, которые не могут простить ему, что он бросил школу и не оправдал их честолюбивых на-

---

товых» рассказов — это психологические и социальные этюды, повествующие о жизни американцев, волею судьбы занесенных в Лондон и оставшихся тут жить, но так и не сумевших окончательно привыкнуть к британскому стилю жизни. В политических рассказах читатель переносится в лондонские коридоры власти, в область, скрытую от глаз широкой публики. Так, в рассказе «Обои Уинфилда» Спенсер Сэвидж проводит читателей по залам Уинфилд-хауса, резиденции американского посла, где устраиваются пышные приемы. На одном из них присутствует Маргарет Тэтчер, причем Спенсер Сэвидж представляет «железную леди» с немалой долей иронии.

В целом же, отмечает рецензент, книга П. Теру является остроумным, порой комичным, порой трагичным портретом социально-политических нравов Британии начала 80-х годов.

ФРАНЦИЯ

МИСТИФИКАЦИЯ ФЛОРЕНТИЙСКОГО ЭРУДИТА

В числе лучших книг года назвал Эрве Базен роман «Волчья пляска» Сержа Брамли (изд-во «Бельфон»).

На телеэкранах Франции прошел многосерийный фильм «Милый друг» по знаменитому роману Мопассана, к которому не раз обращались кинематографисты многих стран. Режиссер фильма — Пьер Кардиналь. В главной роли снялся Жак Вебер.
На снимке: Жак Вебер и Мариза Берансон — Мадлен.

(Газета «Юманите»)

На снимке: сцена из спектакля «Леммерман».
(Журнал «Шпигель»)

дежд, ни у коллег-рабочих, которые не принимают всерьез его тоску.

Рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Клаус Вагнер называет пьесу «экспрессионистской монодрамой, где существует лишь видимость диалога... В ней больше лирической рефлексии, чем драматического действия, ее тон — жалоба и обвинение, печаль и гнев».

Леммерман (роль которого исполняет в спектакле Рольф Мауц) производит впечатление смешного чудака, но страдания его неподдельны. «Это история человека, который все бежит и бежит, но не может сдвинуться с места», — пишет Клаус Вагнер. Он пытается найти убежище в фантазиях, наконец, в карнавале, которым завершается спектакль. Однако «карнавальные эксцессы мелкобуржуазного мира», как называет это критик, лишь усугубляют его отчаяние.

Как и Бекман у Борхерта, герой пьесы Фельза в финале пытается покончить с собой, бросившись с моста. В спектакле, однако, дана иная концовка. Леммерман внезапно обращается к зрителям: «Я в отчаянье... Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне!»

Рецензент «Шпигеля» отдает должное «лирической силе пьесы», которую называет «экспрессивной и сатиричной». У автора, пишет он, «острый взгляд и слух на немецкую повседневность».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФЫ

В сегодняшней Чехословакии большое внимание уделяется проблемам детской и юношеской литературы, являющейся неотъемлемой частью национальной культуры. Каждый год появляются десятки замечательных произведений для юных любителей книг, различных как по жанру, так и в идейно-тематическом плане. Чехословацкая пресса, в том числе и еженедельник «Творба», живо откликнулась на работу Яна Галады «Судьбы мудрых» (издво «Альбатрос»).

Уже сам подзаголовок «О философии и философах» раскрывает творческий замысел автора, поставившего перед собой нелегкую задачу открыть молодым читателям в простой и доступной форме сложнейший мир философских учений и теорий, дать систематизированную картину развития философии как науки.

В первой части Ян Галада занимательно рассказывает об условиях возникновения философии в Древней Греции, постепенно вовлекая читателя в размышления о сложнейших философских теориях древности, начиная с учений милетских мудрецов. Красочно повествует автор о судьбах и сущности философских построений выдающихся древних мыслителей, имена которых навсегда вписаны в историю человечества, — Пифагора, Зенона, Гераклита, Демокрита. Необычайно привлекательны окрашенные юмором главы о Сократе. Ян Галада очень четко и ясно раскрывает основные аспекты учений Платона и Аристотеля, разъясняет сущность учения софистов.

Далее автор коротко говорит о средневековом мышлении и затем переходит к эпохе Возрождения.

В следующей части книги Ян Галада раскрывает основные тенденции развития философии последующего времени, повествует о Бэконе и Декарте. Рассказывая о мыслителях XVIII столетия, автор уделяет основное внимание личности и учению Вольтера. Замечательна по своей четкости характеристика просветительской философии.

Заключительная часть книги посвящена жизни К. Маркса и Ф. Энгельса, учение которых оказало решающее воздействие на развитие истории и философии XX века.

Создавая «Судьбы мудрых», отмечает рецензент, Ян Галада ни на минуту не забывал о юном читателе, всеми средствами стараясь сделать свою книгу как можно привлекательнее и интереснее. В этих целях писатель проделал огромную работу по подбору цитат, необходимых и важных по содержанию, образных и понятных по форме.

Работа Яна Галады «Судьбы мудрых» является неоценимым вкладом в литературу для подрастающего поколения.

ШВЕЦИЯ

500-ЛЕТИЕ ШВЕДСКОЙ КНИГИ

В этом году исполнилось 500 лет со времени появления в Швеции первой печатной книги.

Самая первая, так называемая «шведская», книга была отпечатана немецким книгопечатником Иоганном Снеллем в 1482 году в городе Оденсе в Дании, где он находился по поручению католической церкви. Это была книга религиозного содержания, написанная по-латыни.

Год спустя, в 1483 году, Иоганн Снелль издал в Стокгольме сборник басен с гравюрами на дереве, выполненными голландским мастером Герардом Лееу. Этот год и считается годом возникновения книгопечатания в Швеции.

По этому случаю в Королевском драматическом театре в Стокгольме состоялся большой праздничный вечер с участием шведских писателей и артистов. Среди почетных гостей на вечере присутствовали такие известные шведские писатели, как Астрид Линдгрен, Ханс Альфредсон, Фрей Лундквист, Свен-Бертиль Таубе и другие.

◆

Авторы этого номера

ДИМИТР МЕТОДИЕВ — ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ (род. в 1922 г.)

Болгарский поэт, дважды лауреат Димитровской премии, Герой Социалистического Труда, Народный деятель культуры. Автор многих поэтических сборников — «На штурм» («На щурм», 1945), «Димитровское племя» («Димитровско племе», 1951, 1955, 1970), «Шумят тополя» («Шумят тополите», 1958), «Круг замыкается» («Затваряне на кръга», 1967), «Избранное» (1972), «И все повторится» («И всичко пак ще се повторя», 1975), «И запах сладкий» («И мирис сладък», 1980) и др. Д. Методиеву принадлежат переводы произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко, В. В. Маяковского, А. Т. Твардовского и других русских и советских поэтов.

В русском переводе вышли книги стихов поэта «Младое поколение», «Солнечное притяжение», «Монолог в пути», стихи печатались также в периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе». Поэма «Песнь о генеральной линии» («Песен за генералната линия») печатается по изданию книги «Монологи в пути» («Монолози по пътя», София, Български писател, 1979).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОБЕРТ ИВАНОВИЧ (род. в 1932 г.)

Советский поэт, лауреат Государственной премии СССР и премии имени Ленинского комсомола. Автор более шестидесяти книг стихов, вышедших на русском языке, языках народов СССР и за рубежом. В последние годы изданы избранные произведения в двух томах, сборники стихов «Голос народа» (1977), «Это время» (1983). Переводит поэтов советских республик, поэтов зарубежных стран, выступает со статьями о поэзии.

ХАНИ АР-РАХЕБ (род. в 1939 г.)

Сирийский писатель, публицист и переводчик. Окончил филологический факультет Дамасского университета. В настоящее время профессор английской филологии. Опубликовал три романа: «Потерпевшие поражение» (1961), «Разлом в длинной истории», «Тысяча и две ночи» (1977), сборники рассказов и переводы с английского.

Рассказ «Легенда о странствующем арабе» был напечатан в сирийском журнале «Аль-Маарифа» (1983, март).

МУЛУД АШУР (род. в 1944 г.)

Алжирский писатель. Окончил педагогический институт в Аль-Арраше. В 1969 г. получил первую премию на конкурсе за лучшее произведение, воскрешающее один из эпизодов национально-освободительной войны. Автор сборников рассказов «Гелиотропы» (1973), «Последний сбор винограда» (1975).

Рассказ «Камень предков» взят из сборника «А память о нем жива и другие новеллы» (Алжир, СНЕД, 1971).

ГАМАЛЬ АЛЬ-ГИТАНИ (род. в 1945 г.)

Египетский прозаик и журналист. Автор многих сборников рассказов, в том числе «Записки юноши, жившего тысячу лет назад» (1968), «Осада с трех сторон» (1975), романов «Аз-Зейни Баракят» (1971), «Хроника улицы аз-Заафарани» (1976), «Земли Гитани» (1981).

Рассказ «Отель» был напечатан в сборнике «Память о случившемся», Каир, 1978.

АСАДУЛЛА ХАБИБ (род. в 1941 г.)

Афганский поэт и прозаик. Окончил Кабульский университет. В конце 60-х годов стал известен в своей стране как писатель-реалист и прогрессивный поэт. В настоящее время он возглавляет Союз писателей Афганистана, созданный в 1980 году.

На русском языке в 1974 году вышел его сборник новелл «Айдын», в «Иностранной литературе» напечатан рассказ «Биби Карбас» (1970, № 6). В предлагаемую подборку включены стихи Хабиба разных лет. В русском переводе его стихи публикуются впервые.

АЗИЗ НЕСИН (род. в 1915 г.)

Турецкий писатель-сатирик, драматург, публицист, общественный деятель. Лауреат многих национальных и международных литературных премий; на международных конкурсах юмористов награжден

«Золотой пальмовой ветвью» (Италия), премиями «Золотой еж» и «Хитрый Петр» (Болгария) и др. Председатель Синдиката писателей Турции. В нашей стране в разные годы вышло около сорока книг А. Несина в переводе на русский язык и языки народов СССР, среди них — сборники рассказов «Собачьи хвосты», «Стопроцентный шедевр», «Если бы я был женщиной», «Приходите развлечься!», сборник сатирических памфлетов «Письма с того света» и др. В «Иностранной литературе» опубликована пьеса «Пойдите сюда!» (1962, № 8), ряд рассказов (1958, № 4; 1968, № 9).

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Большая забастовка» (Стамбул, Яйладжик, 1978).

ТИБОР ДЁРИ — DERY TIBOR (1894—1977)

Венгерский писатель, поэт, эссеист; лауреат премий имени Лайоша Кошута и Атиллы Йожефа. Автор повести «Лицом к лицу» («Szemtöl szembe», 1945), романов «Неоконченная фраза» («A befejezetlen mondat», t. I—III, 1947), «Ответ» («Felelet», t. I—II, 1950—1952), «Приговора нет» («Ítélet nincs», 1969), «Воображаемый репортаж с американского поп-фестиваля» («Képzelt riport egy amerikai popfestiválról», 1971).

В «Иностранной литературе» напечатана повесть «Милый бо-пэр!..» (1979, № 7).

В этом номере публикуются фрагменты из книги Тибора Дери «Наслоения дней» («A napok hordaléka». Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó. 1982).

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ — JULIAN KAWALEC (род. в 1916 г.)

Польский писатель. Творчество Ю. Кавалеца знакомо советским читателям по переведенным на русский язык произведениям. повести «К земле приписанный» («ИЛ», 1964, № 6), романам «Танцующий ястреб» («ИЛ», 1969, № 1, 2), «Переплывешь реку...» («ИЛ», 1976, № 6, 7), сборнику рассказов «Свадебный марш», повести «Поваленный вяз» и др.

Рассказ «Большой праздник на стройке» взят из сборника «Избранные рассказы» («Opowiadania wybrane». Krakow, Wydawnictwo Literackie. 1975).

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС — JOYCE CAROL OATES (род. в 1938 г.)

Американская писательница. Окончила Сиракьюсский университет. Ее первая книга появилась, когда Дж. К. Оутс было двадцать лет. С тех пор вышли ее романы «Сад радостей земных» («A Garden of Earthly Delights», 1967), «Шикарные люди» («Expensive People», 1968), «Их жизни» («Them», 1969; отмечен Национальной книжной премией 1970 г.), «Делай со мной что хочешь» («Do With Me What You Will» 1973), «Убийцы» («The Assassins», 1975), «Светлый ангел» («Angel of Light», 1981). Ей принадлежат также сборники стихов, книги эссе. Дж. К. Оутс — лауреат многих конкурсов короткого рассказа имени О. Генри.

На русский язык переведен ее роман «Сад радостей земных», рассказы печатались в периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе» (1973, № 12). Новелла «Священный брак» взята из сборника «Браки и измены» («Marriages and Infidelities», 1972).

РОБЕРТ МУЗИЛЬ — ROBERT MUSIL (1880—1942)

Австрийский писатель. Окончил Высшую техническую школу в Брно; изучал философию и психологию в Берлинском университете. Участник первой мировой войны. Был журналистом и театральным критиком. После захвата Гитлером Австрии эмигрировал в Швейцарию. Автор автобиографического романа «Тяготы воспитанника Тёрлеса» («Die Verwirrungen des Zöglings Törless», 1906), сборников новелл «Соединения»(«Die Vereinigungen», 1911),«Три женщины»(«Drei Frauen», 1924), драмы «Мечтатели» («Die Schwärmer», 1921).

В этом номере мы публикуем фрагмент неоконченного философско-сатирического романа Р. Музиля «Человек без свойств» («Der Mann ohne Eigenschaften», Bd. 1—3, 1930—1943).

АПТ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.)

Советский переводчик, литературовед. В его переводе издавались трагедии Эсхила, романы Т. Манна «Иосиф и его братья», Г. Гессе «Степной волк» («ИЛ», 1977, № 4, 5), пьесы Б. Брехта и др. произведения. Автор книг «Томас Манн» (М., 1972, в серии «ЖЗЛ»), «Над страницами Томаса Манна» (1980).

ВИНЬЯ НДАДИ — VINNIA NDADI

Активный деятель Союза намибийских рабочих, член Национального исполкома СВАПО.

Автобиографическая повесть «Разрывая контракт...» («Breaking Contract») была опубликована в 1974 году.

КИРПИЧЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА

Советский литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографии «Юсуф Идрис» (1980) и статей о современной египетской литературе. Переводила с арабского произведения Нагиба Махфуза, Юсуфа Идриса, Юсуфа аль-Куайида («ИЛ», 1982, № 6) и др.

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА

Советский литературный критик-индолог, переводчик. Автор многих статей по проблемам литератур Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш.

НОРМАН КАЗИНС — NORMAN COUSINS (род. в 1915 г.)

Американский писатель, публицист, ученый, общественный деятель. Автор более одиннадцати книг. Сопредседатель и участник Дартмутских встреч. С 1940 г.— главный редактор журнала «Сатердей ревью», в настоящее время — директор совета редакторов этого журнала.

«Иностранная литература» опубликовала

фрагменты его книги «Анатомия болезни. Глазами пациента» (1981, № 3).
В этом номере печатаются главы из книги Н. Казинса «Право выбора» («Human Options». An Autobiographical Notebook. New York—London, W. W. Norton & Company, 1981).

ЛАНДОР МИХАИЛ БЕЛОВИЧ (род. в 1935 г.)

Советский литературовед, критик, автор статей по западноевропейской и американской литературам, публиковавшихся в журналах, в том числе в «ИЛ».

БАТАЛОВ ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1935 г.)

Советский философ. Автор книг «Философия бунта» (1973), «Современное политическое сознание в США» (в соавторстве, 1980), «Социальная утопия и утопическое сознание в США» (1982) и др., а также статей по проблемам философии и политической науки.

ЛЕСТЕР КОУЛ — LESTER COLE (род. в 1904 г.)

Американский сценарист и драматург, один из основателей Гильдии кинодраматургов. В настоящее время преподает в университете Бёркли в Калифорнии.
Мы публикуем отрывки из книги Лестера Коула «Голливудский красный» («Hollywood Red». Palo Alto, California, Ramparts Press, 1981).

ЖАРГАЛЫН БАРАМСАЙ (род. в 1947 г.)

Монгольский писатель-сатирик. Печатался в периодических изданиях и сборниках. В 1980 г. выпустил сборник коротких юмористических рассказов «Неудобное приглашение», откуда взят предлагаемый рассказ.

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС — TENNESSEE WILLIAMS (1911—1983)

Один из крупнейших драматургов США, новеллист и эссеист. На советской сцене ставились его пьесы «Стеклянный зверинец», «Орфей спускается в ад», «Трамвай «Желание», «Сладкоголосая птица юности», «Лето и дым» и др. В «Иностранной литературе» печатались рассказы и эссе.
Предлагаемые стихи взяты из сборников «Андрогена, моя любовь» («Androgyne, Mon Amour». New York, New Directions Publishing Corporation, 1977) и «В зиме городов» («In The Winter of Cities». New York, New Directions Publishing Corporation, 1964).

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

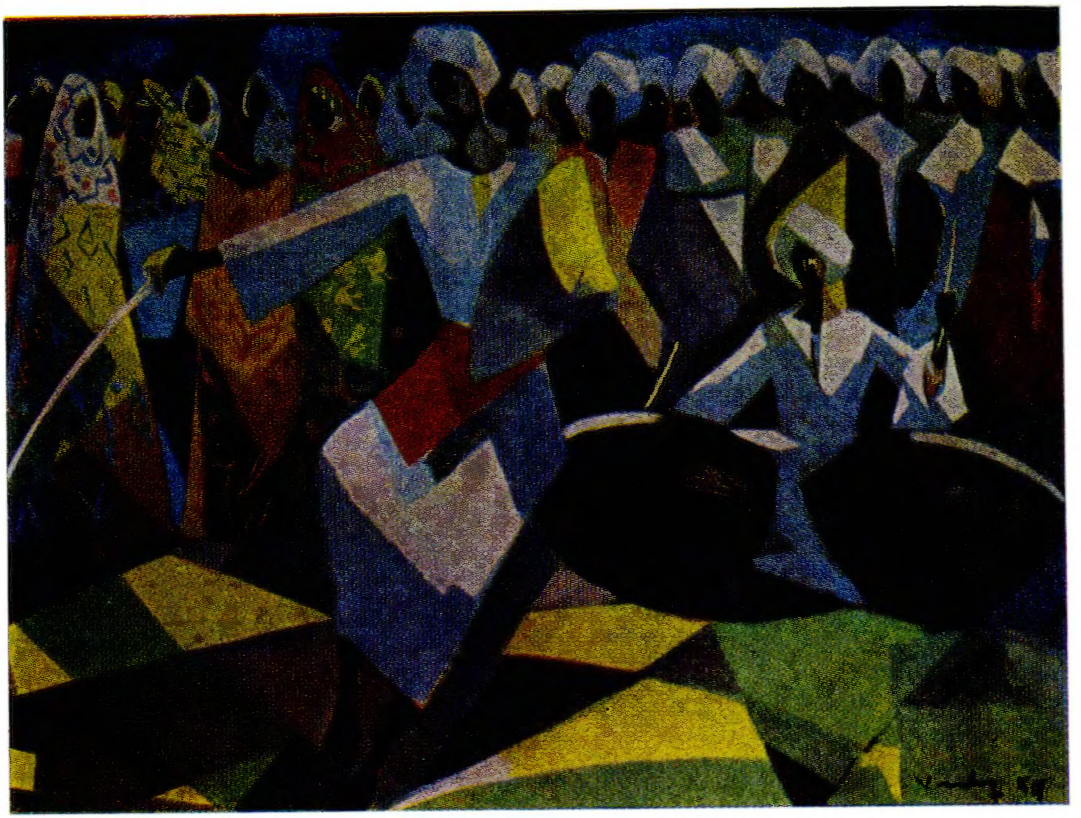
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 01.07.83. Подписано в печать 17.08.83. А 01797. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 27,11.

Тираж 380 000 экз. (1 завод: 1 — 340 000 экз.) Зак. 2366.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



АДХАМ ВАНЛИ (Египет). Нубийский танец.

К ЧИТАТЕЛЯМ «ИЗВЕСТИЙ»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ» НА 1984 ГОД.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДО 31 ОКТЯБРЯ 1983 ГОДА С ДОСТАВКОЙ С ЯНВАРЯ, А С 1 НОЯБРЯ — С ДОСТАВКОЙ С ФЕВРАЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ 1984 ГОДА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПО МЕСТУ РАБОТЫ, УЧЕБЫ И ЖИТЕЛЬСТВА.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ С ПЕРЕРЫВОМ НА ЧАСТЬ СРОКА (ОТПУСК, КАНИКУЛЫ В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ).

ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ» С 1 ИЮЛЯ ЕЖЕДНЕВНО ВЫХОДИТ НА ШЕСТИ СТРАНИЦАХ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ПРЕЖНЯЯ:
НА ГОД — 9 РУБЛЕЙ, НА 6 МЕСЯЦЕВ — 4 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК, НА 3 МЕСЯЦА — 2 РУБЛЯ 25 КОПЕЕК, НА ОДИН МЕСЯЦ — 75 КОПЕЕК.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В 1984 году редакция журнала предполагает опубликовать по разделу художественной прозы:

ДЖОН АПДАЙК (США)
Маленькие истории

ЛАДИСЛАВ БАЛЛЕК (Чехословакия)
Акации

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ (Англия)
Миссис Дэллоуэй

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР (Куба)
Арфа и тень

СТИВЕН КИНГ (США)
Мертвая зона

САМИМ КОДЖАГЕЗ (Турция)
Спор

АНАНТА МУРТИ (Индия)
Самскара

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)
Правдивая повесть о Лили Штубек

ЭНЦО РУССО (Италия)
В логове горностаев

АНДРЕ СТИЛЬ (Франция)
Доктор-чародей

ЭНН ТАЙЛЕР (США)
Ужин в ресторане «Тоска по дому»

ПЕР ГУННАР ЭВАНДЕР (Швеция)
Повесть о Юсефе